

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2020





Иван Старушкин | Автопортрет



Иван Старушкин | Там, на западе, сынок, наш отец

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2020

1945–2020

Номер посвящён 75-летию победы народов СССР в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны

В номере

ДиН ВРЕМЯ

Геннадий Малашин

3 Письма с войны

Юрий Коряков

9 Афганские будни

ДиН 1945–2020

Владимир Замышляев,

Александр Перчиков,

45 Белла Верникова

Анна Гедымин

76 Месть Тамерлана

Максим Стрежний,

123 Сергей Прохоров

Евгений Минин

153 Горька костров
последних гарь

Ольга Подшивайлова

183 Победитель

Леонид Колганов

184 Свет из войны

ДиН ПАМЯТЬ

Андрей Деменюк

46 Зорий Яхнин.
Поэт по соседству

Зорий Яхнин

51 Вечный бег

Анатолий Третьяков

54 Виновник торжества

ДиН КРАЕВЕДЕНИЕ

Владимир Шанин

56 Памятник командору Резанову

ДиН СТИХИ

Дмитрий Мизгулин

60 Под сенью храмов православных

Михаил Синельников

62 Таволга

Виктория Можаяева

64 До рассвета, до Победы, до Суда...

Наталья Ахпашева

67 Между бездной и болью

Марина Тарасова

69 И кажется, что вырастают крылья...

Евгений Степанов

141 Каждый день

София Максимычева

144 Высокий снег

Анастасия Лукомская

146 Новый рубеж

ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Олег Платонов

71 Адресат для анафемы,
или Благословение владыки

ДиН ЮБИЛЕЙ

Татьяна Долгополова

77 Коротко о нашей короткой жизни

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Андрей Чернов

86 Маяки идентичности

Елена Настоящая

89 Говорит Ворошиловград

Сергей Прасолов

90 В золотистом сиянии

Лариса Класс

94 Базар-вокзал

Светлана Сеничкина

95 Слово о доме

Елена Заславская

97 Нето

Ханох Дашевский

149 Дыхание жизни

Ефим Гаммер

154 «И расписались
на Рейхстаге...»

Леонид Складнев

162 Распалась связь времён

БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА

Сергей Козлов

99 История болезни

Анатолий Янжула

103 Недоразумение

Ирина Михайлова

121 Подвиг

ДиН РЕВЮ

Ариадна Рокоссовская

120 Утро после Победы

Софья Григорьева

145 Родненькие мои!

ДиН ПРОЗА

Александр Астраханцев

124 Мой День Победы

ДиН ПЕРЕВОД

165 «Я из певчих твоих...»

ДиН ШТУДИИ

Олег Харебин

168 «Улитка на склоне»

ДиН ВЗГЛЯД

Дмитрий Косяков

176 Без ума от «Алисы»

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Арина Гамалиенко

185 Сладкий помин

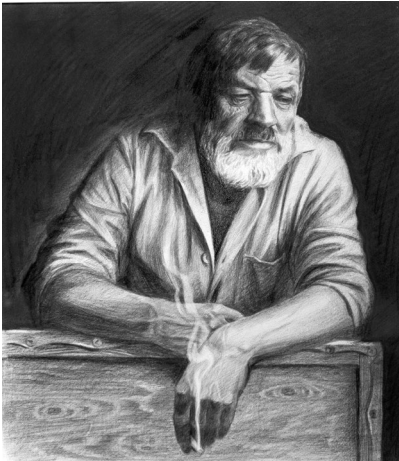
188 Мастерские
Елены Тимченко

Анастасия Антонова

189 Ты—русский

190 Суперперо-2019

192 ДиН АВТОРЫ



Иван
Старушкин
Автопортрет.
Нарисовать
бы зло
да сжечь!

Геннадий Малашин Письма с войны

О войне можно рассказывать по-разному... И в живописи, и в фильмах, и в учебниках истории...

Иван Семёнович Старушкин родился в Казахстане в 1935-м, в сложное и противоречивое время расцвета сталинского социализма.

Пожалуй, три темы были главными в стране в ту далёкую эпоху: дальнейшее строительство социализма, борьба с врагами народа и неизбежная, как многие понимали, будущая война...

Когда война началась, ему было шесть лет. Когда окончилась, он был по меркам военных лет почти взрослым...

Дети войны—драматическая часть нашей истории.

Военное детство было у Ивана Старушкина таким же, как у миллионов его сверстников. Беспросветным? Нет. Тяжёлым, горьким, трудным, взрослым, но...

Но сколько же секунд надежды было у них, детей, в те 1418 дней войны...

Тема военного детства как-то особо, отдельно почти не была отражена в советском искусстве—ни в художественных полотнах, ни в литературе, ни в кино, за малым к тому исключением... Вспомнить можно разве только некоторые книги и фильмы уже преимущественно шестидесятых-семидесятых годов: рассказ В. Богомолова «Иван» и фильм А. Тарковского «Иваново детство», Андрея Тарковского же «Зеркало», стихи К. Симонова, повесть Василя Быкова «Круглянский мост», отчасти—шолоховскую «Судьбу человека» и знаменитый одноимённый фильм С. Бондарчука, конечно же—и катаевского «Сына полка», рассказы нашего земляка Виктора Астафьева... В литературе ещё, безусловно,—документалистика, мемуары и воспоминания, начиная с «Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича... Запечатлели эту тему в немногих, но оттого и таких дорогих для нас кадрах и кинохроникёры, и фронтовые фотокорреспонденты.

А ведь дети войны—они были повсюду рядом со своим народом, «там, где мой народ, к несчастью, был»...

И на фронте—как дети полка, и в партизанских отрядах—как маленькие и так часто погибающие на глазах у взрослых юные разведчики, и в проклятых бараках Бухенвальда и Освенцима, и в скованном холодом и блокадой Ленинграде, и, конечно же, бесконечно много—в тылу, в эвакуации, у станков на военных заводах и на фабриках, на колхозных и совхозных полях, где, как известно (так и называется одна из представленных на выставке работ), «каждый колосок—фронту»...

«Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...»

И вот на графических работах из незавершённых серий Ивана Старушкина «Из тылового детства» и «Письма без ответа» мы с вами этих детей войны, то есть самого автора и его сверстников—видим. И забыть потом—уже не можем.

«Из тылового детства»,

«Письма без ответа»

Как правило, работы этих серий с технической точки зрения сделаны «очень просто». Неяркие, по-военному скудные и экономные в красках и цветах. Даже сами листы потемневшей, как будто бы от военных лет оставшейся бумаги цвета охры, на которых как бы и набросаны художником эти контуры, эти бережно включённые в ткань чёрно-белой графики немногочисленные пятна цвета,—даже эти листы кажутся маленькими и разысканными где-то на чердаке, отсоединёнными от газетных или книжных страниц: совсем как те самодельные «тетрадки», на которых Иван Старушкин и его ровесники писали и в 1941-м, и в 1945-м первые в своей жизни слова, набрасывали первые свои робкие рисунки...

Всего лишь: «бумага, акварель, гуашь, карандаш»...

И—потрясение, которое испытывает практически любой зритель, который видит эти работы впервые. Независимо от возраста, образования, социальной принадлежности.

«Художник, который не мог не заговорить, даже—вопреки недополученному художественному образованию и возрасту. Художник и человек потрясающей искренности»,—мнение одного



Иван
Старушкин

из красноярских искусствоведов, участвовавших в подготовке нынешней выставки.

А это — слова из книги отзывов едва ли не единственной прижизненной небольшой персональной выставки дипломанта Всероссийской выставки графики 1987 года И. Старушкина (май-июнь 1988 года, Абакан): *«Дорогой художник! Низкий вам поклон за талант быть человеком, понимать человека, воспитывать человека. Всё это прекрасно, загадочно и жутко. В ваших работах есть тайна и жизнь, ваши картины о войне — как удары сердца. Господи! Неужели это всё написано одним сердцем и двумя руками?»*

...Сельский почтальон, старик, торопливо кладущий свежую похоронку на столбик у забора, бережно прижав этот роковой конверт природным камнем, — графическая работа «Прости, Касатушка...».

«Одолели...» — тот же старик, стоящий на коленях в дорожной пыли и прижавший к сердцу чёрную «тарелку», громкоговоритель военной поры, рупор, только что передавший голосом Левитана известие о победе...

Худые до невозможности, похожие на юных стариков, усталые мальчишка и девчонка, взявшиеся за руки и присевшие на пригорке с одуванчиками — цветами, ставшими, по рассказам самого художника, непременной частью детского рациона в военные годы (ведь «каждый колосок — фронт»). А на переднем плане, как бы за пределами рисунка, за пределами условного бумажного полотна с оборванными краями, — до ужаса реальная самодельная страшная кукла, сделанная из тряпочки и ваты, с нарисованным чернильным карандашом невесёлым и ужасающим «лицом»... «Тили-тили-тесто...» И вдруг, вновь переводя с этой страшной куклы взгляд к лицам мальчика и девочки, понимаешь, что такие же трагические, строгие и — бессмертные лики ты совсем недавно видел где-то. Где?.. Может быть, на старинных иконах в храме?..

Вот она, связь времён, связь традиций и художественных школ...



Из серии «Из тылового детства».

Прости, касатушка. 1987

Письма, письма с номерами полевых почт, взрослые лики маленьких детей, изнурённые фигуры их матерей и сестёр, громкоговорители, одуванчики, одинокие колоски и бесчисленные похоронки, — все «сквозные» образы графики Ивана Старушкина, часть не игрушечного — реального мира, в котором разом оказались все советские дети после двадцать второго июня 1941-го...

«Военная тайна» Ивана Старушкина

В чём же секрет, в чём тайна этих работ?..

Та самая «военная тайна», о которой была написана одна из самых сильных и загадочных детских-недетских книг того, нам уже только по рисункам да немногочисленным книгам известного, канувшего в глубины исторической памяти времени детей войны...

...Самым страшным в детстве Ивана Старушкина был летний день 1943 года, когда мать получила похоронку на отца. Этот внезапно грянувший день разделил их с матерью и без того тяжкую жизнь на две неровных части.

А самым вкусным, запомнившимся на всю жизнь, был, конечно же, вкус хлеба... До конца жизни он не мог спокойно видеть выброшенный в урну кусок хлеба, о котором каждый день мечтал в детстве.

...И всё же самым большим его сокровищем в те четыре военных года были цветные карандаши, которыми он пытался набрасывать первые в своей



Из серии «Из тылового детства».

Одололи. 1987

жизни рисунки. Берёг их. Но красный карандаш всё равно заканчивался раньше других...

Он так мечтал в детстве—нарисовать будущую Победу... А став взрослым, прожившим жизнь, мудрым и многое повидавшим человеком—будет мечтать нарисовать худого измученного мальчишку, о Победе—каждый день грезящего...

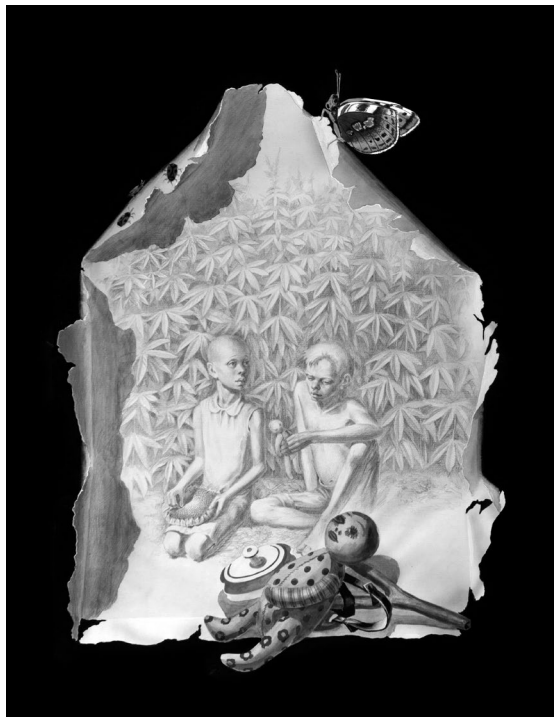
...Из Казахстана через всю страну, собрав сбережённые на дорогу копейки, он поехал после окончания школы в начале 1950-х поступать в Ленинградскую художественную академию имени Репина. Не поступил. Работы экзаменаторов заинтересовали, но мальчишку из глубинки, без художественного училища за плечами, в главную художественную академию страны так и не приняли.

Армия... Служил в Сталинграде, в том городе, защита которого, и погиб его отец.

Отслужив, поработав на Сталинградском тракторном заводе, закончил то единственное учебное заведение, которое было ему доступно,—художественно-промышленное училище в Абрамцево—и стал потом художником-оформителем в Красноярске.

Это было по-своему хорошее для художников-прикладников время: облик города постепенно преображался, были заказы, была работа...

От этого времени остались некоторые его работы, в том числе резные деревянные часы, которые он дарил родным и друзьям, резные искусные деревянные панно, которые делал по заказу



Из серии «Из тылового детства».

Тили-тили тесто... 1987

культурных учреждений и фотографии которых отчасти случайно сохранились.

Но память о прошлом не оставляла его—он хотел творить на полотне и на бумаге, он мечтал написать однажды своё военное детство. Всё, что запомнил, что мучило ночами, что пеплом Клааса стучало в его сердце.

Несколько последних лет, которые ему оставались, он провёл в Абакане. Бросил всё, уехал в 1984-м из Красноярска—и здесь началось главное дело его жизни.

Он вернулся в своё детство.

Возвращение

Одна из самых горьких его поздних работ—«Папка вернулся!..». На ней, как зрителю кажется,—он сам, маленький Иван Старушкин, отец которого так и не погиб, отец которого всё-таки, вопреки всем законам реальной жизни, однажды вернулся домой...

Он не мог не успеть добежать до нас, этот обнажённый, штанами своими, как флаг, размахивающий, этот до безумия счастливый, сквозь десятилетия бегущий прямо на нас мальчишка с одной из самых запоминающихся работ Ивана Старушкина...

Иван Старушкин рассказал нам ту свою детскую правду о войне, про которую молчали или не могли найти силы вспоминать другие...

Были годы перестройки, оттого дышать стало легче, свободнее, и он начал в 1986-м набрасывать



Из серии «Такая история».

Верую! 1988

свои циклы, которые большей частью останутся в эскизах.

Вот ещё один цикл, пронзительный цикл работ о тридцатых — «Такая история».

Вот — то ли бывший священник, то ли бывший епископ, а ныне — заключённый за номером таким-то, один из тысяч и миллионов... Печать долгих мук на лице — и глубокая вера в глазах: работа так и озаглавлена — «Верую...». А фон для этого лика, который из него и ему вопреки «прорастает», — очередная пахнущая типографской краской газетная страница: «Мобилизуем бдительность!.. Враги народа опять вспомнили своего бога...»

Вот на форэскизах — ужасающие и такие «обыденные», насколько набросанные сцены из жизни советского ГУЛАГа: собаки, конвоиры, расстрелы... «Неудачный побег. Зря убил, за убитых ничего не дают...»

И всё так же, как и в жизни: трагедия маленького человека происходит на наших глазах на фоне разросшихся до размеров монумента-колосса газетных страниц, каждый день рапортующих о расправах с очередными врагами народа — кулаками, вредителями, церковниками-контрреволюционерами...

Правда отдельной, «частной», в этих «частностях» немного даже и счастливой «судьбы

человека» (вспомним работу, которая так и называется — «Счастливая...»: женщина, прижимающая к груди выстиранную ею гимнастёрку только что вернувшегося домой кормильца) — эта малая правда вступает в последний и бескомпромиссный спор с горькой во многие времена «исторической правдой».

Где же мы в первый раз это видели и узнали?... Ну конечно же, в пушкинском «Медном всаднике», в гоголевской «Шинели», в перовской «Тройке», в суриковском «Утре стрелецкой казни», в «Реквиеме» Анны Ахматовой, в этих вот пронзительных строчках:

Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клёна
Или просто травинку зелёных,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невосковой студёной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы...

Вот как смыкаются гуманизм великой русской литературы, великого русского искусства — и гуманизм скромных графических листов оставшегося три десятилетия почти забытым и безвестным художника из Сибири...

«Такая история»

...А вот — Николай Бухарин и его вдова, Анна Ларина, наизусть заучившая письмо-обращение мужа к будущему съезду партии (рисунок «Н. И. Бухарин», эскиз «Выдержать, заучить...»).

Существует несколько эскизов к этому так и не написанному диптиху, и всякий раз у героини будущего произведения, у вдовы, положившей всю свою жизнь на то, чтобы «вспомнить, записать, выучить, сжечь» — так должна была называться работа, — лица разных женщин, разных возрастов, разных социальных групп... Художник как будто ищет и всё не может найти тот единственный достоверный образ, который донесёт до нас образ женщины, матери (и одновременно, может быть, образ матери-родине?), сумевшей сохранить навечно идеальную правду о муже-большевике, сохранить её во все — сталинские, хрущёвские, брежневские, горбачёвские — времена...

Но окончательно этот образ так и не был Старушкиным написан. То ли уже не оставалось у него для этого земного времени, то ли, скорее, слишком глубоки оказались «всем миром» отрываемые туннели времени, шахты, схроны памяти, слишком неоднозначной оказалась эта противоречивая коллективная память социума о недавнем тогда ещё прошлом... И, как нам казалось на закате перестройки, не оставалось уже в этом прошлом в итоге ни одного идеального исторического

персонажа, ни одного подлинно бескомпромиссного революционера, ни одного перешагнувшего временные биографические рамки реального советского героя-примера «делать жизнь с кого»...

И только они, подлинные герои работ Ивана Старушкина, «частные лица», простые советские граждане, на своём хребте вынесшие все испытания двадцатого века,—только они и оказались подлинными людьми, подлинными героями этого железного и страшного века. У них за плечами и в сердце как раз и была вечная «военная тайна» русского народа: до последнего смертного часа оставаться частью своего народа, оставаться людьми, генетическая привычка быть человеком, быть им всегда, какие бы газеты и с какими идеологическими лозунгами в этот день и в этот век с утра в киосках «Роспечати» ни появились бы...

Наверное, они, эти работы, в не меньшей степени, чем о годах большого террора, рассказывают нам сегодня и об эпохе, в которую были созданы,—о времени перестройки, о нашем постепенном узнавании невятной и частичной правды о прошлом, об утраченной надежде узреть «подлинного ленинца» хоть в том же «враге народа» Бухарине с его забытым теперь снова посланием к «будущему поколению руководителей партии»...

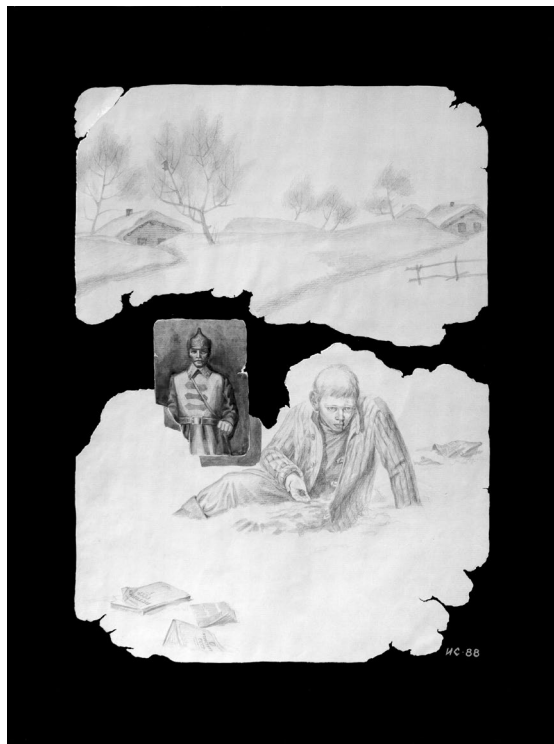
Вот такая история...

Память

...И ещё работы, вновь из серии «Из тылового детства». Та часть истории, которая ничуть не утратила своего страстного звучания и за тридцать минувших после её написания лет.

«Сын врага народа». Карандашный портрет подростка в ватнике, маленького человека, пребывающего в раздумье, и горе, и надежде—и в безумной, в отчаянной вере в невиновность своего отца... И, над пространством карандашного портрета, такая материально-нереальная, лубочная акварель цвета сепии, старая, то ли в памяти, то ли в подкладке ватника сохранённая фотография похожего на мальчишку человека в будёновке, одного из «комиссаров в пыльных шлемах» старушкинского любимого Окуджавы... И—за изломанной линией рисунка в рисунке—чёрное пространство фона, больше самого рисунка часть бумажного полотна. Чёрное пространство, чёрное, как та ночь, которая во второй половине 1980-х, как нам всем казалось тогда, наконец-то начала сменяться долгожданным и на века уже рассветом...

И ещё одна, опять-таки вызывающая массу ассоциаций и аллюзий с бессмертными русским искусством и русской литературой, очень спокойная и пронзительная работа—«Урок сострадания». На переднем плане подросток. Перед ним—колючая проволока. За ней—узник концлагеря в полосатой робе. Над ними—крупно, отчётливо, ясно, тщательно прописанный—кусочек самого вкусного



Из серии «Из тылового детства».

Сын врага народа. 1987

на свете домашнего хлеба, через эту проволоку переданный ребёнком заключённому...

На выставке 2019 года представлены законченные рисунки Ивана Старушкина, частично вошедшие в серии «Старики» и «Память», частично оставшиеся вне циклов. Это—один из главных разделов выставки, актуальность этих рисунков сегодня, спустя тридцать с лишним лет после их написания, бесспорна. Вопросы жизни и смерти, подлинных и ложных человеческих ценностей, любви и верности—эти темы непременно возникают однажды в творчестве любого настоящего художника. В конце своего пути обратился к ним и Иван Старушкин. Эти рисунки посвящены осмыслению художником проблемы недолгой и жестокой порой человеческой памяти, в них присутствует тема неумолимого и скоротечного времени. Можно было бы объединить их и известными песенными строчками—«Этот День Победы» или «Эхо прошедшей войны». Они безыскусны и искренни, спокойны и строги, они вызывают в сердце печаль и тревогу. Ещё одна появляющаяся при их просмотре ассоциация с литературой—это «современная пастораль» Виктора Астафьева «Пастух и пастушка», та открывающая книгу, рвущая сердце сцена, когда старая женщина находит на каком-то заросшем травой поле «посреди России» могилу своего погибшего на войне возлюбленного:

«Может, была когда-то на пирамидке звёздочка, но, видно, ототрела... <...>

Она опустилась на колени перед могилой.

— Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеребивал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли... <...>

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ничего не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

«Где ты?». Одинокая старая женщина со скорбными глазами, с фотографией молодого солдата в руках, на фоне памятника с монументальным словом «Победа». Кто он? Муж её, возлюбленный, брат?..

«Где ты?..»

И, вполоборота к нам и к пожилой женщине, — её ровесник, старый человек с лентой медалей на груди. Такой же одинокий ветеран?.. А может быть, это её любимый, с которым развела её навсегда война?..

И вдали от них, почти неразличимые нашему глазу, — другие ветераны, стоящие группками старики, которых всё меньше приходит сюда, к этому монументу, в этот единственный для них день в году, когда они всё ещё пока не одиноки...

«Когда лают собаки». Старик, в ужасе обхвативший голову руками, проснувшийся среди своей одинокой ночи от страшного сна о прошлом.

«Уехали». Бабушка с кринкой молока на фоне деревенского дома с покосившейся калиткой. Только что уехали так и не успевшие попить парного молока дети и внуки. И снова — она совсем одна в заброшенной деревне...

«Если бы я мог...». Снова деревня, старая женщина под яблоней, на старой деревянной скамейке, и яблоки, которые сыплются на родимую землю по старому фартуку из её ослабших, не способных уже удержать собранные и никому не нужные плоды рук... Если бы мы только могли...

«Потерять могилу матери...». Такая до боли знакомая и ставшая в наше время вполне — увы — обычной житейская ситуация. Старое кладбище с покосившимися на нём одинокими крестами; на дороге, на переднем плане рисунка, — старенькие «Жигули» с наскоро собранным для этого дня букетиком тюльпанов на капоте; и чей-то сын, безнадежно затягивающийся сигаретой после долгих, видимо, и оказавшихся бесполезными поисков материнской могилы...

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

И вот, после этих-то должных быть оптимистическими (ведь — современность же на них изображена, когда уже ни войны и ни грохота снарядов нет вокруг!) рисунков, ты невольно торопишься вернуться, хоть за маленьким глотком надежды и веры, к той части экспозиции, где художник рассказывал нам о войне, о вере, о надежде...

«Там, на западе, сынок, наш отец...» — работа, выполненная на картоне цветными лаками. Чёрная земля, почти ночное небо, уходящая в закатную багровую даль дорога — но сколько же жизни и любви в этих прижавшихся друг другу фигурках, в матери и сыне, с верой и надеждой смотрящих на запад, откуда однажды — конечно же! — вернётся их отец...

«Секунды полёта»

...Сердце успокаивается, и мы уходим с последнего представленного на выставке раздела — это серия «Музыка» («Портреты музыкантов»). Это портреты великих композиторов прошлого, это вольные, заставляющие вдруг вспомнить Чюрлёниса, «художественные версии» их произведений (как правило — картоны и цветные лаки, бумага и пастель, и филигранные чёрно-белые карандашные рисунки, слегка тронутые прикосновением акварели и гуаши, на темы современных художников бардов).

И вот, дойдя до конца этой части наследия Ивана Старушкина, вдруг понимаешь одну простую и ясную вещь.

Несколько его последних лет — они и были музыкой, спасавшей его израненную душу, а теперь врачующей нас...

Отец Ивана, Семён Старушкин, перед тем как уйти на фронт, успел собрать из запасных частей для сына патефон, и музыка, советская военная и довоенная музыка, была с его сыном всё его военное детство. А потом, только потом в полной мере для него зазвучали Бах, Бетховен, Моцарт, Окуджава, и они звучали все те последние его четыре года...

...Сын художника, Андрей Старушкин, сохранил все сто пятьдесят работ отца, и вот в дни XXIV Красноярского краевого фестиваля духовной культуры «Покровские встречи» наконец открывается эта выставка.

Устроители назвали её по имени одной из его работ — «Три секунды полёта»... Первая выставка за все тридцать минувших после его смерти лет.

Кажется почему-то, что они очень нужны нам сегодня, эти «секунды полёта», эти мгновения несущей на себе печать времени их создания правды, мгновения, которые так и не смогла спалить до конца в сердце Ивана Старушкина окончившаяся семьдесят пять лет назад война.

Юрий Коряков

Афганские будни

Окончание. Начало в «ДиН» № 1/2020.

Афганский дневник — это мои личные воспоминания о службе и жизни в Афганистане, изложенные в хронологической последовательности и связанные между собой по месту и времени.

Все события по службе происходят в провинциях Бадахшан и Кундуз. Всё, что написано в дневнике, на девяносто семь процентов правда, три процента оставляю на свою субъективную оценку событий...

Глава сорок первая

Самым «сладким» моментом после возвращения из боевых выходов было хорошенько отмыться и выспаться. На каждой заставе, ещё до моего назначения, были построены бани. На нашей заставе она представляла собой целый «спа-комплекс» с парилкой, моечным помещением и бассейном, с камином, который был выложен при непосредственном участии солдата, эстонца по национальности, Вилли Рубина. Я сам был удивлён, когда впервые увидел это чудо посреди Ишантопской степи. Плюс к этому в едином пространстве было три небольших спальных помещения и сержантский класс.

Однако повседневная служба не позволяла особо расслабиться. Каждый день приносил новые заботы. Я отвечал за боевую подготовку и проводил занятия с личным составом на учебных стрельбах из стрелкового оружия и бронетранспортёров, проверял готовность бойцов и командиров взводов к выполнению возложенных на роту задач. В зоне ответственности нашего батальона, в составе небольших мобильных групп, вместе с командиром роты принимал участие в поисковых действиях (патрулировании местности). Периодически, в местах наиболее возможного перемещения оружия и снаряжения бандформированиями, небольшие сводные группы нашего батальона организовывали засады. Эта рутинная боевая работа была незаметной и обыденной, потому не отпечаталась в моей памяти до мельчайших подробностей. В памяти остаются яркие моменты, которые сопряжены с риском или какими-нибудь неординарными событиями.

В начале августа 1987 года в штаб батальона поступила информация о готовящейся переброске оружия и боеприпасов в районе ответственности нашего батальона. Нашей роте предстояло принять участие в очередной засаде. Командиром группы назначили Сергея Ефимкина, меня — его заместителем. Из офицеров управления батальона был привлечён секретарь комсомольской организации подразделения старший лейтенант Игорь Крамарчук. Бойцы нашей роты были основным костяком группы, несколько человек привлекались из управления батальона. Состав участников засады определялся командиром группы. Каждый боец рассматривался в индивидуальном порядке. Важно было всесторонне оценить его качества и предвидеть, как военнослужащий сможет применить полученные им навыки в реальном бою. И если по каким-либо причинам мы отклоняли и не включали в группу солдата, у некоторых возникали нешуточные обиды: «Почему Васю Пупкина взяли в засаду, а меня нет?» Приходилось сглаживать углы и аргументированно доказывать правоту принятого решения.

Глава сорок вторая

Мы с Сергеем по карте изучили возможные маршруты движения «дúхов», а накануне днём, под видом очередного рейда, провели рекогносцировку (изучение) местности, на которой предстояло выполнить задачу.

Шестого августа, после обеда, группа в полном составе собралась в управлении батальона. Комбат майор Чуваев Сергей Александрович и начальник штаба батальона майор Панченко Константин Александрович произвели смотр личного состава и проверили готовность к выполнению задачи. Начштаба отдал приказ на выполнение засадных действий.

Командир группы довёл до бойцов сведения о противнике, затем на карте и схеме указал расположение позиций каждой подгруппы и их задачи, порядок открытия огня и действий при захвате пленных (документов, вооружения) и после выполнения задачи, сигналы открытия огня, нападения, отхода и назначил своего заместителя. Кроме этого, Сергей уточнил порядок эвакуации раненых

и убитых, а также доставки пленных, захваченных документов, образцов вооружения, порядок действий подразделения при обнаружении засады противником в ходе выдвижения к месту засады. Таков был установленный порядок, определённый боевым уставом и опытом, который мы приобрели в Афганистане и неукоснительно его выполняли.

В десятом классе средней школы я прочитал знаменитый роман Александра Бека «Волоколамское шоссе» о подвиге советских солдат и офицеров 1-го батальона 1073-го стрелкового полка 316-й дивизии генерал-майора Панфилова, которые сражались и отдавали жизни в схватке с немецкими захватчиками под Москвой, на Волоколамском направлении, осенью-зимой 1941 года. Большое впечатление произвела глава, в которой описывалось, как остатки батальона выходили из окружения по единственной дороге. В какой-то момент фашисты открыли автоматно-пулемётный огонь трассирующими пулями, почти в упор. Автор описывает безумие, которое охватило наших бойцов оттого, что каждый из них своими глазами видел пули, летящие в них. Перед выходом на засаду мы решили воспользоваться этим опытом и снарядили первые магазины автоматов и ленты пулемётов трассирующими патронами.

На трёх бронетранспортёрах, чтобы не привлекать внимания, по-боевому (весь личный состав находился внутри БТР), наша группа выдвинулась в район проведения засады. Нам необходимо было проехать около десяти километров до заставы миномётной батареи нашего батальона, которой командовал капитан Алексей Визитиу. Эта застава была самая удалённая от расположения батальона. На заставе было несколько глиняных строений, огороженных высоким глиняным забором, с большим внутренним двором, поэтому наше пребывание на заставе было скрыто от посторонних глаз. Рядом с заставой находились два небольших кишлака (Дехи Калан и Шахтепа), из которых постоянно осуществлялось наблюдение за передвижениями на заставе. Позиции ста двадцатимиллиметровых миномётных расчётов, с окопами и ходами сообщений, располагались за периметром строений.

В этот день у заместителя командира первого взвода старшего сержанта Хуршеда Уракова был день рождения. Мы вспомнили об этом событии и поздравили его перед строем нашей группы.

Дождавшись тёмного времени суток, под покровом ночи группа выдвинулась к месту проведения засады. Бронетранспортёры остались на заставе, в готовности немедленно прибыть к месту проведения засады. Пеший путь до места засады занял около часа. Мы старались как можно тише, без лишнего шума, продвигаться по тропе — сначала по высохшему руслу реки, а затем по тропе вдоль дороги на Алиабад. Условленными сигналами

дозорные докладывали об обстановке. Колонна солдат, с дистанцией пять-шесть шагов, размеренным шагом двигалась установленным маршрутом.

Глава сорок третья

Наконец группа заняла свои позиции. Место засады было выбрано на пересечении двух дорог: Алиабад—Ханабад и одной из многочисленных просёлочных дорог в направлении на Карамколь. При подготовке к засаде мы предполагали, что перемещение «дúхов» с оружием будет осуществляться по просёлочной обходной дороге со стороны Кундуза в направлении Карамколя, поэтому основная подгруппа во главе со старшим лейтенантом Ефимкиным расположилась за небольшим валом, на удалении ста метров от перекрёстка, вдоль дороги на Карамколь. Подгруппа из четырёх человек со старшим подгруппы сержантом Гуджюнасом заняла позиции в пятидесяти метрах дальше от основной группы, в направлении Карамколя, с задачей захвата или уничтожения боевого дозора. Подгруппа во главе со старшим лейтенантом Игорем Крамарчуком, из четырёх человек, находилась вдоль дороги Алиабад—Ханабад, с задачей обеспечить уничтожение противника, который будет пытаться выйти из боя, отходя обратным маршрутом. В каждой подгруппе было разделение на двойки, чтобы бойцы могли страховать друг друга.

В засаде главное — скрытность, внезапность и чёткое взаимодействие всех подгрупп. По опыту проведения подобных боевых действий, не всегда удавалось реализовать то, что было задумано командованием и нами, непосредственными участниками событий. В засаде большое значение имеют его величества случай и везение.

Непосредственно на месте, где расположилась засада, не было каких-либо естественных укрытий, поэтому для скрытного расположения пришлось использовать небольшой вал вдоль дороги, который не позволял со стороны предполагаемого движения противника наблюдать нашу группу.

Тёмное время неумолимо заканчивалось, прошло около двух часов нашего пребывания в засаде. Ещё немного — и нам необходимо было возвращаться на базу, нужно было до рассвета скрытно покинуть место засады. Сергей взглядом показал на часы. Я понял, что через полчаса надо соби- рать группу в обратный путь. Наступило чувство лёгкого разочарования оттого, что все усилия потрачены впустую, что мы вернёмся в батальон без результата. Где-то в глубине души я радовался, что мы живы, нет пострадавших и все наши результаты ещё впереди...

Командир уже несколько раз выходил на это место в засаду, и возвращаться в очередной раз в батальон без результата не входило в его планы. Не рассчитывая на положительный исход нашей

засады, он встал почти в полный рост, закурил и от души выругался...

Спустя пару минут наблюдатель на правом фланге нашего расположения доложил по радиостанции о том, что в нашу сторону направляется группа душманов. В прибор ночного видения я увидел двух дозорных, которые, озираясь по сторонам, шли в нашем направлении. Я рукой взял ротного за маскхалат, опустил на землю, передав ему НСПУ-3 (ночной стрелковый прицел унифицированный). Не поверив своим глазам и потушив сигарету, Сергей шёпотом произнёс: — «Духи», «духи», «духи».

Ротный жестом показал, чтобы никто не трогал эту парочку. Мы выдерживали паузу, давая душманскому дозору пройти мимо основной подгруппы, ничем себя не выдавая. Через некоторое время мы все смогли разглядеть приближающиеся силуэты. В составе душманской группы было несколько вьючных лошадей, которых сопровождала банда из семи-десяти человек.

Между собой мы распределили цели. Расстояние до «духов» было не больше десяти метров. Отчётливо слышались вдохи-выдохи и стук копыт лошадей. Сергей на мгновение приподнялся из-за земляного вала на колени, не произнося никакой команды, первым произвёл автоматную очередь. Мгновенно огненный шквал обрушился на «духов» и животных. Сержант Усербаев Азим огромными ручищами схватил пятидесятимиллиметровый осветительный патрон и с руки направил его в сторону душманов. Ракета яркой вспышкой врезалась в первую лошадь, озаряя близлежащее пространство. От трассирующих пуль на противоположной стороне дороги загорелся сухостой. Вся картина происходящего напоминала замедленную съёмку художественного фильма-боевика. Никто из основной группы душманов не оказал сопротивления. Одновременно с началом скоротечного боя подгруппа сержанта Гуджюнаса уничтожила дозор «духов». Через минуту мы услышали и увидели автоматные очереди подгруппы старшего лейтенанта Игоря Крамарчука. Несколько душманов, которые замыкали караван, попытались убежать от места засады. От всех подгрупп поступил доклад о выполнении задачи и о том, что никто не пострадал. Скоротечный бой занял не более пяти минут.

Командир группы дал команду бронетранспортёрам прибыть к месту засады. Захваченные тюки были забиты оружием и снаряжением. Я слышал, как ротный по радиостанции докладывает в батальон о выполнении задания, о приблизительном количестве уничтоженных «духов» и о количестве добытого вооружения и боеприпасов. После доклада Сергей выругался и приказал подчинённым загрузить на БТР несколько трупов. В тот момент мы вместе с бойцами недоумевали

по поводу полученного из батальона приказа. Только по прибытии поняли: нам не верили, что был настоящий бой и что есть результаты этого боя. Такое иногда бывало в Афганистане, когда подразделение в качестве результатов боевого выхода использовало ранее захваченное оружие. Матерясь, бойцы закинули четыре трупа на броню, и, убедившись, что всё «зачищено», группа выдвинулась в обратном направлении.

Отъехав от места засады метров пятьсот, старший лейтенант Ефимкин отдал команду командиру миномётной батареи капитану Визитиу проинформировать огневой налёт на место, где минутами ранее была засада...

Глава сорок четвёртая

Обратная дорога показалась скоротечной. Солнце вышло из-за горизонта и осветило своими лучами крыши землянок и строений нашей роты. Нас встретили офицеры и прапорщики родной второй роты. Два бронетранспортёра с личным составом второго взвода нашей роты и солдатами управления батальона проехали в расположение батальона. По горячим следам вкратце мы рассказали своим сослуживцам о засаде. Наш рассказ прервал телефонный звонок из штаба батальона. Комбат просил нас с Сергеем приехать в управление батальона.

Сергей Александрович с начальником штаба батальона встретили нас у входа в батальон. Ротный ещё раз доложил о результатах засады. Бойцы выгрузили оружие, боеприпасы и снаряжение на плац перед зданием штаба. На бетонном плацу лежали две винтовки «Бур» английского производства, два пистолет-пулемёта Шпагина, два пулемёта Дегтярёва и около тридцати «китайских» автоматов АК-47 с магазинами и боеприпасами.

Комбат пригласил нас и офицеров батальона в столовую. Как это ни странно, я в первый раз был в батальонной офицерской столовой. Всё было уютно, по-домашнему, с белыми занавесками на окнах, с разными картинами на стенах. Стол был накрыт специально к нашему приезду. Когда только повара успели приготовить званый завтрак?

Сергею, Игорю и мне налили по стакану самогонки. Мы залпом опустошили содержимое. Ротный во всех тонкостях, мелочах и красках рассказал о ночной засаде. По своему состоянию я чувствовал, что алкоголь не оказывает своего воздействия на меня. Я был абсолютно трезвым. Видимо, количество адреналина в организме зашкаливало и компенсировало возможности самогона...

В беседе с комбатом и начальником штаба батальона мы узнали, что в результате засады нами была уничтожена группа «духов», которая накануне вечером захватила царандоевский пост (пост афганской милиции), и двигалась по

предполагаемому нами маршруту... Обсуждение произошедшего заняло немного времени. Участники засады сфотографировались для истории, и мы уехали на свою заставу.

Глава сорок пятая

После ночных приключений необходимо было отдохнуть, но ближе к обеду звонок из батальона прервал наш отдых. Комбат попросил снова приехать в управление батальона.

На въезде в батальон стоял белый афганский пикап. Это не сулило ничего хорошего. Мы увидели настоящих душманов, которые исподлобья смотрели в нашу сторону. Среди встречавших нас афганцев был родной брат одного из убитых в ночном бою «духов»...

Нам предстояло показать афганцам место проведения засады, с тем чтобы те смогли забрать оставшихся после боя собратьев и до захода солнца успеть их предать земле. По сути, это было ещё одно «задание» за сутки, которое потребовало от нас повышенной бдительности и особой концентрации. Мы выехали на двух бронетранспортёрах с частью тех же бойцов, с которыми накануне ходили в засаду.

Когда проезжали мимо гарнизонной свалки, гул двигателей бронетранспортёров и клубы пыли подняли в небо бесчисленную стаю грифов. Сергей сидел на шторке смотрового люка, держась левой рукой за ствол крупнокалиберного пулемёта. Я, развернувшись в противоположную движению сторону, контролировал афганцев, которые расположились на задней части БТР. По их лицам было видно, что они готовы в любую минуту открыть огонь по нам. Единственное, что немного успокаивало, — отсутствие в руках афганцев оружия. По мере приближения к месту засады напряжение возрастало. Мы были готовы к любому развитию событий.

Наконец мы прибыли к знакомому месту. Афганцы спрыгнули с брони, подошли к телам своих соплеменников, часть из которых мы не стали забирать ночью, и совершили молитвенный обряд. Сидя на бронетранспортёрах, мы сверху наблюдали за происходящим. Загрузив тела в кузов пикапа, афганцы стали думать, как транспортировать туши лошадей. Решили вторым рейсом перевести распухших на жаре животных. Обратная дорога была ещё тревожнее.

Не скрывая скорбь по своим родным и ненависть по отношению к нам, афганцы не проронили ни слова. Тоска и печаль от увиденного на месте засады переполняли и мои чувства. Почему-то хотелось быстрее забыть этот эпизод своей афганской службы.

Глава сорок шестая

В середине августа 1987 года в батальон с проверкой прибыл старший инспектор политуправления

Туркестанского военного округа майор Синельников Сергей Григорьевич. Командование батальона предупредило все заставы о проверке, поэтому, как каждая хорошая хозяйка готовится к встрече гостей, мы тоже навели соответствующий порядок. Майор Синельников, в сопровождении заместителя командира батальона по политической части майора Ермолаева Владимира Владимировича, поехал по заставам нашего батальона. Он проверял, как устроен быт наших солдат, как организована партийно-политическая работа в подразделениях. По прибытии на заставу управления нашей роты мы с Сергеем Ефимкиным встретили проверяющих офицеров.

Майор был чуть выше среднего роста, светловолосый, с голубыми глазами, загорелый, в новеньком обмундировании и в чёрных солнцезащитных очках. Ротный доложил, чем занимается личный состав подразделения, о численности военнослужащих, об обеспеченности бойцов всеми необходимыми видами довольствия.

Мы прошли в землянку, где располагались солдаты и сержанты. Проверяющий осмотрел прикроватные тумбочки, постельное бельё, поинтересовался, когда последний раз была его замена. Затем мы прошли в столовую. Всё было почти в идеальном состоянии, за исключением огромного количества мух, с которыми мы боролись с переменным успехом. Главным местом его осмотра была, естественно, ленинская комната. Спустившись в землянку, где находилось помещение ленинской комнаты, майор Синельников спросил:

— Откуда вы, товарищи офицеры?

— Я из Наро-Фоминска, служил в Кантемировской дивизии, — ответил Сергей.

— А я из Абакана.

— Служили там? — с удивлением обратился ко мне проверяющий.

— Нет, я родился и вырос в Абакане.

— А где учились, в какой школе?

— В шестнадцатой, в районе кинотеатра «Космос»...

— А моя мама живёт на проспекте Ленина, дом двадцать восемь, — неожиданно поведал майор.

— Там ещё магазин на первом этаже, продуктовый...

— Да, рядом с мемориалом Победы...

— Точно всё, в соседнем доме, на первом этаже, с торца, находится караульное помещение поста номер один мемориала Победы. Я имел честь стоять в почётном карауле...

— Ну надо же, первый раз такого близкого земляка встречаю в Афганистане, — продолжил майор Синельников.

Меня переполняли эмоции. Дистанция между старшим инспектором политуправления Туркво и мною сократилась до тёплых приятельских объятий. Мы отыскивали общих знакомых, так как Абакан небольшой город и много людей было

нашими общими знакомыми. По существу, на этом проверка в батальоне закончилась...

В августе 1986 года майор Синельников Сергей Григорьевич был заместителем командира по политической части в шиндантахском полку. Майор Синельников участвовал в выводе одного из шести полков, которые были срочно сформированы из офицеров-заменщиков и дембелей 40-й армии и выведены из Афганистана по инициативе генсека ЦК КПСС М. С. Горбачёва. Дальнейшее прохождение службы в политуправлении Туркво для Сергея Геннадьевича стало логическим продолжением карьеры. Он был самым молодым инспектором политуправления Туркво.

— Ну так что, мужики, вечером встречаемся на ужине? — обратился к нам мой земляк.

— Конечно, какие вопросы, товарищ майор, — в голос ответили мы с Сергеем, — ждём вас на ужин. — Я буду не один, со мной старший лейтенант Коновалов, и ещё, может быть, кого-нибудь привезу... — Хорошо, всё будет готово к восемнадцати часам, — подтвердил ротный.

Мы продолжили общение за ужином.

Вечером, около девятнадцати часов, подъехал БТР, на котором восседали знакомые всё лица и девушка в красном платье.

— Знакомьтесь, это Ирина.

Вместе с Сергеем Григорьевичем в нашу роту приехала молодая женщина, которую мы с ротным знали задолго до её появления в нашей кундузской роте.

— А мы знакомы, — с удивлением посмотрев друг на друга, ответили на призыв познакомиться мы.

Это была Ирина-Прима. Такое прозвище ей дали офицеры файзабадского полка за её безукоризненный внешний вид и потрясающие формы. Ирина «служила» продавцом в магазине файзабадского гарнизона. Когда мы изредка приезжали в полк и заходили в магазин, файзабадский замкомроты Арсалан Гомбоев оказывал ей безуспешные знаки внимания, а мы перекидывались между собой отдельными фразами. Она была весьма хороша собой и знала себе цену. Увидев её у себя на заставе, мы были искренне удивлены, и она тоже. Прима работала в дивизионном магазине «Книги». Именно там накануне Ирину увидел майор Синельников и пригласил её к нам на заставу, с тем чтобы скрасить нашу мужскую компанию своим присутствием.

Стол был накрыт в нашем огороде. Это был маленький оазис среди пустыни, накрытый армейской маскировочной сеткой, защищающей от палящих солнечных лучей. К столу были поданы салат из свежих овощей с зеленью, плов, консервированная югославская ветчина, чай «Lipton», югославские компоты и соки...

За рюмкой чая завязалась непринуждённая беседа. Мы вспоминали нашу малую родину.

Постепенно разговор перешёл на армейские дела. Сергей Григорьевич рассказал нам о своём жизненном и офицерском пути. Мы нашли общих сослуживцев, с которыми нас сводила офицерская служба.

Тёплая, почти семейная атмосфера, исполненные мною песни-переделки под гитару и чтение стихов, баня и бассейн способствовали небольшому расслаблению нас и наших гостей. А расслабленное выражение лица майора Синельникова С. Г. говорило о том, что ему и его спутникам понравилось наше гостеприимство. Память о встрече с самым близким земляком на афганской земле надолго осталась в моём сердце...

Глава сорок седьмая

Старший прапорщик Верховский Николай Сидорович, техник нашей роты, прибыл к нам летом 1987 года. До Афганистана он служил в Одесском военном округе помощником командира танковой дивизии, в городе Бельцы в Молдавии. На вид ему было около пятидесяти лет. Слегка лысоватый, плотного телосложения, техник роты всегда был в чистом обмундировании. Он целенаправленно приехал служить в Афганистан для увеличения выслуги лет и не скрывал своего желания, чтобы ротный не брал его на боевые действия. Мы с понимаем относились к его пожеланиям оставаться в тылу. Он один из немногих военнослужащих в нашей роте, кто каждый день получал долгожданную большую пачку писем от родных и знакомых и сам ежедневно отправлял столько же на Родину.

В нормальном, уставном понимании соответствия его должности, старший прапорщик не был технарём. Этого, собственно, и не требовалось. Используя свой жизненный опыт и быстро нарабатываемые на различных складах 201-й дивизии связи, Николай Сидорович смог организовать безаварийную эксплуатацию нашей техники.

Тринадцатого сентября 1987 года, в День танкиста, по инициативе старшего прапорщика Верховского офицеры и прапорщики роты, находившиеся на заставе, организовали небольшой праздничный стол. Не было только Сергея Ефимкина — он был в очередном отпуске. Ротный также имел отношение к танкистам, так как до Афганистана служил в гвардейской Кантемировской танковой дивизии. Однако, не успев начать праздничную трапезу, мы услышали гул самолётных двигателей. Командир первого взвода Габиль Мамедов выразил недоумение по поводу дневных полётов транспортной авиации. Через мгновение раздался хлопок, мы выбежали на открытое пространство заставы и увидели Ан-26, который залетел за границы охранной зоны, углубившись в «зелёнку» (местность, покрытую растительностью, в которой укрывались душманы). Из правого двигателя валил чёрный дым. Мы молили Бога,

чтобы пилоты смогли дотянуть до аэродрома, но самолёт слишком далеко завернул спираль, а большое расстояние и малая высота не позволили благополучно совершить посадку. Самолет упал и взорвался в четырёх километрах юго-западнее нашей заставы, рядом с восточными окраинами кишлака Мадраса.

Наше подразделение было самым близким к месту падения Ан-26. Наблюдатели с заставы третьего взвода нашей роты, которая располагалась в крепости, засекли предполагаемое место обстрела самолёта и передали координаты в управление батальона.

Получив приказ из штаба, тревожная группа в составе двух бронетранспортёров и двадцати человек личного состава немедленно выехала к месту падения самолёта. По пути следования нашей группы над нами пролетела пара Ми-24 афганской армии, которая приступила к «обработке» предполагаемого места выстрела пзрк. Из этого следовало, что сбитый самолёт предположительно был афганским. Подъезжая к горевшему самолёту, мы увидели и слышали разрывы артиллерийских снарядов...

Наша группа первой прибыла к самолёту, точнее, к его останкам. Бойцы заняли круговую оборону. Солдаты отрыли одиночные окопы в полный рост. Пожар никто не тушил, да и тушить, собственно, было нечего. На поверхности земли по разным сторонам лежали крылья, хвостовая часть и колпак носовой части. Фюзеляж самолёта был скрыт землёй.

Спустя полчаса к самолёту подъехали два ГАЗ-66, битком набитых афганцами в гражданской одежде. В первый раз я познакомился с бойцами ХАД (название службы государственной безопасности в Демократической Республике Афганистан). Их невозможно было отличить от душманов. Командир группы ХАД товарищ Али первым подошёл и представился. Мы поздоровались по мусульманскому обычаю. Али рассказал мне, что в самолёте находилось пятнадцать человек. В составе пассажиров самолёта были советник начальника службы ракетно-артиллерийских вооружений пехотной дивизии Вооружённых Сил ДРА с женой. Гораздо позже я узнал их фамилию и имя. Это были подполковник Артёмов Алексей Иванович и его супруга Рая. Кроме этого, самолёт перевозил семьдесят миллионов афгани для выплаты денежного довольствия в силовых ведомствах в трёх северо-восточных провинциях Афганистана. Вот эта последняя новость немного насторожила. Я предположил, что «дúхи» знали, какой груз перевозил самолёт. Поэтому была вероятность захвата самолёта с деньгами со стороны душманов.

Когда стемнело, бойцы на костре разогрели сухой паёк. Я предложил товарищу Али отужинать вместе с нами. Он принял предложение и в знак

благодарности протянул сигарету. Я догадался о её начинке и вежливо отказался.

Около двенадцати часов к нам подъехал КУНГ (специальная аббревиатура для кузовных типов транспортных средств, которая расшифровывается как «кузов унифицированный нормального габарита») комендантской роты 201-й мотострелковой дивизии, с охраной в составе двух бронетранспортёров. Сержант комендантской роты попросил меня подойти к будке, в которой находился неизвестный мне начальник.

Дверь кунга открылась, и я увидел знакомое лицо—это был подполковник Шеходанов В. Н. По случаю праздника он был слегка навеселе. Снова судьба свела меня с этим офицером. Я представился.

— Ты, что ли, старший?—спросил подполковник.

Заместитель командира дивизии узнал меня.

Я доложил о количестве задействованных для охраны самолёта военнослужащих, о бронетехнике и вооружении, о том, что группа заняла круговую оборону, что в случае нападения группы поддерживает огнём заставка третьего взвода нашей роты, что, кроме нас, на месте крушения самолёта находится порядка сорока «хадовцев».

— Ты знаешь, что в самолёте?

— Да, знаю,—ответил я.

— В общем, так: мне не надо семьдесят миллионов, мне достаточно одного. Понял?—без вариантов для возражений отрезал подполковник.—Деньги лежат в несгораемых мешках в переднем багажном отсеке. Надо убрать «хадовцев» от самолёта и... ну, ты меня понял...—многозначительно протянул офицер.

Дверь кунга закрылась. Я шёл к своим бойцам и не знал, как выполнять распоряжение офицера. С одной стороны—приказ вышестоящего командования, с другой—разлад с собственной совестью...

В этот момент я вспомнил слова своего товарища по училищу Александра Походина, который служил в Ташкентском воку взводным. Он встречался со многими нашими однокашниками, возвращавшимися из Афганистана, и слышал от них, что в Афгане много различного рода искушений. Зачастую они связаны с нарушением общепринятых норм, человеческих принципов и граничат с криминалом. «При любой ситуации необходимо оставаться в ладу с собственной совестью»,—слова старшего лейтенанта Походина я помнил...

Я подошёл к командиру «хадовцев» и попросил собрать в кучу его бойцов, для того чтобы мои солдаты в темноте не перепутали их с душманами, и выставил двух своих бойцов для их охраны. Через несколько минут над расположением афганцев образовался специфический смог, и постепенно их голоса стали стихать. Я подошёл к самолёту.

Оплавленный металл искорёженными кусками валялся под ногами. Кое-где ещё догорало авиационное топливо.

С заставы третьего взвода, которая располагалась в крепости Насири, ночную тишину нарушали раскаты стададцатимиллиметрового миномёта, который производил выстрелы осветительными минами в нашу сторону. Периодически я выходил на связь с командиром третьего взвода старшим лейтенантом Артёмом Купиным. Он передавал мои доклады в батальон.

Рассвет встречал ожиданиями, которые не сулили ничего хорошего. Сбившись в одну большую кучу-малу, афганцы спали на земле. Наши бойцы в полном составе бодрствовали. Проходя по периметру охраняемой зоны мимо некоторых солдат, я не сразу мог их разглядеть. Окриком они останавливали меня, давая понять, что всё в порядке, «службу служат»...

Я не стал выполнять распоряжение подполковника...

С рассветом началось движение. Над нами пролетели две пары вертолётов афганских ввс. Затем один Ми-8 произвёл посадку. Из вертолёта вышла группа офицеров афганской армии во главе с генералом с пышными чёрными усами. Афганцы обступили самолёт, о чём-то долго разговаривали. Один из офицеров фотографировал останки разбившегося самолёта. Незаметно подошёл подполковник Шеходанов и взглядом подозвал меня к себе. Я доложил ему, что не было никакой возможности что-либо сделать, чтобы выполнить его распоряжение. Тем временем генерал отдал приказ на начало работ по откапыванию самолёта. «Хадовцы» долгое время не решались приступить к работам. Тогда генерал заорал на них. Стоящий рядом со мной афганец попытался воткнуть свою лопату в землю. Его попытка не увенчалась успехом. Затем ещё несколько «хадовцев» повторили попытку. Земля как будто спеклась в один конгломерат...

Я дал команду своим бойцам принести ломы и помочь дружественному афганскому народу. Наши ребята лихо принялись за работу и показали, как необходимо копать землю.

Афганскому генералу стало неловко, и он попросил меня увести солдат. На этом наша миссия была закончена. Замкомдив приказал собраться и убыть к месту постоянной дислокации.

В вечерних сумерках через заставу первого взвода нашей роты, под охраной «хадовцев», на двух доверху заполненных ГАЗ-66 провезли обожжённые мешки с пайсой (афганская валюта). Когда уже совсем стемнело, стали перевозить «двухсотые»...

Глава сорок восьмая

Сергей Ефимкин прибыл из отпуска в начале октября. На лице ротного была нескрываемая печаль

и тоска. Неохота было лезть в душу к командиру, да и он не особо горел желанием посвящать нас в свои размышления и переживания.

После отпуска пребывание на войне становится настоящим испытанием для каждого, кто служил в Афганистане. Там, в Союзе, мирная и спокойная жизнь со всеми вытекающими прелестями. Подавляющее большинство советских граждан представить себе не могло, в каких условиях проходят службу военнослужащие 40-й армии в Афганистане, какому риску и опасностям подвергаются их соотечественники на афганской земле. Только узкий круг родных и близких людей, и то не в полной мере, знал, что на самом деле происходит в Афганистане. К концу восьмидесятых годов дозированная информация о службе в Афгане была доступна широкой массе наших соотечественников. Газеты писали о посадке деревьев, о строительстве школ, о проведении совместно с афганской армией учений, но в большей степени страна старалась не замечать, что происходит на южной границе с соседним государством.

В Ташкенте, Фергане, Термезе и Кушке дыхание войны ощущалось сполна. Простые люди в аэропортах и железнодорожных вокзалах видели раненых солдат и офицеров. На улицах можно было увидеть военнослужащих с боевыми наградами. Но затем они разъезжались, разлетались по большой и необъятной стране и растворялись в море людского водоворота...

По прибытии в родные пенаты рассказы об Афганистане поначалу вызывали у родственников и друзей определённый интерес, который после нескольких задушевных посиделок сходил на нет. У всех были свои дела и заботы. Да и особенно никто из афганцев старался не распространяться о своей службе.

Вот этот контраст между увиденным и прочувствованным в Афгане и равнодушием советских граждан вызывал психологический дисбаланс в восприятии одного и того же события разными людьми.

На адаптацию к военной жизни уходило определённое количество дней. Сергей ждал изменения своего служебного положения. Но обещанных перемещений по служебной лестнице не было. Необходимо было найти новую мотивацию для дальнейшей жизни и службы. А мотивация была проста и банальна. Надо было сохранить себя и жизни своих подчинённых во что бы то ни стало и вернуться домой...

Глава сорок девятая

С новыми силами мы окунулись в военные будни. Да, у нас не было своего «Сталинграда», но рота ежедневно занималась боевой подготовкой. Каждое утро начиналось с трёхкилометрового маршброска и зарядки в бронежилетах. Мы приводили

оружие к нормальному бою, выполняли стрельбы из различных видов оружия, отрабатывали действия по боевому расчёту, совершенствовали материально-техническую базу на каждой заставе. Мы построили дополнительные укрепления и стены на заставах, хорошую столовую в управлении роты, дополнительную долговременную огневую точку на удалённой заставе третьего взвода, в крепости. У нас было пятнадцать единиц военной и транспортной техники, которые требовали постоянного обслуживания и ремонта. Кроме этого, с завидной периодичностью рота осуществляла патрулирование зоны ответственности батальона и засады. Поэтому скучать и тосковать было некогда.

Редкими вечерами занимались написанием писем домой, слушая музыку и просматривая новостные телевизионные программы.

Однажды вечером, за ужином, в расположении первого взвода раздалась автоматная очередь, затем ещё одна... Мы выбежали на улицу. В крошечной темноте невозможно было сразу понять, что произошло...

Сбивчивым голосом дежурный по заставе доложил, что наблюдатель увидел в окопе какой-то силуэт и произвёл очередь из автомата в направлении подозрительного лица. Мы с Сергеем и Габилем подошли к траншею, осветили карманным фонариком предполагаемое местонахождение «силуэта» и увидели хорошо отпечатанные на ещё не высохшем от выпавших осадков дне окопа следы. Одни следы представляли собой отпечатки босого человека, другие — отпечатки кроссовок. Пара следов вела к проходу в минном заграждении.

Немедленно была поднята тревожная группа, и мы на бронетранспортере стали преследовать непрошенных гостей. Освещая местность штатной фарой «Луна» и осветительными патронами, на ходу простреливая автоматными очередями складки местности, мы почти приблизились к кишлаку Накель. Не менее двух часов ушло у нас на поиск злополучной парочки, но так никого мы не обнаружили. Мы возвратились на заставу и ещё раз осмотрели следы. Сомнений, кому они принадлежали, ни у кого не было: это были «духи».

Сергей доложил о случившемся комбату. Было принято решение усилить бдительность на заставах и устроить ежедневные засады на возможных маршрутах передвижения лазутчиков.

В течение десяти ночей мы с Габилем Мамедовым, командиром первого взвода, в километре от заставы вместе и поочередно выходили в засаду. В конце ноября в Афганистане обычно тёплая погода днём и холодная ночами. Короткая зима в засаде, приходилось лежать на голой земле, подкладывая плащ-палатки. После проведённой ночи голова наполнялась галлюцинациями. Плащ-палатка лежала на маковой траве. При наших телодвижениях на подстилке эфирные

масла перемешивались с росой и испарялись, и нам невольно приходилось вдыхать дурманящий аромат маковой травы. Кроме этого, холодная сырая земля вытягивала остатки тепла из организма. Мы стойко переносили тяготы и лишения, но все наши старания оказались напрасными. Никто больше не посмел повторить попытку вылазки в наше расположение.

Глава пятидесятая

У военных есть одна байка. Молодого лейтенанта, отслужившего в воинской части после училища год, вызывает командир и спрашивает: «Лейтенант, скажи, что тебе больше всего нравится — потная женщина или холодная водка?» — «Конечно, холодная водка», — ответил лейтенант. «Хорошо, в отпуск пойдёшь в декабре», — резюмировал командир...

Приблизительно так же получилось и у меня. Только я не был молодым лейтенантом, и отпуск у меня был ровно через год моего пребывания в Афганистане, в декабре 1987 года.

Время отпуска подошло незаметно. Я собрал стандартный набор подарков для родных и близких, который включал в себя платки с люрексом, сервизы кофейный и чайный с мелодией, костюмы спортивные, кроссовки, джинсы «варёные», костюм «Kommando», тигровое покрывало, ткань маме на платье, двухкассетный магнитофон, электробриту «Sanuo», набор «ногтегрызок», ручки и ещё какую-то мелочь. С одной пересадкой, через Кабул, долетел до Ташкента. Не помню, чтобы как-то особо тщательно проходил таможенный контроль, но в автобус, следовавший до ташкентского аэровокзала, я не попал.

Пришлось воспользоваться услугами таксиста-частника. Много раз всех нас, воинов-«афганцев», предупреждали: Ташкент город хлебный, но он же и прифронтовой город, в котором криминальный мир способен на опасные преступления.

Ко мне подошёл водитель-узбек и спросил: — Командир, куда едем?

Я назвал адрес своего товарища по училищу Саши Походина. Он жил в одноэтажном флигеле рядом с Ташкентским воку. Мы загрузили вещи и поехали по незнакомому ночному шоссе. Проехав с километр, автомобиль свернул с основной дороги в махаллю (часть города с преимущественно мусульманским населением). Водитель сказал, что ему надо забрать своего брата, чтобы увезти в Ташкент. Он вышел из машины, прошёл во двор и долгое время отсутствовал. Естественно, я немного насторожился и пересел на заднее сиденье «Волги», чтобы лучше контролировать ситуацию. Наконец «братья» вышли, и мы продолжили движение в сторону города. Я плохо ориентировался в незнакомой местности и не представлял, где мы едем.

Вдруг посреди дороги возник переносной шлагбаум в виде наспех срубленного ствола дерева,

который был закреплён на подъёмнике. Рядом со шлагбаумом стояли два милиционера и мотоцикл с коляской. Медленно приближаясь к «милиционерскому посту», «таксист» сказал, что надо дать денег, чтобы «не прикопались». Я протянул три рубля. Водитель вложил в водительское удостоверение купюру и, не выходя из машины, передал его милиционеру. Ловким заученным движением гаишник-узбек переместил трёшку в свой карман, посмотрел в кабину и произнёс:

— У вас всё нормально?

— Ягши, ягши, командир, у нас всё хорошо...

Мы продолжили поездку. Мои новые «друзья» на узбекском языке стали о чём-то разговаривать между собой. Разумеется, я не мог точно понять, «об чём речь», и решил перевести их разговор на русский, «включив» среднеазиатский акцент, вставляя узбекские и таджикские словечки и выражения, которые слышал в далёком детстве и общаясь с азиатами уже в армии.

— Бугун кундузи Тошкентда оби хавокандай? (Какая погода в Ташкенте днём?)

— Братан, ты чё, на узбекски гавариш? — удивился таксист.

— Кам-кам («чуть-чуть» по-таджикски), у меня отцовский родня Пергана живёт. Тётя Лида до сих пор с мужем там живёт, она на шелкомотальной фабрике бригадиром работает. Ещё тетя Надя в Киргизиях на военном аэродроме у лётчиков в медсанчасти служит. Бабушка давно Пергана живёт. Знаешь, почему Пергана? Потому что «Пе» такой, — согнув руки и упёршись ладонями в пояс, я показал букву «Ф».

— Ай, брат, ну ты даёшь, хоп!!! А где Пергана тётка живёт? — расплылся в улыбке «брат» таксиста.

— Ахунбабаевский массив знаешь? Вот там и живёт, дом шестьдесят, а бабушка живёт на Калининский массив, рядом с милисией, там ещё озеро искусственный есть, — во всех подробностях я начал описывать свои познания в географии Ферганы.

При слове «милиция» напарник слегка шелохнулся и повернулся в мою сторону. Последний раз я был в Фергане с родителями в 1975 году, но помню тот приезд во всех подробностях. Своими «баснями» я расположил «братьев» к себе и остаток пути чувствовал себя немного спокойнее.

Тем временем мы подъезжали к походинскому флигелю. Я показывал дорогу, которую хорошо изучил, прожив у Саши больше месяца перед отправкой в Афганистан. Я первым выскочил из машины, попросил открыть багажник с чемоданом, подошёл к двери и нажал на кнопку дверного звонка.

— Сколько с меня?

— А, сколько не жалко, командир...

— Правда, сколько? Я ж не знаю ваших ночных расценок.

— Ну, давай сколько можешь.

Я достал сиреневую четвертную купюру и протянул таксисту.

— Эй, брат, я тебе там, в «Тузеле», столько ждал... — увидев «всего» двадцать пять рублей, жалобно протянул таксист, как будто он лично меня стоял и ждал. — Ну хотя б какой бакшиш-макшиш давай.

— Какой тебе бакшиш? Я тебе денег заплатил.

— Ну, там, платок-маток, люрекс-мюрекс. Весе «афганцы» чё-нить везут.

В этот момент вышел Саня Походин в подаренных мною ещё до «войны» красных фирменных шортах с тремя полосками, и мне стало спокойнее. Мы обнялись. Он увидел картину маслом и спросил меня:

— Сколько ты им денег дал?

— Двадцать пять рублей.

— Этого за глаза хватит. Тинчгина кетинглар бу ерлардан (уезжайте отсюда с миром), — на узбекском языке произнёс Шура. — Рахмат большой, брат, рахмат, — Саня поблагодарил водителя за мою доставку.

Глава пятьдесят первая

Оказавшись в Союзе, я думал, что будет спокойно и мирно. Нет, Ташкент был прифронтовым городом, со всеми вытекающими последствиями. В Ташкенте чётко работала «билетная» мафия, оказывая услуги по беспроblemному приобретению билетов на все виды транспорта и на все направления. Около билетных касс стояли так называемые «жучки», без труда вычислявшие «афганцев», и предлагали купить билеты в любую точку Советского Союза.

На следующий день после прибытия в Ташкент я поехал в аэропорт; отстояв в очереди, протягивая перевозочные документы, обратился к кассирше: — Мне один билет до Абакана, через Красноярск, на завтра.

— Билетов до Красноярска на ближайшие дни нет, — даже не заглядывая в монитор компьютера, ответила, как отрезала, женщина в синей форменной одежде.

Я отошёл от кассы. Ко мне тут же подскочил «жучок», узбек с длинными вьющимися волосами, одетый в джинсовые рубашку и куртку и светлые льняные брюки.

— Куда летим, командир? — почти шёпотом, на ухо, произнёс молодой человек.

— В Красноярск, — ответил я.

— На Красноярск билетов нет, это точно, но я постараюсь помочь, брат.

— Давай. Сколько это будет стоить?

— Двойная цена билета.

— Это сколько?

— Ну, сколько до Красноярска? Рублей сорок пять? Вот и считай, сорок пять рублей в кассу и столько же мне, — как вполне само собой разумеющееся

озвучил «жучок». — Понимаешь, надо всех «кормить».

— А проездные документы в кассу пойдут?

— Нет, только наличные.

Мне не жалко было этих денег, хотелось быстрее домой, к родным, но у меня просто физически с собой не было столько денег в кармане. Я решил съездить к Саше Походину, где я остановился, и вернуться в аэропорт.

Приехав домой, за обедом я рассказал Сане о своих мытарствах в аэропорту.

— Что-нибудь придумаем. У меня есть хороший знакомый, он служит военным комендантом в Ташкентском аэропорту. Я созвонюсь с ним, и сегодня вечером будем у него.

Так и случилось. Вечером вдвоём мы нагрянули в холостяцкую квартиру к коменданту Ташкентского аэропорта.

Нас встретил молодой человек, наш ровесник, выпускник Ленинградского высшего ордена Ленина Краснознамённого училища железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе. Он был в курсе моих проблем и с ходу пообещал отправить меня на родину.

Мы быстро накрыли на стол, выпили за знакомство и за мою удачную отправку. Владимир, так звали моего «спасителя», попросил у меня документы и прошёл в соседнюю комнату, с тем чтобы продиктовать мои данные дежурному коменданту для снятия его личной брони. Возвратившись, комендант от удивления широко открыл глаза:

— А у тебя, случайно, родственников-генералов нет?

— Нет, не должно быть в родове генералов, — подумав, ответил я.

— У тебя фамилия как у нашего начальника училища, и ты здорово на него похож, — не унимался Володя. — Ты, наверное, скромничаешь?

— Нет же, точно говорю, ни одного генерала в родне не было, если только дед где-нибудь... Но дед, офицер-танкист, пропал без вести в первые месяцы войны.

— Хорошо, но это так редко бывает — и фамилия, и похож на нашего генерала, — чуть расстроившись, продолжил комендант.

Да, в этой жизни всё может быть. Спустя почти двадцать лет я был в Питере вместе со своей женой Светланой, нашёл улицу, которая носит мою фамилию, и сфотографировался на память.

Утром следующего дня у меня был талон личной брони военного коменданта на приобретение билета до Абакана, с пересадкой в Красноярске.

Я подошёл к кассе и увидел знакомого «жучка». Он метровыми скачками подбежал ко мне в надежде, что я принял его предложение. Я жестом остановил его великодушный порыв и без очереди протянул талон кассирше.

— Что, по брони? — с сожалением спросил молодой человек.

— Да, — коротко, без объяснений, и с гордым видом ответил я.

Глава пятьдесят вторая

В предвкушении встречи с родными я летел домой. Мыслей никаких не было, быстрее бы увидеть маму и отца. Брата Олега в начале лета призвали в армию. У него была возможность пройти армейскую службу «заочно». Так практиковали спортивные функционеры, устраивая перспективных игроков хоккейной команды «Саяны» в местную железнодорожную военную бригаду. Но я категорически был против этого и в письме написал брату, чтобы тот не увиливал и, как все нормальные мужики, отдал свой воинский долг нашей Родине.

Маме наконец дали квартиру в новом доме. Восемнадцать лет мы четвером прожили в крохотной «однушке», имея только холодную воду. Чтобы помыться, необходимо было топить специальную ёмкость, так называемый титан. Я стеснялся пригласить своих друзей к себе в «апартаменты» и от этого испытывал определённый комплекс. Я не знал новый адрес, но у меня был новый номер домашнего телефона, поэтому, приземлившись в Красноярске, я позвонил родителям, чтобы отец встретил меня в аэропорту.

Из Красноярска улетаю последним ночным рейсом на Абакан. Весь свой багаж, а это большой чемодан весом тридцать килограммов, спортивная сумка около пяти килограммов и коробка с магнитофоном, необходимо было самому нести до самолёта. В накопителе перед посадкой увидел своих знакомых абаканцев: заслуженного тренера по настольному теннису Ю. Д. Лебедева, мастера спорта международного класса Ирину Запёвалову, мастера спорта Сашу Головченко, ещё нескольких молодых спортсменов-теннисистов. Юрий Дмитриевич был моим первым спортивным тренером. С Ириной и Александром мы жили в одном районе и учились в одной школе.

Едва я вышел из тёплого накопителя на посадочный перрон, у моего чемодана отвалилась ручка. Пришлось взвалить его на правое плечо, придерживая той же рукой; спортивная сумка висела через то же плечо, а коробка с магнитофоном расположилась в левой руке. Не прошёл я и пяти метров, как вся эта конструкция рухнула, и я оказался под ней. Я не мог пошевелиться, резкая боль в спине пронзила всё моё тело.

— Что случилось, Юра? Помочь? — знакомый голос Саши Головченко вселил в меня надежду на спасение.

— Да, если не трудно, Саня, — еле шевеля губами от боли, ответил я.

— Юра, ты идти можешь? Давай сумку или коробку, — предложил свои услуги Александр.

Совместными усилиями мы добрались до трапа самолёта. Пронизывающий декабрьский ветер продувал насквозь моё модное пальто. Непривычно было после Афганистана окунуться в холодный сибирский климат.

Ещё один перелёт—и я дома, в кругу семьи. Время в полёте пролетело незаметно, всего сорок пять минут в воздухе—и я снова на родной земле. Отсюда я неоднократно улетал, уезжал и вновь возвращался. Знаю, как переживали за меня мама и отец. Чего им стоила моя служба в Афганистане, можно было только догадываться...

Превозмогая не угасшую за время полёта боль в спине, я вышел к месту встречи пассажиров и увидел среди толпы встречающих своего отца. Мы крепко обнялись. Из его глаз потекли слёзы. — Ну, здорово, батя! Слава Богу, добрался до дома!—я стал успокаивать отца.

— Привет, сынок! Как долетел?

— Нормально, если не считать проблем с чемоданом и вот этим барахлом,—я показал на свой багаж.—А ещё спину в Красноярске сорвал немного.

Отец насторожился, подумав про себя, что у меня, возможно, ранение, о котором я ничего не написал, и посмотрел, что можно сделать с ручкой чемодана, готовый устранить неисправность тут же, на месте.

— Поехали домой. Я сорвал спину, подняв этот чемодан на перроне в Красноярске,—сказал я, предвидя ненужные расспросы отца.

Мы сели в такси и поехали по ночному Абакану. Я вглядывался в знакомые улицы, хотел запомнить и зафиксировать в своей памяти каждый пятачок родного города. Только теперь мы ехали не в свой знакомый до боли «Космос», а в новый дом по улице Советской...

Мама встретила на пороге квартиры, в слезах от радости и счастья. Старший сын вернулся на побывку. Из кухни по всей квартире разносился знакомый котлетный аромат. Стол уже был накрыт. Главное, что я выпил с превеликим удовольствием,—это цельное молоко, которого я не пил больше года. Это мой любимый напиток, который я любил с детских лет и мог за один присест с печеньем выпить литра два.

Непонятно, что это было, поздний ужин или ранний завтрак. Мы не могли наговориться, родители ловили каждое моё слово и старались запомнить всё, о чём я им рассказывал. Была сплошная семейная идиллия, не хватало лишь младшего брата Олега. Его летом призвали в армию, он проходил службу в Новосибирске, в батальоне охраны штаба Сибирского военного округа, водителем автомобиля. Я поделился с родителями мыслью о том, что мне обязательно надо съездить к брату.

Утром я не мог встать с дивана. Спина отваливалась, я не мог пошевелиться, резкая боль

пронизывала всё тело. О какой-либо поездке в ближайшие дни не могло быть и речи. Я предположил, что результатом этих болей были мои ночные засады перед отпуском, когда мы лежали на сырой земле в течение десяти ночей. Плюс ко всему—общее моральное и физическое истощение организма за год службы в Афгане.

Глава пятьдесят третья

Лишь двадцать восьмого декабря я полетел к брату в Новосибирск. Поздно ночью пришёл на КПП его воинской части в Мочищах, под Новосибирском. Олега вызвали, и я наконец встретился с братом. Он не ожидал меня здесь увидеть, и оттого встреча была яркой и эмоциональной. Мне было очень важно увидеть его.

С разрешения ответственного по роте офицера меня разместили в ротной ленинской комнате. Я достал гостинцы, приготовленные мамой. Мы поели, поговорили, и я попросил Олега, чтобы он поделился со своими сослуживцами разными вкусностями. Рядовой Коряков ушёл спать, впереди его и меня ждал непростой день. Затем я встретился с ответственным офицером. Это был командир роты, в звании капитана. Офицер тоже служил в Афганистане. Нам было о чём поговорить. Я спросил ротного:

— Есть ли хоть малейшая возможность отправить брата со мной в небольшой отпуск?

— Скорее всего, такой возможности нет. Рядовой Коряков прослужил в батальоне немногим более полугода, поэтому командование вряд ли пойдёт тебе навстречу,—возразил ротный.

Но я знал: в батальоне служит мой училищный старшина Валера Абрамов, командир стрелковой роты, к которому я и поехал ранним утром.

В училище со старшиной Валерием Абрамовым мы были в одном взводе, в одном отделении. Я—командир курсантского отделения, он хоть и старшина курсантской роты, но на занятиях я командовал Абрамовым, и когда мы встретились в расположении батальона охраны Сибво, мой училищный старшина был чрезвычайно рад меня увидеть. В училище он выделял меня и Саню Походина из всех курсантов и часто доверял нам выполнять особые поручения. Уже в начале учёбы, когда вся рота проходила курс молодого бойца, мы втроём мастерили встроенные шкафы в двух каптёрках нашей роты. Вечерами мы пели песни под гитару. Это занятие тоже нравилось старшине. Валера, как и я, был в группе курсантов, которая изучала французский язык. Он был очень старательным курсантом, но, без ложной скромности, у меня с французским получалось значительно лучше, чем у него, поэтому он иногда обращался ко мне за помощью, в чём я с удовольствием ему помогал. Все четыре года в училище прошли с нашим старшиной мирно и спокойно,

хотя по отношению к остальным ребятам он был непримирим.

Я рассказал Валере о своём желании попытаться взять Олега с собой в отпуск.

— Надо подумать. Я попробую поговорить с комбатом, если сможешь убедить майора — флаг тебе в руки, я постараюсь организовать тебе встречу, — обнадежил старший лейтенант Абрамов. — Вечером поедem ко мне домой, Ирина накроет стол, посидим немного, пообщаемся.

— Хорошо, но только я должен знать, поедет ли брат в отпуск и надо ли покупать для него билет, — горел желанием закрепить свою надежду я. — Ладно, я пойду к комбату и постараюсь с ним поговорить о тебе, решим твой вопрос, а потом — каждый по своим делам, — уступил Валера Абрамов.

До обеда я шатался по территории батальона, был в роте у старшего лейтенанта Абрамова. Затем посыльный пригласил меня к командиру батальона охраны штаба Сибво.

Зайдя в кабинет, я увидел здорового офицера, мы пожали друг другу руки. Большая тёплая ладонь внушала уважение. До назначения в это подразделение командир батальона командовал дисциплинарным батальоном Сибирского военного округа. Я без раскачки и по существу начал излагать свои мысли:

— Товарищ майор, я брат солдата, который служит под вашим командованием в роте штабных машин, в Мочище. Я служу в Афганистане заместителем командира роты, сейчас нахожусь в отпуске и хотел, чтобы вы предоставили возможность побыть мне немного дома вместе с братом. Я понимаю, что он прослужил не так много, чтобы заслужить такое право, и я бы никогда не стал просить за него, но здесь ситуация исключительная, и я прошу вас пойти мне навстречу.

— Как вас звать, — поинтересовался майор.

— Юрий.

— А по отчеству?

— Михайлович.

— Юрий Михайлович, я всё прекрасно понимаю, мы оба офицеры; хорошо, что вы такой сердобольный, но вы правильно заметили: он ведь отслужил всего полгода. Как на это посмотрят его сослуживцы? — комбат сомневался и не решался сделать ответственный шаг. — Да и особых заслуг у него нет, чтобы поощрять краткосрочным отпуском. — Товарищ майор, я бы никогда и сам не насмелился пойти на такую просьбу, если бы не служба в Афганистане, тут ведь всё может случиться, — я попытался использовать последний аргумент.

Закурив, комбат поднял трубку телефона, набрал номер и спросил кого-то на другом конце провода:

— Здравия желаю, товарищ капитан! У вас в роте служит рядовой Коряков... Да, он у меня сидит. Хочу спросить вас: как он служит?

Протянулась пауза, которая показалась мне вечностью. Я очень неловко чувствовал себя в положении просящего человека, но ради наших с Олегом родителей надо было довести начатое дело до логического завершения.

— Хорошо, срочно пишите ходатайство на его отпуск, и чтобы сегодня рапорт был в штабе батальона, а завтра рядовой Коряков должен быть в готовности уехать в отпуск сроком на десять дней, не считая дороги. Всё понятно? — распорядился комбат.

Наступило облегчение. Тут и без объяснений всё было понятно. Теперь необходимо было отблагодарить офицера. У меня, как у любого нормального человека, в такой ситуации происходит ступор. Не знаешь, как тактично предложить подарок и как человек отреагирует на твоё предложение...

— Товарищ майор, как говорится, долг платежом красен. Прошу принять скромный подарок, — я достал из дипломата две бутылки армянского коньяку, набор наливных ручек «Паркер — Золотое перо» и поставил весь подарочный набор на стол. — Ни к чему всё это, старлей, не надо этих сантиментов, лишнее это, — скромничал майор.

— Это от души и от чистого сердца, товарищ майор. — Ладно, если бы не Абрамов, вряд ли бы твой брат поехал домой. Давай по маленькой, — переходя на «ты» и доставая из сейфа две рюмки и лимон, предложил комбат.

Мы выпили с майором по рюмке коньяку, он пожелал мне без проблем дослужить в Афганистане. Я ещё раз поблагодарил комбата и вышел из кабинета.

Почти сутки мы с братом добирались на поезде до Абакана. Рано утром тридцать первого декабря, в канун нового 1987 года, пешком от железнодорожного вокзала мы дошли до нашего нового дома по улице Советской. Перед тем как уехать в Новосибирск, я ничего не говорил родителям о своём желании привезти Олега в отпуск, и когда открылась входная дверь и они увидели на пороге своих сыновей, мама и отец чуть не упали в обморок... Это было настоящее родительское счастье...

Глава пятьдесят четвёртая

В начале февраля 1988 года, после отпуска, я возвращался к месту службы в Афганистан, в провинцию Кундуз. На военном аэродроме «Ташкент-Восточный» («Тузель») суeta и неразбериха. Пройдены пограничный контроль и таможня. Большой проблемой при пересечении советско-афганской границы было провезти горячительные напитки, которые были запрещены к перевозке в Афганистан по причине горбачёвского «сухого закона». Чемодан весил килограммов двадцать пять. Я боялся, что у меня будет перегруз, а оплачивать лишнее было уже нечем. Все деньги оставил в отпуске. Опасения оказались напрасными,

так как особенно за этим никто из персонала аэродрома не следил. В чемодан, привезённый ещё из Чехословакии, я упаковал трёхлитровую банку «вишнёвого компота», запечатанную заводским способом. Вместо компота в банке был известный русский сорокаградусный напиток, подкрашенный настоящим вишнёвым сиропом.

Находясь в отпуске, я получил две посылки от родителей моего солдата Вилли Рубина из Эстонии. Первая посылка, с реактивами и фотобумагой для фотопечати и шоколадными конфетами, предназначалась для Вилли. Вторая посылка, в знак благодарности, предназначалась лично для меня. В ней был таллинский бальзам и набор хороших шоколадных конфет с ликёром.

Между тем после прохождения пограничного контроля разношёрстная военно-гражданская братия набилась в накопитель и пребывала в ожидании посадки в Ил-76. На старых, порядком обветшавших, обитых чёрным дерматином раздолбанных сиденьях, с чемоданами и разными поклажами, расположились уже побывавшие в Афганистане военнослужащие, которые возвращались из отпусков и командировок, и впервые ехавшие к новому месту службы офицеры и прапорщики, а также вольнонаёмные гражданские, в том числе и представительницы слабого пола. Кто-то спал, кто-то пребывал в смятении и тревоге от предстоящих событий. У одной из девушек в авоське я заметил кухонную утварь (чайник, чугунную сковороду и кастрюли разных калибров). Посадка явно затягивалась, и точного времени отправки никто не знал. Так прошло часа два. Несмотря на известный указ, необстрелянный народ стал украдкой доставать из своих заготовок припасённый алкоголь и закуски к нему. Контингент же «ограниченный», имевший опыт, выдерживал мхатовскую паузу...

Как говорится, общее горе и радость сближают людей, поэтому в местах, где появлялось горячительное, образовывались кружки по интересам. В одну из таких групп попал и я. Рядом с нашей компанией, у майора-артиллериста, одетого в повседневную шинель, на чемодане лежала гитара. Я спросил разрешения, настроил её под себя и спел одну из своих песен-переделок «Бадахшан», родившуюся в Файзабаде, на мотив популярной песни вИА «Самоцветы» про Али-Бабу...

1.

В Файзабад решил я снова ехать, друзья,
Ой, Бадахшан!
На народ поглядеть и себя показать,
Ой, Бадахшан!
Вышел стар, вышел млад, каждый очень был рад,
Ой, Бадахшан!
Сапоги я привёз, была радость до слёз,
Ой, Бадахшан!

Припев:

Примирение в Афгане, но не дремлет шурави,
Лишь в родимом Бадахшане всё спокойно до зари...

2.

Я в дуканы зашёл и товар там нашёл,
Ой, Бадахшан!
Я «Командо» купил, много чеков спалил,
Ой, Бадахшан!
Лазурит на бакшиш, на компотик кишмиш,
Ой, Бадахшан!
Для ханумки браслет лишь за пару монет,
Ой, Бадахшан!

Припев.

3.

Вот настала пора, «дúхов» трогать нельзя,
Ой, Бадахшан!
Обнагтели они и в Кури вновь пришли,
Ой, Бадахшан!
Взять бы в плен восьмерых, дшк на двоих,
Ой, Бадахшан!
Чтоб медаль нацепить и героем ходить,
Ой, Бадахшан!

Припев.

Ой, Бадахшан! Ой, Бадахшан!
Ой, Бадахшан! Ой, Бадахшан!
Ой, Бадахшан! Ой, Бадахшан!
Ой, Бадахшан! Ой, Бадахшан!

Незамысловатая песенка произвела впечатление на присутствующих, и в железной кружке расплескался жизнеутверждающий напиток. Хороший напиток примиряет с неидеальным миром... Что бы скоротать время и отвлечься от ненужных в данной ситуации мыслей, стали травить анекдоты, байки о жизни и службе в Афганистане. Хохот раздавался по всему помещению.

Сидевший рядом молодой лейтенант в выцветшей полевой форме-«афганке» рассказал в присутствии вышеупомянутой молодой женщины свою историю...

— Я ведь тоже, когда первый раз летел, по совету бывалых попутчиков, заблаговременно, перед вылетом, положил сковороду под мягкое место. А что вы смееетесь? Я правду говорю. Удобно устроился в Ми шестом, только жестковато чуток... Ну, значит, подлетаем к Файзабаду... Вертолёт почему-то завалился ближе к горам. Ну, думаю, капец нам пришёл. Уже приготовился к самому худшему, потому что вижу, как по нам лупят из всех видов КПВТ. То тут, то там видны пробойны от пуль разных калибров. И тут такой удар в заднее место. Я аж на полметра подпрыгнул, боль, не могу при дамах сказать, в каком месте... Осмотрелся—вроде живой, и вертолёту ничегошеньки... Короче, сели мы, я осмотрелся, поднял сковородку, а в ней

вмятина, вот такая, — лейтёха закольцевал свои ладони в большой круг.

Восторг и удивление женщины и всех, кто, развесив уши, впервые летел в Афганистан, не знали границ. Не знаю, может, и правда была такая история: кто теперь проверит?..

Принимая всё сказанное за непреложную быль, попутчица обрадовалась, что у неё есть такое средство противовоздушной обороны. И вот уже у офицера в кружке забултыхался ядрёный напиток. Без малого десять часов мы просидели в мирном накопителе, отсрочив себе непредсказуемое продолжение будущего полёта и приземления.

Как всегда неожиданно, в громкоговорителях прозвучало приглашение на посадку. Народ спокойно, без суеты, потянулся со своим скарбом на перрон, где нас уже ждал самолёт на Кабул. Лайнер был оборудован сиденьями-скамьями в два яруса. Мне, как бывалому пассажиру, досталось место возле кабины пилотов на кресле борттехника-оператора. Все разместились согласно «купленным билетам». Двигатели запустили, самолёт не спеша тронулся со стоянки и проследовал к старту взлётно-посадочной полосы. На лицах моих соседей-попутчиков я увидел плохо скрываемый страх от предстоящего путешествия и неопределённости. Майор-артиллерист с гитарой оказался рядом со мной, на втором ярусе. Суета в движениях и взгляде, испарина на полысевшей голове, неизвестность предстоящих событий выдавали тревогу, которая передалась и мне.

«Ильюшин» замер перед броском. Двигатели взревели на полную мощь. Самолёт набрал скорость, необходимую для взлёта, и нехотя оторвался от бетонной полосы, помчав в неизведанную для многих даль. Иллюминатор был далеко, и я урывками мог наблюдать землю до момента, когда самолёт, заложив вираж, вышел на заданный курс до афганской границы.

Спустя минут двадцать лайнер набрал высоту, народ успокоился. Кто-то уснул или делал вид, что спит. Кто-то о чём-то разговаривал с соседями. Каменное лицо майора наводило на определённые мысли. Я видел, как он мучается, но не мог понять отчего. И вот, когда самолёт приступил к снижению над аэродромом Кабула, развязка свершилась. Видимо, в эту минуту сложилось всё: и выпитый накануне алкоголь, и страх, и то, как осуществлялась посадка «по-афгански»...

У всех, кто находился внутри самолёта, уши сворачивались в трубочку, дыхание учащалось и сбивалось в непривычный ритм, людей придавливало к сиденьям. И тут бравый майор-артиллерист не выдержал. Всё содержимое его желудка изрыгнулось на собственную шинель и на попутчиков, сидящих под ним на нижнем ярусе. Зрелище было неопишное, эмоции переполняли организм...

Слава Богу, что наше путешествие закончилось и мы приземлились целые и невредимые, если не считать моральных потерь от «фонтана» майора-артиллериста...

Глава пятьдесят пятая

В Кабуле, на пересыльном пункте, в казарме модульного типа, неожиданно я встретил командира миномётной батареи нашего батальона — капитана Алексея Визитиу. Радости не было предела. Знакомое лицо на пересыльном пункте в Кабуле!!! Это что-то... Мы подошли друг к другу, поздоровались, обнялись...

Я физически почувствовал высохшую правую ладонь капитана. Я видел, как он её держит, оберегая от ненужного контакта. Потом, чуть позже, увидел, как он нагружает руку резиновым эспандером. Он возвращался после лечения в Кабульском армейском госпитале.

— Лёша, что случилось? — спросил я.

— Потом расскажу, — нехотя ответил командир батареи.

Я не стал лезть к человеку в селезёнку. Видно было, как ему неловко находиться в этой ситуации. Но что-то подсказывало мне, что есть какая-то тайна того, что с ним произошло.

Вечером капитан рассказал мне, что перед самым Новым годом подорвался на mine, типа МОН-50, когда ехал на ГАЗ-66 с заставы командира третьей роты к себе в расположение. Подрыв произошёл со стороны водителя, младшего сержанта Польшина, который принял на себя почти весь заряд от мины. Кабина автомобиля со стороны водителя была изрешечена убийными элементами, как дуршлаг... Командиру батареи досталось два осколка в правую руку, которой он держался за поручень в кабине, перебив десять сантиметров сухожилия.

Паша умер по дороге в медсанбат на руках у рядового Анатолия Кирюшкина...

Что тут скажешь? Горечь от потери солдата, сына, брата и очень хорошего молодого человека, ничем нельзя измерить. Павел Польшин служил в нашей роте и был прикомандирован в миномётную батарею как водитель БРДМ-2 для передачи своего боевого опыта вновь прибывшим молодым бойцам батареи. Ещё накануне моего отпуска он попросил нас, отцов-командиров, отозвать его из миномётной батареи в свою родную вторую роту, так как молодые солдаты-водители батареи возмужали и окрепли, а в нашей роте у него были друзья и два земляка из Украины. Наш ротный Сергей Ефимкин написал рапорт на имя командира батальона с просьбой вернуть солдата в роту, но, видимо, что-то не сложилось, и теперь мы все вместе винили себя, что не настояли и не сберегли своего солдата от злополучной мины...

После рассказанного мы с Алексеем и с соседями по модулю помянули Пашу. В разговоре

с капитаном я почувствовал недосказанность, он отводил взгляд и уходил от ответов на мои прямые вопросы. А вопросы были. Как он оказался на заставе у командира третьей роты? С какой целью он туда ездил, да ещё на ГАЗ-66? Почему поздно возвращался на свою заставу? Почему поехал по неустановленному маршруту?

Развязка и ответы на мои «почему» наступили, когда я приехал в расположение своей роты. За столом по случаю моего прибытия я услышал всю правду о том, что произошло на самом деле...

Накануне нового 1988 года, двадцать девятого декабря 1987 года, два приятеля, командиры подразделений нашего батальона капитан Визитиу и капитан Трижичинский, решили встретиться на заставе командира третьей роты. Капитан Визитиу приехал на злополучном «шестьдесят шестом». Друзья засиделись дольше положенного, а возвращаться на глазах у всего батальона — это навлечь на себя гнев командования. Поэтому командир батареи принял решение ехать другим, окружным путём, не сказав о своём плане ротному.

Когда отъехали от заставы несколько метров, прозвучал взрыв мины, которая была установлена на обочине дороги. Самое паршивое в этой ситуации было то, что мина, на которой подорвался «шестьдесят шестой», была установлена бойцами третьей роты под командованием капитана Трижичинского. Минное поле было накрыто вокруг всей заставы на случай предупреждения от внезапного нападения «духов», а мины направленного действия, по инициативе командира третьей роты, — на обочинах дороги, которая располагалась с тыльной стороны заставы. О том, что, кроме основного минного поля, были ещё и мины направленного действия на обочинах дороги, никто в батальоне не знал.

Павла Польшина за мужество и героизм наградили орденом Красной Звезды посмертно.

История получила своё продолжение спустя несколько лет. Уже вернувшись в Союз после Афгана, в начале девяностых, я смотрел передачу на одном из центральных телеканалов о всесоюзном фестивале солдатской песни. Ведущая зачитала письмо сестры Павла Польшина. Меня словно резануло по живому... В памяти вновь промелькнули события тех лет. Сестра просила откликнуться сослуживцев её брата и рассказать правду о том, как погиб Паша. На родине солдата, в школе, где он учился, в память о нём силами учащихся организован музей.

Какую «правду» и что я мог рассказать сестре Павла Польшина? Нужна ли ей эта «правда»? Не знаю...

Глава пятьдесят шестая

В первых числах февраля 1988 года я возвратился из отпуска. За время моего отсутствия случилось

событие, описанное выше, и ещё один инцидент, который едва не закончился трагично для нашего командира батальона майора Чуваева и Сергея Ефимкина...

В начале января, в сумерках, с заставы миномётной батареи наблюдателями было замечено передвижение трёх «барбухаек» по автодороге в направлении Ханабада. Миномётным огнём были остановлены три большегруза, доверху забитые разным барахлом. В одну из машин мина попала прямой наводкой. После доклада командира батальона майора Чуваева С. А. командиру 201-й дивизии о случившемся комдив категорически запретил выезд бронегруппы к месту, где находились «барбухайки». Лишь на следующий день, ближе к вечеру, комдив приказал, чтобы один грузовой «Мерседес» («барбухайка») стоял у ворот его штаба.

Для досмотра машин и эвакуации одного автомобиля из батальона приехали группа в составе двух бронетранспортёров под командованием майора Чуваева С. А. и тревожная группа нашей роты с Сергеем Ефимкиным и Габилем Мамедовым. Место, где была остановлена колонна, Сергеем было хорошо знакомо — это место где мы полгода назад устраивали реализованную засаду. Теперь в засаду попали мои сослуживцы. При подъезде к машинам в сторону бронетранспортёров прозвучали автоматные выстрелы и три выстрела из гранатомёта. К счастью, все три гранаты пролетели мимо цели, четвёртая граната так и осталась в гранатомёте. Первой очередью пуля попала в открытый люк новенького БТР-60 ПБ, полученного накануне, за которым сидел комбат, а оболочка от пули срикошетила командиру батальона в лицо. Окровавленный комбат укрывшись внутри бронетранспортёра. Ответным огнём трое «духов» были уничтожены на месте. Один из автомобилей стоял без кабины, которую взрывом мины разорвало в клочья, второй лежал на боку в грязи рядом с первым. Судя по всему, пытаясь объехать, он застрял и опрокинулся набок. Третий стоял невредимым, но все попытки столкнуть его с места закончились без результата. Во время осмотра места боя и «барбухаек» бойцы обнаружили в одном из автомобилей хорошо замаскированный тайник, в котором находились импортные (английские) медикаменты в больших количествах, наркотики, оружие и боеприпасы. В двух других были продукты и одежда.

Собираясь в обратную дорогу, по пути следования к своему бронетранспортёру, старший лейтенант Ефимкин чуть не пострадал от непровольной очереди одного из военнослужащих нашего батальона, который шёл сзади офицера...

Глава пятьдесят седьмая

По случаю моего приезда за ужином мы договорились с командиром роты, что обязательно

съездим в медсанбат и навестим майора Чуваева. Из отпуска я привёз «вишнёвый компот», который был к месту в холодный зимний вечер, разных вкусных сибирских деликатесов и передачу для своей землячки — Любы Ямм, которую мне ещё предстояло найти в управлении 201-й мотострелковой дивизии.

— Юра, ты знаешь, как оценили нашу с тобой работу? — спросил меня ротный.

— Какую работу, Серёга? — забыв о засаде полугодовой давности, вопросом на вопрос ответил я.

— Знаешь, как говорили фронтовики: «Ваньке за атаку хрен в сраку, а Машке за...» — Красную Звезду», — ротный не скрывал своего гнева. — Во время твоего отпуска вместо Красной Звезды мне перед строем вручили «Звезду Шерифа» (орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, которым в мирное время в Союзе награждают за успехи в боевой и политической подготовке). Через пару недель прилетел представитель наградного отдела сороковой армии и забрал у меня этот орден, вручённый перед строем батальона, сказав, что он вручён по ошибке, и втихоря всучил мне медаль «За боевые заслуги», которую я отказался получать и оставил в батальоне. Представляешь, Михалыч, какие клоуны? — ещё больше разошёлся ротный. — Саню Локтионова, командира второго взвода, тоже перед строем наградили орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» третьей степени и также заменили на медаль «За боевые заслуги». Так он взял орден и на глазах помощника начальника наградного отдела армии выбросил его в выгребную яму. Хорошо, солдатики нашли его и достали...

Я был в шоке от этой новости и уже не спрашивал о своём награждении.

— А о твоей награде вообще нет никакой информации, — предвидя мой вопрос, продолжил Сергей. — Я видел твоё представление на орден Красной Звезды и, судя по тому, как обошлись со мной, не удивлюсь, если тебе тоже придёт медаль, — не унимался ротный.

В отличие от нас с Сергеем, старшего лейтенанта Игоря Крамарчука, «комсомольца» нашего батальона, который вместе с нами был в засаде, наградили орденом Красной Звезды. У политработников своё отделение кадров и, соответственно, свой наградной отдел, поэтому ему без всяких заминок и проволочек, своевременно пришёл орден, к которому его представили.

Забегая вперёд, скажу, что свой орден я всё же получил, только получил я его спустя пять лет после представления к награде, в 1992 году, в Абаканском военкомате, в будничной обстановке и в узком кругу (начальник отдела по учёту офицеров запаса и я). К тому времени я уволился из армии и работал в народном хозяйстве, но, как говорится, дорогá ложка к обеду. Кто знает, как

сложилась бы моя армейская карьера, если бы у меня был этот злополучный орден?..

Глава пятьдесят восьмая

Наутро мы с Сергеем прибыли в расположение дивизионного медсанбата. Погода стояла мерзкая, моросил дождь, а под ногами — лужи и слякоть. Затянутое серой дымкой небо усиливало и без того неблагоприятное душевное состояние...

Мы зашли в помещение медсанбата и попросили дежурную медсестру вызвать комбата на улицу. Через пару минут Сергей Александрович стоял перед нашими очами с заклеенной лейкопластырем щекой, в добром здравии и расположении духа. Встреча была тёплой, но недолгой. Мы не стали донимать майора расспросами, пожелали скорейшего выздоровления. А для ускорения процесса выздоровления я оставил комбату отлитый в пол-литровую бутылку «вишнёвый компот» и закуску...

Собираясь в обратную дорогу, Сергей заскочил в местный магазинчик, а я стоял на улице, так как чеков после отпуска у меня не было. Мне предстояло ещё разыскать свою землячку. И вдруг, среди всей этой толчей и грязи, на маленьком пяталке кундузского медсанбата я увидел знакомое лицо. Это была чуть ниже среднего роста, с яркими красными губами, в полевой форме, знойная брюнетка — прапорщик Любовь Ямм.

Люба — подруга моей двоюродной сестры Светланы. Мы несколько раз встречались в Абакане и общались с ней. Мои родственники рассказали, что Люба служит в Афганистане, в Кундузе. Зная, что я в отпуске, Люба через родственницу попросила привезти из дома резиновые сапоги и шерстяные носки, что я с удовольствием и сделал. Мы тепло обнялись. Я видел, как женщина была рада встретить человека, который совсем недавно был на её родной земле и привез её частичку...

— Вот так встреча, Люба! Не ожидал... Люба, почему Афганистан? Есть же другие страны, где можно было продолжить службу: Венгрия, Чехословакия, гдР, Польша, наконец, Монголия, — я высыпал на молодую женщину кучу вопросов...

— Привет, Юрик, рада тебя видеть, — уклонилась от ответа на все вопросы Любовь.

— Вот твои сапоги и носки, — я доставал из сумки самые необходимые в данной ситуации элементы одежды.

— Спасибо, Юра! Как там Абакан, что нового?

— Да не за что, любой на моем месте поступил бы точно так же. Абакан стоит, куда он денется? В Абакане проходил международный турнир по хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». Расскажи, как ты, как устроилась, где служишь?

— Всё хорошо. Слава Богу, на боевые не берут, политика национального примирения, без меня обходятся, как ни странно...

— Любовь Ханоновна, я вас умоляю, «ви», как всегда, вовремя приехали с политикой национального примирения, скоро вывод войск, — не удержался я от ироничного тона.

— Я служу в управлении дивизии, в отделе заместителя командира соединения по тылу, — Люба была немногословна. — Живу во втором модуле, вроде бы всё устраивает. Кстати, у нас много красивых молодых и незамужних девушек, — загадочно произнесла Люба. — Ты ещё никого себе в спутницы жизни не нашёл?

— К вам тяжело пробраться, у вас охрана, мужики здоровые на входе в модуль стоят, караулят красивых да молодых, чтобы, не дай Бог... Может, лучше к нам в роту? У нас тепло, баня, душ и бассейн, культурная программа и хороший ужин.

Люба потеплела и заинтересовалась.

— А женихи-то для меня есть? — вкрадчиво спросила Люба.

— Есть, два прапорщика, но они оба женаты.

— Нет, прапорщиков мне не надо, я сама прапорщик, лучший кандидат для меня — не ниже майора.

— Что-нибудь придумаем...

— Договорились. Юра, как с тобой связаться? — спросила Люба.

— Всё очень просто. Попросишь, чтобы соединили с «Гусаром» — это наш батальонный позывной, а он, в свою очередь, соединит с «Оврагом» — это наша вторая рота. Запомни, «Гусар» и «Овраг», — я выстроил логическую цепочку соединений с нашей ротой.

— Давай, до встречи. Может, сегодня и позвоню, — последней фразой Люба создала интригу.

А это означало, что надо ждать землячку в гости, да не одну, и, возможно, сегодня вечером. Что ж, мы всегда рады встретить хороших людей.

Под морозящий дождь мы с Сергеем откланялись и уехали в расположение своей роты.

Глава пятьдесят девятая

После обеда поступил звонок от начальника штаба батальона. Нашей роте предписывалось находиться в готовности для участия в армейской операции. О продолжительности такого состояния не сообщалось...

Ротный отдал распоряжение по всем заставам о приведении подразделений в боевую готовность. Фактически мы и так постоянно находились в этом состоянии. Требовалось немного — отдать команду, и мобильная тревожная группа, учитывая, что определённое количество личного состава должно находиться на заставах постоянно, в течение нескольких минут была готова выполнить поставленную задачу.

С гостями на сегодня придётся повременить. Мы сидели в сержантском классе и фантазировали по поводу знакомства наших прапорщиков с Любовью Ханоновной.

— Николай Сидорович! — Сергей обратился к технику роты, старшему прапорщику Верховскому. — Вы интеллигентный человек, умеете себя правильно подать, тем более давно не общались с представительницами прекрасной половины. Готовы к знакомству?

— Да ну вас, товарищ старший лейтенант, — техник слегка засмущался, и по лицу пробежала лёгкая улыбка. — И как вы себе это представляете?

— Как, как — нормально. Сейчас позвонит Юрина землячка. Любовь Ханоновна говорила нам сегодня днём, что «они очень хотят» встретиться именно с вами, Николай Сидорович.

Лицо прапорщика покрылось испариной и покраснело от предвкушения встречи...

— А вдруг «имям» не «пондравится»? — решил подыграть наш техник.

— Так это ж от вас всё будет зависеть, вы как никто другой можете обаять кого угодно, мы-то вас знаем. Вон сколько писем от «любовниц» приходит, — решил пошутить я.

— Все эти письма от жены и детей! Какие любовницы, Юрий Михайлович? — повысив тональность своего ответа, перейдя на фальцет, ответил техник.

Николай Сидорович опустил на грешную землю, и было видно, как его охватила тоска и печаль... Шутки закончились, техник расстроился и ушёл к себе в комнату.

Со старшиной знакомить не хотелось. Он вообще был нелюдимым человеком. Он старался не попадаться на глаза ни Сергею, ни мне. Старшина выполнял всё, что положено старшине, не более того, и без души. К тому же в самый ответственный момент мог подвести. Он был любителем выпить втихаря.

Прервав наши буйные фантазии, неожиданно раздалась трель телефонного аппарата ТА-57. На другом конце провода ротный услышал голос моей землячки и передал трубку мне.

— Да, «страшный» лейтенант Коряков, слушаю.

— Здравствуй, Юра, ещё раз. У одной из наших девочек сегодня день рождения, она приглашает тебя с Сергеем на ужин, — без раскачки начала Люба. — Мы вас ждём к шести часам вечера.

— Люба, передай девушке от нас с Сергеем большое спасибо за приглашение, но у нас возникла небольшая проблема, о которой нельзя говорить по телефону.

— Ничего не знаю, мы вас будем ждать, у нас уже почти всё готово.

Я посмотрел на часы, которые показывали семнадцать часов двадцать минут...

— Постараемся что-нибудь придумать, но если нас не будет ровно в восемнадцать часов, значит, мы не смогли... Да, как зовут девушку? — поинтересовался я у Любы.

— Екатерина, — коротко ответила прапорщик Ямм и положила трубку.

Вот так всегда бывает: в самый неподходящий момент поступает предложение, от которого трудно, а практически невозможно, отказаться. Что делать? Оставаться в расположении и выполнять приказ командования или принять приглашение и использовать его для нечастого общения с представительницами слабого пола? Про слабый пол — отдельная тема для более глубокого разговора. Не такой уж он и слабый, этот пол, если считать, что в большинстве своём женщины разных возрастов, преследуя разные цели, отправлялись служить в Афганистан, находились в одинаковых со всеми военнослужащими условиях и испытывали те же тяжести и лишения, что и остальной ограниченный контингент.

Возвращаясь к любимому выражению, что «из каждой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода», мы стали искать возможность ненадолго отлучиться из расположения роты.

Такая возможность есть всегда, когда в подразделении чётко организованы служба войск и взаимодействие...

Мы решили не отказываться от приглашения, приехать и поздравить именинницу, посидеть для приличия часик и возвратиться в своё расположение. Замысел заключался в следующем: на бронетранспортёре скрытно, по оврагу, подъехать как можно ближе к управлению дивизии. Взять с собой переносную радиостанцию для связи. Заместитель командира первого взвода старший сержант Ураков, находившийся в управлении роты, в случае необходимости должен был на нашей «секретной» частоте выйти на связь с водителем бронетранспортёра рядовым Володи́ей Помазковым, а тот, в свою очередь, — докладывать обо всех изменениях обстановки. Для связи с командирским БТР у нас с собой была переносная радиостанция Р-148.

Через десять минут, с выключенными фарами, чтобы не привлекать внимание, мы выехали в управление дивизии и ровно в восемнадцать часов переступили порог комнаты, где уже всё было готово к торжеству. Я проверил связь — всё принимало и передавало, как учили...

Глава шестидесятая

— Здравия желаю! Командир ни разу не Краснознамённой второй роты, кавалер ордена Сугулова за «прогибание» третьей степени, трижды «орденопросец», «страшный» лейтенант Сергей Ефимкин. От имени и по поручению бойцов нашей роты поздравляю виновницу сегодняшнего торжества Екатерину с днём рождения! — с порога представился и поздравил именинницу наш ротный.

Такой заход являлся отличительной особенностью Сергея. Этим он располагал к себе всех присутствующих и с первых минут создавал неформальную атмосферу праздника, словно с этой компанией мы встретились не в первый раз.

Собственно, и времени-то на раскачку не было, а наличие громадной конкуренции у малого количества женщин в Афганистане вполне оправдывало бурный натиск Сергея...

Улыбки и дружелюбный смех наполнили небольшую комнату щитового модуля, в которой расположились девушки. Сколько их находилось в помещении, теперь и не вспомнить. С непривычки глаза разбегались от такого количества женщин. Я зашёл значительно скромнее и вручил виновнице торжества новенький кофейный сервиз с мелодией, одолженный у Николая Сидоровича.

Среди приглашённых гостей был ещё один офицер, которого я не сразу узнал. Старший лейтенант Чугришин Владимир, командир взвода миномётной батареи нашего батальона, скромно сидел в углу помещения и старался не привлекать к себе внимания. Спустя очень много лет он напомнил нам эту встречу в женском модуле 201-й мотострелковой дивизии...

Как и уговаривались, мы пробыли недолго на званом торжестве, но сумели произвести хорошее впечатление на присутствующих девушек, которые не хотели нас отпускать. Сергей травил анекдоты и рассказывал интересные истории из армейской жизни. Я спел свои песни-переделки под гитару, которые с успехом принимали в любом коллективе.

Напоследок, перед самым уходом, Люба подошла и вкрадчиво спросила нас:

— Юра, Серёжа, скажите, кто из девушек вам больше понравился?

От такого вопроса я смутился и ответил примерно следующее:

— Все девочки хорошие и достойные, и выделить кого-то не могу.

Но Люба настаивала:

— Ребята, скажите, а то девчонки обидятся...

Выбор действительно был трудным. Да мы и не преследовали цель конкретно познакомиться для каких-то определённых отношений. Нам просто надо было на некоторое время окунуться в «мирную» жизнь и переключиться с военной обстановки на гражданскую. Так что и конкретного ответа от нас не последовало. С тех пор в Афганистане мы не встречались с прапорщиком Любовью Ямм, тем более с её подругами из управления 201-й мотострелковой дивизии. Сейчас трудно вспомнить причину, по которой я не поддерживал отношения со своей землячкой. Скорее всего, не позволяли нам отлучаться из расположения роты большая занятость и то, что о нашем посещении узнал командир дивизии, который приказал командиру батальона с особой тщательностью следить за своими подчинёнными.

Глава шестьдесят первая

В ночь на восьмое марта 1988 года из отпуска прилетел командир первого взвода нашей роты

лейтенант Габиль Мамедов. Я встретил взводного на аэродроме, и, несмотря на позднее время, мы быстро организовали его встречу у себя в цупе — так мы называли место, где жили ротный, я и техник, старший прапорщик Верховский Н. С.

Габиль привёз бакинские дары: балык из красной рыбы, икру и трёхлитровую банку «компота из фейхоа». Опрокинув первый «нурсик» за встречу, мы с Сергеем посмотрели друг на друга и почти одновременно произнесли:

— Габиль, что-то никакой крепости в «компоте» нет, как будто простой воды с освежителем выпили, — недоумевал я.

— Габиль, что ты налил в банку? — спросил ротный.

— Мужики, как вы сами учили — водку, потом положил несколько плодов экзотического фрукта и закатал крышкой банку... — виновато произнёс взводный.

— Эти зелёные штучки — как они называются? — продолжил допрос Сергей.

— Фейхоа, фрукт такой тропический, у нас в Азербайджане растёт, — продолжил лейтенант Мамедов.

Николай Сидорович достал из банки фейхоа, разрезал его пополам и откусил зелёный плод...

Лицо техника слегка скривилось, и он протянул мне вторую половинку фрукта. Не раздумывая, я тоже решил попробовать фейхоа и обнаружил, что как раз во фрукте оказался почти весь алкоголь. Испробовав несколько плодов, мы поняли, что фейхоа абсорбировал из «компота» весь алкоголь и понизил его крепость, а реакция организма на фрукт оказалась адекватной — мы все почувствовали эффект опьянения и через некоторое время удалились на отдых...

Однако сон продолжался недолго. В пять часов утра из батальона поступил звонок командира. По данным радиоперехвата, в зоне ответственности нашего батальона работала «духовская» радиостанция. В Международный женский день это могла быть подготовка к обстрелу Кундузского гарнизона, и работающий радиопередатчик мог служить для корректировки стрельбы реактивными снарядами. Комбат сообщил координаты, в пределах которых могла находиться радиостанция.

Тревожная группа в составе: рядовой Суранчиев Досым, сержант Чорней, рядовой Кабылов Абдыманап (Малик), рядовой Юсупов, старший сержант Ураков Хуршед, рядовой Мадамбеков Ганишер, рядовой Магомедалиев, ряд. Сухомлинов Владимир, рядовой Короблёв Дмитрий, рядовой Саидов Файзали, старший водитель сержант Помазков Владимир, рядовой Казанцев Алексей, — была поднята по тревоге для выполнения поставленной задачи. С командиром роты по карте мы определили предполагаемое место выхода в эфир радиостанции и без промедления выдвинулись на место работы передатчика.

Местность была знакома и изучена нами досконально. Мы знали каждую складку, ложбинку и бугорок. Точка координат находилась в овраге, примерно в четырёх километрах от заставы управления нашей роты. Время в пути заняло немногим более десяти минут, и когда мы спустились в овраг, то увидели прямо перед собой большое стадо овец и баранов, рядом с которыми находились семь афганцев разного возраста из близлежащего кишлака. Солдаты произвели досмотр каждого пастуха и пастушонка. Никаких подозрительных предметов, а тем более радиостанции мы не обнаружили. Почти всех афганцев мы знали в лицо, однако среди них был чужой, бородатый, с посохом, в чёрной чалме, в выцветшей накидке, пастух. Ротный через переводчика подозвал чужака к себе поближе и стал допрашивать

— Кто такой? Где живёшь? Чьи бараны?

— Гарип, командор, гарип (бедный, командир, бедный), — запричитал «пастух».

— Что ты заладил: гарип, гарип? Где радиостанция, сучонок? — повторил Сергей.

— Гарип, гарип! — не унимаясь и переходя на крик, завопил афганец.

Я связался с управлением батальона и доложил, что в указанном квадрате нашей группой обнаружено стадо овец. Комбат приказал произвести досмотр каждой овцы, потому что, по словам командира, незадолго до обнаружения нами овечьего стада в указанном месте вновь работал радиопередатчик. Но как обыскать каждую овцу, никто из нас не мог представить...

Сергей матом обрушился на пастуха и зачитал «приказ Верховного Главнокомандующего» о наказании «пастуха» и приведении приговора в исполнение на месте, приказав ему рыть могилу для себя... Саидов перевёл бородатому приказ старшего лейтенанта Ефимкина. Кто-то из бойцов принёс из бронетранспортёра БСЛ-110 — большую сапёрную лопату сто десять сантиметров — и отдал афганцу. Не понимая, что делать, и озираясь по сторонам, «гарип» всё же принялся копать себе яму.

Бойцы прочесали всю близлежащую местность. Результаты не было. Тем временем, внимательно приглядевшись к баранам и овцам, я увидел, что бока некоторых из них подкрашены краской разного цвета. Возможно, под длинной шерстью одного из окрашенных животных могла быть спрятана радиостанция. Ротный отдал команду бойцам поймать несколько овец, вымазанных краской, и проверить их на наличие радиостанции и других предметов...

Ловля баранов заняла несколько минут. И результат не заставил себя долго ждать. Под одним из баранов бойцы нашли заветную радиостанцию. Мы первый раз в жизни увидели импортную «Моторолу». Она отличалась от привычных армейских приёмо-передающих устройств габаритами,

внешним видом и, конечно же, характеристиками...

Сергей поднялся на бронетранспортёр и вышел на связь с комбатом. После доклада ротный подошёл к «гарипу».

— Откуда у тебя рация, чудак? — старший лейтенант Ефимкин орал ему прямо в ухо.

«Пастух» с остервенением мотал головой в разные стороны, одновременно выкрикивая:

— Гарип, гарип!!!

— Ничего себе бедный! Юра, давай скручивай этому уроду руки — и на «броник», увезём в дивизию, пусть там с ним разбираются кому положено! — скомандовал ротный.

Связав «пастуха» верёвками, бойцы закинули его на бронетранспортёр. Мы понимали, что остальные пастухи, среди которых были дети, подростки и мужчины среднего возраста, тоже связаны с «духами», но решили не брать с собой всех и оставили молодняк на месте со стадом, так как посчитали, что душман использовал их для прикрытия. С собой забрали лишь двоих взрослых афганцев, остальные ребята всегда были под рукой. Мы знали, где они живут, чем занимаются, и в случае необходимости спокойно могли с ними разобраться...

В ожидании торжественного мероприятия по случаю празднования Международного женского праздника рядом с клубом стояли военнослужащие 201-й дивизии и наряженные женщины. Мы гордо проехали мимо них и остановились недалеко от штаба дивизии. Передача «духа», вещественного доказательства и сопровождавших афганцев, а также дача пояснений компетентным органам заняли немного времени.

Между тем командир дивизии, выйдя из помещения штаба и увидев афганцев, лично решил допросить «духа». Он подошёл к нему на предельно близкое расстояние, взял его пальцы в свою руку и, выкручивая, заорал ему в ухо, заливая душмана слюной:

— Сучара, я тебя разорву, как Тузик грелку, ты у меня будешь ссать где попало!!!

Переводчик переводил бедолаге ругань комдива. Душман, скорчившись от боли и слегка постанывая, не произнёс ни одного слова. Все стоявшие рядом военнослужащие и гражданские лица, наблюдавшие за происходящим, были в шоке...

Мы с Сергеем постарались отойти в сторону и незаметно, как это позволяла обстановка, уехали в своё расположение...

Глава шестьдесят вторая

В середине марта 1988 года командир третьего взвода нашей роты старший лейтенант Артём Купин, выпускник Алма-Атинского общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза И. С. Конева, уезжал в очередной отпущ.

Мне предстояло заменить его и на полтора месяца поселиться на его заставе, которая располагалась в крепости.

По долгу службы я много раз бывал на этой заставе. Максимум три-четыре часа пребывания на удалённом расстоянии от «цивилизации» — и я снова оказывался в привычной для себя среде, где есть электричество, душ, прохладный бассейн и общение с немногочисленными офицерами и прапорщиками роты. Теперь же предстояло прочувствовать все прелести автономного пребывания в рамках ограниченного пространства.

Крепость Насири располагалась между кишлаками Мадраса и Накель, на краю обрыва, который протянулся от южного Кундуза до Алибада. Основная угроза обстрелов воздушных судов исходила со стороны зелёной зоны, расположенной вдоль дороги на Кундуз, поэтому большинство огневых средств, приборов наблюдения и разведки было сосредоточено на этом направлении. Вокруг заставы по периметру было «накрыто» смешанное минное поле (растяжки соседствовали с минами нажимного действия), огороженное двойным забором колючей проволоки. Боевые позиции были оборудованы окопами с ходами сообщений в полный рост и капонирами для трёх бронетранспортёров БТР-70 и одного БРДМ-2. На огневых позициях были установлены два миномёта, калибра сто двадцать и восемьдесят два миллиметра. Кроме этого, в распоряжении взвода имелись два автоматических гранатомёта АГС-17, которые были закреплены на вращающихся танковых опорных катках. Один из наблюдательных постов был оборудован станцией ближней разведки СБР-3, которая позволяла в любое время суток, в условиях отсутствия оптической видимости, производить наблюдение за местностью. С помощью этой станции в ночное время наблюдатель мог отслеживать любые передвижения, точно определяя направление и дальность до цели. Это позволяло эффективно использовать все имеющиеся огневые средства в ночное время.

Крепость представляла собой прямоугольник двадцать пять на тридцать метров, с высотой стен от шести до восьми метров. Толщина стен у основания — почти метр. В углах прямоугольника располагались башни, обращённые к «зелёнке». На втором этаже одной из башен было помещение командира взвода. Во второй, дальней от входа в крепость башне был оборудован наблюдательный пост со станцией ближней разведки. В связи с тем, что под помещением начальника заставы находился склад боеприпасов, было принято решение установить по периметру башни дополнительный глиняный забор на всю высоту склада. Комната командира взвода представляла собой небольшое уютное помещение, с деревянной кроватью и столом. Два окна были занавешены

марлей и светомаскировкой, свёрнутой в рулон в дневное время суток. На полу лежал афганский тканый ковёр.

Солдаты размещались, в двух помещениях, пристроенных к противоположной от входа в крепость стене, между которыми была оборудована веранда с длинным солдатским столом, огороженная небольшим штакетником, выкрашенным в синий цвет. В спальнях комнатах стояли двухъярусные кровати с прикроватными тумбочками. Рядом со спальным помещением, в правом углу, находилась кухня. Очаг с настоящим казаном, в котором готовились практически все блюда, располагался у стены, справа от входа в крепость. На противоположной от очага стене на специальных стеллажах висели бронежилеты с касками и носимый запас боеприпасов в вещмешках для каждого бойца. Рядом со стеллажом была оборудована беседка для курильщиков. Справа от стеллажей для бронежилетов находился специальный лаз, устроенный под основанием стены. Через него осуществлялся выход личного состава из крепости на боевые позиции. В жару бойцы выносили кровати на улицу. Готовясь ко сну, военнослужащие смачивали простыни водой, потому что из-за духоты спать в помещении было невозможно.

Для приготовления пищи использовались в основном консервированные продукты. Даже картофель был в трёхлитровых стеклянных банках, в водном растворе с солью и лимонной кислотой. Воду на заставу доставляли один раз в два-три дня, в полуторакубовой бочке, установленной на автомобиле ГАЗ-66, собранном из запасных частей, найденных на дивизионном «кладбище» военной техники. Чтобы охладить воду или любую другую жидкость в любую жару, использовались глиняные кувшины или полторалитровые солдатские полиэтиленовые фляжки, которые укрывались смоченной водой материей и выставлялись на сквозняк. Через полчаса жидкость в этих ёмкостях была прохладная.

Для освещения помещений в ночное время использовались фонари «летучая мышь» и подручные осветительные приборы, сделанные собственными руками (сплюснутые гильзы от крупнокалиберного пулемёта со вставленными в них кусочками ткани в виде фитиля или же простая ткань, опущенная в консервную банку с растительным или машинным маслом).

Глава шестьдесят третья

До мая 1987 года в крепости располагался пост Царандоя (Министерства внутренних дел Афганистана), численностью восемь человек, но когда всех восьмерых военнослужащих-афганцев вырезали душманы, командование 201-й дивизии приняло решение перевести один взвод нашего батальона

на их место. Царандоевский пост переместили в «зелёнку», на дорогу, прямо перед крепостью. Задачей военнослужащих, находившихся на посту, была проверка транспорта, который направлялся в Кундуз. Это был своеобразный фильтр перед большим городом, целью которого было минимизировать поступление оружия и боеприпасов в столицу провинции Кундуз.

Пост представлял собой глинобитное помещение с одним окном и шлагбаумом на дороге для остановки транспорта, движущегося в направлении Пули-Хумри — Кундуз. Командиром поста был лейтенант Царандоя товарищ Валиахмед, которого мы между собой звали просто Валирка. Валирка окончил специальные курсы первоначальной подготовки и переподготовки Ростовской высшей школы милиции в Новочеркасске и неплохо разговаривал на русском языке. На вид ему было около тридцати лет. Валиахмед носил пышные усы, был худощав, подтянут и всегда чисто выбрит. Он постоянно находился в весёлом и приподнятом настроении. Мы изредка встречались с ним во время моих приездов на заставу. Особенно часто царандоевец посещал нашу крепость тогда, когда у мусульман был пост Рамадан. Валирка приходил измождённый и голодный к нашему обеду. Мы приглашали его покушать вместе с нами, но он всегда отказывался. Иногда Вали соглашался и просил: «Командор, опусти светомаскировка, чтобы Аллах не видел». И тогда уплетал приготовленный обед за обе щёки...

Однажды командир поста пришёл на заставу в послеобеденное время и, увидев меня вместо Артёма, сильно удивился. Улыбка исчезла с его уст... — Здравия жилаю, товарищ командор! А где товарищ Артём?

— Здравия орзу, шарики комил фармондэи! — почти по-афгански приветствовал я командира поста. — Артём в отпуске, я некоторое время буду вместо него...

— Харащё. Он ничё не передавал тебе? — спросил Вали.

— А что он должен передать?

— Ну, там, надо поддержка кам-кам (маленько давать), — стал пояснять Валирка.

— Какой такой поддержка? — я слегка перестроился на афганский манер.

— Ну, когда душман придёт ко мне, надо кам-кам стрелять по оритир перьвий, лево десять, по агеэсь, по минамёт, — как бы оправдываясь, продолжил Вали.

Гораздо позже я узнал, что иногда, когда Валирка превышал свои должностные полномочия и обирал больше допустимого «барбухайки» (афганские грузовые машины) с товаром, проезжающие мимо поста, водители автомобилей жаловались «дұхам» на чиновничий беспредел командира поста, и ночью обиженные вместе с душманами

приходили к Валирке, чтобы проучить царандоевцев и забрать «конфискованный» днём товар.

— Да, что-то такое Артём говорил, — я с пониманием отнёсся к просьбам Валиахмеда и пообещал поддержку в случае нападения «духов» на царандоевский пост...

Мы поднялись на второй этаж, в комнату начальника заставы. Я угостил Валирку свежим индийским чаем с конфетами, он расслабился, а я стал расспрашивать его о жизни.

— Вали, у тебя семья, дети есть?

— Да, мама, папа, братья и сёстры есть. Свадьба скоро будет. Я тебя приглашаю на свадьбу. Придёшь?

— Если позовёшь, по возможности обязательно приду, — немного слукавил я. — А невесту давно знаешь? Красивая девушка?

— Я невесту не видел, только мама да папа один раз девичку видел.

— Так как же ты будешь жениться, если ты невесту не видел? Мало ли кого могут подсунуть?

— Я только руку девички кам-кам выделю и как-кам ногу в туфельке тоже выделю, — показал на своей руке маленький кусочек тела Вали.

— И что, как рука?

— Рука такой маленький, кожа белый-белый, — расставив указательный и большой пальцы, показал размер ноги, закатывая глаза от удовольствия, похвалился Валиахмед.

— А лицо видел, ну хоть глаза?

— Нет, не видел, только рука и нога, она в чадра бил. Папа говорил, очень красивый девочка.

— Почему не женишься, в чём проблема, и когда свадьба?

— Свадьба скоро, только надо калым платить. Когда сабиру калым, тогда буду свадьбу делать.

— А где жить будете?

— Мал-мал дом будем строить, рядом с родителем, но не знаю ещё когда, а пока у папы дома будем жить.

Да, сложно всё у них. И калым отдать за невесту, и дом построить, и жена должна дома сидеть, за хозяйством смотреть. Наверное, так и должно быть, чтобы не разводиться, как у нас, после первого года совместного проживания, оттого что в бытовом плане не всё устроено.

— А у тебя есть жена? — Валирка обратился ко мне.

— Нет, я такой же холостяк, как и ты. Вот это нас с тобой объединяет.

Свадьба моя сорвалась пять лет назад, но я ни о чём не жалел, особенно когда поехал в Афганистан. Мало ли что могло произойти?.. А так я — холостой молодой человек, не обременённый семейными узами. Единственные близкие люди, которые ежеминутно переживали за меня, — мои родители и младший брат. Может быть, благодаря отцу, маме и их беззаветной вере я вернулся домой живым. Они каждую субботу ходили в церковь, ставили свечу и молились за меня.

Перед уходом командир царандоевского поста ещё раз попросил поддержки.

— Вон туда, по минамёт, по агеез, — Вали показал на местности, куда мои бойцы должны будут стрелять в случае нападения «духов».

Глава шестьдесят четвёртая

Прошло несколько дней моего пребывания на заставе. Чтобы скрасить моё одиночество, днём периодически приезжал Сергей. В один из первых приездов я доложил командиру роты о просьбе Валиахмеда. Сергей дал добро на оказание помощи с нашей стороны, если будет очень серьёзная ситуация...

После завтрака, до обеда, я проводил тренировки с личным составом по действиям в случае возникновения внештатных ситуаций на заставе и подступах к ней. Личный состав проводил учебные стрельбы из всех видов вооружения, находящихся на заставе. После обеда, во время пика жары, бойцы, не задействованные в дежурстве, уходили в спальное помещение и отдыхали. Ближе к вечеру весь личный состав производил чистку оружия, водители бронетранспортёров и наводчики пулемётов обслуживали технику и вооружение. Каждый день вечером, после ужина, на построении я отдавал боевой приказ на охрану и оборону участка зоны ответственности нашей заставы, уточняя ориентиры, порядок действий, сигналы оповещения и взаимодействия и доводил до подчинённых пароль с отзывом.

С наступлением ночи из близлежащего кишлака на всю округу раздавалась вечерняя молитва муллы. Молитву хорошо было слышно лишь ранним утром и в вечернее время. Мой организм с особым чувством реагировал на завывания муллы. Я не понимал, в чём смысл его молитвы, но душераздирающий и выворачивающий наизнанку душу голос, раздававшийся бесконечным эхом по «зелёнке», не оставлял никого равнодушным. В такие минуты меня всегда охватывали тревога и беспокойство, и на подсознательном уровне этот голос приводил в чувство, говоря мне: «Юра, ты на чужой земле, со всеми вытекающими последствиями...»

Кроме этого, вокруг крепости происходила активизация ночной жизни животных. Особенное беспокойство вызывали шакалы. Да, эти мерзкие существа вопили в непосредственной близости от заставы, потому что внизу, под обрывом, бежал маленький ручеёк, и многочисленная стая шакалов приходила к нему, чтобы усладить жажду прохладной влагой. Впервые услышав вопли шакалов, я подумал, что это люди так кричат или громко смеются. Очень неприятные ощущения.

Глава шестьдесят пятая

Ночью я почти не спал. И вот однажды крик командира царандоевского поста пробудил моё полудремотное состояние.

— Товарищ кумандир, оритир первый, лево десять, по агэс, по минамёт давай стреляй!!! — благим матом заорал Валирка.

В одно мгновение личный состав взвода был поднят по тревоге. Через пару минут все бойцы заняли свои огневые позиции...

В ночной тишине голос царандоевца раздавался особенно громко. Понятно, рядом «духи», и есть большая вероятность погибнуть смертью храбрых, не испытав прелестей семейной жизни...

Расчёт гранатомётчиков по моей команде произвёл пристрелочный выстрел.

— Товарищ кумандир, давай ещё по минамёт, по агэс, бистрейший!!! — царандоевца разрывала безнадёга, и он продолжал отдавать мне «команды». — Товарищ кумандир, давай бистрейший, пилать, мне физьдес будет, ёфтвая щизьн.

Меня одолевали смутные сомнения: откуда такой богатый словарный запас наших крепких русских выражений в арсенале у афганца? Ах да, Вали три года учился в Советском Союзе...

«Ну, я тебе припомню и мою жизнь, и всё остальное, гадёныш...»

Сначала миномётчики выпустили осветительную мину на двести метров из ста двадцатимиллиметрового миномёта, чтобы Валиахмед и его бойцы могли лучше разглядеть «духов». Наводчик миномётного расчёта заранее выставил прицел и произвёл один выстрел восьмидесятидвухмиллиметровой осколочно-фугасной миной...

— Ха-ра-шо, товарищ кумандир! Давай ещё по агэс, кам-кам! Оритир первый, лево десять, дальше пятьдесят! — скорректировал огонь гранатомётчиков Валирка.

Гранатомётчики ввели поправки и по моей команде произвели две длинные очереди из АГС-17. — Та-ша-кур (спасибо), товарищ кумандир! Весё, п...ц душманам... — поблагодарил меня и моих бойцов за работу Валиахмед.

Воцарилась тишина, как будто не было никаких выстрелов, миномётных разрывов, очередей из гранатомёта и всей этой «войны». Было ощущение, что всё это действие происходило не со мной.

После выполнения задачи я приказал разрядить оружие, проверил его на предмет наличия патронов в патроннике и отдал распоряжение заместителю командира взвода поставить оружие в пирамиды.

В возбуждённом состоянии я провёл остаток ночи. Только под утро смог немного вздремнуть.

С первыми лучами солнца к крепости выдвинулась делегация афганцев из пяти человек во главе с Валиркой. На входе в расположение заставы, перед проходом в минном поле, я приветствовал крестьян по мусульманскому обычаю. По выражению лиц афганцев я видел, что они явно чем-то расстроены.

Валиахмед, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, рассказал, как во время ночного нападения на его пост стабилизатором осветительной мины, выпущенной из нашего миномёта, попало в голову корове. Бедняга стояла в открытом стойле хозяйственного двора рядом с царандоевским постом и скончалась от прямого попадания осветительной мины... В качестве доказательства один из пришедших афганцев показал окровавленный корпус осветительной мины со стабилизатором.

Где-то уже было подобное происшествие. Нет? Это случайная гибель животного, и мне в очередной раз предстояло разруливать неприятную ситуацию.

Я отвёл Валиахмеда в сторону.

— Вали, какого хрена ты их сюда привёл? Давай сам решаешь все вопросы. Понимаешь же, что это случайно произошло?

— Конечно, товарищ командир, я-то понимаю, а как мне быть? Они всегда рядом, — показывая на крестьян, оправдывался Валиахмед. — Я боюсь, они меня могут резать, говорят, чтобы шурави (советские) отдали бакшиш (подарок) за корову. — Какой бакшиш, Вали? Ты в своём уме? Мы помогли тебе, и ты сам должен разруливать ситуацию. Это случайно. Понимаешь?

— Латно, что-нибудь придумаю, — Валирка вернулся и подошёл к афганцам.

Жестикулируя руками, командир поста стал что-то объяснять своим соседям, те, поднимая руки к небу, возражали. Перепапка продолжалась несколько минут. Мне надоели эти разборки. Я решительно подошёл к толпе и в вежливой форме посоветовал как можно быстрее уйти от крепости.

Вечером, точно по расписанию, командир поста со своим помощником снова нарисовались около крепости. В руках у Вали была упаковка баночного пенного немецкого напитка, у помощника — много разных фруктов, овощей, афганского риса и свежей говядины.

— Это тебе, командир, — Вали протянул упаковку пива. — А это твоим солдатам, — царандоевец отдал дыню, фрукты и всё для плова. — Сегодня в обед приезжали «хадовцы», всё смотрели, изучали, спрашивали меня, сказали, что нападавшие душманы из банды...

— Зачем всё это? — я показал на принесённые царандоевцем бакшиши.

— У нас так принято делать, — засмутился Валирка.

— Как-то это не по-людски. Понимаешь, Вали? — Почему? Ты мне помог, я тебе благодарить...

— Это наша обязанность — помогать друг другу. Если бы я этого не сделал, ты бы не стоял сейчас рядом со мной.

— Правильно, поэтому не обижай меня и моих сарбозов (солдат). Ви помогли нам, ми хотим благодарить вас, — Валирка протянул правую руку и слегка склонил голову.

В ответ я тоже приветствовал его рукопожатием...

Глава шестьдесят шестая

В конце марта 1988 года начальника штаба батальона майора Панченко К. А. назначили командиром батальона охраны штаба 40-й армии. Должность начальника штаба оказалась вакантной. Все военнослужащие батальона были уверены, что на эту должность назначат нашего ротного, старшего лейтенанта Сергея Ефимкина. Это ожидание выглядело вполне логичным и оправданным. За полтора года службы в Афганистане под командованием Сергея сначала первая, а затем и вторая роты батальона стали на порядок лучше по всем показателям. Среди офицеров батальона это была самая достойная кандидатура, но где-то на более высоком уровне так не считали, поэтому с перемещениями пришлось повременить. Сергею прямым текстом было заявлено, что начальником штаба нашего батальона он не будет и свою службу в Афганистане до замены продолжит в своём родном подразделении.

На период отсутствия начальника штаба Сергей категорически отклонил возможность исполнять обязанности нш. По его предложению, мне представилась такая возможность — в течение неопределённого количества времени попрактиковаться в этой должности. Меня срочно отозвали из расположения заставы третьего взвода, и со своими скромными пожитками я переехал через овраг в управление батальона.

С первых минут пребывания в батальоне я почувствовал разницу в условиях проживания. Меня поселили в комнату «старого» нш, с кондиционером. А это в Афганистане большое дело, которое не требует дополнительных пояснений... При пятидесятиградусной жаре на улице, находясь в комнате, я мог и замёрзнуть.

Я с головой окунулся в работу начальника штаба, начав с изучения текущей документации. Каждый день приходили приказы, директивы и кодограммы из штаба 40-й армии.

На еженедельных совещаниях офицеров и прапорщиков батальона мне приходилось доводить руководящие документы до всех военнослужащих. Главной и неотъемлемой частью моей работы были организация и контроль боевой подготовки и службы войск во всех подразделениях батальона.

Мы с командиром батальона по очереди совершали объезды по нашим заставам. Я в основном ездил по заставам третьей роты и миномётной батарее. Проезжая по заставам других подразделений и внимательно изучая особенности несения службы незамысленным взглядом, я видел недостатки и, исходя из опыта службы в своей второй роте, подсказывал командирам, что необходимо

сделать для более качественного выполнения возложенных на всех нас задач.

При посещении миномётной батареи мне нравилось, как всё у них устроено. Каждый офицер, сержант и солдат знали свои задачи и чётко действовали согласно боевому расчёту. На заставе был почти идеальный порядок.

В третьей роте, которая располагалась на трёх заставах второго полукольца охраны аэродрома Кундуз, были нюансы. Удалённость от «цивилизации» накладывала свой отпечаток и на офицеров, и на бойцов, поэтому было ощущение, что они немного диковаты, и каждое появление нового для них человека воспринималось ими как нечто особенное. Я видел, как они ловили каждое моё слово, потому что для них я был другим, непривычным человеком.

Глава шестьдесят седьмая

Через две недели моего пребывания в должности исполняющего обязанности нш в батальон приехал новый начальник штаба, капитан Копашин Василий Владимирович — среднего роста, худощавый, выпускник Бакинского общевойскового командного училища 1980 года выпуска. Он приехал из Дальневосточного военного округа. Познакомившись и пообщавшись поближе, я узнал, что это его второй заход в Афганистан, первый был с 1983 по 1985 год в Асадабаде. Сначала он был командиром гранатомётного взвода, а затем служил командиром разведвзвода в мотострелковом батальоне. В первый раз в Афганистан он прибыл, так же как и я, из Центральной группы войск. Вместе с капитаном Копашинным учился мой сослуживец и друг по цгв старший лейтенант Артур Балаев.

В меру своих возможностей я помог капитану принять дела, сопровождая и показывая ему расположение застав нашего батальона. Конечно, всё, что он увидел, в сравнении с его первым пребыванием в Афганистане было для него необычным. Здесь, в Кундузе, спокойнее, к тому же после 1986 года активных боевых действий проводилось намного меньше. Но, несмотря на это, необходимо было в любую минуту быть в готовности к выполнению возложенных на батальон задач.

Имея боевой опыт, капитан Копашин видел недостатки и заострял на них пристальное внимание. В основном они касались инженерного оборудования боевых позиций на заставах батальона. В большей степени это касалось застав третьей роты. В этот момент я и предположить не мог, что через месяц меня назначат командиром этой роты и мне самому предстоит выполнять мероприятия по устранению недостатков, на которые нш указал «старому» ротному, капитану Трижичинскому...

А пока я снова оказался в привычной для себя обстановке, среди своих, уже родных и близких мне, сослуживцев.

Глава шестьдесят восьмая

Пятнадцатого мая 1988 года начался первый этап вывода советских войск из Афганистана. У нас в батальоне не все до конца понимали серьёзность этого мероприятия. Думали, что это очередная кампания для дезориентации мирового сообщества. Примерно такая же, какая была в августе 1986 года, когда «выводили» шесть полков, укомплектованных дембелями и офицерами-заменщиками со всего Афганистана.

Многие офицеры и прапорщики не хотели досрочно заменяться в Союз. Большая часть из них вообще не представляла такого итога пребывания в Афганистане. Кто-то не до конца обеспечил себе необходимую выслугу лет, кто-то в полной мере не пополнил свои чемоданы «барахлом», кто-то не стал «помощником» Героя Советского Союза или не получил «заслуженную» награду. Скорый вывод войск из Афганистана, и нашего батальона в частности, внёс коррективы в мою дальнейшую службу на афганской земле...

У меня были определённые планы и ожидания перемен по службе, но я не форсировал события. Да и как я мог на них повлиять? Я знал, что командиром файзабадской первой роты стал лейтенант Артур Егиазарян, что Арсалан Гомбоев заменился и уехал в Союз заместителем командира роты, хотя, наверное, мог бы спокойно стать ротным в Файзабаде. В то время я не до конца понимал, что на самом деле происходит с назначениями на должности и представлениями к наградам. Вся эта круговерть событий и интриг проходила мимо меня. И слава Богу. До последнего дня я не знал о своей дальнейшей участии в Афганистане.

В начале июля 1988 года меня вызвал комбат майор Чуваев С. А. и рассказал, что направил в штаб армии документы на представление меня на должность командира третьей роты нашего батальона. Для меня это известие было полнейшей неожиданностью.

— Юра, документы на тебя ушли месяц назад. Скоро батальон будет выходить в Союз, и нам надо быстрее определиться с командиром третьей роты, потому что Трижичинского переводят в батальон охраны штаба сороковой армии. Поэтому надо срочно лететь в Кабул и забирать приказ о твоём назначении, — по-отечески произнёс комбат.

— Когда лететь?

— Прямо сейчас звони на аэродром, уточни, когда будет борт на Кабул, — и вперёд. Да, можешь заехать к майору Панченко, он тебе поможет попасть в штаб армии, и возьми с собой огненной жидкости на всякий случай.

В штабе батальона мне выдали командировочное предписание, я записался на ночной рейс до Кабула и стал собираться в путь. Устаршины взяли два литра самогонки, пару банок консервов, буханку хлеба и мыльно-пузырные принадлежности.

Услышав гул самолёта в ночном кундузском небе, выехал на бронетранспортёре на аэродром. Стандартная процедура посадки — и снова Ан-12 в воздухе, теперь уже со мной на борту. Особых эмоций не было, и страха тоже не было. Всё буднично и привычно. Теперь все мысли были о новом назначении, но сначала нужно было получить заветный приказ. Как-то и не верилось. Неожданное назначение, перед самым выводом...

К одиннадцати часам в громкоговорителе пересыльного пункта объявили мою фамилию для отправки в штаб армии. Погрузившись в автобус, я впервые ехал по Кабулу. Сидевший рядом со мной капитан-политработник стал моим гидом, показывая достопримечательности афганской столицы. А вот и батальон охраны штаба 40-й армии. На кпп спросил майора Панченко К. А.

Дежурный сделал звонок и назвал мою фамилию. На другом конце провода комбат отдал распоряжение пропустить меня, и через несколько минут я сидел в кабинете Сергея Александровича. — Привет, Юра, рад тебя видеть. Как долетел? — мы обнялись с майором.

— Без происшествий, всё штатно. Вам бакшиш от нашей роты, — я достал две бутылки самогонки из сумки и поставил на стол.

— О, я помню этот славный напиток. Передай Сергею и старшине большой привет, — комбат не глядя убрал горячительное зелье в сейф. — Приказ на тебя я видел, он у кадровиков был, и его давно должны были отправить в батальон, но сейчас такая неразбериха, всё направлено на вывод войск. Давай сделаем так: сейчас я проведу небольшое совещание, ты пока посидишь на улице, и минут через тридцать мы пойдём вместе в штаб армии. Хорошо?

— Как скажете, — у меня, собственно, не было вариантов для каких-либо других действий и возражений.

Как и было озвучено, примерно через час мы оказались у здания штаба 40-й армии, бывшей резиденции лидера Афганистана Хафизуллы Амина. На дворе 1988 год, и, конечно же, ничего во внешнем и внутреннем убранстве дворца не напоминало о событиях девятилетней давности. Мы прошли внутрь здания, поднялись на третий этаж, и я оказался в кабинете начальника канцелярии штаба 40-й армии.

Без каких-либо промедлений офицер, ответственный за отправку приказов и распоряжений по частям 40-й армии, нашёл мой документ, отпечатал его копию и передал мне. Я расписался в получении приказа и отблагодарил майора поллитровой бутылочкой самогонки. Наконец у меня на руках был приказ о моём назначении на должность командира третьей роты нашего батальона...

Конечно же, я был рад этому событию. Для каждого офицера назначение на вышестоящую

должность—это значительное событие в его жизни. Морально я давно был готов к этой должности, теперь предстояло на практике доказать, прежде всего самому себе, что все мои знания и приобретённый опыт станут хорошим фундаментом для дальнейшей службы.

Глава шестьдесят девятая

Константин Александрович отвёз меня на своём «уазике» на аэродром Кабула. В ожидании отправки на Кундуз я провёл несколько часов. Около полуночи по громкой связи объявили список военнослужащих, среди которых была и моя фамилия. Посадка в самолёт прошла быстро. В самолёте уже стояли закреплённые ящики со скорбным «грузом-200». Пройдя мимо ящиков, я присел на боковом сиденье. Ан-12 летел из Кабула в Фергану, с посадкой в Кундузе. Жена моего двоюродного дяди по отцовской линии, тётя Надя Анискина, служила в медсанчасти ферганского авиационного полка. Назвав фамилию, я спросил у борттехника:

— Знакома ли вам Анискина Надежда?—на что офицер утвердительно кивнул головой.

— Хорошо, тогда передайте ей огромный привет от её племянника,—я назвал свою фамилию.

Мне тут же предложили пройти в гермокабину, в которой уже находились четыре офицера и один прапорщик. В знак благодарности я передал командиру экипажа «крайнюю» бутылку самогонки, припасённую на всякий случай.

Майор, командир экипажа, вышел из кабины пилотов и поинтересовался: кто же это передаёт привет в Фергану? Я встал, представился. Мы пожали друг другу руки.

— Обязательно передам привет Надежде Владимировне,—ответственно заявил командир экипажа.— Так, давай-ка за знакомство, старлей...

Офицер достал «мою» бутылку, налил в кружку зелёного цвета больше половины и залпом опрокинул содержимое, запив молоком из пакета, который стоял на импровизированном столе. Затем все, кто присутствовал при этом нашем «знакомстве», по очереди символически пригубили огненной воды.

— Ну ладно, полетели,—безучастно, почти полуслёпотом, произнёс командир экипажа.

Я многое повидал в Афганистане, но чтобы вот так, перед полётом, командир экипажа между делом выпивал спиртное...

Признаться честно, было немного дико от этой картины. Я не знал, как реагировать на всё увиденное. Да и никто из присутствующих офицеров не выразил никакого возражения на поведение лётчика.

Самолёт поднялся в ночное кабульское небо и взял курс на Кундуз. Как только Ан-12 набрал необходимую высоту, включился свет, дверь кабины

открылась, и оттуда появилась знакомая фигура майора.

— Остался ещё самогон?—спросил у присутствующих командир экипажа.

Увидев в бутылке, которая при наборе высоты чуть не упала на пол, остатки самогонки, майор опустошил её, ничем не закусывая, и удалился в кабину, которая оставалась открытой. Все сидевшие в гермокабине офицеры переглянулись между собой. Теперь у нас, свидетелей сего зрелища, были большие сомнения относительно мягкой посадки самолёта на взлётно-посадочную полосу аэродрома в Кундузе. Мы приготовились к самому худшему. Майор не унимался, для полного удовлетворения ему явно не хватило выпитого, и он попросил спирт у бортинженера.

— Может, хватит?—неуверенно спросил капитан в камуфляжной форме.

— Какой хватит? Эдик, наливай грамм двадцать,—тоном, не терпящим возражений, произнёс майор.

Капитан налил чистого спирта в кружку, майор выпил, его физиономия скривилась, и он бухнулся в левое кресло пилота...

С замиранием сердца мы наблюдали эту безумную картину. Подлетая к Кундузу, в салоне выключили свет, самолёт нехотя приступил к снижению. Двигатели ревели на пределе своих возможностей и, словно чувствуя, что самолётом управляет нетрезвый человек, сопротивлялись командам пилота. После второго витка прожектор на земле высветил взлётку, и самолёт приступил к посадке. Но что-то пошло не так, и Ан-12, едва не задев выпущенными шасси вышку руководителя полётов, ушёл на второй круг... Мы слышали, как второй пилот выругался матом на командира и принял управление самолётом на себя. Со второго захода, схватив два «козла» на взлётно-посадочной полосе, мы проехали к дальней стоянке и выгрузились на землю...

Под белы рученьки майора спустили по трапу и попытались увести подальше от руководителя полётов, который на полной скорости мчался к Ан-12 на аэродромном «уазике». Что было дальше, нас мало интересовало. Слава Богу, мы благополучно приземлились и устойчиво стояли на «родной» кундузской земле...

Глава семидесятая

После моего прилёта в Кундуз и назначения на должность командира третьей роты, почти за месяц до вывода нашего батальона в Союз, восьмого июля 1988 года, в батальоне произошло событие, о котором до сих пор нет точного понимания. Есть предположения, о которых попытаюсь рассказать, изложив свою версию случившегося чрезвычайного происшествия.

Каждое утро группа сапёров из трёх человек, которая была прикомандирована к миномётной

батарею, проверяла просёлочную дорогу, соединявшую управление батальона с миномётной батареей. Без обследования дороги на предмет установки минных заграждений и соответствующего доклада по инстанции ни одна единица техники не могла проехать по данному маршруту. За всё время существования батальона на дороге ни разу не было обнаружено ни одного миновзрывного устройства. Тем не менее, как говорится, бережёного Бог бережёт. Поэтому каждое утро, в любое время года, три человека выходили из заставы миномётной батареи для «проверки на дорогах»...

По маршруту следования группы, в километре от дороги, располагалось несколько афганских кишлаков: Джазгузар, Маларги и Навиан. Афганцы свободно наблюдали за перемещениями и иногда выходили к нашим воинам на контакт. Теперь я могу только предполагать, что это были за контакты и что на самом деле произошло в то зловещее утро.

Ранним утром восьмого июля 1988 года ефрейтор Кутняк Сергей, рядовой Солтонов Анарбек и рядовой Усманов Миндияр спокойно и привычно встретились с жителями одного из близлежащих кишлаков и вступили с ними в диалог.

Накануне этой встречи бойцы заказали у афганцев бакшиши (подарки) для родных и близких, так как вывод войск был не за горами.

— Ну что, принесли платки, ткань, ручки? — спросил у афганцев рядовой Солтонов, который мог спокойно объясняться по-афгански.

— Да, вот, смотрите, всё как вы заказывали.

Развернув содержимое небольшой сумки, солдаты оценили товар.

— Вот пайса (деньги по-афгански) за товар.

Самый старший из афганцев ловкими движениями пальцев пересчитал пачку зелёных афгани. — Надо ещё принести кое-что, запоминай, Ахмед: часы — одна штука, кофейный сервиз — одна штука, костюм «Командо» — две штуки. Когда сможете принести?

— Принесём через три дня, давай пайсу.

— Нет, деньги отдам, когда принесёте бакшиши, — сказал, как отрезал, Усманов.

— Хорошо, принесу товар, но чтобы пайса была без обмана.

— Анарбек, дай пострелять из автомата, — умоляюще попросил один из афганцев.

Бойцы повернулись к Сергею Кутняку — он был старшим в группе, и Солтонов перевёл ему просьбу афганца.

— Надо дальше идти по маршруту, — решил отнекаться ефрейтор Кутняк.

— Да пусть пару выстрелов сделают вон по тем банкам, — посоветовал Миша Усманов.

Нехотя, будто предчувствуя нехорошее, Сергей буквально выдавил из себя последнюю фразу:

— Давай, только быстрее, нам надо уже быть в батальоне...

Сергея Кутняка, который служил в нашей второй роте, перевели в миномётную батарею зимой, во время моего отпуска. Он был уроженцем села Константиновка Донецкой области. Хороший солдат, настоящий воин, но, видимо, поддался уговорам, и день восьмое июля стал для него и для его сослуживцев последним днём...

Кто-то из бойцов передал автомат одному из афганцев, который, как и было условлено, сделал два выстрела по банкам, а затем развернул ствол в сторону наших солдат и расстрелял всех троих... Они не успели среагировать на подлость, приготовленную «духами»... Собрав автоматы, бронежилеты, каски и щупы для разведки мин, душманы скрылись в кишлаке.

В расчётное время группа сапёров не вышла в расположение батальона, и командование миномётной батареи забило тревогу. Грузовой «Урал» немедленно выехал с заставы, и через несколько минут сидевшие в кабине автомобиля старшина батареи и водитель обнаружили тела своих трёх солдат... В сопровождении бойцов к месту трагедии подъехали командир батальона майор Чуваев и командир миномётной батареи капитан Визитиу.

Оценив обстановку и сделав соответствующие предположения, Алексей Визитиу проехал в кишлак Навиан, собрал старейшин и через переводчика выдвинул афганцам ультиматум:

— Если в течение трёх часов те, кто расстрелял моих бойцов, не вернут оружие и снаряжение, я разнесу кишлак на мелкие кусочки...

Старейшины стали заверять офицеров в том, что местные не могли так поступить, что они всегда были в добрососедских отношениях с шурави и никогда не позволяли себе подобного. Однако капитан прервал стариков, и в подтверждение своих слов командир батареи по радиостанции произвёл целеуказание и отдал команду на производство выстрела из миномёта. Через минуту в пятистах метрах юго-западнее кишлака все увидели и услышали взрыв ста двадцатимиллиметровой мины... Толпа старейшин загудела и стала размахивать руками. Посовещавшись, афганцы ушли в кишлак и пообещали вернуться через три часа.

Время ультиматума медленно и неуклонно приближалось к своему завершению. Никаких движений из кишлака в сторону наших позиций не было замечено. Ровно через три часа над кишлаком зависла осветительная мина, предупреждающая о начале обстрела кишлака осколочно-фугасными минами...

Странная, бессмысленная и глупая смерть троих наших солдат за месяц до вывода войск буквально обескуражила каждого воина нашего батальона. Мы все знали, что никогда нельзя доверять афганцам. Но наши безалаберность и расхлябанность

в очередной раз сыграли с нашими бойцами злую шутку. Мы всегда умны задним числом. Никто не мог подумать, что подобное может произойти, но это случилось, и оттого вдвойне горько и печально, что в результате собственного разгильдяйства три молодых человека, у которых впереди была длинная и счастливая жизнь, сложили свои головы на земле Афганистана...

Глава семьдесят первая

Вскоре я приступил к исполнению обязанностей командира третьей роты. На мою должность заместителя командира второй роты назначили лейтенанта Мамедова Г. С. Первый взвод принял вновь прибывший из Союза лейтенант Тедеев Тимур, выпускник Орджоникидзевого воку. Старшего лейтенанта Купина Артёма перевели в файзабадскую первую роту, поэтому исполнять обязанности командира третьего взвода по совместительству стал Габиль Мамедов.

До вывода батальона в Союз оставались считанные недели. Времени на подготовку к выводу практически не было. Каждый день я ездил по заставам, которые располагались в центре Ишантопской степи, на удалении трёх-четырёх километров от заставы управления роты, и знакомился с личным составом подразделения. Смотрел, как устроен быт подчинённых, проверял готовность командиров взводов к выполнению боевых задач. Особое внимание уделялось состоянию техники и вооружения. Предполагалось, что во время вывода войск батальон до государственной границы должен будет совершить многокилометровый марш и уже там передать всю имеющуюся у него технику и вооружение.

Кроме трёх застав, в моём распоряжении был отдельный выносной танковый пост. Управление роты и первый взвод находились на одном из насыпных холмов. Существовала легенда, что эти холмы были захоронениями воинов армии Александра Македонского во время его похода через Афганистан при покорении Индии.

Второй взвод располагался в центре степи, на краю оврага (старого русла реки). Командовал взводом лейтенант Екимовский Александр, выпускник Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С. М. Кирова. Через заставу второго взвода проходила просёлочная дорога от управления батальона до миномётной батареи. Третий взвод располагался рядом с зелёной зоной, в пятистах метрах юго-западнее кишлака Джагузар. Взводом командовал лейтенант Сергей Левитский.

Моим заместителем был выпускник Омского воку 1985 года выпуска лейтенант Амиров Эдуард. В силу специфики службы нашего батальона и удалённого расположения застав мы мало общались с ним. К тому же он прибыл в батальон в июле

1988 года, а уже в августе батальон был выведен из Афганистана.

Десятого июля 1988 года ночную тишину Ишантопской степи разбудили взрывы и автоматнo-пулемётные очереди. Я быстро выскочил из своего помещения на ротный командный пункт и вышел на связь с командиром второго взвода лейтенантом Екимовским. Параллельно отдал команду тревожной группе быть в готовности выехать на помощь второму взводу. Взводный докладывал сбивчиво и неразборчиво, оттого невозможно было объективно оценить обстановку. Кроме этого, в наушниках слышались стрельба и разрывы. Я приказал Александру Екимовскому на время приостановить стрельбу, укрыть максимальное количество бойцов в окопах и внимательно, с помощью приборов ночного видения, наблюдать за прилегающей местностью. Через минуту возбуждённый командир взвода вновь вышел со мной на связь: — «Чинара», я «Чинара-595-й». Стрельбу прекратил, ответного огня никто не ведёт. При подрыве первых мин поднял заставу по тревоге и огнём из вооружения двух бронетранспортёров пресёк попытку нападения на заставу. Когда прекратил стрельбу, обнаружил, что рядом с минным полем находится стадо овец и коров. Я «Чинара-595-й», приём...

— «Чинара-595-й», я «Чинара». Почему в самом начале нельзя было внимательно рассмотреть это стадо? Я «Чинара», приём...

— Потому что... — Александр выдержал долгую паузу, он просто не знал, что ответить.

Я догадывался о причине, поэтому прервал его молчание:

— «Чинара 595-й», необходимо усилить наблюдение по всему периметру заставы, личному составу находиться на боевых позициях, быть в готовности к отражению нападения и немедленно докладывать обо всех изменениях обстановки. Я «Чинара», приём.

— Я «Чинара 595-й», вас понял, приём...

Мне стала понятна причина внезапной стрельбы. Хотя нельзя было сбрасывать со счетов и провокационный характер захода этого стада на минное поле. В преддверии скорого вывода войск «духи» могли специально отвлечь наше внимание взрывами мин и под их прикрытием атаковать заставу с другого направления или произвести нападение на соседнюю заставу. Также у них была возможность организовать засаду на пути следования тревожной группы, которая должна была выдвинуться на помощь второму взводу.

Находясь на возвышенности, мне хорошо были видны разлёт трассирующих пуль и взрывы мин, от которых загорелся сухостой. Я напомнил взводному о том, чтобы все бойцы находились в укрытиях и лишний раз не высывывали свои буйные головы под взрывы мин...

Доложив в штаб батальона о текущей обстановке и своих соображениях, я продолжал наблюдение и периодически заслушивал доклады командира взвода. Примерно через час взрывы прекратились. Только дым от пожара напоминал о случившемся. Ночь в июле закончилась, не успев начаться, и когда первые солнечные лучи осветили Ишантопскую степь, я собрал группу из шести человек и отправился на заставу лейтенанта Екимовского.

Почти одновременно со мной к заставе подъехал бронетранспортёр управления батальона с командиром майором Чуваевым С. А. и начальником штаба батальона капитаном Копашинным В. В. На минном поле и перед ним лежали трупы животных. Рядом, сгрудившись в один большой гурт, стояли остатки некогда большого стада... Лейтенант Екимовский, ещё не до конца отошедший от ночного «боя», докладывал нам с комбатом все подробности ночного происшествия. Два бойца привели пастуха в лохмотьях, который находился под воздействием чарса (афганский гашиш) и ночного кошмара, моргая и глядя на нас отрешённым взглядом, причитая и повторяя, как мантру, что он гарип (бедный)...

Картина произошедшего более-менее была понятна и ясна. Пастух, обкурившись вечером и потеряв контроль не только над собой, но и над стадом, завалился в небольшую ямку и уснул. Неуправляемое стадо животных в кромешной темноте забрело на минное поле и встретило жесточайший отпор наших бойцов. В течение всего «боя» пастух пролежал в своём укрытии. На нём не было ни малейшей царапины... В оправдание своих солдат могу сказать следующее: в светлое время суток наблюдатели контролировали перемещения животных по степи, но ближе к вечеру стадо спустилось в овраг и исчезло из поля зрения наблюдателей. Ночью бесконтрольное стадо «скрытно» подошло к заставе, напоролось на минное поле и получило заслуженный отпор...

Около сорока животных «смертью храбрых» погибли на поле сражений». Естественно, никто из нас не испытывал восторга по этому поводу. Более того, была очевидная вероятность того, что большое начальство будет весьма расстроено этим событием.

Примерно через час к месту ночного происшествия подошла группа старейшин из близлежащих кишлаков Джаргузар и Навиан. Через переводчика мы объяснили, что же произошло сегодня ночью. Они хватались за голову, бормотали себе под нос какие-то фразы, но никто не обращал на них внимания. Начальник штаба батальона вызвал группу сапёров инженерно-сапёрного батальона 201-й мотострелковой дивизии, которые по прибытии на место немедленно приступили к «эвакуации» распнувших на солнце тел животных и восстановлению минно-взрывных заграждений.

Кто-то из стариков заикнулся о компенсации от потери части стада, но комбат в жёсткой форме остановил афганцев и приказал удалиться, напомнив им о недавней гибели троих наших бойцов от рук пришедших со стороны вышеупомянутого кишлака «дүхов».

По окончании разбирательств ко мне подошёл Саша Екимовский и полушёпотом сказал на ухо: — Командир, бойцы под шумок отвели на выносной пост несколько баранов. Какие будут указания?

— Да уж... Пусть пока постоят в укромном месте, потом что-нибудь придумаем. Только чтобы никаких следов, чтобы всё было чисто.

Я знал, что афганцы, придя в себя, пересчитают оставшихся в живых овец и коров, трупы эвакуированных животных и увидят численную разницу между тем количеством, которое было до обстрела, и тем, что осталось после происшествия. Поэтому я ещё раз обратился к лейтенанту Екимовскому:

— Саня, сделай так, чтобы комар носа не подточил...

Через пару дней, как и предполагалось, группа старейшин в сопровождении заместителя начальника политотдела 201-й мотострелковой дивизии прибыла в мою роту с целью обследования расположения застав и бронетехники на предмет наличия животных. К нашему счастью, никаких следов присутствия овец обнаружено не было, и афганцы не солоно хлебавши уехали восвояси...

Между тем в течение нескольких дней личный состав батальона питался свежим бараньим мясом...

Глава семьдесят вторая

Непосредственно перед выводом войск в батальон зачастили проверяющие. Через два дня после ночного «боя» со стадом овец в батальон приехал представитель отдела службы войск штаба 40-й армии, в звании майора. Я встретил офицера на заставе первого взвода. Мы познакомились с майором. Он, как и я, оказался выпускником Омского ВОКУ и учился с моим первым комбатом майором Алексеевым, под началом которого после выпуска из училища я служил в Центральной группе войск. Проверяющий попросил построить весь личный состав подразделения для проверки. Каждый солдат и сержант называл свои должность, звание и фамилию, а проверяющий сверял их со сведениями из штатно-должностной книги (шдж). Затем была проведена проверка оружия и наличия техники на заставе. Вся процедура заняла не более часа, и мы отправились на заставу второго взвода. Время в пути заняло не более десяти минут.

Перед входом на заставу нас встретил лейтенант Екимовский Александр. Я попросил построить личный состав, не задействованный в несении службы. Сборы были недолгими, лишь водители

бронетранспортёров немного задержались, так как они обслуживали технику и были в мазуте.

Наконец все бойцы, в две шеренги, с оружием, стояли в землянке перед кроватями. Каждый солдат представлялся проверяющему. Майор сверял данные военнослужащих с ротной шдк. В это время я обратил внимание, что в распахнутое окно доносятся одиночные автоматные выстрелы. — Лейтенант Екимовский, у вас все бойцы в строю? — спросил я у взводного.

— Так точно, товарищ старший лейтенант, — уверенно ответил Александр Екимовский.

— Что это за стрельба на стрельбище?

Было ощущение, что кто-то стреляет одиночными выстрелами из автомата...

— Никто не может стрелять, весь личный состав здесь, за исключением трёх солдат, которые находятся на наблюдательных постах, — ответил начальник заставы.

Майор подозрительно посмотрел на нас обоих... В этот миг дежурный по заставе забежал в помещение и благим матом заорал:

— БТР горит!

Только этого ещё не хватало до полного комплекта неприятностей, обрушившихся в первые дни моего пребывания в должности командира роты...

Выбежав на улицу, мы увидели языки пламени, вырывающиеся из открытых люков, в районе двигателей бронетранспортёра, стоящего в окопе в пятидесяти метрах от нас, и разлетающиеся в разные стороны трассирующие пули боекомплекта, находящегося внутри БТР. Пожар ежесекундно набирал силу, а интенсивность разлёта пуль увеличивалась с геометрической прогрессией. О тушении пожара не могло быть и речи, тем не менее командир взвода надел на себя два тяжёлых бронежилета, каску и по ходам сообщения подскочил к бронетранспортёру с левого борта, прихватив с собой два огнетушителя. В этот момент из верхних люков усилился нескончаемый вылет пуль, и пламя охватило задние пары колёс БТР, окутав чёрным дымом всё вокруг так, что едва было видно фигуру Александра Екимовского.

— Саня,ходи быстрее от «коробочки»! — командовал я.

С проверкой, мягко говоря, не повезло. Как назло, всё происходило на глазах майора, и он стал невольным свидетелем чрезвычайного происшествия на моей заставе. Я ещё раз крикнул взводному, чтобы тот отошёл от бронетранспортёра. Лейтенант и сам видел тщетность своих усилий, потому что пожар полыхал по полной программе и подобраться к месту горения было невозможно. К тому же была вероятность взрыва топливных баков. Мы отвели личный состав в помещение заставы и ждали окончания пожара...

Проверяющий, видя моё состояние, оказался нормальным мужиком. Он отвёл меня в сторону и сказал:

— Старлей, не переживай сильно, я представляю, сколько тебе придётся разгребать завалов и писать объяснительных, тем более вывод войск близко. БТР восстановлению не подлежит — это точно. Мой совет — его надо списать на боевые потери... Что ты будешь делать с ним, я не знаю. Но ты должен знать, я никому ничего докладывать не буду...

К сожалению, я не запомнил фамилию майора, который мог перевернуть мою судьбу в один миг, но я всегда с благодарностью вспоминаю этого офицера, выпускника прославленного Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе...

Половина горы свалилась с моих плеч. Проверяющий уехал в управление батальона, пообещав доложить комбату, что вины офицеров роты в случившемся нет...

На самом деле я прекрасно понимал, что результатом пожара были элементарные нарушения мер безопасности при выполнении регламентных работ по обслуживанию техники. Мысленно я представил, как мог загореться бронетранспортёр. Во-первых, перед началом работ с аккумуляторов не были сняты клеммы, и от этого, скорее всего, произошло короткое замыкание. Во-вторых, возможно, солдаты могли устроить перекур внутри БТР, а когда внезапно поступила команда на построение, впопыхах бросили окурки на днище бронетранспортёра, которые попали на промасленную ветошь. При температуре воздуха внутри бронетранспортёра около пятидесяти градусов загорание произошло мгновенно...

После отъезда майора у меня состоялся обстоятельный разговор с командиром взвода. Тяжело было смотреть на лейтенанта Екимовского, я представлял себя на его месте, но, по существу, мы оба должны были разделить груз ответственности за это происшествие. К этому моменту пожар закончился. Мы осмотрели бронетранспортёр. Внутри не было живого места. Всё внутреннее пространство было изрешечено пулями. Все приборы наблюдения и прицелы пулемётов выведены из строя. Двигатели расплавились, резина колёс выгорела дотла...

— Саня, что будем делать? — начал разговор я.

— Не знаю, надо попробовать восстановить то, что можно, — задумчиво ответил взводный.

— Да, пусть техник с водителями полазят по свалке техники и что возможно подберут там, предварительно составив опись всего, что необходимо. Надо проехать на дивизионный склад запчастей и там посмотреть то, что можно взять или поменять на нашу «валюту»...

Работа предстояла большая и серьёзная, а времени на восстановление бронетранспортёра уже

не было. Главное, чтобы БТР мог передвигаться на колёсах... Забегая вперёд, скажу, что этот злополучный БТР-70 в сопровождении лейтенанта Екимовского доехал до границы и там благополучно был передан на утилизацию...

Глава семьдесят третья

Время неумолимо приближало срок вывода нашего батальона из Афганистана. Готовились передаточные ведомости и акты, составлялись всевозможные списки, которые корректировались по нескольку раз в день. Подготавливались помещения застав и техника к передаче афганской армии. Времени на все подготовительные мероприятия катастрофически не хватало. Тем не менее двадцать седьмого июля 1988 года я отметил свой двадцать шестой день рождения в кругу своих друзей-сослуживцев.

Первого августа 1988 года из штаба батальона поступила команда о передаче застав батальона и техники военнослужащим афганской армии. Ближе к вечеру второго августа в расположении заставы первого взвода появились «сарбосы» (солдаты афганской армии), в количестве десяти человек. Я познакомился с командиром взвода и сказал ему, чтобы он компактно разместил своих подчинённых в землянке. Мы вместе прошли по территории заставы. Я показал афганцу границы минных полей, все помещения — землянку для личного состава, кухонное помещение и столовую, канцелярию командира роты и взвода, склады боеприпасов и продовольствия. В заключение я провёл командира «сарбосов» в крытый бассейн, который накануне был наполнен чистой водой. Я видел глаза афганца и слышал, как он щёлкает языком в знак удовлетворения от увиденного. Поэтому, не оттягивая в долгий ящик процедуру передачи заставы, я пригласил командира в свою канцелярию для подписания акта приёма-передачи имущества и помещений. Кроме помещений, мы передавали тяжёлое вооружение: автоматические гранатомёты АГС-17, пулемёты ДШК и «Утёс», боеприпасы ко всем видам вооружения. С такими запасами афганцы могли воевать не менее полугода. При себе мы оставили личное стрелковое оружие с одним боекомплектom и ручные гранатомёты.

Утром следующего дня была назначена передача техники на площадке перед въездными воротами в штаб батальона. Вечером командиры взводов по радиосвязи доложили о передаче своих застав афганцам. Я уточнил порядок сдачи техники и пожелал им быть бдительными и усилить наблюдение за «сарбосами» на своих заставах, выставив рядом с ними охрану. Надо сказать, что к третьему августа две трети личного состава подразделений нашего батальона уже отправились в Союз рейсами транспортной авиации, поэтому к моменту

передачи застав афганцам в расположении оставалось минимальное количество солдат и офицеров.

Беспокойная «крайняя» ночь на заставе прошла в ожидании предстоящих событий. Я старался свести к минимуму общение с командиром «сарбосов» и не заснуть в ответственный момент, хотя утро следующего дня не сулило ничего хорошего...

Наутро я привёл себя в порядок и в крайний раз окунулся в прохладу бассейна. Солдаты последовали моему примеру. После нас, не снимая обмундирования, в бассейн запрыгнули афганцы. Было такое ощущение, что они в первый раз увидели воду в бассейне. Они радовались как дети. А выйдя из воды, стали валяться в пыли и кричать от восторга... От увиденного мы были в шоке...

На построении взвода я сказал несколько напутственных пафосных слов своим бойцам:

— Товарищи солдаты и сержанты, подходит к завершению наше пребывание в Афганистане. Нам ещё предстоит сложный этап переброски в Союз. Главное — мы с вами выполнили поставленную перед нами задачу и сохранили свои жизни. Осталось совсем немного. Каждый отвечает за каждого. Помните, нас ждут родные и близкие...

Лица бойцов были серьёзны и сосредоточены. Я скомандовал:

— По машинам!

Я никак не мог отделаться от мысли, что эти мгновения — последние на афганской земле. Несмотря на договорённости, достигнутые между командованием 40-й армии и основными главарями бандформирований, о соблюдении перемирия во время вывода войск, меня не покидала тревога о том, что афганцы, оставшиеся на заставе, могут выстрелить нам в спину. Мы развернули стволы в сторону заставы и на предельной скорости рванули вдалё, оставляя за собой клубы афганской пыли...

Глава семьдесят четвёртая

Нам осталось передать технику афганцам...

На площадке перед расположением батальона в три ряда стояла техника второй и третьей роты. Ближе к обеду появилась группа афганцев во главе с полковником афганской армии, ответственным за приёмку техники. Они распределились по нашим машинам и стали тщательнейшим образом принимать нашу технику. По большей части не было заметно горячего желания принять наши бронетранспортёры и БРДМ. Они выискивали малейшие изъяны. Доходило до того, что трещина на стекле спидометра приборной панели расценивалась как большой недостаток, не позволяющий принимать машину. Один «специалист» попросил запустить двигатель БРДМ. Работая на холостом ходу, двигатель слегка раскачивался, на что принимающий технику сказал, что он не закреплён должным образом. Я пытался возразить ему:

— На холостом ходу такая работа двигателя вполне нормальная, и лёгкое покачивание двигателя происходит оттого, что он закреплён на специальных подушках.

Я попросил водителя прибавить обороты, двигатель устойчиво стал работать, не раскачиваясь. Но, видимо, это не очень-то волновало принимающую сторону. В своих тетрадках они ставили какие-то отметки, говорящие о том, что данный экземпляр техники не подлежит принятию...

Всё мероприятие проходило в условиях сильнейшей жары. Организм обезвоживался, и кровь буквально закипала. Кто-то из офицеров отправил бойцов на дивизионный водозабор, который, по существу, уже не работал в нормальном режиме, обеспечивающем обеззараживание воды... Начальник медицинской службы батальона капитан Шалашников Михаил снабдил всех военнослужащих таблетками, проинструктировав о том, что они помогут нам преодолеть жажду и взбодрят организм в течение нескольких суток.

После обеда начала вырисовываться следующая картина: помимо сгоревшего бронетранспортёра, в моей роте афганцы не принимали две единицы техники. Я доложил об этом комбату. Нервы у всех были на пределе. Мы готовы были на крайние поступки. Майор Чуваев С. А. в присутствии полковника афганских вооружённых сил отдал распоряжение о том, чтобы технику, которую не принимали афганцы, переместили в овраг и расстреляли из ручного гранатомёта, составив соответствующие акты и зафиксировав подрыв на фотоплётку...

Услышав распоряжение комбата, афганский полковник встал перед моей машиной и замахал руками, показывая нам, что не надо никуда ехать. Я попытался отодвинуть полковника, но офицер стоял как скала, к тому же на помощь ему подоспели «сарбосы». Расчёт майора Чуваева оказался правильным. Все технические формальности были улажены, и большая часть техники была передана афганцам. Тем не менее небольшая её часть должна была преодолеть марш до границы Афганистана с Советским Союзом своим ходом. В их числе был БТР Александра Екимовского, который на сцепке благополучно доехал до Союза...

В самый последний момент нам — командиру второй роты старшему лейтенанту Ефимкину Сергею, части офицеров и прапорщиков управления батальона и мне — поступила команда: вместе с остатками своих подразделений убыть на аэродром Кундуза и быть в готовности к вылету в Союз. В батальоне оставалось минимальное количество военнослужащих и техники, которые самостоятельно должны были отправиться к границе...

Глава семьдесят пятая

Ожидание борта на кундузском аэродроме заняло не менее двух часов. На окрестности спустилась

непроглядная ночь, и мы с переполняющими нас чувствами сидели в ожидании отправки на Родину. Услышав в ночном небе гул двигателей Ан-12, мы были ещё на один шаг ближе к дому...

Погрузка в самолёт прошла быстро и без суеты. Один из членов экипажа сверил списки военнослужащих батальона, переданные ему начальником штаба. Важно было в этой неразберихе никого не оставить в Афганистане. Но, судя по тому, что все благополучно добрались до конечного пункта назначения, всё было организовано на достойном уровне.

Улетая одним из крайних бортов из Кундуза, никто не мог гарантировать нам безопасный взлёт. Фактически не осталось ни одного подразделения охраны аэродрома, которое могло предотвратить обстрел нашего борта, но об этом в ту минуту никто не думал или делал вид, что не думает. В самолёте выключили свет. Нас, офицеров и прапорщиков, стоя разместили в гермокабине. Мы стояли и держались друг за друга, не давая упасть при взлёте. После разбега самолёт оторвался от взлётной полосы и резко заложил вираж, набирая высоту. Мы попадали на колени и еле удерживались в таком положении. Ан-12 набрал высоту и вышел на заданный курс. В салоне включился свет, мы расположились кто где.

Через несколько минут в кабине пилотов открылась дверь, и командир экипажа неожиданно произнёс самую долгожданную для всех нас фразу: — Самолёт Ан-12, борт номер ноль двадцать пять, пересёк границу Союза Советских Социалистических Республик!

Этот день и ночь с третьего на четвёртое августа 1988 года я запомнил на всю оставшуюся жизнь... Для нас афганская война закончилась. Эмоции переполняли каждого, кто находился сейчас в этом самолёте. Не сговариваясь, мы закричали протяжное:

— Ура-а-а-а-а!

Мы обнимались друг с другом и не могли успокоиться от радостного момента. К горлу подкатил комок, и на глазах выступили слёзы счастья...

Откуда ни возьмись, в руках у старшины второй роты прапорщика Александровича Ивана появилась бутылка самогонки. Как всегда, вторая рота заранее позаботилась о праздновании знаменательного события. Сергей Ефимкин подмигнул старшине, и словно по мановению волшебной палочки старшина разлил всем присутствующим первача. Не успели мы опустошить содержимое, как самолёт приступил к снижению.

На военном аэродроме «Какайды» в Термезе нашей группе организовали небольшой митинг по поводу прибытия на родную землю. Нам вручили пластинки с песнями на афганскую тематику. Затем в выставленные перед нашими шеренгами ящики для оружия мы сложили свои автоматы,

пулемёты, гранатомёты и стройными рядами отправились в палаточный городок, расположенный неподалёку. Сергей Ефимкин передал встречающему нас офицеру территориального управления КГБ СССР коробку с телевизором «Panasonic» и видеоманитовон этой же марки, которые его попросил сопроводить куратор нашего батальона полковник Эргашев. Странное дело, нас толком никто из пограничников не проверял. Пограничники сверили списки прилетевших военнослужащих с их личными документами, и всё. А ведь нас инструктировали, и мы бойцов запугали, что ни в коем случае нельзя провозить через границу запрещённые вещи. Вся встреча нашего сводного подразделения показалась быстрой и незатянутой. Всё самое интересное ожидало нас впереди.

Глава семьдесят шестая

В палаточном городке нас встретили прилетевшие накануне офицеры и прапорщики батальона. Мы разместили своих бойцов по палаткам, организовали ужин из сухого пайка. И уже через несколько часов часть солдат и сержантов нашего батальона, прилетевшая днём ранее, отправилась на погрузку в самолёт Ил-76, увозивший их в восточные военные округа нашей страны. Мы горячо прощались со своими бойцами, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной. Теперь им предстояло дослуживать свой срок до первого приказа о демобилизации, но уже не под нашим началом... На следующее утро очередная партия военнослужащих отправилась во внутренние военные округа.

Позволю себе сделать небольшое отступление. Как известно, мой младший брат служил водителем КАМАЗ-4310 в батальоне охраны штаба Сибирского военного округа. В ночь на четвёртое августа его роту подняли по тревоге и отправили в аэропорт Толмачёво города Новосибирска. Рядом с взлётно-посадочной полосой несколько автомобилей ожидали прибытия самолётов. После приземления Ил-76 из задней аппарели показались загорелые военнослужащие в «афганках», с дипломами в руках. По внешнему виду и наградам на груди Олег понял, что это борт с «афганцами»...

В течение нескольких минут бойцы погрузились в КАМАЗы и направились на временное размещение в пересыльный пункт. В кабину к брату бесцеремонно сел рядовой Серик Сартаев, боец моей третьей роты.

— Слышь, брат, откуда борт? — обратился к нему Олег.

— Мы из Кундуза вчера прилетели, с Афгана, сегодня неизвестно куда отправят, — ответил Серик. — А где в Кундузе служили? — поинтересовался брат.

— В батальоне охраны кундузского аэродрома.

— Ух ты! У меня брат в Кундузе в батальоне охраны служит.

— А как его фамилия? — спросил Серик.

— Коряков, — уверенно ответил Олег.

— Не может быть! Это наш ротный, старший лейтенант Коряков Юрий Михайлович, — продолжил рядовой Сартаев.

— Правильно, это мой старший брат.

— Я не верю, покажи «военник», — не унимался сердобольный боец.

По приезде в батальон охраны штаба Сибирского военного округа все солдаты сгрудились вокруг брата, он достал военный билет, чтобы мои сомневающиеся сослуживцы-подчинённые смогли лично удостовериться, что на самом деле перед ними настоящий младший брат их командира роты...

Увидев знакомую фамилию и место призыва брата, восторгу моих бойцов не было предела. Такое могло случиться только в фантастическом фильме. Солдаты стали хлопать Олега по плечу, приговаривая:

— Ну, у тебя брат — настоящий мужик! Видишь, мы все живыми вернулись домой — это и его заслуга!

Олега переполняло чувство гордости за меня, а бойцы в знак благодарности и неожиданной встречи подарили ему маленькие афганские бакшиши (подарки).

— Так, значит, брат вышел из Афгана вместе с вами? — спросил Олег.

— Конечно, он сейчас в Термезе, вместе с остальными офицерами и прапорщиками батальона...

Узнав, что Серика направляют в Абакан, брат передал рядовому Сартаеву адрес родителей, с тем чтобы он смог побывать у нас в гостях и лично сказать, что их сын в Союзе. Олег был безмерно рад и счастлив за меня. Он был первым из родственников, кому я сказал, что еду служить в Афганистан. Вот теперь он мог спокойно выдохнуть и перевести дух.

Всё самое плохое, что могло случиться, уже позади...

Глава семьдесят седьмая

Ночь четвёртого августа 1988 года прошла под звуки прилетающих и отлетающих бортов. Накопившаяся усталость компенсировалась безмятежным состоянием спокойствия и умиротворения. Мы по-настоящему были счастливы и в полной мере наслаждались этим положением. Мы наконец-то вернулись в мирную обстановку, к которой ещё надо было привыкать. Впереди были новые назначения и новое место службы. Поговаривали, что каждый из офицеров должен убыть к тому месту, откуда его направляли в Афганистан, а тот, кто прибыл из групп войск из-за границы, должен был поступить в распоряжение штаба округа, где находится военное училище, которое он заканчивал. Следовательно, моя дорога была в направлении Новосибирска, но к этим

размышлениям мой мозг ещё не был готов. Сейчас в головах моих сослуживцев царили полнейшая расслабленность и эйфория. Личный состав почти всех подразделений батальона был отправлен в дальние военные округа, а мы, офицеры и прапорщики, были предоставлены сами себе.

Первым делом мы снарядили командира взвода обеспечения батальона прапорщика Колоду Игоря для отправки телеграмм своим родным и близким. Каждый на листке бумаги написал несколько строк и адрес, куда необходимо было отправить долгожданную весточку. Я написал коротко и лаконично: «Мама и папа, я в Союзе. Юра. Ура!» Эта телеграмма до сих пор сохранена в домашнем архиве.

После обеда оставшиеся офицеры и прапорщики нашего батальона, а также несколько солдат-срочников из управления батальона со всем скарбом загрузились в зил-131 и направились в военный городок мотострелкового полка Термезского гарнизона. Мы разместились в кирпичной казарме на третьем этаже, чемоданы с личными вещами составили в комнату для хранения оружия, привели себя в порядок, переоделись в гражданскую одежду и вышли на улицу мирного, но прифронтового Термеза...

Яркое и жаркое солнце сквозь вековые чинары ласкало нас своими лучами. Синее, бездонное и мирное небо дарило надежду на счастливую и долгую жизнь. С моих губ не сходила радостная и счастливая улыбка. В этот миг мы считали себя победителями, потому что каждый из нас с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной и вернулся живым. Мы были в ожидании новых и больших перемен в своей жизни в лучшую сторону.

Мы шли по улице, и прохожие, оглядываясь на нас, дарили нам свои приветливые взгляды. Торговцы фруктами зазывали нас к своим прилавкам. Немногочисленные девушки с участием смотрели в наши ищущие глаза...

Какой-то аксакал, в чалме, халате и с седой бородкой, остановил нас и спросил меня:

— Огил, сиз озбекмисиз? (Сынок, ты узбек?)

В очередной раз меня признали за своего. Так было в Комарно на юге Чехословакии, по сути — венгерском городе. Когда я служил в этой стране, ко мне постоянно обращались на венгерском языке. Так было в родном Абакане, где соседка-хакаса всё время заставляла признаться, что я хакас. Теперь вот старик-узбек, увидев моё загорелое лицо с чёрными усами, обратился на узбекском языке.

— Нет, я не узбек, отец.

— Вай, почти как мой син, толко чут ты вище. Ты же «из-за речки» вернулся?

— Да, отаси (отец на узбекском), — ответил я.

— Мой син служит в Пули-Хумри, писалъ писмо, что скоро будет дома. Так вот я приехалъ его встречать. Ты не видель его?

— Как зовут сына?

— Ариф Худанкулов. Может, знаешь?

— Нет, отец, не знаю я его, но он точно скоро будет дома, и вы его обязательно встретите!

Отойдя несколько шагов, я обернулся и поглядел на аксакала. Он стоял и смотрел нам вслед, отвечивая низкие поклоны, прижимая руки к груди, представляя на моём месте своего Арифа...

Дай Бог здоровья всем отцам и матерям, которые самозабвенно ждали своих сыновей и дочерей из Афганистана. Ещё больше сил нужно матерям, которые не встретили самых дорогих и близких им людей...

Большой и дружной компанией мы зашли в небольшой фотосалон на улице Первомайской, где сфотографировались на память об этом знаменательном событии...

Потом были многочисленные банкеты, поездка с Артуром Егиазаряном в Ташкент, встреча с комбатом после многокилометрового марша от Кундуза до Хайратона, переселение в гостиницу...

Семнадцатого августа 1988 года начальник штаба батальона капитан Копашин В. В. вручил мне предписание и перевозочные документы для отправки к новому месту службы. Двадцать четвёртого августа 1988 года я должен был быть в штабе Сибирского военного округа в Новосибирске. Днём следующего дня я улетел из Термеза в Ташкент, и через пару дней я был в родном Абакане. Уже дома я почувствовал себя нехорошо и обратился в медсанчасть местного гарнизона, где мне выписали направление в инфекционную больницу. У меня диагностировали самую распространённую афганскую болезнь — гепатит... Да, в самый последний день, передавая технику афганцам, я выпил сырой воды и подхватил заразу...

Через месяц с небольшим меня выписали из больницы, и уже четвёртого октября я шёл по осеннему Новосибирску в направлении штаба Сибирского военного округа. Не обращая ни на кого внимания, спокойно вышагивая по тротуару вдоль Красного проспекта, я услышал визг тормозящих шин большегрузного автомобиля. Затем последовал страшной силы воздушный сигнал... КАМАЗ остановился рядом со мной, и из него выскочила знакомая худощавая фигура моего младшего брата. Олег подбежал ко мне, мы крепко обнялись, долго стояли и не могли освободиться из объятий друг друга. Мимо проходила старушка, она остановилась и удивлённо произнесла надолго врезавшуюся в память фразу:

— Где это видано, чтобы солдат обнимался с офицером?.. Я всё видела, но чтобы вот так, солдат с офицером, стоят и обнимаются...

— Это мой старший брат, он вышел из Афганистана, — повернувшись к бабуле, сказал, как отрезал, младший сержант Олег Коряков.

Бабушка пошла своей дорогой, а мы с братом ещё долго стояли и смотрели ей вслед.

Круг замкнулся. Олег первый, кому я сказал, что еду в Афганистан, и он же подвёл черту, сказав, что я вернулся из Афганистана...

Послесловие к афганскому дневнику

Дневник—это способ зафиксировать на бумаге события, которые происходили с его автором, вспомнить людей, с которыми сводили те или иные обстоятельства, рассказать о времени...

Я попытался как можно точно и последовательно вспомнить эпизоды своей службы в Афганистане, с небольшими отступлениями. Что из этого вышло, пусть оценят те, кто прочитал дневник до конца.

В рамках предложенного повествовательного жанра мне не хотелось давать оценок и обстоятельно анализировать поступки людей и события. Я попытался вспомнить и рассказать в доступной форме о буднях подразделений, в которых я служил в Афганистане.

Повторюсь ещё раз: у нашего батальона не было своего «Сталинграда», мы не совершали героических поступков, мы просто ежeminутно выполняли поставленную перед батальоном задачу.

В Афганистан я приехал офицером, имеющим трёхлетний опыт службы в войсках, и с багажом знаний, полученных в военном училище. С особой благодарностью вспоминаю командиров Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе: командира четвёртого курсантского батальона полковника Молчанова Владимира Николаевича, командиров десятой курсантской роты старшего лейтенанта Сергуна Игоря Дмитриевича и капитана Любезного Александра Николаевича, командира второго курсантского взвода капитана Казака Анатолия Антоновича. Большое влияние на моё офицерское становление оказали мой первый командир роты в войсках гвардии капитан Липаткин Александр Васильевич, командиры взводов гвардии старший лейтенант Балаев Артур и гвардии старший лейтенант Вожов Евгений. Мне очень повезло на встречи с настоящими офицерами-профессионалами и просто хорошими людьми, их было подавляющее большинство.

Отдельное огромное спасибо хочу выразить своей жене Светлане. Во многом благодаря ей я написал этот дневник. Она—верная, надёжная и любимая женщина, вдохновившая меня написание воспоминаний и помогавшая в редактировании рукописи.

В молодости мы все в той или иной степени совершали безрассудные действия, за которые иногда бывает стыдно до сих пор. Но они были и стали частью нашей жизни. О некоторых событиях и о людях я не стал писать, потому что до сих пор

эти люди живут рядом с нами. У них есть родные и близкие. Только по этой причине не хочется ворошить прошлое. Все звания и фамилии в дневнике подлинны, кроме одной. Фамилию одного военачальника я изменил по вышеупомянутым причинам и потому, что его уже нет с нами.

Пусть не вошедшие в афганский дневник странички моей далёкой молодости останутся в том числе и на моей совести. Наверное, ещё не пришло то время, когда можно и нужно об этом писать.

Мы разъехались по своим новым и старым гарнизонам. Разъехались так, как будто никто и никогда больше не встретится в этой жизни. Да, мы оставили друг другу адреса своих родителей в надежде, что будем писать и сообщать о себе приятные новости. Но почему-то спустя небольшой промежуток времени крепкие и надёжные связи были утеряны. Что произошло, что случилось с нами?

А случилось то, что в один миг поменялась страна. В Афганистан нас отправляла большая и великая держава—Союз Советских Социалистических Республик, и все надежды и ожидания по возвращении домой были связаны с ней. Возвратились мы в разрываемую противоречиями и назревающими переменами страну, в которой мы оказались ненужными изгоями. В тот момент мало кому было дело до искалеченных судеб многих «афганцев», до их физических ран и душевных мук. И чаще всего нам самим приходилось искать себя и своё место в изменившемся мире—политики были заняты своими делами. Некогда большая страна в одночасье превратилась в пятнадцать «независимых» государств. Так же, как и новые страны, мы поодиночке находили себя в новой жизни, а народные избранники своим постановлением Съезда народных депутатов СССР от двадцать четвёртого декабря 1989 года осудили решение о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. В один миг «афганцы» из героев превратились в сброд калек, бандитов, наркоманов и алкашей... Но, как показало время, подавляющее большинство моих сослуживцев и в мирной жизни подтвердило свой особый статус.

Память избирательна по своей сути. Много событий из почти двухлетней жизни в Афганистане безвозвратно улетучилось в астрал, и восстановить их со скрупулёзной точностью не представляется возможным, да и нет в этом особой необходимости. Так же и люди. Есть те, кто постоянно на связи и с кем приятно посидеть в дружеской обстановке и вспомнить о далёкой боевой молодости, а есть такие, чьи фамилии и имена за давностью лет стёрлись из памяти.

Если бы у меня была возможность что-то изменить и вернуться в прошлое, я бы ничего не стал менять глобально, кроме одного. До сих пор корю себя за то, что, когда появилась возможность, не

стал ходатайствовать перед вышестоящим командованием о представлении к наградам своих подчинённых. Была бы моя воля, я отметил бы почти всех своих бойцов и офицеров, потому что они каждый день были рядом, подставляли своё плечо и наравне со мной испытывали тяготы и лишения.

У нас были самые лучшие солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Им—особая благодарность, почёт и уважение, и низкий поклон родителям, которые воспитали таких сыновей.

Мне жаль, что я не представил к награде лейтенанта Александра Екимовского... Всякое у нас было в совместной службе. Мы оба были взводными в Файзабаде. Почти одновременно нас перевели в Кундуз. Крайний перед выводом месяц Саша служил под моим началом в третьей роте. И здесь были небольшие нюансы. Помню, как он подошёл ко мне после вывода войск в Термезе и сам спросил: — Командир, почему ты меня не представляешь к награде? Неужели я не заслужил хотя бы медали «За боевые заслуги»?

В то время я был максималистом и посчитал, что Александр «не навоевал» на медаль, тем более такое обращение слегка напрягло меня. У нас в батальоне многие офицеры и прапорщики, я уже не говорю о солдатах, уехали из Афганистана без боевых наград. Я не захотел обесценивать награду, буркнув что-то нечленораздельное, и отвернул глаза в сторону.

Буквально за час до этого разговора, ко мне подошёл сержант, писарь начальника штаба батальона, и обратился с предложением:

— Товарищ старший лейтенант, на вас было представление к ордену. Хотите ускорить его получение?

— Что я должен для этого сделать?

— Сто чеков—и орден будет вручён быстро,—ответил сержант.

— Насколько быстро?

— Очень быстро...

— А не пошёл бы ты на слово из трёх букв?!! При чём здесь сто чеков? Если есть представление, я рано или поздно получу свою награду, но тебе, сынок, платить сто чеков я не намерен...

Вечером я встретился с Сергеем Ефимкиным, и он рассказал похожую историю про аналогичное предложение писаря.

— Юра у них там наверху всегда так: «Ваньке за атаку хрен в сраку, а Машке за...—Красную Звезду»,—Серёга не стеснялся в выражениях, вновь напомнил поговорку солдат, прошедших Великую Отечественную войну, и его можно было понять.

Мы оба почувствовали неладное, но не стали выяснять у начальника штаба подробности. Нам просто надо было скорее уехать домой. И вот тут, после столь некрасивого предложения, состоялся разговор с Александром Екимовским...

Имей я в то время такой же житейский опыт за плечами, какой я имею сейчас, не раздумывая, написал бы рапорт о представлении его к награде, но рассуждать сейчас в сослагательном наклонении о событиях тридцатилетней давности, наверное, глупо. Я чувствую перед ним свою вину...

Используя современные информационные технологии (Интернет), спустя почти двадцать лет после расставания в Термезе, я нашёл всех тех, с кем хочу общаться и кто мне по-настоящему дорог. Мы переписываемся и созваниваемся. Поздравляем друг друга с праздниками и личными знаменательными событиями. Отправляем друг другу посылки через знакомых. Несколько раз мы встречались хорошей и тёплой компанией в столице нашей Родины, в Москве.

Встречу сослуживцев батальона в Москве по случаю двадцатилетия вывода войск организовал Сергей Ефимкин. Мы были на торжественном собрании и концерте «афганцев» в Кремле. Для меня это первое и единственно посещение Кремлёвского дворца.

Очередной большой юбилей вывода войск и встрече сослуживцев мы организовывали уже вместе с Сергеем, подключив Володю Чугришина, командира взвода миномётной батареи нашего батальона. Большое содействие в организации культурной программы нашей встречи оказал первый командир нашего батальона полковник запаса Салихов Анатолий Николаевич. Комбат организовал приглаательные билеты на всех участников мероприятия в Крокус Сити Холл...

На встречу приехали солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры из разных уголков бывшего Советского Союза: снайпер второй роты Рубин Вильяр Янович из Эстонии, пулемётчик второй роты Кабылов Абдыманап (Малик) Токтогулович из Киргизии, заместитель командира взвода второй роты Короблёв Дмитрий Викторович из Новокузнецка, старший стрелок второй роты Казанцев Алексей Леонидович из города Камышлов Свердловской области, водитель БТР третьей роты Космачёв Виктор Николаевич из города Бузулук Оренбургской области, пулемётчик третьей роты Кирюшкин Анатолий Сергеевич из Саранска, старший техник первой роты Разарёнов Алексей Иванович из Липецка (Москвы), командир взвода первой роты Купин Артём Алексеевич из Горно-Алтайска Республики Алтай, командир огневого взвода миномётной батареи Чугришин Владимир Вячеславович из Москвы, замполит второй роты Тихонов Сергей Борисович из Новосибирска, командир второй роты Ефимкин Сергей Геннадьевич из Москвы, командир третьей роты Коряков Юрий Михайлович из Красноярска, командир батальона Перевозчиков Сергей Геннадьевич из Москвы.

Два дня пролетели как один миг. Мы не могли наговориться. Вспомнились эпизоды службы,

которые в силу прожитых лет и возраста забылись, но они послужили поводом для включения их в дневник.

Положительный заряд эмоций от встречи останется до следующего юбилея. Организовав группу в мобильном приложении, мы практически двадцать четыре часа в сутки находимся на связи

и готовы в любой момент откликнуться на призыв о помощи. Часто, даже без повода, звонят простые солдаты и сержанты, которые были надёжной опорой там, «за речкой», и благодарят за то, что вернулись домой живыми. От этого тепло и радостно на душе, и это дорогого стоит.

Значит, не зря всё это было...

ДиН 1945–2020

Владимир Замышляев

● ● ●
Нам нужна оборона,
Нам нужны алтари,
Звёздный свет на погонах
От зари до зари...
Застучали заводы,
Призван снова Левша,
И ликует в народе
Трудовая душа.
пво и ракеты
Для защиты страны,
Чтобы были рассветы
И часы тишины,
Чтобы Родина наша
Оставалась живой,
Расширяла бы пашни,
Луговины с травой.
Пусть летят самолёты,
Пусть плывут корабли,
Чтобы этим оплотом
Мы гордиться могли.
Не забудем про космос,
Где Гагарин бывал,
Русских гением к звёздам
Бог Вселенский позвал.
Всем богата Россия,
Но завистники есть,
Им хотелось бы силой
Задавить нашу честь.
Нет, не будет такое,
Хоть и тяжко вдвойне
Жить, не зная покоя,
Быть готовым к войне.
Есть в истории опыт,
Как в Россию ходить,
сша и Европе
Надо в памяти быть.

Александр Перчиков

● ● ●
Война донныне целится в людей,
Чья горькая дорога не забыта...
Не будет пусть для них очередей,
И неудобств, и неустройства быта.

Пускай легко живут они среди нас,
Хоть чем-нибудь поможем всем народом.
И вот ещё один про них Указ,
А их всё меньше, меньше с каждым годом...

Белла Верникова

Вальс сорок пятого года

Какая-то площадь, оркестр духовой,
пришедшие с фронта солдаты,
распаренных танцами и духотой
уводят их жёны куда-то.
И только один остаётся в кругу,
без женщины, с костылями,
под музыку—слёзы сдержать не могу—
он вальс в полутьме ковыляет.
И вот я иду с ним, и знаю куда,
и что будет дальше, я знаю,
и нет замешательства, просьбы, стыда,
и здесь не любовь никакая,
и даже не в жалости дело, а в том,
что счастлив, не надо и спрашивать,
и если помянет, так только добром,
а если забудет, не страшно.

1975

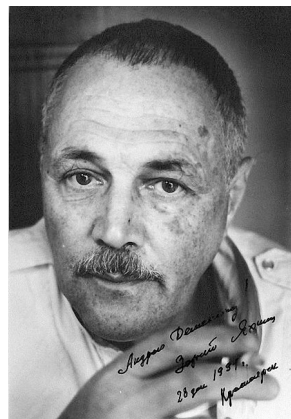
Андрей Деменюк

Зорий Яхнин. Поэт по соседству

«Знаешь, а в ваш дом заселился Зорий Яхнин». Моя бывшая преподавательница в институте, а теперь мой добрый друг — одна из старейших жителей Академгородка и всегда в курсе последних академических «светских» событий. Новость вызывает лёгкое недоумение. Малосемейный дом, где я только что получил крошечную «однушку», трудно отнести к престижному жилью. Восемь квартир на этаже: четыре — направо от лифта, четыре — налево. Три «однушки», одна «полуторка». Четыре двери в общем тамбуре, моя — предпоследняя. Естественные для известных в городе и крае писателей места обитания представлялись мне как-то иначе...

Возвращаюсь из хозяйственного магазина в соседнем доме. Приобрёл свою первую мебель — раскладную табуретку. Шесть рублей пятьдесят копеек. В тамбуре интеллигентный мужчина приятной наружности устанавливает в простенке рядом с моей дверью ящик, очень похожий на снарядный. Я ж как-никак по военной специальности, приобретённой в институте, — артиллерист. Мужчина вежливо интересуется: «Вам не помещает, если я тут ящик под картошку поставлю?» Приятный голос, правильная речь. «Нет, конечно. Ну что вы, что вы», — отвечаю я, непроизвольно переходя на не свойственный моему покровскому воспитанию уровень вежливости, и скрываюсь в квартире. Устанавливаю табуретку посреди пустой комнаты и усаживаюсь на неё, довольный своей хозяйственностью. И только тут мозг мне тихо шепчет: а ведь это же Зорий Яхнин!

Чтобы убедиться окончательно, иду в угол комнаты, где за дверью возвышается колонна из как минимум двухсот стихотворных сборников поэтов со всей страны, изданных в последние годы. Мы, молодые поэты, конечно, уверены в своей непризнанной гениальности, недоступной заматеревшим мастерам слова, но убедиться в этом, листая их сборники, полезно. Разок-другой... Двухсотый... Ага, где тут у меня наши красноярские мэтры? Так... Это Анатолий Третьяков. Неплох, неплох... Иногда парой строк вдруг зацепит такие глубины отражённого сознания, что мурашки по коже. Тоненькая книжка Кузнечихина Сергея. Этот — практически наш, молодой. Русский язык чеховского уровня. Далеко пойдёт... А этот



«Андрею Деменюку
Зорий Яхнин.
28 декабря 1991 г.
Красноярск»

синенький сборник — мой любимый «Световод» Вячеслава Назарова. Потрёпанный — таскал его в рюкзаке на полевые работы каждый сезон. А здесь вот — Роман Солнцев. Память тут же выдает назаровское: «Что же делать нам, Рома? Как осилить такое? Может, двинем из дома отдыхать от покоя?» Ага, вот и сосед. Зорий Яхнин, «Требуется скрипач». Новый совсем сборник. Нахожу портрет автора. Да, точно он. Зорий Яхнин.

Осень 1988-го. Сажу на лоджии. Курю и горжусь собой. Послал стихи в «Красноярский комсомолец». По почте — что называется, «самотёком». «Из «самотёка» никогда не напечатают, говорили мне знающие люди... Из «знающих» мне тогда были доступны только люди типа «учившиеся в школе с братом племянника третьей жены корреспондента многотиражки совхоза „Северный олень“». А вот и напечатали! Целых три стихотворения! Из «самотёка»! Обежал все киоски, скупил экземпляры, сообщил всем знакомым. Кто вкусил восторг первой — настоящей — публикации, знает, что это девяносто процентов от всего отпущенного писателю на все публикации ощущения счастья. Кто я до этого? Лучший поэт в институтской группе? Одна юмореска и пара стихов в институтской многотиражке? Ну а теперь-то — настоящий поэт! Вот тут вот вверху, на второй странице, — фамилия моя. И стихи. Тоже мои. Смешно, конечно, но ощущалось это как-то типа: «Царь... приятно познакомиться, царь...»

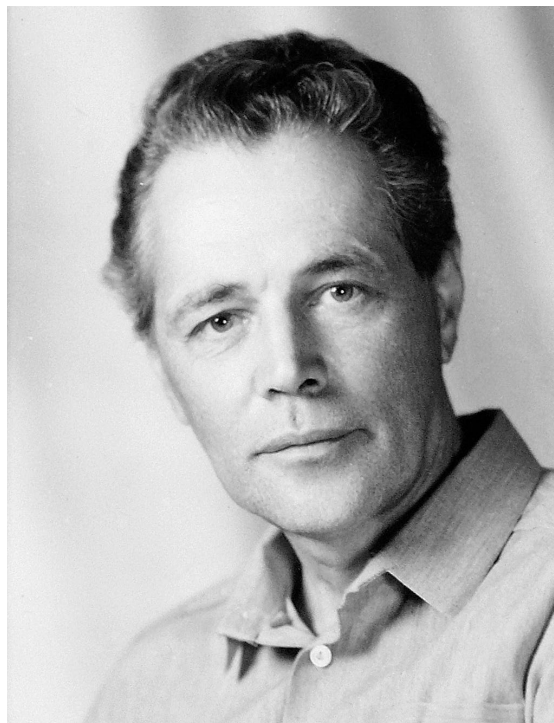
Курю и горжусь собой, и тут на свою половину лоджии врывается Зорий Яхнин. Сразу видно:

переполнен положительными эмоциями, как букет полевых цветов. Лицо одухотворённое, глаза горят. Давно его не видно и не слышно было. Оказывается, он только что вернулся после многомесячного отсутствия: Москва, Крым, Переделкино, не помню что ещё... И видно, что ему просто необходимо поделиться накопленными чувствами хоть с кем-нибудь, а то взорвётся. И тут я подвернулся. Начинает рассказывать всё подряд. Отличный рассказчик. Завораживает. Спустя полчаса приглашает к себе — на лоджии прохладно. Иду в комнату. Мозг лихорадочно: «Штаны поприличней надень. И свитер свой драный сними. Так — и отчество, отчество его глянь...» Конечно, кто же знает отчества поэтов? На обложке всегда только имя. Быстро переодеваюсь и роюсь в груде сборников стихов в углу комнаты за дверью. Ага — вот его сборник. Яковлевич... Зорий Яковлевич Яхнин.

Мысленно повторяя его отчество, чтобы незначай не попутать, впервые в жизни иду в дом настоящего известного поэта.

За всю свою прошлую жизнь видел-то вживую только одного. Владлен Белкин как-то в школу нашу приезжал стихи читать. Мужественный человек. Школа в Покровке. Её из любой точки в городе видно: оранжевое здание на склоне Караульной горы, правее часовни Параскевы Пятницы. И тогда это было, пожалуй, её единственное достоинство. В те времена Покровка, официально именуемая красиво — слобода Весны, — место, так сказать, не лучшее в смысле приобщения к общечеловеческим ценностям. Нет, учителя, конечно, отличные. Подвижки все. А директор — так вообще легендарная Надежда Ивановна, высокая суровая дама из детей испанских республиканцев, способная железной рукой поддерживать порядок в школе, набитой отпрысками разношёрстных полупролетарских элементов, выражаясь по-марксистски. Её рабочий стол забит самодельными ножичками, кастетами и свинчатками, отобранными у учеников. Да, юных любителей стихов там не много было.

Ну, мебель — как-то не особо... Секретер, кровать, шкаф, два кресла, нечто типа софы. Все потрепанные ветераны конца шестидесятых и древнее. Полки с книгами. Радиоприёмник у кровати. Ага, вот это уже ближе к ожидаемому — журнальный столик, на нём красная югославская портативная печатная машинка. У меня такая же, только белая. Авторучка («Паркер», вероятно), которой он однажды, в самом начале своих художественных опытов, безжалостно чиркая ею по акварельной бумаге, рисовал вышеупомянутую печатную машинку. Даже у меня сердце тогда кровью облилось за золотое то перо, а ему было хоть бы хны.



Он вещи ценил только в силу их полезных для его творчества свойств.

А вот стены — да, всё как ожидаемо в жилище настоящего поэта: картины, картины, картины...

Когда ему стукнуло уже шестьдесят, он вдруг увлёкся акварельной живописью, и на стенах появилось множество его собственных работ. Его друг-художник удивлялся: «Как же так?... Мы вот учились столько лет, а ты раз — и прекрасные акварели пишешь...» А Зорий Яковлевич смеялся и говорил: «Я так долго общался с отличными художниками, что, видимо, волей-неволей у них и научился».

Портрет хозяина дома. Узнаю сразу, хотя стилистику изображения трудно назвать реалистичной. Ну конечно: автор — Андрей Поздеев. Ого!

В середине девяностых: «Знаешь, старина, встретил вчера в центре Андрея Поздеева, говорю: „Привет, Андрюша, хорошо выглядишь!“ А он улыбается, язык высунул, а на нём две таблетки нитроглицерина...»

Лицо на портрете зеленоватое, глаза жёлтые, на столе — бутылка вина. Поза и руки хозяина дома переданы таким удивительным образом, что возникает ощущение движения. Вот сейчас поднимет

бутылку и наполнит свой бокал. «Это я как-то зашёл к Андрею со страшного похмелья, а он говорит: „Садись, я портрет твой напишу“. А я говорю: „Хорошо, но только если вина нальёшь“. Да, с изображением на картине история сочетается с абсолютной точностью. Ну Поздеев! Гений.

И о вине, кстати сказать... Пикантные слухи о таком пристрастии поэта оказались обычным «окололитературным» мифом. Да, раз в год или даже пореже ему было необходимо на три-четыре дня побить одному, выключить телефон и «разбить мозговые спайки», как он это называл. После такой «разбивки» он несколько дней ходил по квартире с извиняющейся улыбкой и немного виноватым видом и щёлкал выключателями: «А знаешь, старина, я заметил, что когда я в таком загуле, в квартире все лампочки перегорают...»

Однажды, в 1991 году, когда он после одного такого случая курил на нашей общей лоджии и печально пил морковный сок, я, чтобы поднять ему настроение, как уж смог, набросал шуточный акварельный скетч и стишок с намёком на его только что вышедшую новую книгу «Река мгновений»:



Свекольный сок
Да сок морковный!
Коньяк — долой! Долой — вино!
Пора поэту путь греховный
На праведный сменить давно.
Вина река, река мгновений
Посеребрили Ваш висок.
И уж не тот Кастальский ток:
Теперь источник вдохновений —
Морковный сок,
Свекольный сок.

Ещё картины — линогравюры. Узнаю сразу — Мешков. Северная природа, озёра, олени. «Мы вместе были на севере края: я собирал экспонаты по этнографии северных народов для краеведческого музея, а он рисовал. После, уже в Красноярске, к нему были придиры по поводу художественной

достоверности его картин, и он меня попросил: „Зоря, ну подтверди ты им, что вода в озёрах там даже в солнечный день и в самом деле чёрная...“ А я тогда вёз костюм шамана для музея и на обратном пути плясал в нём на палубе парохода». В памяти всплыло изображение этого костюма, виденное не раз в экспозиции музея. Несмотря на очевидную несочетаемость шаманского одеяния с обликом этого элегантного, красивого человека с естественными манерами прирождённого денди, такая картина не показалась мне гротескной. Что-то такое появлялось в его взгляде, когда он вспоминал истории из прошлого, что подсказывало: он не копается в недрах памяти, как все, а, пожалуй, реально перемещается по прошлому, как по комнате.

Ещё одна картина Поздеева — на стене в кухне. Натюрморт. Рыбы, разложенные на экземпляре газеты «Красноярский рабочий».

Странно, что до сих пор не встречал репродукции обеих этих картин ни в одном из изданных альбомов работ Андрея Геннадьевича Поздеева.

Маленькая уютная кухня. Стол у стены, табуретки. Тоже ветераны кухонных посиделок семидесятых. Троиц расположиться — тесно.

Помню, позже, уже в начале девяностых, случайно зашёл к нему, когда у него был в гостях последний советский руководитель края. Бывший руководитель, глядя на «хоромы» и «мебель» хозяина дома, сетовал, что зря, мол, они считали именно его самым идеологически ненадёжным из литературной братии и соответственно относились — в смысле распределения благ. Судьба любых властей — сначала самообман, потом сожаления. Тут сразу нужно добавить: не был, конечно, Зорий Яковлевич «непоколебимым коммунистом сталинской кладки». Ему идеология была безразлична, он о жизни не по лозунгам судил. Человеком он был. Нормальным. Свободным. Честным. И всегда и со всеми оставался самим собой. Зорием Яхнинным.

Из его историй. «Однажды, в пятидесятые годы, в Москве, мне, тогда ещё совсем молодому и зелёному, довелось побывать в гостях у гражданской жены адмирала Колчака. Сидели чинно, пили чай. Гости хозяйки дома — все седовласые, благородного вида стариканы с гвардейской выправкой. Ясно, что сплошь офицеры ещё царской армии. Разговор за столом едва тлел — о погоде и прочих пустяках. И тут хозяйка говорит: „А давайте попросим молодого поэта почитать стихи“. Ну, думаю, сейчас я вас расшевелю. Встаю и задорно читаю свои стихи о Ленине. Закончил и стою, жду, когда меня эти

бравые гвардейцы за дверь выкинут. А они все заулыбались, поаплодировали, и—дальше разговор за столом потёк свободно и непринуждённо, в беззастенчиво антисоветском духе. Я недоумевал. И лишь потом сообразил: после моих стихов о Ленине они поняли главное для них—что я точно не засланный стукачок». Вспомнились почему-то тогда его строчки:

И справка мне была дана
С печатью—всё как нужно,—
Что, мол, у Зори Яхнина
Вшей не обнаружено.

Продолжая рассказывать мне о своих путешествиях, хозяин дома привычно, между делом, сервирует стол, да так, что он приобретает вид законченной художественной композиции: ножи, вилки, тарелки, салфетки—все занимают свои места, образуя изящный натюрморт. Ага, видимо, он привык любую свою деятельность обращать в творческий акт. Он и закуску, самую простую: отварная картошка, солёные огурчики, помидоры,—выложил на тарелках так, словно картину написал. Появляется ощущение, что с моей стороны было бы логичным надеть для визита смокинг, а не футболку. Кстати, сам хозяин одет в модные вельветовые штаны и пиджак. Модные—для конца семидесятых. При всём при этом смотрится он как английский лорд в Париже. Небрежно-элегантно. Вспоминается хрестоматийное: не одежда красит человека, а человек—одежду. Вот уж это точно про него...

И ещё запомнилось впечатление самое первое о нём как о человеке: где-то через полчаса нашего разговора я поймал себя на ощущении, что я начал воспринимать его как ровесника. Нет, он не старался казаться молодым, он им был. Он был лёгким, открытым, искренним, всем интересующимся и интересным. Никакой маски, никакой позы. Ничего ожидаемого от мэтра. С ним не нужно было думать, что и как сказать, чтобы понравиться. Он и сам говорил прямо то, что реально чувствует. Он спросил у меня тогда, кто из красноярских поэтов мне нравится больше. А я, уже совершенно не чувствуя никакой неловкости и необходимости льстить ему, сказал, что Вячеслав Назаров, по моему мнению, лучший. Он умел радоваться чужим удачным стихам как своим. И радоваться за других тоже. Просто потому, что чем больше у каждого человека радостей в жизни, тем радостнее жизнь в целом. Любая встреча с ним вызывала ощущение праздника, даже если мы просто пололи траву в его огороде или ели его знатный борщ с листьями свёклы и крапивы.

Да, рассказчик он отличный. И вот что интересно: все персонажи, появляющиеся в ходе его повествования, оказываются какими-то необычными и замечательными людьми. Будь то таксист, уборщица в доме отдыха, геолог, священник, оленивод, бывший зек... Образы живые, объёмные, запоминающиеся.

Вообще, если Зорий Яковлевич о ком-то историю рассказывал, то это всегда была забавная история, в которой главный герой проявлялся с какой-нибудь его удивительной стороны. За те двенадцать лет, что я был с ним знаком, я ни разу не слышал от него ни единого негативного отзыва о каком-нибудь из его знакомых. Даже узнав про личные выпады в свой адрес, он обычно вспоминал что-нибудь из общего с автором нападок прошлого, что-то забавное или приятно удивившее его в этом человеке. А печатных и телевизионных наездов на него хватало в девяностые годы, когда самые заласканные прежней властью культурные деятели активно перестраивались под власть новую.

Однажды, помню, опечалило его заметно газетное интервью одного маститого нашего писателя, в котором тот, в частности, обвинил поэта Яхнина в многолетнем пагубном пристрастии к вину и женщинам. Против данной части интервью Зорий Яковлевич, понятно, возражений не имел, так как для настоящего поэта подобная характеристика, пожалуй, является вполне комплиментарной, учитывая вековые традиции русской поэтической школы. Что его расстроило, так это внезапное и непонятно почему появившееся в рассуждениях серьёзного прозаика причисление поэта Зория Яхнина к фашистам. Накал политической полемики в начале девяностых частенько зашкаливал, но всё-таки услышать такое от бывшего доброго знакомого и собрата по перу было неожиданно. Вспомнилось ему тогда детство его военное—эвакуация, голод, отец на фронте... И взгрустнулось, видимо, не по-детски...

Но Зорий Яковлевич не был бы собой, если и данную ситуацию он не превратил бы в забавную и гротескную историю. Причём сделал он это экспромтом, через несколько дней после публикации ругательного интервью. Был осенний день, утро субботы, как я помню, поскольку на работу я не пошёл, а, встав рано утром, вышел покурить на лоджию. И тут на лоджию выходит Зорий Яковлевич в своей «полевой» форме. Он уже успел сбежать на «дачу» и вернуться с собранным урожаем. При этом он, очевидно, пребывал в весёлом настроении и смеялся как озорной школьник, которому удалась весёлая проделка. История случилась такая.

Отправился он с утра пораньше на антенное поле, где на самом берегу Енисея и располагался его огородик... Хмурое осеннее утро. Светлело...

Идёт он по тропинке через берёзовую рощу, что на западной окраине Академгородка, за двенадцати-этажкой. Место обычно малолюдное. Вокруг никого. И тишина... И тут он замечает силуэт человека, идущего навстречу. Они сближаются, и Зорий Яковлевич узнаёт того самого маститого писателя, печатно заклеившего его фашистом. Вскоре и его визави понимает, что за тип движется ему навстречу в осеннем сумраке по пустынному лесу... И уже никак не разойтись — встреча неизбежна. Развязка близится, напряжение нарастает. И вот, когда их разделяет лишь пара метров, Зорий Яковлевич делает шаг в сторону, учтиво уступая дорогу оппоненту, и в момент наибольшего сближения он, небрежно вскидывая правую руку вверх в характерном жесте, проникновенно приветствует обидчика: «Хайль!..» Занавес...

Был он человеком неконфликтным и очень располагающим к общению, но негиббемый внутренний моральный стержень прекрасно чувствовался в этом мягком и мудром человеке. К себе он относился без пафоса и часто шуткой над самим собой намеренно понижал, так сказать, градус помпезности какого-нибудь важного события в своей литературной жизни. После официального мероприятия, устроенного Союзом писателей по поводу его шестидесятилетнего юбилея, — с афишами, цветами, поздравлениями и полным залом друзей и почитателей таланта — он, смеясь, рассказывал: «Представляешь, старина, стою я там, на сцене, в новеньком костюме, стихи читаю, а в первом ряду сидят все три моих бывших жены, и хоть бы одна намекнула, что у меня на штанах молния-то не застёгнута...»

Люди быстро проникались к нему симпатией и прикипали душой и сердцем. Жить рядом с ним было необычайно интересно. У него в доме часто можно было встретить начинающих поэтов. Журналисты из «Вечернего Красноярска» — вдохновенный Владимир Пчёлкин, весёлый и язвительный Виктор Барков, серьёзный и основательный

Сергей Щеглов... Добрейшей души североенисеец Юрий Астафьев... Норильчанин, охотник-промысловик, журналист и поэт, энергичный Сергей Лузан. Приходили и старые друзья Зория Яковлевича. Поэт Анатолий Третьяков... Мне — со свойственной Анатолию Ивановичу в любом состоянии поэтической пронизательностью: «Ты — поэт на пятьдесят процентов, а Юра Астафьев — на сто!» Эвенкийский поэт Алитет Николаевич Немтушкин... Провожая его на остановку — он, вводя меня в когнитивный ступор: «И чего это Зорий мне про тебя сказал — молодой Пастернак?.. Ты — нормальный поэт!» Поэт Николай Ерёмин... Он — Зорию Яковлевичу, вызывая во мне чувство моей литературной неполноценности: «Я, пока до тебя шёл по сосновому лесу от Студгородка, составил план замечательного стихотворения...»

Бывали, конечно, и многие другие. Художники, писатели, журналисты, академики, политики, историки, литературоведы... У него в доме я даже с ирландским католическим епископом, милейшим отцом Робертом Бредшоу, однажды встретился. Но это после.

А в тот первый день нашего знакомства я, конечно же, рассказал ему о своей первой публикации, и он тут же, отвечая на чей-то телефонный звонок, с неподдельной радостью сообщил неизвестному мне собеседнику: «Представляешь, у меня сосед — поэт!» А настоящий поэт там был тогда только один — Зорий Яхнин.

Почти четверть века и тысячи километров отделяют меня от того времени и места. Но когда я писал эти заметки, писал просто из непреодолимого желания выразить ему моё уважение и восхищение, я снова испытал такое знакомое ощущение праздника от прикосновения к этому незабываемому явлению, каким был и остаётся для меня и наверняка для многих ещё людей Зорий Яковлевич Яхнин. Поэт Зорий Яхнин.

Зорий Яхнин

Вечный бег

Микрорайон

Здесь теперь вечерами
Огней разноцветные вспышки
Зажигаются весело
В каждом окне...
Ну а раньше стояли
На этом месте домишки,
И хозяин сдавал
Сырую комнату мне.
Я его ненавидел,
Я своего «благодетеля»
В суд бы отвёл,
Но что поставить в вину?
Нет, судить его не за что,
Он человек добродетельный,
Он в пьяном угаре не бил
Толстуху-жену.
Своим, не чужим,
Торговал в толчее базарной,
В чужие дома не лазил,
Упаси его Бог, не крал.
Он ползарплаты моей
Брал у меня регулярно
И при этом, жалея меня,
Виновато вздыхал.
А потом вечерами
В сытом, тупом довольстве
Он со мной толковал:
За какие такие грехи
С девяти до шести
Я работаю на производстве,
А с шести до двенадцати
«Задарма составляю» стихи?
Он, конечно, не знал,
Что я для того работал
И стихи сочинял,
Задыхаясь в табачном дыму,
Чтобы выстроить тысячи
Новых домов добротных,
Чтобы в жизни не было
Места ему.



И я в редакции на приступ
Был каждый день идти готов,
Но миновал счастливый приступ
Изобретения стихов.

Закономерны перемены,
Луна—старо,
Любовь—старо.
Для каждой девочки надменной
Не схватишь вечное перо.

Но что-то сумрачное мучит,
Уводит вдаль от мудрых книг.
А жизнь всё учит, учит, учит,
А я не лучший ученик.

И где-то,
Может, в чистом поле,
Придя отчаянно к нулю,
Жестокий приступ
Чьей-то боли
Своею болью
Утолю.

И человек равнодушно
Начнёт внимать моей строке.
И человеку станет душно
В нейлоновом воротнике.

Чтобы он мог у слов погреться,
Себя на строки изведёшь.
Не руку ты кладёшь на сердце,
А сердце
На руку кладёшь.

Окно зелёное не гаснет

Триптих



Почтарь.
Урядник обязательный.
Поп с попадѣй.
Толкует всяко:
— Всё пишет.
— Видно, из писателей.
— Пи-са-ка...

Над Шушенским пуржисто, ветрено.
Окно зелёное не гаснет.
Перо поскрипывает медленно
И неопасно.

Пока перо в руках у Ленина,
Но скоро, скоро
Ударит по всему, что временно,
«Аврора».

Ахнет залп по чинушам
По заносчивым,
По «мундирам голубым»,
По доносчикам.

Ахнет залп по тюрьмам,
По скудости,
По казённой по уверенной
Тупости.

А Россия Распутиным вверена—
Временно.
Сколько Пушкиных Россией растеряно—
Временно.

Ой, российское горе немерено—
Временно.
Ахнет залп весомо, уверенно
По всему, что в России временно.



Набухли на берёзах почки,
И пахнет прелью и землёй.
Райком. Гостиница и почта.
И клуб под солнцем—золотой.

Иду по тротуарам новым,
Тот дом заветный нахожу.
По жёлтым лесенкам сосновым
В него задумчиво вхожу.

Зачем же здесь музейный запах?
И стынут книги под стеклом?
Вот секретер с зелёной лампой
И с тем особенным пером.

Мне чудится:
Движеньем скорым,
Предчувствиями озарён,
Возьмёт Ильич перо,
Которым
Был старый мир приговорён.



И снова Шушенское.
Вот он, листовничный,
Тот дом, окошком в пожелтевший сад.
И сумрак вдумчивый
И до того привычный,
Как будто здесь когда-то жил я сам.

Схожу с высоких вымытых ступеней,
Иду к реке на невысокий склон.
За подвесным мостом сияет лес осенний,
Там некогда прогуливался он.

Я снова здесь.
Ступаю осторожно
В шуршащий лёгкий золотой настил.
Я снова здесь.
В душе моей тревожно.
А так ли я и чувствовал, и жил?

А был ли я к делам людским причастен?
Добавил ли на малый миллиграмм
Своей земле и теплоты, и счастья?
Или хотя бы
Был я счастлив сам?

Умел ли думать празднично и вольно?
Для трудной правды доставало ль сил?
И листья отрываются не больно
От раскалённых докрасна осин.

Я паутинку здесь не потревожу,
Пускай скользнёт по моему лицу.
Я ровно на двенадцать лет моложе,
Чем выстрел тот по Зимнему дворцу.

Виски уже седьм поколений.
Но, сердце милое, прошу я: не старей.
Я снова здесь,
Но не для поклонения,
А чтобы видеть дальше и острей.
И мы ещё не обнищали силами.
У правды неприступны рубежи.
И хочется отнять слова красивые
У ханжества,
У глупости,
У лжи.



Опять зовёт Полярная звезда.
Опять прощальных слов мы не сказали.
Всхожу на белый трап.
И, как всегда,
Никто не плачет в аэровокзале.

Не всё я объяснить себе могу:
Всё в мире ясно так
И всё так сложно.
Я, может быть,
От самого себя бегу,
А может быть,
Ищу себя тревожно.

Виски припорошило сединой,
Так просто не смахнёшь её рукою.
Я, воспевая звёздный непокой,
Хочу тепла,
И крыши,
И покоя.

Но вновь,
Раскинув руки,
Мчится Ту—
Внизу грустит земля ветров и кедров.
И сердце
Разорвётся
На лету
На высоте
Двенадцать тысяч метров.

Скорость

Встал дурак. На дворнягу поцыкал.
За рога схватил мотоцикл.

И пошёл на всех оборотах,
Аж до уха летит слеза.
И скулят на крутых поворотах,
Как собачья боль,
Тормоза.



Зачем вы о бессмертье?
Понемногу
Нам уходить придётся всё равно.
Бессмертья нет.
И это слава Богу,
Что нет его,
Не светит,
Не дано.

Берёза, прорастая из глазницы,
Соприкоснётся с ветром и лучом.
В её ветвях затемякают синицы.
Живёт берёза.
Мы-то тут при чём?

Растаем, как и этот снег растает.
Всё, что хотел, сегодня доскажу,
Пока ещё окно запотеваает,
Когда я сквозь него на свет гляжу.



Пожелтевший
Последний листок тальника,
Словно лодку без вёсел,
Уносит река,
И у берега кромка стекла,
И вот-вот
Ломкий лёд
Непослушную воду скуёт,
А на лёд
Упадёт голубеющий снег.
И покажется—
Кончен стремительный бег.
И движение замерло...
Но и тогда
Вечный бег
Подо льдом
Продолжает вода.

Анатолий Третьяков

Виновник торжества

Странники

Убегает дорога с бугра на бугор.
И идёт он по ней, опираясь на посох.
И котомка его за плечами, как горб,
А вокруг всё поля—то в туманах, то в росах.
А куда он идёт, этот странник седой,
Пропылённый и степью цветущей
пропахший?

И с какой он в пути разминулся бедой?
Для кого этот странник—родной,
но пропавший?

Столько странников видел я после войны!
Через детство моё шли они, исчезая.
Лишь закрою глаза—эти люди видны.
А куда все они подевались?—Не знаю...
«Сколько, ветер, их было у нас на Руси?»
Грустно он просвистел: «Ты ответа не требуй».
«Где же странники те?»—я у неба спросил.
«Ты спроси у земли»,—мне ответило небо.

Из гостей

Три года мне, и три—войне,
Но помнится тропинка зимняя.
Две юных тётки—нет родней!—
Домой от бабушки вели меня.
Над озером спал старый сад.
А снег всё падал на заимку,
Где кавалеров не сыскать.
Две тётки-девки шли в обнимку.
Но тут потребовалось мне
Остановиться на мгновение.
И было ясного ясней:
Весьма опасно промедление!
Помчались девки, хохоча,
Штаны мне расстегнув заранее,
Меня за ручки волоча,
Как самовар с открытым краником.
По воле их я на бегу
С нуждою малою справлялся.
И жёлтой ниткой на снегу
Весёлый след мой оставался.
Нам предстояло долго жить—
Уже мы немцев побеждали!
Я и в три года был мужик,
Хоть девки за руки держали!



И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
Но в этом доме ждут кого-то
И не дождутся до сих пор.
Кто он? Солдат, давно погибший?
Иль сын, не помнящий родства?
Но всё ж под крышею прогнившей
Надежда светлая жива.
Всё так же сердце верить хочет,
И не проходит боль души.
И как по нём тоскуют очи!
А он явиться не спешит.
И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
В России вечно ждут кого-то—
И не дождутся до сих пор.

Встреча фронтовика

Под лампой керосиновой
От табака синё.
Воротники сатиновым
Рубахам расстегнём.
На них почаше пуговиц,
Чем на гармонии...
Плавают луковицы
В разлитом самогоне.
И тянут бабы вдовье
«Рябинушку» до слёз,
К столу склоняя головы,
Тяжёлые от кос.
А мы, юнцы небритые,—
Мы ворот расстегнём.
На фронте не убитые,
Мы бабам подпоём.
Пусть ищет песнь за далями
Тех, кто в бою убит.
Наш фронтовик израненный
Медалями звенит.
И льются слёзы вдовьи,
Хоть кончились слова.
Ты, фронтовик, виновник—
Виновник торжества.



Как будто я снова из дома навек ухожу.
Стою в ожидании первого поезда.
И цепь из свинцовых кусочков—к ножу
В карман убегает от пояса.
Наутро в окне промелькнёт незнакомая степь.
Таком уж, как я, пацану,—подвигаясь на братство,
Отдам самодельную, мною сплетённую цепь—
Единственное богатство!
И будут вокзалы—не тёти,—а дяди для нас...
Те дяди, что после войны нам отцов заменили.
И будет такое!..
Но будет впоследствии—класс,
Учитель, тетрадки и цепкие руки в чернилах...
Я путь повторил бы, но мы повторять не вольны.
Я всё повторил бы...
Чтоб не было прежних вагонов.
Я всё повторил бы, чтоб сын мой не видел войны.
И чтоб он не делал
Свистки из остывших патронов.

Первомай

(воспоминание)

Надо всем—транспаранта лóскулт
И призывы к Первому мая.
А на мне рубашка в полоску—
У меня одного такая!
Хоть вручную она пошита,
Но материя издалёка...
Год назад война завершилась
И на западе, и на востоке.
Мужиков вернулось не много.
Раньше всех пришли инвалиды.
А на Родине, слава Богу,
Умереть—и то не обидно.
Первомай для солдат, хоть праздник,—
Для пивка лишь и для беседы.
Но за ним наступает сразу
Главный праздник их—День Победы!
Ну а мы Первомай встречаем,
Как встречают все жизнелюбы.
Мы вполне обходимся чаем
Или квасом—в кармане рубль!
В нас живёт оптимизм природный.
Первомай—не сидеть за партой!
Он же—праздник международный,
Что-то вроде Восьмого марта.
Будет музыка до обеда...
После будет играть гармошка.
Мы дождёмся и Дня Победы—
Остаётся совсем немножко!

Трофейная гармошка

Нас гармошка немецкая ссорила.
Так на ней серебрился оклад!
Мы гармошку губную мусолили,
Как детишки теперь шоколад.
Подбирали «На сопках Маньчжурии»,
И «Тачанку», и песни войны.
Но гармошка свистела, как жулик,
То хрипела от общей слюны.
Ни грустиночки нет, ни задора—
Её участь была решена
Справедливым одним приговором:
Не умеет по-русски она!



Отгорят на западе закаты,
И тогда по краю тишины
По ночам домой идут солдаты.
Столько лет идут домой с войны!
По туманам, по хлебам несжатым,
В лунной серебрящейся пыли,
По ночам домой идут солдаты—
К миру, за который полегли.
И по ним не выплаканы слёзы,
И любовь, и молодость светла...
Как седая женщина, берёза
Ждёт кого-то на краю села.



Ф. Сухову

В серых яблоках рассвет.
И сирень цветёт в стакане.
Ни войны, ни мира нет
На Мамаевом кургане.
Там с землёй герои вровень.
(Лишь бы Родина жива!)
В сорок третьем там от крови
Не смогла взойти трава.
На верёвке ватник волглый
(Пули след на рукаве)...
Человек живёт у Волги,
На немеркнувшей земле!
Он на Волгу смотрит долго
(Вспыхнет память—только тронь).
Видел он: горела Волга,
Отражая тот огонь.
В том огне своя пехота...
И, наверно, с той поры
Отражает неохотно
Волга вечером костры.

Владимир Шанин

Памятник командору Резанову

Радуется сердце «при виде того, что совершается дома»: наконец-то наши далёкие знакомые начали обретать «каменную память». Поставили памятники Дубенскому, Сурикову, Чехову, Астафьеву, Поздееву, Резанову и даже волку, воспетому Владимиром Высоцким.

Несколько лет писатель и краевед Владимир Павлович Трофимов боролся за то, чтобы установить место захоронения генерал-майора и кавалера Н. П. Резанова и восстановить памятник, поставленный на его могиле в 1831 году, в виде гранитного мавзолея, увенчанного коринфской вазой, работы знаменитого в своё время русского скульптора Ивана Петровича Мартоса.

Но не только Трофимов «горел» этой идеей. В местной печати выступали красноярские журналисты, историки, краеведы: Н. Ольхова, Г. Быконя, В. Майстренко, Г. Захаренко, А. Сурник, А. Наумова, К. Савицкая, О. Аржаных... А началось с письма В. П. Золотухина в «Красноярском комсомольце» (21 января 1988 года). «Инициатором восстановления памятника, я думаю, должна быть ваша газета, — писал он. — Было бы целесообразно при невозможности установления памятника на прежнем месте восстановить его в ограде одной из существующих церквей города, тем самым как-то восстановив историческую достоверность. И, конечно, стоит всё-таки ещё раз попробовать отыскать могилу. И вообще, пора от слов переходить к делу». После этого письма в редакцию позвонил И. Ф. Потапов, бывший тогда заместителем общественного совета содействия охране памятников культуры при горисполкоме, который возглавлял писатель Анатолий Чмыхало, и пригласил журналистов на «очередное заседание, где рассматривался вопрос о восстановлении памятника Резанову».

Началась операция под кодовым названием «Здравствуй, командор». Передовая общественность, как тогда было принято говорить и писать, вместе с красноярскими писателями, с поэтом Андреем Вознесенским, автором «Юноны и Авось», и редакцией газеты «Красноярский комсомолец» взялись воплотить свои решения в жизнь. В городском отделении Госбанка был открыт счёт с пометкой «В фонд памятника Резанову». Письма, предложения, проекты, эскизы, наброски

будущего памятника обсуждались специальной комиссией.

В 1995 году под редакцией Ю. П. Авдюкова в серии «Отечество» Красноярский производственно-издательский комбинат «Офсет» выпустил многострадальную книгу «Командор» тиражом в двадцать пять тысяч экземпляров, который быстро ушёл к читателю. Составители (Г. Быконя, Н. Ольхова, А. Сурник) писали: «Долгое время имя его (Резанова) было забыто потомками не только в силу революционных и политических катаклизмов, но и мелких интриг, тупого тщеславия и невежества. Не пощадили даже памятника на его могиле...»

Так началось «возвращение командора». «Выход редкой книги, — писала Ольга Седых, — удостаивается пресс-конференции, ибо сейчас, как известно, книг выходит много и разных... Прилавки ломаются... Но издание новой книги „Командор“... стало настоящим событием в культурной жизни не только края, но и России... То, что книга вышла именно в Красноярске, — символично: Резанов не только бывал в нашем городе, он был здесь похоронен. И на совести красноярцев — забвение его имени, разрушение надгробия в то время, когда это было в порядке вещей. Человек, всю свою жизнь посвятивший Отечеству и так много сделавший для приумножения его славы... достоин доброй памяти потомков. И, кроме того, это попытка загладить вину предшествующих поколений перед памятью Резанова» («Красноярский комсомолец», 6 апреля 1995 года).

Но только этой книгой «возвращение командора» не ограничилось. Через шесть лет, в 2001 году, за свой собственный счёт писатель и краевед Владимир Трофимов издал художественно-документальный роман «Кастильские розы командору Резанову» крошечным тиражом в сто экземпляров, который сразу же был раздарен друзьям-писателям и добрым знакомым. «Обязательный и скромный, мужественный и смелый, воспетый за рубежом и забытый в России... Зато энциклопедия „Британика“ называет имя Резанова среди замечательных строителей Российской империи...» — такими словами сопроводил свой роман Трофимов. Второе издание романа было также невелико — триста экземпляров — и тоже разошлось. Наконец,

третье издание, подготовленное как подарочный вариант ко Дню города,— аж пятьсот экземпляров. И этого оказалось мало.

Написан роман хорошим русским языком, только, может быть, излишне публицистичен. Содержание книги увлекает не только своим историзмом, роман привлекает художественным воплощением далёкой от нас эпохи в реальных образах и картинах. Собран, обработан, изучен и превращён в добротную прозу уникальный и малоизвестный материал. Первый русский дипломат и командор Николай Резанов, обогнувший земной шар, в родном Отечестве «незаслуженно предан забвению», и роман Трофимова восполняет этот пробел в российской истории. Много страниц в романе посвящено вечной и чистой любви командора к дочери испанского гранда красавице Консепсьон Аргуэлло—Кончите, которая ждала своего возлюбленного сорок пять лет. Этой романтической любовью восхищается весь мир.

На презентации книги в Литературном музее его директор А. В. Броднева сказала: «Автор сумел создать увлекательное историко-художественное произведение... Это наиболее трудоёмкий жанр, предполагающий не только знание фактического материала, жанр, мало представленный в красноярской литературе».

Владимир Павлович Трофимов—коренной красноярец, русский. Здесь он родился в 1935 году, отсюда, приписав себе год, ушёл служить в армию добровольно, участвовал в освоении целинных и залежных земель. Его родители—уроженцы деревни Усть-Погромная Даурского района Красноярского края. Отец—кадровый военный, мать—учительница. В школе Владимир писал стихи, выпускал стенгазету в стихах. С возрастом перешёл на прозу. Окончил Школу высшей лётной подготовки в Красноярске—швЛП, затем военное авиационное училище—ВАУ, училище гражданской авиации, учился на юридическом факультете университета. Летал первым и вторым пилотом на больших пассажирских самолётах, летал и на малых—на Север. Профессионально стал заниматься литературой, когда в 1980 году ушёл из авиации по состоянию здоровья. Работал инженером по безопасности движения в автоколонне, автомобильным экспертом, заместителем начальника Красноярского речного училища. Много лет являлся членом Общества краеведов. В советское время издал сборники рассказов о лётчиках «Эскадрилья», «Северное сияние», «Под сенью Пандоры», «Молчание Прометея», «Обручённые с небом». И несколько лет писал роман «Кастильские розы командору Резанову»—таким образом, он по-своему включился в разработку операции «Здравствуй, командор».

«...Смена идеалов, мода на героев не из родной истории, а из истории революционных событий

привели нас к тому, что город, давший последний приют беспокойной душе командора, ничего не знает о знаменитом соотечественнике. Слава Богу, эти времена проходят»,— писала газета «Красноярский комсомолец» 6 апреля 1995 года.

Памятники, по А. С. Пушкину: «Животворящая святыня! Земля без них была б мертва». Поэт завещал нам «любовь к отеческим гробам», а мы, не помнящие родства своего, забыли об этом. И только краеведы «во все времена не уставали болеть за вопросы охраны памятников истории культуры». Трофимов напоминал красноярцам, что в центре Сан-Франциско (США), по замыслу Михаила Шемякина, скоро появится мемориал-монумент, посвящённый первым русским в Калифорнии, где будет изображён Резанов Н. П. «Национальное достояние России становится национальным достоянием Штатов»,—подчёркивал Владимир Павлович и сокрушённо прибавлял:—В своём Отечестве командор незаслуженно предан забвению». Знаменитая энциклопедия «Британника» называет имя Резанова рядом с такими великими именами, как Пётр Первый, Меншиков, Румянцев, Державин, Ломоносов. И посвящает ему лестный отзыв: «Резанов—первый русский, обогнувший весь земной шар». Император Александр Первый говорил ему: «Я и Отечество ждём от вас жертвы». Эта жертва оказалась слишком тяжёлой, человеческие силы не выдержали... Но это не умаляет значения и ценности Резанова как одного из выдающихся деятелей своего времени. Красавец с волевыми чертами лица, умный, высокоинтеллигентный, светский, очаровательный, мужественный, смелый, «Резанов представлял собой идеальный тип русского аристократического духа и тела—творителя России. Ни один русский государственный деятель не приобрёл за границей, несмотря на вековую неприязнь и даже ненависть к России, такой трогательной симпатии, как Резанов».

Операция «Здравствуй, командор» предполагала прежде всего поиски могилы Резанова. «Где могила командора?»—под таким заголовком поместила статью в «Красноярском рабочем» журналистка Н. Ольхова. Были предложения перезахоронить останки Резанова, одного из создателей и верховного правителя Российско-американской компании на Аляске и в Калифорнии, генерал-майора и камергера, дипломата и мореплавателя, командора и кавалера Мальтийского Большого креста Святого Иоанна Иерусалимского, внезапно умершего от «горячки» в доме красноярского чиновника И. Г. Родюкова в 1807 году на пути из Америки в Санкт-Петербург и погребённого в ограде Воскресенского собора. Но, как пишет Н. Ольхова, «останки командора не смогли перезахоронить, потому что вдруг потеряли могилу». И далее: «Краеведы Потапов и Валуев обследовали всё кладбище, но никаких следов перезахоронения

не обнаружили... Впрочем, трудно отыскать то, чего не было в природе». И впрямь — не было. Некоторые публикации, утверждавшие, что останки командора якобы перенесены на Троицкое кладбище, оказались блефом, и тут Н. Ольхова была права: могила утеряна. Однако так ли это? Когда в 1936 году Воскресенский собор переоборудовали под аэроклуб, прекрасный памятник Н. П. Резанову был снесён и бесследно исчез. Могилу сравнивали с землёй, а великолепный собор в начале пятидесятых годов разрушили до основания.

Казалось бы — всё, тупик. Но стараниями краеведов, и в частности Владимира Трофимова, разрабатывавшего резановскую тему и ведущего обширную переписку с калифорнийскими потомками прекрасной Кончиты, удалось точно указать место погребения командора. А чтобы могила вновь не затерялась, водрузили на этом месте гранитный камень. Когда справедливость восторжествует, писал Трофимов, «мир будет помнить, восхищаться славным сыном России. Мир будет чтить память о великой любви командора и испанской красавицы Кончиты... Ибо память — это единственное, что нельзя у людей отнять».

Летом 2007 года на месте того камня появился гранитный мавзолей в том первоизданном виде, каким он выглядел на старой фотографии. Но Трофимову и этого было мало, он добивался, чтобы на красноярской земле стоял величественный монумент самому командору. «Только ни у кого, кроме горсовета, нет права поставить такой памятник», — посетовала Н. Ольхова. Трофимов подхватил эту мысль и стал ходить по кабинетам: доказывал, показывал письма калифорнийцев, убеждал, говорил тихим спокойным голосом, что на двухсотлетие памяти командора может приехать в Красноярск сам губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

В тот же год монумент Резанову — величественная фигура в полный рост сорокалетнего генерал-майора и кавалера в треуголке, в мундире и при шпаге, пока ещё не отлитая в бронзе, — был водружён против Триумфальных ворот на Стрелке, слева от Большого концертного зала. На его открытие собралась городская знать во главе с губернатором и мэром города, которые возложили на могилу командора кастильские розы, привезённые из Штатов, а Владимир Трофимов, инициатор всей этой затеи, не был даже приглашён на открытие монумента, а охрана не пустила его за оцепление...

В отличие от памятника Андрею Дубенскому, первостроителю Красноярска, водружённого на неотделанный гранитный постамент, похожий на гвоздь, и памятника всемирно известному историческому живописцу Василию Сурикову во дворе музея-усадьбы, поставленного на землю так, что его с улицы совсем не видно, красавец-монумент командору высоко поднят над площадью Мира на Стрелке.

Владимир Трофимов написал ещё один роман — «Да будет воля твоя», в котором в художественных образах повествует о жизни и деятельности известных в своё время русских патриотов Приенисейского края: М. К. Сидорова, В. Д. Касьянова, С. Г. Щёголева, П. И. Кузнецова и других. И опять современный читатель получил возможность «оценить прошлый исторический опыт страны через эти образы». Так же скрупулёзно автор изучил документы и материалы архивов, свидетельства современников и написал хорошую книгу. О самом Петре Ивановиче Кузнецове он собирался написать большой очерк, но не успел. Вскоре он умер от сердечного приступа, последовавшего после того, как с него потребовали налог со спонсорских денег, которых он, собственно, и в глаза не видел. Где-то кто-то сделал ошибку, а у писателя, для которого честь и достоинство были превыше всего, не выдержало сердце...

Хочется напомнить вам, дорогие читатели, что в десяти шагах слева от могилы Резанова находилась родовая усыпальница семьи купца первой гильдии, одного из крупнейших золотопромышленников, потомственного почётного гражданина города Красноярска, общественного деятеля и мецената Петра Ивановича Кузнецова. По определению епископа Никодима, «человек без классического образования, только начитанный и наслушавшийся иноземного и вольного», Кузнецов был яркой личностью, не жалел денег на добрые дела. На свои средства снарядил первую Амурскую экспедицию в 1854 году и сам был её участником. Также за свой счёт обучил в Санкт-Петербургской художественной академии красноярца Василия Сурикова, ставшего великим историческим живописцем. За одного только Сурикова просвещённое человечество должно быть благодарно ему в веках. Но кто теперь помнит это имя? Простому обывателю оно и вовсе неведомо.

...Умер Пётр Иванович Кузнецов скоропостижно 26 декабря 1878 года в Санкт-Петербурге, а 19 января 1879 года сын его Александр, студент технологического института, в железном ящике отправил тело отца в Красноярск. Погребён меценат в ограде Воскресенского собора. На скромном постаменте высечены слова из Евангелия: «Блаженны милостивцы, тем помилованы будут». Его супруга, Александра Фёдоровна, пережила мужа на девять лет и скончалась 4 февраля 1887 года от рака пищевода, похоронена рядом. Здесь же, в родовой усыпальнице, упокоились их дети: Александр Петрович и его жена Екатерина Михайловна, дочь командира Красноярской казачьей сотни Михаила Владимировича и внучка декабриста Владимира Федосеевича Раевского, а также Николай Петрович и его супруга Екатерина Антониновна, Иван Петрович, Лев Петрович, Александра Петровна, Евдокия Петровна, Юлия Петровна... Все они

были общественными деятелями и благотворителями, покровительствовали народному просвещению, давали деньги на научные исследования родного края, снаряжали экспедиции, создавали библиотеки, содержали детские приюты, помогали Н. М. Мартьянову в пополнении его музея в Минусинске различными находками и раритетами. В духовном завещании Евдокия Петровна Кузнецова, старшая дочь, передала в дар городу семейную библиотеку и родительский дом, в котором ныне располагаются детское хоровое общество и детская музыкальная студия. Она очень хотела, чтобы на этом доме висела табличка: «...чтобы та школа или то просветительское учреждение, которые будут помещаться в завещанном доме, носили бы имя Петра Ивановича и Александры Фёдоровны Кузнецовых». До сих пор этого властями не сделано.

А теперь нет ни этих могил, ни памятника, потускнела и память о них. По этому поводу Владимир Трофимов часто сокрушался: «Ну что за люди сидят в управлении краем нашим? Не умеют беречь память предыдущих поколений, о них ведь тоже никто не вспомнит!»

В советское время писал о Кузнецовых покойный ныне историк Пётр Николаевич Мешалкин, а совсем недавно издал книгу краевед Иван Фёдорович Потапов. Журналисты и искусствоведы упоминают имя Кузнецова лишь в связи с гордостью красноярцев — Суриковым. А ведь Пётр Иванович Кузнецов более достоин вечной памяти для нас, чем, скажем, Резанов, которому только и суждено было умереть в Красноярске. Умер бы он в столице — уверен, такого ажиотажа вокруг

его имени наверняка бы не было. Нисколько не умаляю роль командора в истории России, эта личность достаточно ценная для Отечества, однако Пётр Иванович Кузнецов, его жена, дети с их благотворительностью и общественно-полезной деятельностью у себя на родине для нас — ближе.

Так почему же нет до сих пор хотя бы простенького обелиска на месте бывшей родовой усыпальницы почётного гражданина Красноярска П. И. Кузнецова? Именем Кузнецова не названа ни одна новая улица в городе, ни один переулок — почему? Не ходит по Енисею ни один пароход с именем Кузнецова, а ведь с его именем связано зарождение пароходства на могучей реке. И кто должен позаботиться о восстановлении справедливости на нашей земле?

Командору несказанно повезло: через двадцать четыре года после похорон появился на его могиле мавзолей работы скульптора Мартоса, а через двести лет после его смерти — и скульптурное воплощение в полный рост. Повезёт ли когда-нибудь Кузнецову?..

Память командору обеспечила Русско-американская компания, на деньги которой в 1831 году надворный советник Алексей Иванович Мартос, сын знаменитого скульптора, будучи председателем Енисейского губернского суда, упросил отца изготовить памятник, наконец-то дошедший до нас в виде оригинальной копии. Родовую усыпальницу богатая семья Кузнецовых устроила на собственные средства... С лица земли оба исторических памятника исчезли в одно и то же время, а возвращение памяти для Кузнецова, как видно, затянется надолго...

Дмитрий Мизгулин

Под сенью храмов православных



В урочный час, намеченный судьбой,
Созвездия снежинками кружили...
Зачем, скажи, мы встретились с тобой?
Но всё же хорошо, что вместе были.

Мир погрузился в сумрачную мглу,
Но две звезды погасшие шептались.
Из-за чего расстались— не пойму.
Но всё же хорошо, что мы расстались...

Сомнениями душу не тревожь.
Остынувшее сердце не обманешь.
А если в жизни что-то и поймёшь,
То всё равно счастливее не станешь.

Приемли всё, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непогоду,
И жизнь— как бы нечаянную милость.



Над немymi далями чужбины
Прочертил пространство самолёт.
Подо мною горы и долины,
Бесконечность океанских вод.

Я лечу опять над миром сонным
По волнам небесным бытия.
По квартирам съёмным и подённым
Расплескалась молодость моя.

Был и я— весёлым и упёртым,
Делал всё, что можно и нельзя.
По вокзалам и аэропортам
Разлетелись близкие друзья.

Бестолковым сумрачным влеченьем
Ветер вечных странствий— мимо мчи...
Озарится пусть душа свеченьем
У иконы тающей свечи.

И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжело русская земля.



Без мифов живём и без песен—
Толпа настороженных лиц...
Наш мир до безумия тесен.
Мы сжаты флажками границ.

Заборы, заборы, заборы...
Весь мир— бесконечный забор!
И всё превращается в споры,
О чём бы ни шёл разговор.

В утробе, в квартире, в машине.
Что толку роптать на судьбу?
И кончится жизнь— в домовине,
А проще, по-русски,— в гробу.

Соседи теперь уже рядом
Прилежно и тихо лежат.
Ограды, ограды, ограды...
Весь мир состоит из оград.

Заборов, оград постоянство
Повсюду— межа на меже.
Лишь небо дарует пространство
Зажатой по жизни душе.

Где птицы парят высоко,
Где с Господом Богом легко...



Прощаясь наспех, навсегда
В столпотворении разлук,
Ты не забудешь никогда
Её по-детски тонких рук.

Пройдёт печальная пора.
Ты будешь жить и не тужить,
Но будут жёлтые ветра,
Как листья, память ворошить.

Конечно, вечность— это вздор.
Ты прав, конечно, всё пройдёт.
Но всё же— где горел костёр,
Трава годами не растёт...



Славянства вековая связь
 Оборвалась вчера случайно.
 Идут на бой, благословясь
 Под сенью храмов православных.
 И с этой стороны, и с той—
 Одни Иваны да Миколы...
 Как беспощаден этот бой.
 Как бесконечны эти доли...
 Мы все отныне на войне.
 Душа немеет. Сердце стынет.
 Молчат в гнетущей тишине
 Многострадальные святыни.
 И поле русское в крестах...
 За что кровавая расплата?
 С одной молитвой на устах
 Идёт на битву брат на брата...
 В ночи растает птицы крик.
 Метут кровавые метели.
 Смотрели все на Божий лик,
 Да только Бога не узрели.
 И будет лютый враг разбит,
 И в тишине, во мгле смертельной
 Уверен каждый, что хранит
 Его от смерти крест нательный.



Смотрю на первый снег летящий
 В сухой морозной лунной мгле.
 Как много жизни настоящей
 На этой сумрачной земле,

Где нет понтов и нет престижа,
 Где бродит леший по лесам,
 Где всё наивно и поближе
 К обетованным небесам.

Давно получены награды
 И стихнул ветер перемен,
 И ничего тебе не надо—
 Ни власти дым, ни денег тлен.

Устои рушатся и царства,
 И ты, конечно, поспеши,
 Прими молитву как лекарство
 Для врачевания души.

И, переплыв сомнений реку,
 На дальнем выйди берегу...
 Как мало надо человеку,
 Как много надо дураку...



Молюсь исправно Богу. Но
 Не вяжутся слова молитвы.
 Душа—как будто поле битвы,
 В ней всё огнём опалено.

Горит в ночи моя свеча.
 Казалось бы—читай, внимая,
 Но, вещей слов не понимая,
 Бросаю книгу сгоряча.

Но слышу—я ещё не глух,—
 Как тень звезды скользит по крыше.
 Господь, верни мне скорбный слух,
 Чтоб сам себя я смог услышать.



Что может быть хуже весны?
 В грязи утопает дорога.
 Оттаяли мысли и сны,
 В душе поселилась тревога.

Чернеет встревоженный лес.
 Природа нема и уныла.
 И занавес серый небес
 Скрывает дневное светило...

Оставила душу зима...
 Легка, как небесная милость,
 Где даже полночная тьма,
 Промёрзшая, насквозь светилась.

Чернеет оттаявший снег,
 Колышутся лужи сомненья.
 И ты не увидишь вовек
 Небесного в них отраженья.



Беда не приходит одна.
 Казалось, терпенью нет мочи.
 Застынешь в слезах у окна
 В глухие бессонные ночи,

А там, за окном,—непогодь,
 И вьюга хохочет и злится...
 Надеждой последней—Господь,
 И только осталось—молиться...

Житейской зимы холода
 Пусть сердце твоё не остудят.
 О Господе помни всегда,
 И Он о тебе не забудет...

Михаил Синельников

Таволга



Театр китайский. Нищета в шелках.
Должна ведь в них являться добродетель.
И в рубище — сановный вертопрах.
Вот истина! Кун Цзы её свидетель.

Ещё немало жизней проживу
И, ежели налажу дело с кармой,
Себя в шелку увижу наяву,
Из круговерти выберусь угарной...

Но вспомню вдруг начальства чесучу
Из тех времён, что так далековаты,
В туманном сновиденье различу
Все эти робы, ватники, бушлаты.

Монгольский конь¹

Монгольский конь военнопленный,
Ты, крепко сбит, хоть ростом мал,
Как будто на краю Вселенной,
В берлинском зоо тосковал.

Был неразумен и внезапен
Непостижимый твой побег,
Но без ранений и царапин
Фронт перейдён и сотни рек.

Скажи, какому верен долгу,
Ты пересилил болью всей
За Вислой Днепр, и Дон, и Волгу,
Урал, Иртыш и Енисей?

Над знойной степью вырастая,
Лесной пожар вставал вдали,
Но ни тайга, ни волчья стая
В судьбу вмешаться не смогли.

Ты эту выдержал дорогу,
Ведь встречи жаждала душа...
(Не так ли мы приходим к Богу,
В земных пределах путь верша?)

Спросонья был хозяин хмур твой,
И, словно некий новый сон,
Увидевши тебя за юртой,
Почти не удивился он.



Из призраков грозных разгрома
Страшнее всего тишина.
Настала тревожная дрёма,
Позиция обойдена.

Разбомблены доты и щели,
И фронт передвинулся весь.
Лишь сдвинуть тебя не сумели,
Ещё не осилили здесь.

Осталось дожить до рассвета,
Окоп удержать до конца,
И злая несломленность эта —
Последняя радость бойца.

Impression

Да, с департаментов Эльзаса
Не снимут чёрных покрывал!
Но веселящегося класса
Войны не стронул буревал.

Как раненая великанша,
Страна страдает, а народ
И пьёт перно, и ждёт реванша,
Дрянные песенки поёт.

Меж тем оскудевает вера,
Субтильной стала молодёжь,
На хищный Карфаген Флобера
Париж бодлеровский похож.

Вот запахи Индокитая,
Японских изыски гравюр,
Так издалёка залетая,
Вошли в крутящийся сумбур.

Коммуны тень и вихрь канкана
Смешались и слились в одно.
Прекрасен берег океана,
И жизнь прекрасна, и вино.

И сад, что плещет многолисто,
Цветёт и глазу не соврёт,
И кистью импрессиониста
Искусно созданный разброд.

.....
1. Подлинная история. В Монголии
ему воздвигнут памятник.

Женщины

Быстрей стареют, но живут подольше.
Всё ж золото тускнеет не спеша.
Шалят, резвятся в этой самой Польше,
Игрушек жаждет детская душа.

И в возрасте бальзаковском, и позже
Ещё белы, румяны без румян,
И наш вахлак им не покажет вожжи,
И бережно целует ручку пан.

В былом Стамбуле, не внимая плачу,
О златовласках этих торг вели.
Швыряли ассириянками сдачу,
Невольничьи встречали корабли.

Затмили б всех смоленки и рязанки—
Медлительный лебяжий их полёт,
Когда бы им чуть более осанки
И не мозоль от земляных работ.

Таволга

И свежая дохнула таволга,
Сырая влага луговая
Провеяла, оставив на́долго
В душе печаль родного края.

Так дышит сильная, росистая
Сама земля и, может стать ся,
К себе, в себя зовёт неистово,
Не позволяя с ней расстаться.

Всё вновь—ещё не утолённая—
Тебя взяла и воскресила
В любой былинке заключённая
Её растительная сила.

На Олёкме

Где же ты, заветная Олёкма...

Виссарион Саянов

Песок просеявший стократ
Порой горячей,
Ты, золотишник, был богат
Слепой удачей.

Прошёл по гребню перевал,
Был бодр и хóдок,
Но по дороге потерял
Свой самородок.

Такая выпала судьба.
С ней в поединке
Пришлось, ломая желоба,
Искать песчинки.

Вдруг искорка блеснёт—хоть плачь!
Мала, о Боже!
Но, может быть, бывлых удач
Она дороже.

Породу грубую дробя,
Спасает навык
Всё, что осталось у тебя
Для этих ставок.

Виктория Можаява

До рассвета, до Победы, до Суда...



Вот и стало понятно, что важнее всего
 Перед дальней дорогой, перед ликом огня...
 Вышли Каин и Авель из гнезда одного
 Принести Богу жертву до скончания дня.
 Жертва Каина тлела, покрываясь золой,
 А другая сияла, как под солнцем роса.
 Каин чёрную душу схоронил под полой,
 Авель чистую душу распахнул в небеса.
 Позавидовал Каин и нахмурил чело,
 Первой кровью невинной осквернилась земля.
 И свершилось на свете небывалое зло,
 Всё на «до» и на «после» той минуты деля.
 ...Чёрно-красные флаги небо застили вновь,
 И кричат галичане: «Москалей на ножи!»
 Чёрный — Каина совесть, красный — Авеля кровь.
 Как же это случилось? Украина, скажи!..
 ...Вот и стало понятно, что дороже всего:
 Плачет проклятый Каин, смерть свою сторожит.
 «Каин, Каин, где брат твой?» Только нету его.
 Под Донецком, Славянском, под Луганском лежит.



Перестали мне сниться хорошие сны,
 Снятся только погони и смертные муки,
 Снятся пленный, что виделся мне со спины:
 Тонкой проволокой намертво стянуты руки.
 Снятся люди в подвалах без света и сна,
 Снятся дети, что просят, чтоб их не бомбили.
 Это вправду случилось: мне снится война,
 Словно кровь на земле, где кого-то убили.
 Снятся город, избитый, как русский в плену,
 Снятся чёрные окна, пустые кварталы...
 Это вправду случилось: я вижу войну.
 Не в кино, не в бреду и не через порталы.
 Я крещу этот город дрожащей рукой,
 Я кричу в поседевшее жаркое небо.
 Это вправду война: прямо здесь, за рекой,
 Догорают поля полновесного хлеба.
 Это значит — опять умирать молодым
 И кому-то опять к матерям не вернуться.
 И ползёт на Россию удушливый дым,
 И так хочется мне наконец-то проснуться.



Кто прав из нас, кто виноват?
 Свалилось горе — нету дна.
 Кому-то — в рай, кому-то — в ад,
 Колосья падают. Война.
 А после будет листопад
 Шептать молитвы многим дням.
 Кому-то — в рай, кому-то — в ад,
 А кто остался — тем больней.
 И тем дороже каждый миг
 Наивной радости земной
 И беззащитный детский крик
 Над полем жатвы, над войной.



Рвутся связи, рвутся связи —
 Словно рвутся поводья.
 Словно кони с коновязи,
 В одиночку — кто куда.
 Накатило время ино,
 Натянулось, как струна.
 Там, за речкой, Украина —
 Зарубежная страна.
 На мосту стоит опричник,
 И не скажешь просто — «мент».
 Украинский пограничник.
 «Предъявите документ!»
 Будет спрашивать для весу —
 Не минуту и не две.
 Я скажу: «Иди ты к бесу!»
 Видишь: бомба в рукаве?»
 Да не скажешь — время ино.
 И не «сокіл» — крыльев нет.
 Загуляла Украина —
 Так, что шуму на весь свет.
 Загуляла с кем попало,
 Забродила злая муть...
 Ночка тёмная упала,
 Над таможей — Млечный Путь...
 Мчатся кони... «Гей, Маричка!»
 Разлетайтесь, пыль и хлам!»
 Только кровь мою, сестричка,
 Как поделим пополам?



На границе поспевают гречка,
 Косят сено, хлопоча к зиме.
 За колючей проволокой—речка,
 Поле, хутор, церковь на холме.
 Там теперь уже никто не служит,
 Не читают требы ни о ком,
 Только коршун в небе кружит, кружит
 Над упавшим долу хуторком.
 И плывёт как будто бы в надежде
 Ждущая чего-то тишина...
 Здесь у нас в России всё как прежде,
 А у них-то там теперь—война...
 Что ж вам люди сделали такого,
 Что живут на родине—в плену?!
 Дорогая Оля Казачкова,
 Я тебя в молитве помяну.
 И тебя, и Лену, и Галину...
 Всех, кого от сердца не отбить,
 Всех, кого сегодня Украину
 Учат по-бандеровски любить...
 Побежит река волной горючей
 По родным станицам, хуторам,
 Полетит над проволокой колючей
 Вольный голубь на закрытый храм...
 Я сплету бессмертник и калину,
 Зверобой и дикий виноград...
 Пропусти меня на Украину,
 Европейской армии солдат!
 Ты же слышишь, как зовут оттуда,
 Всматриваясь вдаль из-под руки...
 Пропусти! Яви такое чудо...
 На могилы положить венки.



Живём на краешке войны,
 Сжигаем нервы и сердца,
 Живём на краешке страны,
 Которой верим до конца.
 А где-то рядом страх и боль,
 Дома разбитые в огне,
 И чья-то тень, земная голь,
 Прижалась в ужасе ко мне.
 Опять война в который раз
 Стоит на краешке Руси.
 И я прошу: «Спаси Донбасс!
 О Боже мой! Спаси, спаси...»
 Живём на краешке войны,
 На тонкой грани тьмы и света.
 Накидкой тонкой тишины
 Укрыто плачущее лето.
 Как беззащитна тишина
 Перед чужим, неотвратимым!
 И слово тяжкое «война»
 Плывёт над нами чёрным дымом.



Предавали Родину и веру,
 Оставляли мёртвых по полям.
 Украина славил Бандеру
 И желала смерти москалям.
 И в пыли растерзанного праха,
 И под хламом взорванных мостов
 Холодела Родина от страха
 У поклонных каменных крестов.
 И опять по небу птицы, птицы
 Торопились в лучшие края,
 словно пепла серые частицы
 От врагом сожжённого жилья.
 И, подняв коричневые веки,
 Выползали Вии из земли...
 И тоска... как будто бы навеки
 Покидают землю журавли.



Обнажились раны и грехи,
 Запылали дьявольские битвы.
 О войне не пишутся стихи,
 О войне лишь слёзы и молитвы...
 Погибает тихая страна
 На зубах у чёрного шакала...
 Напилась ты крови допьяна,
 Продала себя ты, проскакала.
 Облака июльские прошли,
 Засветилась осень паутиной,
 И летят, как прежде, журавли
 Над Россией и над Украиной.
 Плачут безутешные дожди
 На родные свежие могилы...
 И весна, что будет впереди,
 Неприметно собирает силы.



...И всё-таки будет весна,
 Опять зацветут абрикосы.
 Какая же это война,
 Когда соловьи и стрекозы?
 В летящем, дрожащем снегу
 Не видно бескрайнего поля...
 И всё-таки я добегу
 До цели скорее, чем пуля.
 Взорвётся хрусталь голубой,
 Рассыплется сердце каплейю.
 Тебя укрывая собой,
 Я буду лежать под метелью.
 И мама из детского сна
 Придёт, постойт над рекою,
 И скажет, что завтра—весна...
 И свечку прикроет рукою.

● ● ●
Мы отпразднуем когда-то День Победы,
Выпьем водки и картошки напечём.
И давнишние и нынешние беды
Вдруг покажутся как будто нипочём.

Мы отпразднуем великий и родимый,
И в небесной беспредельной вышине
Улыбнётся молодой и невредимый
Дед мой, без вести пропавший на войне.

И ребята, что погибли на Донбассе,
С нами вместе будут праздновать тогда...
А пока что этот День у нас в запасе.
До рассвета. До Победы. До Суда.

● ● ●
Сидит мальчишка около реки
И думает о чём-то и мечтает.
Пронесётся плотва и окуньки,
Пичуга возле берега летает.
Он ограждён Великой Тишиной,
Как маминым святым благословеньем,
И речка между миром и войной
Становится библейским откровеньем.
Ему годов — не более шести,
И впереди — лишь светлые картины.
Он верит: не посмеют перейти
За эту речку тати с Украины.
Он свято верит, что его страна
Его спасёт от гаубиц и «Града»,
И речка, что на карте не видна, —
Он знает! — нерушимая преграда.
...Бежит вода, сверкая и дыша,
Лицо мальчишки нежно освещает...
Упрямый мальчик. Русская душа.
Он тоже эту землю защищает.

● ● ●
А ведь ты была едина!
Не переиначишь...
Где твой траур, Украина?
Что же ты не плачешь?
Что ж ты чёрным покрывалом
Не закроешь очи?
Видишь: люди по подвалам,
Спутав дни и ночи?
Продалась ты и пропала
Без воли и гласа...
Сколько деток закопала
Ты в земле Донбасса?
Как безумная скотина,
На могилах скачешь...
Где твой разум, Украина?
Что же ты не плачешь?..

● ● ●
Сестра моя, сестричка,
Пшеничная косичка,
В глазах твоих застыла
Днепровская вода...
Так как же это стало,
Что быть ты перестала
Такою, как любила,
Любила я всегда?
А помнишь, как, бывало,
Плясала и спивала
И в хате половицы
Ходили ходуном?...
Ну как же так случилось —
Зачем ты обручилась,
Как в сказке, обручилась
С проклятым колдуном?!
Сестра моя, сестричка,
Кровь русская — водичка,
Усеяны погосты
Могилами детей...
Как оборотень, воешь,
И их уже не скроешь,
Те страшные порезы
От ведьминых когтей...
Подняться нету мочи,
Закрылись кари очи,
Отравленное зелье
Из лап змеиных пьёшь...
Сестричка Украина!
Душа у нас едина,
И ты, в меня стреляя,
Саму себя убьёшь.
У них — костры да плахи,
Расшитые рубахи,
Кровавые знамёна,
Чубов лихой завей...
Они дождались часа,
Не слышен клич Тараса,
Уже сбивают ляхи
Кресты с твоих церквей.
Мы были две сестрички,
Как в паре черевички,
И счастье, и несчастье
Делили наравне...
Раскрыты мрака жерла,
И панночка помёрла,
А я ещё не верю,
Что это не во сне...

Наталья Ахпашева

Между бездной и болью



Узнала. Не окликнула, но вслед
не отводила пристального взгляда...
Когда нам было восемнадцать лет,
не разумели, сколько силы надо—
преодолеть ступеньки на крыльце,
пересчитать, на каждой отдыхая
с нарочной отрешённостью в лице.
Вторая, третья... Пятая... Седьмая...
Безропотно промедлить у дверей,
чтоб совладать артритными руками
со связкой ускользающих ключей.
Кивнуть соседке сердобольной: «Сами—
благодарю—мы справились уже!»
Да и не стоит думать в восемнадцать,
что всей судьбы закрученный сюжет
так заурядно должен завершаться.
Ведь время не умеет без затей—
за годом год короче и короче.
Напротив, дни становятся длинней,
отодвигая неизбежность ночи.
Какой бы свет ни продолжал светить,
какие бы ни пощадили беды,
а нам с тобой—до вечера дожить,
как выстоять в сраженье до победы.



Приобнял на прощанье Светочку,
на крылечке помедлил миг
и поглубже надвинул кепочку,
приподнял воротник.

Прости, Господи, душу грешную!
Огонёчек в окне погас.
Канул мир в темноту кромешную,
ночка—выколи глаз.

Узкой улочкой—ветер стонущий.
В переулочек повернёшь,
отзываясь на крик о помощи,
и наткнёшься на нож...

В тишине надломилась веточка.
Неподвижны глаза его.
Вся в слезах вдруг проснулась Светочка
не пойми отчего.



Одиночки, вдовы, разведёнки—
не для кого нам варить борщи—
всё же работающие бабёнки.
Матушка Россия, не взыщи!
Хочется экзотики и лета.
На дела махну в сердцах рукой
и куплю билетик до Пхукета—
отдохнуть и телом, и душой.
Ластится к ногам волна морская.
Жаром пышет синий окоём.
Не скучай, подруга дорогая!
Беззаботней рая не найдём.
Тут вокруг экзотики, как прорвы,
но похмельной помню головой,
что надясь налоговик суровый
осерчал на скромный бизнес мой.
Мудрый Будда глянет, не мигая:
мол, томленье духа и ума.
За иллюминатором до края—
снежная сибирская зима...
Шубку-разлетаечку на плечи—
и пройду с улыбкой на устах.
Не зевай, красавчик королевич,
с нашего района олигарх!



Обрывается скерцо—
дребезжит смычок.
Кто-то строгий окликнет.
Кто-то злой—молчок.
Сокрушённого сердца
как споткнётся стук.
Искушение вспыхнет—
обречённость рук,
будто крылья, раскинуть,
обнимая ночь,
и с обрыва на волю...
Зная, что невмочь
своевольно покинуть
тягостей юдоль,
между бездной и болью
выбираешь боль.

Последняя зима

Но старость—это Рим...

Борис Пастернак

Уже известно—как. И скоро
забрезжит явственно—когда.
И нет пощады для актёра.
И нет для истины стыда.
По незатоптанному снегу
ещё утрами бродит он.
Как весело спугнуть с разбегу
клан переделкинских ворон!
Но грянут из-за края бора
к заутрене колокола,
напоминая: скоро, скоро,
но не сейчас,—и не ушла
сестра любимая из дома...
В натопленный вернётся дом,
где возле сытой печки дрема
свернулась ласковым клубком.
Скрипят музейные ступени.
Одышка... И клубятся вслед
неупокоенные тени
не забывающихся лет.
Нахлынет вдруг испугом страстным
из самой тайной глубины,
что телефон акцентом властным
раздавит горло тишины
опальной. Ни к чему награда
и почести в такой глуши
заснеженной. Как плотно
отточены карандаши!
Так и живёт. Сегодня вторник.
А разыграется метель—
над письмами сидит покорно,
в дань славе или суете.
И, сладко предвкушая средю,
воспринимает будто месть,
что посетители к обеду
должны явиться. Так и есть.

Бродяга

Вспыхнул рассвет за рекою.
Кину пожитки в котомку!
Пригород следом за мною
катится с горки на горку.
Солнце играет на стёклах.
Ветер вздыхает нерезкий.
Плещут в распахнутых окнах
ситцевые занавески.
От посторонних и странных
скрытая в недрах окошка,
дремлет в подушках диванных
злая трёхцветная кошка.
Улочки утречко нянчит.
Жмурясь спросонья, суббота
слышит, как женщина плачет
и попрекает кого-то.
Мукой исходит сердечной,
рот искривив некрасиво.
Кто ж ты—безумец беспечный,
неблагодарный, счастливый?
Знаешь, я тоже когда-то,
страстным упрёкам внимая,
взгляд отводил виновато.
Ныне по мне никакая
не проливает обильно
слёзоньки временем ранним...
На подоконнике пыльном
отполыхали герани.

Марина Тарасова

И кажется, что вырастают крылья...



Ещё начало сентября, но несколько дождей —
И будто не было тепла, весёлых летних дней.
Волшебной кисточкой своей пройдясь по тополям,
Природа золотом свечей украсила свой храм.

И медью тронула позём, пожухшие кусты,
В пигментных пятнах возрастных посыпались листья,
Беспечный прежде календарь заторопился следом,
А небо-море в сентябре вдруг стало небом-снегом.



Поговоришь с хорошим человеком —
И на душе становится светло,
Как по весне под яблоневым цветом,
Под вешним — дочиста промытым — небом,
Играющим полуденным лучом.

Поговоришь с хорошим человеком,
На полдороге, несколько минут, —
И кажется, что вырастают крылья...
И это ощущение всесилья...
И ноги сами по делам несут.

Поговоришь с хорошим человеком —
И день оправдан даже в суете
Случайным, неслучайным ли открытием,
Закономерным или по наитию, —
Что счастье есть на матушке-земле.



А в песне старой жизнь — не симулякр,
Не побрякушка — слово, не игрушка.
Тут так и видишь яблоневый сад,
Иль вот она, разлучница-кукушка;
А в песне старой — задумчивый тон,
От сердца к сердцу верная дорожка:
Пока в печурке той горит огонь,
И мы с тобой погреемся немножко.
А в песне старой — искренность сама,
Живая память, страсть и боль живая,
И светит незнакомая звезда,
О нежности, любви напоминая.
А в песне старой... Что же говорить?...
Зови друзей, и пусть качнётся небо,
И пусть багульник белизной манит
Туда, где ты покинул ещё не был...



Анне

Мы прощались с осенью сегодня,
Дождь шептал, переходил на «ты»,
Снегом баловался, беспризорник,
Прятался в озябшие кусты...

Шли по городу, к деревьям сонным ближе,
К жёлтым травам, — не пугая голубей,
Шли по Южному, как будто по Парижу,
Среди сотен будничных людей.

Отодвинув все дела-заботы,
В такт дождинок лёгкому туше,
В ногу с октябрём — до поворота —
Прошагали с праздником в душе.



Собираю стихи, как грибочки,
На охоту за словом хожу;
Лист сухой шевелю у пенёчка
И находкой любой дорожу.

А бывает... откуда-то сверху
Сквозь ажурный ветвей переплёт
Луч блеснёт и, как посох волшебный,
На поляне гриб белый найдёт.



Воскресенье наступило...
Две минуты как...
На вселенском циферблате,
Кажется, — пустяк.
Но минут неисчислимых
Не замедлить ход,
Стрелки движутся по кругу
Всё вперёд, вперёд...
В неизбежном хороводе
Проплывут века;
Обмелеет и исчезнет
Млечная река...
Было так оно и будет
До конца времён.
А пока что воскресенье...
Три минуты... Сон.



Я хотела б вернуться домой,
Но—увы...
Где мой дом?..
Где мой дом?..
Там, где раньше стояли цветы,
Подоконник чужой и балкон,
Жизнь чужая за дверью чужой,
Продолжаясь, неспешно течёт,
Ни один ключ из связки моей
К двери той больше не подойдёт.
Разлетелись, увы, кто куда
Все пенаты и лары мои.
Постою у подъезда одна—
Ни души в этот час...
Ни души...

Вариация на тему

В доме том не всё спокойно
(И сомнений нет)—
Слишком ядовито-жёлтый
Уплотнился цвет
В отсыревших этих рамках,
И тревожный сон
Вряд ли тишину обманет
(Где она?! Где он?!).
Окна—как огонь сигнальный,
Как маяк в ночи,
Как надежда опоздавших,
Сбившихся с пути,
Но и крик души—надрывный
(Слишком яркий свет!),
Одиночеством по стёклам
Хлещет мокрый снег;
Всё смешалось, и стихии
Все переплелись,
Слух и зрение обострились,
Нервы напряглись;
Ветра резкие порывы
Пошатнули мир,—
Не случайно так художник
Контуры размыл!
Не случайно страсть усилил,
Их соединив—
Человека и природу—
В шквалистый мотив.



Утро. Пасмурно. Прохладно.
(Куртки и плащи.)
Моют окна. Подметают.
(Кто-то варит щи.)
Как привычно. Как обычно.
(Для начала дня.)
Только счастье вдруг коснулось
Пёрышком меня.

Итуруп

Стол у окна, за окном тишина,
Мир ослепительный, и белизна—
До горизонта, где, строг и упрям,
Катит неслышно волну океан,
Тихий по имени, но—не зевай!..
Солнце неспешно заходит за край
Дальних пределов, чужих берегов:
День чуть помедлил и вот—был таков;

Что за немислимая благодать—
Зимним безмолвием повелевать!
Хочешь—по свежему насту пройди,
Хочешь—в печурке огонь разведи...

Слышишь? В тепле размурлыкался кот,
Чайник весёлую песню поёт..
Слышишь, как с неба упала звезда?
Мне не забыть—ни за что, никогда.



Дождь, дожди, дождём, под дождик...
Дзинь... Дождинка... Крыша—зонтик...
Вжик... По лужам шин накат...
Ох, никто... не виноват...
Я под ливнем спрячу слёзы—
Пусть бегут... одна вода...
Очистительные... грозы...
Нам полезны... иногда...
Я свою беду руками,
Видит Бог, не разведу...
В синем море-океане
Утлой лодочкой плыву.
И следов не оставляю,
И грустить уж не грущу...
В день дождливый сиротливо
Свежим воздухом дышу...



Возьми меня на руки, небо,
Возьми на поруки, под руки...
Под песню твою колыбельную
Я звёзд сосчитаю всполохи,
Бесстрашная, в волны эфирные
Нырну я легко и доверчиво,—
Качай меня, небо! укачивай,
Баюкай с утра и до вечера,
Балуй неразумную, грешную
Отцовским своим попечением,
Душой молодея, воскресну я,—
Ты будешь моим вдохновением!
Во зло не использую милость—
Готова на площади клясться;
Возьми меня на руки, небо,
А я буду очень стараться...

Юрий Беликов, Олег Платонов

Адресат для анафемы, или Благословение владыки

Ваш покорный слуга однажды в шутку отрекомендовался масоном. Назвался масоном — полезай в кузов. Юное создание, очевидно, напичканное соответствующим чтивом, стрельнуло в меня ошарашенным и даже опасливым взглядом. О-о-о!!!

Впрочем, мой нынешний визави с масонами не шутит. Правда, исключая его памятную вылазку не куда-нибудь, а в одну из масонских лож США. Но это — как говорится, пользы для, чтобы доказать не только самому себе, но и окружающим: масоны — не плод досужего ума, а законоспирированная реальность. Тем паче вольные каменщики держат теперь ухо остро, и подобные гамбиты Олегу Платонову повторить вряд ли удастся.

Здесь самое время привести высказывание прозаика Юрия Полякова в газете «Аргументы недели»: «...Власть настроила против себя патриотических писателей, заведя дело на Олега Платонова — известного издателя, просветителя, публициста, директора Института русской цивилизации. За что? Он издал книжку о национальной политике Ивана Грозного, которая по какому-то бредовому обстоятельству оказалась в списках экстремистской литературы».

От себя добавлю: раз уж на то пошло, может быть, нынешней отечественной Фемиде не останавливаться на «достигнутом» и продолжить свои ошеломительные изыскания, тянущие на Шнобелевку? Например, от Ивана Грозного перекинуться по шкале времени в «Слово о полку Игореве» и пошарить там? Заодно, наконец, доказать его беспрекословное авторство, дабы уличить создателя поэмы в национальной неприязни — теперь уже к половцам?

...Я ощущал буквально физически всю наэлектризованность зала пермской библиотеки имени Пушкина, где Олег Анатольевич выступал с лекцией о масонстве. Вообще, это не главная и не самая любимая тема Платонова. С одной стороны, его перу принадлежит книга-предсказание «Почему погибнет Америка», а с другой — своего рода апокриф «Терновый венец России».

Есть и третья направленность платоновских интересов. Будучи в Перми, посетил предполагаемое место бессудной гибели от рук местных чекистов

в июне 1918-го великого князя Михаила Александровича Романова (брата Николая Второго) и его секретаря-англичанина Брайана Джонсона. Помню, как мы стояли с Платоновым и нашими провожатыми, сняв шапки и по колено в снегу, на одном из сосновых взгорий некогда революционной Мотовилихи, у деревянного покаянного креста, излаженного скульптором Рудольфом Веденевым...

Олег Анатольевичем написаны труды по истории царевубийства, но эта серия не завершена, пока остаются «белые пятна», связанные с Пермью. Потому что, в отличие от останков царской семьи, останки великого князя и его верного помощника до сей поры не найдены, несмотря на упорные попытки следопытов-поисковиков России и русского зарубежья.

Однако с обозначенной книжной серией переплетена и другая — «Россия под властью масонов». Когда-то его благословил заглянуть за этот плотный занавес митрополит Санкт-Петербургский и Ладозский Иоанн. Платонову дорого благословение владыки.

— Олег Анатольевич, так уж повелось: в России о масонах — либо в шутку, либо с округлёнными глазами, но, судя по всему, то и другое — мимо. И никогда — в «десятку». Но вы-то в этом смысле — человек спокойный, изучающий. Ответьте как на духу: можем ли мы считать русскую историю той или иной конфигурацией масонского влияния?

— Это бесспорно, хотя не стоит преувеличивать значение масонства. Но действительно, начиная с первой половины восемнадцатого века, масоны вписали свои страницы в историю России. Фактически со времён Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны они достаточно влиятельно участвовали во всех важнейших событиях отечественной истории. И участвовали в ущерб для России. Примером может служить Семилетняя война. Победа в ней русского воинства обернулось полной потерей национальных интересов нашей державы. Уже даже подготовили карты, по которым Пруссия должна была отойти России, и Берлин мог бы стать одной из провинций Российской империи...

— Если учесть, что на месте Берлина раньше жили славяне, это было бы закономерно с точки зрения истории славянства?

— Это было бы справедливо.

— Но меня всегда поражало: да, масоны вредили национальным интересам России. Ладно бы, если это делали пришлые, допустим, те же пруссаки, но ведь среди отечественных масонов было полно коренных русаков. Тогда что привлекало русского человека в масонстве?

— Это так. В восемнадцатом и девятнадцатом веках большинство из масонов России были природно русскими. А что привлекало? Масоны говорили о том, что они — особый орден, который печётся о просвещении и совершенствовании человечества, об очищении душ, короче — о своих филантропических задачах. А русский человек всегда стремился к добродетели, пытался вырваться из того мира, который несовершенен, и создать нечто очень важное для самостояния русских людей. И зарубежные масоны внешне завлекали этими идеями многих представителей русской знати.

— В переводе масоны — это вольные каменщики. А их «главный архитектор — Господь Бог». То есть, казалось бы, их духовное строительство шло во славу Божию. И в постулатах масонства значит, что оно позиционирует себя как нравственно-этическую систему. Но всё-таки что за кирпичи клали вольные каменщики?

— Я не исключаю, что когда-то на Западе проповеди масонов о духовном совершенствовании были искренними. Однако те исторические факты, которые уже досконально изучены, показывают: все их нравственные проповеди — не более чем ширма. А на поверку все масонские сообщества становились инфраструктурой власти или — вариантом закулисного управления людьми.

В поле тех задач, которые ставили перед собой эти тайные общества, значилось продвижение того или иного человека в сторону какой-то властной функции. С самого начала, когда кто-то вступал в масонские ряды, им говорилось о том, чтобы «все наши братья помогали другим нашим братьям, где бы они ни находились». И если у того или иного человека открывалась возможность продвинуть кого-то из вольных каменщиков на более высокую ступень, это была его масонская обязанность.

И если в обществе обсуждался вопрос о ком-то, связанном с масонскими кругами, предположим, какой он хороший или плохой, собратья его должны были, не сговариваясь, всюду утверждать, что этот человек — самый лучший!

— Чисто теоретически я не вижу в этом ничего дурного. Если вы — братья, то и должны помогать друг другу.

— Так вопрос и ставился. Но ведь реальная-то помощь была, по сути, направлена на создание негласных, тайных механизмов влияния на власть. Когда я изучал документы в особом архиве КГБ, то обращал внимание, что в масонских протоколах обсуждений всегда подчёркивалось: это их важнейшая функция. Предположим, министр просвещения находится рядом с императором. Но этот министр — не наш человек! Более того, он нам враждебен. Значит, не говоря во всеуслышание, что мы являемся членами тайного общества, начинаем утверждать по разным каналам, что этот человек — нехороший. Тоньше: не враг масонов, а враг императора. Мало того, сей господин затеял какую-то неблагоприятную комбинацию, дабы подорвать монаршую власть.

И тогда император убирал этого министра с его поста, возможно, куда-нибудь ссылал, и таким образом освобождалось вакантное место для брата-масона...

— Среди масонов много знаменитостей. Оставим в стороне их западный синклит. Возьмём навскидку только нашенских. Александр Бестужев-Марлинский, прозаик, поэт, участник восстания декабристов на Сенатской площади, член ложи «Ключ к добродетели». Художник Карл Брюллов, автор известного полотна «Последний день Помпеи», состоял в ложе «Избранного Михаила». Поэт Пётр Вяземский, близкий друг Пушкина, положил в его гроб свою масонскую перчатку. Александр Грибоедов, создатель «Горя от ума», входил в члены ложи «Соединённых друзей». Денис Давыдов, герой Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года, состоял в ложе «Ордена русских рыцарей». Наконец, сам Пушкин... Мы же не можем отрицать, что в Кишинёве прошло его посвящение в ученики масонской ложи «Овидий»?

— Что касается Пушкина, то он не мог состоять в масонской ложе — там всего лишь шли разговоры о намерениях... Согласитесь: если ложа как таковая не иницирована, значит, человек не может считаться её адептом. Существует определённый ритуал создания ложи. Так вот, этот ритуал Пушкиным не был пройден...

— Однако согласитесь и вы: все вышеперечисленные имена — цвет русской культуры. Если масонство — мировое зло, отчего тогда знаменитые личности летят в его сторону, как мотыльки на свет?

— Да, у меня эти списки есть. Масоны же выпускали книжки, куда включали перечень своих членов. Эти списки распространялись только среди входящих в масонскую ложу. У меня имеется несколько их подлинников. А почему «летят, как мотыльки»? Что тянет туда талантливого человека, не посвящённого в политические интриги и гадости масонских орденов? Повторяю: то внешнее,

декларирующееся этими ложами. Особенность любого талантливого человека (Грибоедов ли это, Брюллов или Денис Давыдов) заключается в том, что, согласно этому свойству, он устремлён к совершенствованию мира. Но в реальном-то мире нет ничего до конца совершенного.

И тут масоны говорят: «А мы обладаем особыми ритуалами, философским камнем и такими возможностями, что наши братья могут стать членами совершенного общества, которое пересоздаст мир на новых основах». Иначе — куда-то задвинем всех плохих людей и выпестуем породу хороших. Это, может, было главным в искушении целой плеяды русских деятелей литературы и культуры.

Однако наши проникающие мыслители, изучавшие масонскую закулису, умели чётко сформулировать их двоякую, скрытую природу. И был среди этих умниц Андрей Тимофеевич Болотов, великий русский человек, учёный, стоящий по своему значению в одном ряду с Ломоносовым, который, кстати, тоже никогда не состоял в масонских ложах.

Так вот, у Болотова выходило много книг, он был на виду. И, естественно, масоны решили обратиться к нему в свою веру. Но знаете, что он сказал им по этому поводу? «Упаси меня Бог искать другого общества по совершенствованию человечества. Разве у нас нет православной церкви? Её задачей как раз и является то самое совершенствование. Дай мне Бог сделать то, на что я способен хотя бы в рамках церкви! Зачем нам для этого нужно тайное общество?!»

— Известно, что в тысяча девятьсот семнадцатом году, сразу после того, как Ленин опубликовал «Апрельские тезисы», в России собрался съезд масонов, на котором было оглашено воззвание о том, чтобы объявить нашу страну «великой масонской державой». Этого не произошло. Но сама попытка впечатляет. Неужто к тому времени в России так высок был градус масонства?

— Да, вы говорите о записке очень видного масона Владимира Нагродского. У него и жена, Евдокия Нагродская, точно так же была очень известной масонкой. Но что касается тогдашнего «градуса масонства»... Я бы так не сказал. В начале двадцатого века в России реальная сфера масонов насчитывала несколько тысяч человек. Что такое несколько тысяч — на всё общество?!

Однако эти масоны были, как никто другой, близки к властным верхам. И совсем не удивительно, что многие последующие события, как-то: свержение государя, Февральская революция, — стали прямым и закономерным результатом деятельности российских масонов. Сейчас опубликованы документы (и я их привожу в своих книгах), где сказано со всей очевидностью: именно члены масонских лож составляли планы свержения монарха и обозначали основные этапы этого заговора.

— Вы уже обмолвились о том, что вам довелось работать в особом архиве КГБ, а именно — в ваших руках оказались документы, связанные с темой мирового масонства, которые до той поры, в свою очередь, угодили в руки Адольфа Гитлера. Отчего его так привлекала эта тема?

— Я хочу подчеркнуть: Гитлера привлекло в этих документах то, что должно было бы нормальных людей отвращать. Фюрера заинтересовали масонские политические технологии, с помощью которых вольные каменщики умели владеть массами, создавать общественное мнение и расправляться с неудобными. Когда Гитлер организовал в Третьем рейхе соответствующую структуру, именно для этого секретного института и были свезены со всей Европы масонские архивы. О том институте никто не знал, кроме самых близких фюреру людей. Но документы были захвачены гитлеровцами в тридцать девятом — сороковом годах, и, соответственно, эти «секретные люди» не смогли погрузиться в них с максимальной «самоотдачей».

В период же Великой Отечественной войны документы из секретного института попали в руки представителей Советской армии (уже не полные архивы, потому что часть их была утрачена в ходе различных перевозок во время войны и точно так же — когда их переправляли в СССР). Для этого архива (я называю его «архивом тайной власти») руками пленных немцев в Москве было построено специальное здание в районе метро «Водный стадион». И до тысяча девятьсот девяносто первого года архив был совершенно секретен. Документы, которые там находились, позволяли буквально по этапам рассмотреть всю деятельность масонства. Скажем, там были все документы «Великого востока Франции» — самой старейшей и влиятельной масонской организации со времён Французской революции вплоть до тысяча девятьсот сорокового года, когда немцы захватили Париж...

— Название одной из ваших главных книг частично подсказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв), с которым вас связывала духовная дружба. Книга называется «Терновый венец России». Можем ли мы сказать, что в лице владыки и других иерархов Русской православной церкви вы, как исследователь вопроса, получили серьёзную поддержку и нашли понимание необходимости сопротивления масонскому влиянию в России?

— Безусловно. Абсолютное большинство церковных иерархов занимает такую позицию. Но не все её напрямую высказывают. Есть ведущие дипломатическую линию, дабы не тревожить и возбуждать те силы, с которыми, полагают они, следует считаться. И по поводу масонов у церкви тоже существуют свои ритуалы. Например, в День

торжества православия Русская зарубежная церковь анафематствует в их адрес...

— *С поимённой конкретикой?*

— Это зависит от распоряжения того, кто возглавляет тот или иной приход. Чаще всего анафема звучит в самых общих чертах, но иногда переводится и на конкретные имена. Это не застывший, а довольно свободный ритуал. Главное в этом анафематствовании: «Масонам, теософам, теологам Сатаны — анафема, анафема, анафема!»

— *А — в РПЦ?*

— В нашей православной церкви нет ритуала анафематствования масонов. Но нам это не запрещается.

Я, когда приехал из Америки, раздал этот чин анафематствования некоторым нашим священникам. А так как мы единомышленники, то в День торжества православия тоже совершали анафематствование масонов. Это — на усмотрение священника. Но когда начали анафематствовать широко, поступило негласное, подчёркиваю, мнение, что «не следует в День торжества православия анафематствовать масонов».

— *Вы говорили о том, что масоны создают общественное мнение, если считают, что какой-то человек для них неудобен, а то и опасен, и стремятся его всячески опорочить и убрать. Как в этом смысле вы оцениваете фигуру Григория Распутина? Его ведь тоже убрали, физически устранив. Это был масонский заговор?*

— Я считаю, что словами «масонский заговор» не следует злоупотреблять. Тут нужно понимать: любая политическая операция, в принципе, может рассматриваться как заговор. Вот встретились три депутата и говорят: мол, у нас есть серьёзное основание, и, опираясь на него, мы собираемся убрать того или иного министра. Чем не заговор?..

Заговор — это негласный сговор, направленный на достижение какой-то цели. Обычно масонский заговор представляется как некая глобальная всемирная акция, которая предполагает, что где-то там, на самой высокой горе, сидит главный масон, руководящий судьбами мира и распределяющий, что должны сделать те-то и те-то его подопечные. Нет такого заговора!

Он просто невыносим в нашем достаточно сильно разделённом мире. Все масонские ордена совершенно независимы друг от друга и, более того, находятся в постоянной конкуренции и борьбе между собой.

— *Тогда чего ж нам бояться?*

— Нам нужно бояться реальной угрозы тех сил, которые характеризуются совершенно другими духовными установками. Допустим, мы говорим о неразрывности веры и жизни, о добролюбии

и нестяжательстве, о соборности, о патриотизме. Это наши ключевые идеи. Они утверждают другое: дескать, масоны представляют избранную общность и обладают особыми правами. Скажем, на владение землёй, собственностью и так далее. Кроме того, масоны не являются приверженцами соборности, а, напротив, выступают как яркие индивидуалисты и объединяются только временно и для того, чтобы достичь каких-то целей.

По сути, это две идеологии. С одной стороны — идеология духовно-православной направленности. А с другой — идеология, ставящая целью достижение каких-то материальных выгод, которые позволяют всем объединённым в это сообщество туго набить карманы в ущерб другим членам общества.

Что касается убийства Григория Распутина, то там прослеживалось масонское участие, потому что один из его убийц, кадет Василий Маклаков, был членом масонской ложи. Также под влиянием масонов находился и Феликс Юсупов. А к тому же Юсупов был ещё и «голубым». Масоны таких любят...

— *Вам виднее — вы же внедрялись в стройные масонские ряды! Известно, что, живя в США, Олег Платонов не раз был свидетелем, как на въезде в тот или иной город значилось вполне респектабельное уведомление, что там-то и там-то располагается такая-то масонская ложа. Означает ли это невыносимое — что тайное братство перестает быть тайным?*

— Действительно, в Америке масоны себя чувствуют хозяевами. По сути, в США они составляют инфраструктуру реальной власти. И в этом смысле им не надо скрываться. И все люди, которые хотят продвижения по карьерной, а тем более властной лестнице, они так или иначе должны вступить либо в масонскую ложу, либо в соответствующие клубы, предшествующие вхождению в масонство. Без вступления в масонскую ложу здесь не может быть никакого карьерного роста. Я сам не раз беседовал с американцами, и они мне признавались: «Не будь я членом масонской ложи, я никогда бы не достиг определённого положения, а был бы каким-нибудь невзрачным клерком».

Масоны в США настолько уверены в себе, что не боятся выставлять на всеобщее обозрение свои символы и эмблемы. Но та особенность, что они не стесняются факта своей власти, не исключает другую: механизм этой власти всё равно осуществляется тайным образом.

— *Тогда непонятно: как же вам, известному антимасону, удалось внедриться в масонскую ложу штата Аризона?*

— Ну, во-первых, до такой степени я в Америке известен не был. Во-вторых, когда я ехал в США, у меня там была надёжная поддержка среди

американских правых. Меня опекали некоторые наши бывшие соотечественники из остатков первой эмигрантской волны. В частности, финансировали, потому что, как известно, особенно в девяностые годы, с деньгами в России было очень туго.

Но к тому времени у меня здесь вышли книги об убийстве царской семьи, а также — книга о масонстве. И они в США сразу стали у них настольными. Потому что тогда не было таких книг, написанных с православно-патриотических позиций, да ещё основанных на документах особого архива КГБ. Мои книги среди наших эмигрантов вызвали такой интерес, что их рвали буквально на части!

Что касается моего «внедрения», то я об этом моменте своей биографии в большей степени говорю в шутку. Не нужно думать, что так уж сверхсложно было заглянуть за масонскую закуску. За деньги в США можно всё. В результате мои знакомые подкупили некоторых американских масонов. Нет, ритуала я не проходил — тогда бы это можно было назвать внедрением, братом вольных каменщиков не становился. У меня было несколько посещений этих лож.

Помню зал. Меня провели к нему так, что можно было через особые дырочки наблюдать за тем, что там происходит. Я видел ритуал. Как они стояли в своих специфических одеждах, то кланялись, то потрясали руками, то исторгали всяческие возгласы. И этих ритуалов у масонов довольно много. Картинка вызывает интерес. По крайней мере, мне было любопытно, как исследователю.

В другой раз в Аризоне я открыто пришёл в ложу и представился: «Я — учитель из Саратова. Мы с друзьями решили образовать у нас в городе масонскую ложу. В связи с этим мне бы хотелось найти наставников и получить необходимую литературу».

Вокруг меня сразу же завертелись масоны! Со мной побеседовал целый ряд лиц. Мне предоставили возможность поработать в их библиотеке — она закрытая. Там много интересных книг. Правда, ксерокопировать мне ничего не разрешили. Я сделал несколько выписок. Сказал, что уезжаю в Россию. И они положили в машину несколько коробок масонских изданий. Я их до сих пор использую для антимасонской работы (*улыбается*). В том числе — многотомную энциклопедию масонства.

— На лекции вы заметили: всё то, что происходило и происходит сейчас на Украине, в Киеве, — следствие материализации тех же масонских поползновений.

— Да, в данном случае масонские ложи являются очень прочными пунктами, через которые идёт подрывная работа против Украины. Но, кроме масонов, существует ещё множество прямых «подрывников». Как, например, американские

спецслужбы. Масоны с удовольствием участвуют в этих акциях. Иногда их используют спецслужбы. Но в основном масоны действуют самостоятельно. Вот недавно мои друзья сообщили о деятельности тамплиеров. Как вы знаете, это довольно давний масонский орден. Но, начиная с девяностых годов прошлого века, эта организация сильно активизировалась...

— *Отвечая на вопросы слушателей, вы достаточно осторожно говорили о нынешних российских персонажах масонской выделки. Но зритель ведь требует крови и зрелищ. А вы избрали тактику умолчания. Свидетельствует ли это о том, что фигуры вашего умолчания известны и очень влиятельны?*

— Естественно. Знаете, когда в тысяча девятьсот девяносто седьмом году у меня вышла в свет книга «Россия под властью масонов», снабжённая соответствующим словарём, на меня прямо-таки обрушилась лавина всяких угроз и оскорблений типа того, что у Платонова «поехала крыша». Кто только на меня не нападал! Это потому, что в словарь попали имена тех самых «очень влиятельных фигур», о которых вы спросили. В этой книге они все названы: там и Гайдар, и Чубайс, и так далее.

В своё время была создана такая масонская комиссия «Большая Европа». В ней состояло практически всё гайдаровское правительство. Да и масоны, собственно, не отрицали, что именно они создали ту комиссию. Но самое интересное началось потом, когда этот список был обнародован. На меня выставили судебные иски аж двенадцать персон! Среди инициаторов был ныне покойный Сергей Юшенков. Кроме того — этот бард... Как его?... Ну тот, которого сейчас возвели в великие... (*Пауза. Пытается вспомнить фамилию.*)

Это элемент вытеснения памяти... Потому что я его очень не любил...

— Неужто Окуджава?..

— Конечно же!.. Вот видите, каким может быть сильным это вытеснение! А ещё — правозащитница Людмила Алексеева, которая была замечена в связях с английской разведкой. Об этом ещё много трубили, показав, как ряд некоммерческих организаций в России получает гранты от зарубежных спонсоров.

Короче говоря, моё судебное дело продолжалось несколько лет. В итоге адвокат, который защищал всю эту почтенную публику, сказал вполне определённо: «Нет, не хочу я работать с масонами и на масонов!» И отказался от этого дела. Тем более что, как всякие масоны, они использовали непорядочные методы. Было первоначальное решение суда, по которому мне присудили заплатить этой дюжине по миллиону рублей каждому! Это уже после деноминации. Затем — апелляция моего

адвоката, которая была поддержана. И началась тяжба, продолжавшаяся ещё несколько лет. Но кончилось тем, что дело просто само по себе заглохло и развалилось...

— После вашей лекции, когда вы стали отвечать на вопросы, от вас ждали оглашения, может быть, самого громкого имени. Но вы парировали: «Я голосовал за Путина!» Есть ли у вас убеждение, что у Владимира Владимировича и его сподвижников — вполне реалистическое отношение к теме масонства не как к разряду таинственных мифов, а как к явлению, представляющему национальную и государственную угрозу?

— Я в этом не сомневаюсь. Владимир Владимирович очень трезво оценивает ситуацию, понимает

роль и значение в современном мире масонства, а также — организаций типа Бильдербергского клуба, Трёхсторонней комиссии и Совета по международным отношениям. И самое главное: когда Путин пришёл к власти, из одной государственной структуры (по понятным причинам я не хочу её называть) начали приходить пожелания, чтобы нашим институтом были сделаны записки по этому вопросу. При Ельцине подобных просьб не поступало. А после прихода Путина нами был подготовлен документ на интересующую тему.

При этом подчёркиваю: масонство никогда не было средоточием моих мыслей. Дело моей жизни — русская история и идеология России. А масонами я занялся по благословению владыки Иоанна, понимая: если не я, то кто же?

ДиН 1945–2020

Анна Гедымин

Месть Тамерлана

Где нам древних понять!
Ведь, в конце концов,
Нам давно на святыни плевать.
Но послушай всё же...

...Стаи гонцов
Созывали тучную рать,
Чтобы выкрикнул баловень всех грехов:
«Если мой потревожат прах,
Не поздней, чем до утренних петухов,
Разольётся над миром страх!
Будет горе на множество лет и стран!
Небо вычернят облака!...»
Так сказал Тамерлан.
И усоп Тамерлан.
И без снов пролежал века.

Осторожное время, мудрей совы,
Тихо здесь совершало путь...
Но пришли археологи из Москвы
В неприступный склеп заглянуть.
Самый младший русым был, молодым,
Старший с виду вроде бурят.

Пили чай зелёный,
Пускали дым
И не ведали, что творят.

Но сходились узбеки со всех сторон.
Но закат был в тот вечер вял.
Но вселенский ужас,
Вселенский стон
В чёрно-бурых глазах стоял.

Всё окончилось за полночь.
Как пятак,
Прикатилась луна в зенит.
И сказал самый младший:
«Что-то не так, —
Люди стонут, в ушах звенит...»
А приятель, зевая:
«Да ну их, плюнь!»
В самом деле — чудной народ...»

Было двадцать второе.
Месяц — июнь.
На земле — сорок первый год...

к 50-летию

Татьяна Долгополова Коротко о нашей короткой жизни

Татьяна Долгополова

Коротко о нашей короткой жизни

В субботу утром ты можешь проснуться где угодно, в любом районе города, но, открыв окно и выглянув во двор, ты везде увидишь одну и ту же картину. Из какого-нибудь подъезда выходит мужчина. В одной руке — большая канистра с водой. В другой — большая сумка. Или пакет. А то и сумка, и пакет вместе. Мужчина подходит к машине, открывает багажник, укладывает туда добро. Укладывает-перекладывает. Долго и любовно. Потом открывает двери, копается в салоне. Долго и любовно. Потом выныривает из салона, стоит у машины, курит. Не сводя с машины долгого и любовного взгляда. Потом достаёт из кармана мобильник и орёт на весь двор:

— Ну долго ещё, мать-перемать??? Час уже стою!

Из подъезда выкатывается женщина (с ребёнком — вариант, но вся в пакетах и сумках — это точно). Перепуганной торопливой походкой сменит к машине. Они усаживаются. Машина гаснет. На дачу!

Лето! Не уходи...

Почему у нас часто говорят «вдова» и почти не говорят слово «вдовец»? В телепрограммах, к примеру, часто видишь титры на синхронах: «такая-то, вдова актёра», «такая-то, вдова художника». И никогда я не видела подписи «вдовец актрисы».

Снится мне, что у меня в комнате стоит памятник Гоголю! Не знаю, что такое... пара шагов до сумасшествия, наверно...

Бабушка ведёт за руку маленькую девочку, и этот клоп — года два от силы — считает ступеньки. Удивляюсь:

— Ну надо же, считает! Это сколько же вам?

Бабушка смутилась, но ответила:

— Нам шестьдесят восемь...

Любят меня выдающиеся люди. Выдающиеся из общей массы. Бомжи вот. Если встретится бомжик — нипочём мимо не пройдёт. И обратиться норовит ласково так: «Доча...» Чувствуют родную

душу. Попрошайки — все мои. Выгляжу я, зная, весьма респектабельной и щедрой. Свидетели Иеговы — эти готовы прям бежать за мной, лишь бы спросить имя Бога. Цыганки... Давно их видно не было. А тут внезапно нарисовались на Предместной. Две, горланя между собой, мимо прошли (заметно нехотя), а третья — прямо ко мне. Настоящая такая, колоритная: большая, толстая, зубы золотые, бусы, глазищи чёрные, цветная ко-сын-ка, юбка цветастая же — в пол. Я залюбовалась. — Вай-хай, мэлочи дай, — и всё такое.

Ну на тебе мелочи немножко. Она — р-р-раз! — волос у меня вырвала. Ловко так. Из-под капюшона. Ай!

— А теперь на бумажную денежку этот волос накрути!

Ага, думаю, сейчас я тут купюры начну доставать тебе... Видит, что я засомневалась:

— Я тебе тогда твоё имя скажу!

Спрашиваю:

— А зачем? Я имя своё знаю.

Немного потеряла ко мне интерес, но не сдаётся: — Я тебе и её имя скажу, которая на пути твоём стоит!

— А это мне зачем? Чтоб я пошла её убивать?

Совсем я стала неинтересной, развернулась красавица и пошла от меня. Эх, надо было потянуть, подождать, пока она попросит с банковской картой какие-нибудь манипуляции проделать... Поторопилась я.

Вспомнилось почему-то... Я вообще плохо сплю, а в гостях так и вовсе плохо или никак. Осталась ночевать у подружки раз. Стоит ли меня вообще пускать в гости, да ещё и оставлять на ночь, судите сами. Не спится, естественно. Вышла покурить часа в два ночи. На площадке темновато, стою, курю спиной к мусоропроводу. Вдруг шорох сзади. Я обомлела. Поворачиваюсь — три пацана лет так по двенадцать-четырнадцать за мусоропроводом на корточках. Я их разбудила своим появлением. Говорю: — Парни, у меня чуть сердце не остановилось!

Они:

— Тётенька, дайте попить...

Вынесла бутылку лимонада. Они со Стеклозавода (не знаю, где это), приехали на праздник

(вроде День города был, не помню уже), почему-то уехать не смогли. Решили переночевать почему-то здесь, на седьмом этаже.

— Пили? — спрашиваю.

— Нет!

Но наверняка пили какую-нить гадость типа пива, вон как в лимонад вцепились. Замёрзли, как цуцки. В футболочках-то. Завела я их в квартиру. Есть в ней комната, именуется «гладильная». Маленькая совсем комнатка, но, правда, с большим полноценным окном. Там что-то вроде кабинетки сделано. Постелила на пол толстое одеяло. Они на него попадали. Говорю:

— Только тихо, у меня очень суровый муж.

Никакого мужа, разумеется, в помине не было, но подруга солидно храпела в своей комнате, сойдёт. Сажу в кухне, читаю, прислушиваюсь: в гладильной всё тихо. Через часок подруга проснулась. Пошла по нужде. Скорей всего, по малой, но увидела мальчишек — думаю, заодно и покакала.

— Таня, кто это? — спрашивает с ужасом.

Отвечаю:

— Иди досыпай, утром расскажу.

В семь утра я их растолкала, показала, где туалет, и отправила восвояси. Интересно, они об этом приключении помнят?

Какая я всё же тёмная. Как те самые три подвала антрацита. Увидела объявление: «Сделаю в подарок мехенди», — и перепугалась. Думаю: «Ну совсем уже куда катимся! Какое-то мехенди делают. Не иначе, как бесстыдство какое...»

«Я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город!» Я люблю его даже не за то, что я в нём появилась на свет, училась, крестилась, женилась. (Боже мой, неужели это было со мной? Да, со мной. И именно в такой последовательности.) Я его люблю, потому что он прекрасен. Вот сегодня, к примеру, сядишь в автобус №5. И — прямо у тебя перед глазами — «Перечень остановок маршрута №80». Очень познавательно. Я раз шесть прочла. Рекомендую.

Мужчины! Я понимаю, что жара страшная. Но не ходите вы по городу с голыми торсами!!! Среди вас так мало атлетов...

Самая страшная и бездонная тоска — по ушедшему человеку. Ушедшему не из твоей жизни. Это больно, но переживаемо. Из своей.

Ни разу не слышала, чтоб мой лифт разговаривал человеческим голосом. А тут его, видать, модернизировали. Без предупреждения. Лучше бы обшивку поменяли... Еду я. Лифт останавливается. И вдруг загробным голосом произносит: «Первый этаж!» И двери открываются. Меня чуть не парализовало. Я вышла, пришибленная такая, на ватных ногах. Оказалось, что совсем не первый этаж, а вовсе даже четвёртый. Секунду поколебалась, испуганно покосившись на кабину. Но зашла. Я смелая. Поехала. Он опять останавливается и говорит: «Первый этаж!» И на этот раз не соврал.

Про кредиты историю рассказали, понравилась. Семья: мама, папа, дочка. Две собаки, но речь не о них. Дочери пришла пора в институт поступать. Денег нет. Мама с папой берут кредит. А девица взяла и на бюджетный поступила. Ничто не предвещало. Мама с папой, жившие в гражданском браке, на радостях закатили шикарную свадьбу. Купили новую машину. Живут и радуются. Кредит платят. Дочь учится.

Вот я вроде и не брезглива особенно, и потолстеть не прочь совсем. Но как увижу на упаковке слова «массовая доля жира», так сразу мутит и не хочу я этот творот!

Коллега разговаривает с супругом по телефону. — Ну что, звонил? Да не мне, в больницу звонил? Сказали диагноз?

Нервно переключает трубку к другому уху. С надеждой:

— Рак?

Опять переносит трубку к другому уху. Разочарованно:

— А, гастрит. Ну, тоже ничего хорошего. Всё, теперь диета. Теперь без солёного, без жирного, без острого и без водки.

И с наслаждением:

— Без водки! Что значит — как жить? Я же живу!

— Что-то телефон так быстро стал разряжаться, — бормочу самой себе.

— Потому что тебя прослушивает кагабэ! — говорит четырёхлетнее дитё, оставленное мне на пару часов на сохранность.

Ушам не верю. И холодею этими самыми ушами.

— А кто это??

— Не знаю, — простодушно признаётся дитё, ковыряя фломастером в ялтинской ракушке. — Так бабушка всегда говорит.

Кстати, чем ракушку от фломастера оттереть, никто не знает?

Было это несколько лет назад в одном из отдалённых районов нашего края. В тамошнюю сельскую школу должна была прибыть краевая комиссия. Любая комиссия на любом предприятии нежеланна. По крайней мере, я не видела кого-нибудь, кто бы радостно крикнул: «Ура! К нам едет комиссия!» К приезду комиссии готовятся, всячески камуфлируя недостатки своего заведения и выпячивая достоинства.

Далёкая сельская школа тоже готовилась. Особенно учительница начальных классов — ей предстояло дать открытый урок, а у неё только от слова «комиссия» возникала оторопь, переходящая в пляски святого Витта.

И вот урок. Второклашки работают. Всё гладко. И как будто ничего не предвещает. Дети разгадывают загадки. Учительница задаёт очередную: — Без рук, без ног на бабу — скок!

В классе — ни шевеления. И ни одной руки.

Учительницы темнеет в глазах, в голове проносится бегущая строка: «Всё! Опозорились! Перед комиссией! Дети тупые, учитель плохо учит!»

И вдруг — поднятая рука! Спасительная!!

Шустро вскакивает с места мальчик, одёргивает пиджачок и выдаёт отгадку:

— Ветеран Великой Отечественной!

Ну что дальше... Члены комиссии давятся от беззвучного смеха, а потом дружно отпаивают учительницу валерьянкой. Дети в недоумении. Но все выжили.

Отгадка, если кому надо, — коромысло.

У моей мамы две дочери. Одна из них, как ни странно, я. (А это на самом деле очень странно и для меня, и для мамы, и для окружающих.) А вторая — Маня. Вернее, вторая-то как раз я, а Маня на пять лет первее. Что тоже странно, но сейчас не об этом. Родню я навещаю редко. Преступно редко. Но вот на Пасху сподобилась. Даже переночевала. Разговор утром.

Мама:

— Всю ночь не спала, всё болит, всё болит!

Маня:

— Каво??? Это я не спала! Ты только легла — и пых-пых!

Мама:

— Кто пых-пых?? Я? Да я всю ночь глаз не сомкнула!

Маня:

— Ну канешна, рассказывай! Это я не спала!

Мама (обиженно):

— Вот когда тебе будет столько лет, как мне, узнаешь, как не спать!

Я, молча и глубокомысленно поедая завтрак, так и не поняла, под чей двойной храп я до половины шестого утра читала Андерсена. Загадка, однако.

Дурачились с друзьями, подумали: вот если б у нас было не отчество, а матчество? Я была бы Людмиловна. Кто-то — Галиновна, кто-то — Иринович. И только моя подруга, у которой всё как-то очень реально в жизни складывается, и тут выпендрилась: она была бы Александровна. Вот никакого абсурда у некоторых в жизни нет...

Дал мне один товарищ визитку. Читаю: «Такой-то. Поэт, писатель, литературный критик, член союза такого-то, председатель того-то...» и ещё три строки. Думаю: как же советская власть и электрификация всей страны помогли раскрыться и расцвести человеческой личности! У Владимира Ивановича Даля на визитке под фамилией было написано одно слово: «Литератор». Бедный...

В трамвай зашёл контроль. Я уж и не помню, когда в транспорте билеты проверяли. С трудом отыскала свой, скрученный в нервную трубочку.

Контролёры разговорились с кондуктором.

— Нет, если с пятитысячной заходит — смело выгоняйте. Это не средство оплаты трамвая.

— Он же может с этой пятитысячной каждый день ездить? Знает, что сдачи нет. Особенно с утра.

— Конечно! А вот с тысячей — нет. С тысячей мы выгонять права не имеем.

Вот, знайте, добрые люди, чьи карманы с утра набиты пятитысячными. Трамвай не для вас.

Когда моя кошка, далее именуемая как «наглая серая британская морда» ложится мне на грудь, я ничего не имею против (если без когтейства). Тем более она недолго, немножко полежит — да просто, чтобы показать, кто в доме хозяин и кому можно лежать везде. Ничего против не имею, а всё же выдыхаю:

— Тяжело...

Мой остроумный, но не очень культурный приятель на это говорит:

— Если ты будешь столько спать и есть, тебе скоро и воробей будет тяжело. Особенно, если он какнет.

Я зачем-то говорю:

— Какают обычно голуби.

— Ну! Голуби! Голуби — только на Пушкина!

Да, я не Пушкин. Я другой.

Звонок:

— Таня! Читаю тебя в сетях, ты в Хакасии? И я тут по делам. Может, увидимся? Лет двадцать не виделись! Только в «Фейсбуке»!

— Давай, Слава, увидимся, я здесь.

— Ты где ночуешь?

— Гостевой дом «Бурундук».

— А, знаю, я там бывал. Приеду вечером, хорошо?

— Хорошо.

Не верю ни одному слову, ибо помню Славу.

Разъезжаю по экскурсиям, в обед звонок:

— Таня, я к вечеру освобожусь. Где ты ночуешь в «Бобрах»?

— Гостевой дом «Бурундук».

— А, знаю, я там бывал.

И такой деловой голос. Звонок в одиннадцать вечера:

— Таня, ты ещё в «Барсуках»?

— Слава. Гостевой дом «Бурундук»!

— А, знаю, я там бывал!

Да нигде ты не бывал. Так и не приехал. Все пустозвоны этого мира—мои. Но я, конечно, на всякий случай не гасила фонарь над дверью.

Что-то нынче столько беременных. Сбегала до магазина, за десять минут встретила шестерых будущих мамочек. А мужиков беременных ещё больше!

Навидумывают в рекламах разного... «Смыть макияж без эффекта панды». Раньше плохо умоешься—подруга скажет: «Не могла нормально умыться? Выглядишь, как бичовка». А теперь вот накося—надо говорить: «Ты умылась с эффектом панды!» Культура!

— Сухари панировочные есть?

— Вам какие?

— Панировочные.

— С какой добавкой?

— С никакой.

— Нет, ну вот смотрите: с кунжутом, со специями, для курицы, для рыбы. Вам какие?

— Просто сухари. Панировочные. Без ничего больше.

— Ой, ну такого нет...

Редкость, однако. Дефицит. Пойду сама сделаю. В кофемолке...

— Таня, ой, ты сегодня в этой кофточке, она мне так нравится!

Это говорит мне наша замечательная гардеробщица.

— Так нравится, что я точно такую же заказала, мне свяжут, я уже и пряжу купила! Точно такая же

будет, тоже на одной пуговичке, только с воротничком! И подлиннее будет, чтоб попу закрывала. И рукавчики не вот так, а вот так и вот так тут... И зелёная будет, а не коричневая. А так—ну точно такая же!

Вот откуда это во мне? Иду по улице, во дворе стоит парень у машины.

— Девушка, картошка не нужна? Хорошая картошка!

— Ой, спасибочки, у меня есть! Папа привёз!

Он помахал мне рукой в толстой вязаной перчатке, а я шла и думала: «Откуда это во мне? Это сиюсекундное враньё и эта редкая очаровательная улыбка? Откуда, Зигмунд?» Папы уж тринадцать лет нет. И он никогда и никуда не привозил мне картошку.

Умер Фидель Кастро. Для меня он с детства был нарицательным. Когда была маленькая, путала слова «Фидель» и «фитиль». Говорила, сходя в кино: «Перед фильмом „Фидель“ показывали».

Мультфильм «Маугли» гениален. Люблю с детства. Но с детства же почему-то каждый раз думаю: где Маугли в джунглях брал беленькие трусики?..

Мальчик-сосед. Мальчик уже подросток, но его мама этого не замечает. Он выходит из квартиры, мама напутствует на всю лестничную клетку:

— Осторожнее во дворе! Там полно собачьих кашек!

— Собачьи—это не страшно,—бурчит мальчик.

Какой умный ребёнок!

Для меня один из самых лёгких способов довести себя до полубешенства—намазать руки кремом, а потом пытаться открыть лак для ногтей. И ведь это же регулярно происходит!!! Девочки, вы меня понимаете?

Просыпаться и особенно—о ужас!—вставать до полудня для «совушек»... это стресс. И не надо мне говорить про режим и самодисциплину. «Сова»—это «сова», не надо её ломать. Ранний подъём—это стресс в любое время года и в любом часовом поясе. Это КАМАЗ. Он давит меня сорок с лишним лет каждое утро. Каждое утро я вспоминаю «Солярис» Тарковского. И так же, как его героиня, перехожу из одного состояния в другое, обдирая кожу о ломающуюся жёсть обшивки какого-то портала в другой мир...

Но давайте о весёлом. На работу я собираюсь на автопилоте. Как там у Маршака? «Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки». Это ерунда!! Вы приходили на работу с перчатками на голове? Нет? Я научу. Это просто. Приходишь с работы домой, снимаешь пуховик, а перчатки кладёшь в капюшон. Ну и забываешь, не про перчатки же думать... Утром, как я уже и говорила, на автопилоте, почти ничего и не видя, надеваешь пуховик. Накидываешь капюшон. Сонными глазами ищешь вокруг: где перчатки? Нету. Да и ладно. Берёшь варежки. Добираешься до работы—вроде даже и просыпаешься. Раздеваешься. А на башке—перчатки. Самое приятное—над тобой никто не ржёт, потому что вокруг—сплошь интеллигентные люди.

Беседую с дамой. Она рассказывает про какого-то мужчину. О чём ещё рассказывать, не о фасоле же? Почти не слушаю, но делаю заинтересованность. И вдруг выхватываю фразу:

— Он надругался над моими письмами!

Думаю: что это за извращение такое?.. Спрашиваю:

— Это как?

— Ну вот так! Ругал их!

Хм... какой мужчина вежливый—не даму ругал, а только её идиотские письма. Хороший мужчина. Редкий.

Я чертовски талантливая. Талантов у меня много, среди них есть очень редкие. К примеру, я очень талантливо выбираю. В магазинах. Что угодно. Из нескольких экземпляров или даже из кучи мои ручонки безошибочно вытащат надорванное, отбитое, отколотое, неликвидное, некомплектное. Если не посмотрю внимательно (а почти никогда и не смотрю), куплю мятую помидорку, битое яблочко, подгнившую луковичу... Даже подпорченный лимон смогла приобрести. Вот он меня доконал. Ну надо же талант как-то применять. Говорят, зарывать его в землю—это грех. Таки, может, мне на овощную базу пойти? Сортировщиком. Мне кажется, я буду лучшей. Мне каждый месяц будут вручать по почётной грамоте. А каждый квартал—даже по две. Если, конечно, такие базы ещё остались...

Четырнадцатый этаж. Иной раз лифта ждётся дольше, чем такси.

Когда в детстве прочитала «Нахалёнка» Шолохова, впала в долгие раздумья от фразы: «У тебя из ушей воняет дюже». Всё думала: зачем он ему уши

нюхал?.. Хотела у мамы спросить, да постеснялась, настолько это неприличным казалось.

Одно из самых незабываемых ощущений—неожиданно со всей дури наступить босой ногой на штепсель. Вой раздался по округе! А ведь вокруг—не Дартмурские торфяные болота. Простите, соседи.

Кассирша спрашивает у женщины, стоящей передо мной:

— Пенсионное есть?

Стоит июль 2018-го. Спросила бы у меня! Я бы как заорала: «Нет! И долго не будет!!!»

Плюс тридцать в тени. Из холодного крана идёт горячая. В магазине мелкий пацан покупает воду. — А ты чего в перчатках?

— Потому что я влатель!

Боже, они ещё мяч пинать могут в таком пекле...

На калитке дома моей бабушки был почтовый ящик. Со стороны двора. А со стороны улицы просто в калитке была щель, куда почту опускали. Много-много лет в ящике синица выводила птенцов. Все почтальоны знали: там гнездо, газеты не записывать, вручали лично. Мы, детьми будучи, заглядывали в ящик: сначала там яички, потом птенчики пищат.

Синица видела, что мы любопытствуем, но не боялась. И что калитку открывают-закрывают и ящик вместе с ней катается туда-сюда, её не смущало.

Бабушки не стало в сентябре, и следующей весной синица не прилетела. Почему? Гнездо так и было в ящике, одинокое, разлохмаченное. А через год синица вернулась! И вывела птенчиков.

А потом я уехала из города, всё бросив, домик пришёл в запустение. Теперь там другие хозяева, и, конечно, старую калитку они не сохраняют. Рухлядь.

Калитка переехала жить в мою память. Вместе с ящиком, гнездом, синицей и птенцами.

Еду в такси. Подсаживаем пассажира с моего позволения. Мужчина. Только сел—рвётся телефон. Читает сообщение. Растерянно поднимает глаза, оглядывает меня.

— Девушка! Вот у вас же ногти!

— Да. Это странно? Должны быть когти?

— Я не о том. Вот тут мне невеста написала: купи жидкость для снятия лака, мне на три ногтя не хватило! Это что такое? Где это покупать?

— Вам сколько лет?

— Сорок восемь.

Сорок восемь. Полжизни прошло мимо. Он уже никуда не успеет.

— Спросите у мамы.

— О! Точно! Мама-то знает, сейчас позвоню.

Сорок восемь. Нет, не полжизни. Вся жизнь
прошла мимо.

Немного литературного спора с литературным подростком. И я поняла свою бесполезность. При всей любви.

— Ну что, молодой человек, вы не дебил. Но у вас есть все шансы им стать.

— Таня! Вот ты сейчас сказала, будто от старшего поколения младшему обращение...

— А разве не так?

— Точно. Ты же старше!

Ну да... Кошки, общаясь со мной, принимают меня за кошку. Когда я общаюсь с собаками, я очень ясно вижу: они считают меня такой же собакой. Дети думают, что я тоже дитё. Подростки — что я ровесник им. Вот повезло с умом и талантом родиться хамелеоном.

К Деду Морозу я всегда относилась как к доброму театральному персонажу. И больше никак. Никогда не писала ему писем. Мало того, я не помню, чтобы кто-нибудь из моих друзей всерьёз говорил о Деде. Не знаю почему. Мы, дети семидесятых, верили в инопланетян, в Робин Гуда и в Оле Лукойе. А в Деда Мороза — речи никогда о нём не было.

Как-то на занятиях радиокружка мы с подружкой Юлей остались вдвоём в студии — то ли рано пришли, не помню, но надо было чего-то подождать. Нам было по девять лет. Мы достали из портфелей тетради, учебники, сделали домашнюю работу, проверили друг у друга. Но времени ещё было много. От нечего делать мы заглянули в большой пакет, он стоял в углу студии, обычно чистой, как операционная, ничего лишнего, а тут вдруг — пакет. Там были костюмы. Мы их надели и пошли на улицу. Длинная, худющая Снегурочка в жёлто-золотом и маленький Дедушка Мороз в красном. Удивительно, но нас никто не остановил. Ни на проходной узла связи, ни на улице. Вокруг были люди, для которых Дед Мороз — не реальность. Мы немного пошлялись по округе и вернулись. Кажется, нас никто и не заметил. Почему? Да потому что Деда Мороза не существует. Как заметить то, чего нет? А нам, двум девочкам с уже выполненным домашним заданием, было весело. А месяц стоял март.

Было мне что-то около шестнадцати лет, и летом я отдыхала почему-то в Волгограде. Хороший город. Ребята свозили меня на волшебный пляж, где песок — как манка. Белый-белый и чистый-чистый.

Ехали на катере долго. Купались, загорали, ели сливы и груши. Ночевать отправились на чью-то дачу. Там не было электричества, но оно и не требовалось. Все устали и хотели спать. Быстро разлеглись по спальным местам: парни — в одной комнате, девчонки — в другой. Переговаривались, обсуждали минувший день — солнечный, жаркий, яркий. Один из парней, Лёша, пожалел, что так рано стемнело. Здесь, на даче, полно ёжиков, они такие потешные. Тут я некстати подала голос и сказала, что ёжиков сроду не видела. Только на картинках и в мультиках. С Лёши мгновенно слетел сон: как так, гостя ёжиков не видела никогда! Он встал, оделся, взял фонарик и, стукнув дверь, ушёл в душную темень, пахнущую спелыми фруктами. Все тут же забыли про него и уснули.

Я не спала. В тёмной духоте ныл комар.

Под распахнутым окном послышалась возня, и Лёшин голос сказал из темноты:

—Таня! Я тебе ёжика поймал! Такой здоровый!
Иди смотри! Только крапива тут.

— Лёша. Какая крапива? Я уже сплю.

— Да? Ну ладно, я его в ведро посажу, утром по-
смотришь.

Лёша вернулся в дом, рухнул на диван и почти сразу захрапел.

Я не спала. Не спал и ёжик в ведре. Скоро проснулись все. Кроме Лёши. Все интересовались: а что это за адский скрежет доносится с улицы? Ёжик зверел в заточении. Скрежет крепчал.

Один из парней встал, вышел, в сердцах со всей злости пнул ведро. Было слышно, как эта ракета с космонавтом на борту пролетела мимо окон и упала в траву.

Утром Лёша сокрушался:

— Вот надо же, а! Какой здоровый ёжик был! Ведро опрокинул и протащил даже!

Все тихонько посмеивались. Но про ночной пенальти Лёше никто не рассказал. И он время от времени по дороге в город всё вспоминал и восхищённо приговаривал: «Вот ведь! Здоровенный-то какой был! Ведро опрокинул!»

— И откуда ты только всё это знаешь?

— Откуда мне знать, откуда я это знаю? Просто знаю. Хотя лучше бы я этого не знала...

Ночной ресторан—это прекрасно. Особенно когда устаёшь от компании.

— Чё тут, чеснок в салате? Охренели? Мне на работе завтра в восемь утра надо быть! На людей вонять буду? Коньяку налей ещё. Полную. Давай-й-й-йте чок-кне-е-емя.

Я уже. Чокнулась, беру такси.

По улицам идут нарядные дети. Малыш гномьего росточка несёт большой синий воздушный шар. Мама говорит:

— Потому что сегодня праздник, а завтра уже без шара в школу пойдёшь.

— Ой, а завтра я опять, что ли, в школу пойду?

...Бедный ребёнок. Он даже не подозревает, что его ждёт.

Самое пугливое существо—счастье. О нём даже шёпотом нельзя, сразу убегает.

Просто разговоры.

— Ребёнка ждём, пока не знаем, но очень надеемся, что мальчик.

— Дай Бог. Девочка, значит, уже есть?

— Три! У меня три девки. Но мне ж наследник нужен!

— Три дочки??? Обалдеть.

— Ну вот да! Теперь наследник будет!!

...Да, я понимаю. Счастливому собственнику двухкомнатной хрущёвки на улице Карбышева, где уже проживают пять человек, обладателю на ладан дышащего «Опеля» совершенно необходим наследник.

— Через год вот один кредит выплачу...

— Юра, не продолжайте. Я рада за вас и вашего наследника.

Ну, у меня-то вообще ничего такого нет, помолчу. Буду молча завидовать.

Думаю, как часто выгляжу полной дурой в глазах людей, наверное... Вот мама. Положили её в больницу. Для начала—в местную, но на горизонте—краевая. Если положат. У нас семидесятилетних кладут в больницы неохотно, я заметила. Чего лечиться, если ты не народная артистка, к примеру, а простая Людмила Ивановна? Семьдесят лет! Помирать пора, а не лечиться. Как там милый Дорн у Чехова: «Лечиться?? В шестьдесят лет? Выпейте валерьяновых капель!» А тут—семьдесят...

Короче, положили. Приезжаю к ней—домой, не в больницу. Я редко приезжаю. Мама звонит: — Ты у меня? Что делаешь?

— У тебя. Да у меня лишние красивые банки для сыпучих, привезла, мою их сейчас. Потом пересыплю в них твои крупы, что у тебя в мешочках. — Ой! Доча! Ты в мокрые-то не пересыпай! Пусть высохнут сначала! Банки-то...

Вон оно как надо-то! А я прям в мокрые хотела пересыпать. Причём начинать с муки. Гречка-то, допустим, не так красиво в мокрой банке будет смотреться...

Чуть позже уже я звоню:

— Мам. Что у тебя тут в морозилке? Грудка куриная?

— Ага.

— Ну я тебе сейчас бульончик сварю. В четыре приду в больницу.

— Ой, доча! Ты её помой сначала!

— Кого??

— Грудку!

...Вон оно как надо-то!!! А я прям так, замороженную, в кастрюлю хотела бросить!! И прям в целлофановом пакете... Хорошо, хоть отличаю кастрюлю от сковородки...

Мам, мама, мама. Мне скоро пятьдесят лет. Тридцать с лишним я живу от тебя отдельно. А для тебя я так и осталась шестнадцатилетним дитём...

Забегала к подруге: старый Новый год, давно не виделись, всё по телефону, а повстречаться... совсем давно... всё такое.

— Шас Олег из гаража придёт.

Как-то так случилось, что в моей жизни гаража не было. И для меня фраза «муж придёт из гаража» очень шаблонна. Ну чего там—муж приходит из гаража «в спецовочке такой промасленной»...

Олег пришёл из гаража в немыслимо белой дублёнке, шагнул в гостиную, дыша морозом, вручил мне ананас, сказал:

— Танюш, как я люблю, когда ты к нам заходишь!

А то ж. Я у вас семь лет назад была.

Тоже люблю таких гостей.

Проблем-то—ребёнка спать уложить. Никаких.

— Всё, спи.

— Тётя Тань, а ты мне расскажешь что-нибудь?

— Про что?

— Ну, только не про Старого Кирея.

— А кто это??

— Ну Старый Кирей! У которого волосы из глаз растут!

— Всё!! Ни слова больше! Спать!

И он спит.

А мне-то что теперь делать?? Старый Кирей! Волосы растут из глаз!! Мама дорогая, страсти какие. Пошла за валерьянкой.

Я не особенно хорошо умею завязывать шнурки. Завязываю, конечно, но медленно. И не люблю это дело. А мама в детстве не научила, ей всё было некогда ждать, пока я там копаюсь, поэтому быстро завязывала мне сама, и мы куда-то неслись. Мама была молода. Молодые, как правило, вечно куда-то спешат. По крайней мере, подавляющее их большинство. Я считаю, что это нормально и правильно. Сегодня, когда я вижу молодого человека степенного и неторопливого, думаю: «Что-то

с ним не так...» Но речь о шнурках. Прекрасный их заменитель, специально для пахоруких,—крючки и липучки. Такую обувь я и стараюсь приобретать. Но совсем исключить шнурки из жизни всё же не получается. И вот когда я утром надеваю ботинки (разумеется, уже опаздывая), из комнаты выходит наглая серая британская морда, садится возле меня и смотрит, как я шнуруюсь. Спокойно так смотрит. И когда видит, что дело идёт к завершению, встаёт и с достоинством идёт в туалет. Э-э-эх! Я расшнуровываюсь и иду следом мыть за ней лоток. Потом, само собой, опять зашнуровываюсь. Но серая морда уже не смотрит, она удаляется на балкон, у неё там дела. Наблюдать за стройкой, например. И так каждое утро. Скажите, у меня могут быть крепкие нервы? И могу ли я любить шнурки?

Я коротко. Талант—это абсолют. Это то, чем наградил Господь. Этому нельзя научиться. Сидит человек в кресле, активный такой: бумаги, книги, сайты. Кипучая деятельность. А потом: «Тань, я спать». И через пять минут—не вру!—спит. И очень качественно. Вот это—талант. А не то, что мните вы...

Как-то у меня украли телефон. Но милиция его нашла и вернула. Разумеется, всю мою информацию воришка из телефона удалил. Зато теперь в контактах у меня есть Голодайка, Нарк, Настя, Саба, Хулиган, Межголактический чорт и Чмо. Даже не знаю, кому первому позвонить.

Моя знакомая давно подозревала мужа в неверности. И вот нашла в диване дамские золотые часики. Не знаю, как бы я поступила. Совсем не знаю. А Светка надела их и носит. Муж видит и молчит. И Светка молчит. Отношениям-то, похоже, конец. И Светка, похоже, останется без мужа и при часах. Решение, конечно, очень оригинальное. Я бы не додумалась до такого точно.

Тётушки беседуют у магазина.

—Какая у вас собачка жирненькая! Или она беременная?

—Это мальчик.

—Мальчик? Прекрасное имя! У Раневской так же собаку звали. Так она беременная?

У кого-то из соседей с нижних этажей есть чёрная собака. Обычная смешная дворняга. Каждый раз, когда я выхожу из дома, она обязательно гуляет. И обязательно бежит ко мне, чтобы меня обгавкать. Она лает на меня самозабвенно, отчаянно-звонко, она частит так, что ни одна базарная торговка

не сравнится с ней в технике произношения слов в секунду.

Я обязательно останавливаюсь и обязательно говорю:

—Ну что ты опять разоралась?

После этой ежедневной фразы с ней случается натуральная истерика. Она берёт на две октавы выше. И заливается художественным лаем. При этом в глазах нет никакой злости. Она просто балдеет от своего голоса. Как Тамрико Михайловна Гвердцители.

Я иду дальше, потому что мы уже поговорили. Я всё сказала, а её не переслушаешь.

Я выхожу из магазина через три минуты. Собака на месте. Но теперь она на меня не то что не лает—она меня в упор не видит.

Потому что я—отработанный материал.

«В Красноярске минус ноль градусов!»—твёрдо сказала мне радио.

—Господи, когда же тепло-то придёт?—проворчала я, выходя из машины.

И надела капюшон.

Собрались компанией. Один парень—некурящий балагур, весельчак, лет так под пятьдесят, много говорил, шутил, и в речи всё проскакивало: «А вот мы с женой... А вот жена моя говорит... А вот жена моя...»

Мужики пошли курить, я замешкалась в прихожей—сигареты в сумочке искала. Слышу:

—Вить, а этого Юру ты привёл? Он что, недавно женился?

—Да ну, я у них на серебряной свадьбе был год назад.

—А чего он всё про жену талдычит?

—Ну любит просто!

Мужики затихли.

На некоторых дамах шляпки смотрятся как нелепый багажник на машинах...

С тихим восторгом прочитала на сайте одной школы, что у них существует кружок рисования «Мазочек». Поделилась со знакомой учительницей, она говорит:

—Подумаешь! Мне однажды в одной из школ встретилось в расписании внеурочки: «Пес.дел». Я прочитала вслух, засмушалась. Озадачилась, переспросила. Оказалось, это «песочное дело»—когда на стекле из песка картины делают.

В магазине: хлеб, сыр, молоко.

Кассирша:

— Пакет нужен?

— Нет, спасибо, у меня есть маленькая дамская сумочка.

Кассирша, не глядя:

— Ведёрная?

Дамы понимают друг друга. Дамы знают, как выглядит настоящая дамская сумочка.

Никогда не говорите ребёнку: «Ты не поймёшь». Он побольше вашего понимает. Взрослые, шутите с детьми! Это им необходимо. У детей прекрасное чувство юмора. Учителя, обязательно находите на уроках место шутке. С нами, школьниками, не шутили. И мы выросли унылым поколением.

Была у меня знакомая учительница. Физику вроде вела, не помню. Она первого сентября большое внимание уделяла букетам. Чётко следила, кто какой ей дарит. Не знаю зачем. Может быть, от этого потом зависела успеваемость ребёнка по физике в течение учебного года... Утверждать не берусь. Просто помню вот это: «Так, Семёнова, богатый букет, молодец... А Смирнов, представьте, три астры! А Фиськов, мало крови нам выпил, вообще ничего не принёс!! Кровапийца, хоть бы топиамбур с грядки сорвал! Пришёл в школу! И хоть бы топиамбур!!»

Так что, родители, кто на цветах решил сэкономить, про топиамбур-то помните!

Едем с подругой в машине. Я задумалась, трасса, вечер, зелень, красота... И вдруг она меня спрашивает:

— Танька, ты о чём думаешь? О будущем или о прошлом?

И я понимаю: неужели я перестала мечтать?? Я думаю о прошлом. Того прошлого-то и было ни о чём, зачем же я о нём думаю?... Я не уверена в будущем и никаких планов, видимо, не строю.

«Я нарастаю памятью, как лесом нарастает пушость...»

В детстве, до школы, я чаще жила у бабушки, чем с мамой и папой. Родители жили в городе, а бабушка с дедом — в пригороде, в собственном доме. Рядом. Может, поэтому я не помню, чтобы как-то особенно скучала.

Я помню: зима, ранняя темень. На улице — бур. А в доме светло и тепло. Бабушка на кухне,

дед у печки подшивает валенки. Не помню, чтобы когда-нибудь эти люди просто так сидели, чтобы руки не были заняты. Даже если у телевизора (фигурное катание! Роднина-Зайцев!), всё равно одновременно — или вязание, или перебирание каких-то семян, ещё что-нибудь. Поражаюсь сегодня бабушкам, часами — часами! — сидящим на лавках...

Потрескивает печка, я прибираюсь в собственной тумбочке (дед сам сделал), кубики там ровно складываю, пытаюсь впихнуть пластмассовую розовую собаку в образовавшуюся пустоту в углу между кубиками и стенкой тумбочки. Она не входит. Только боком. А боком — некрасиво... Иногда смотрю в окно. В окне темно, бешено носится снег под фонарём. И вдруг в пустом заснеженном переулке — резкий свет фар, снег бросает фонарь и носится уже перед фарами. И машина останавливается у калитки. Хлопанье дверей, ещё дверей, ещё, и — на пороге в морозном облаке — мама! — Только на минутку, служебная машина, по пути, послезавтра ждали, да раздевайся же, чай, по пути, минутка...

Тёмный переулок, снег бесится под фонарём, а у меня коробка новеньких цветных карандашей и несколько новых же ярких книжек. Холодные... Одна из книг — «Бородино».

А летом. Летом просыпаешься, потому что в глаза попало солнце. Сон отлетает, постепенно входят в тебя утренние тихонькие звуки. Что-то шкворчит за побеленной стеной в кухне на плите, позвякивает ложечка в стакане, приглушённое радио поёт: «Мой адрес — не дом и не улица». Выбираешься из кровати и шлёпаешь к людям, которые ждут твоего пробуждения. А дедушка уже налил в умывальник (называли «рукомойник») тёплой воды и улыбается:

— Как в благоустроенной! Иди умывайся!

А потом — за порог, босыми ногами на чистые, уже нагретые солнцем гладкие доски крыльца. Небо синее-синее, листва зелёная-зелёная, всё яркое-яркое, жмуришься, улыбается тебе от своей будки собака Пушок. А впереди — долгая-долгая, непременно счастливая и необыкновенная жизнь... И это — без вариантов.

Знаменитых людей в интервью часто спрашивают: «А что бы вы изменили, если б ещё одна жизнь?» И практически все отвечают с пламенными очами: «Ничего! Я бы прожил точно так же!» Что за дураки, думаю... проживать ещё одну такую же — пусть и самую распрекрасную — жизнь, когда есть такая возможность... Я бы изменила *всё-всё-всё!*

Андрей Чернов

Маяки идентичности

О культурной идентичности народа Донбасса в шторме информационной войны

События 2014 года поставили перед жителями Донбасса самый сложный вопрос — выбора культурной идентичности. Нельзя, безусловно, утверждать, что он не стоял перед ними ранее. Вопрос определения своей идентичности был, но он не был актуализирован — до степени выбора между жизнью и смертью.

Война — в том числе и информационная — заставила жителей Донбасса определяться не только в том, на чьей ты стороне. Нужно было определить важнейшие мотивы своего выбора — осознать ценность определённых культурных смыслов.

При этом важно понять, что идентичность — это не статическая, совершенно неподвижная данность, вроде закона всемирного тяготения. Как и любое проявление общественного, идентификация в обществе — это динамический процесс соотношения субъекта с другими субъектами в обществе на основе общественно значимых ориентиров, ценностей, черт, признаков.

Каждый человек должен был соотнести себя с другими людьми, соотнести их ценности со своими ценностями, определить, насколько ценности и ориентиры его лично и близкого ему общества совпадают или не совпадают с ценностями и ориентирами других групп людей.

Идентичность — не только понимание себя и «своих», но и чёткое отделение «своих» от «чужих». В условиях информационной войны, которая, как известно, не столько сопровождает «горячую» войну, сколько предваряет её и сопутствует ей до определённого логического финала, принятие идентичности осложняется настоящим информационным штормом, развёрнутым противником с целью морально-психологической дезориентации личности.

Осмысление «идентичности» занимает центральное место в исследованиях Эрика Хомбургера Эриксона — человека, для которого осознание собственной идентичности было одним из приоритетов в жизни. На основе многолетних исследований Эриксон пришёл к убедительному выводу, что идентичность человека определяется его отношениями с общественной средой. При этом общество с многообразием общественных отношений, накопленным колоссальным опытом

вводит отдельную личность в определённый социальный круг. В этом круге личность теряет часть своей индивидуальности, приобретая черты, общие с другими членами. Однако при этом уникальное своеобразие отдельной личности может сохраняться и обогащаться в общественном опыте.

Историческим сообществам свойственны устойчивые ценности, смыслы, осознанные как важные элементы общественного опыта. Такие смыслы сохраняются и передаются от поколения к поколению и формируют общественные идеалы, с которыми люди сопоставляют собственные действия. Но для этого общество должно обладать многоуровневыми коммуникативными системами с прямой и обратной связью — от передачи опыта и ценностей детям родителями до формирования общественного идеала всеми его членами. Иначе, согласно Эриксону, изменения приводят к такой переоценке ценностей, которая завершается «кризисом идентичности».

При этом нужно понимать, что государство как одна из сильнейших форм общества не всегда способно подстраивать всех членов общества. Это наглядно продемонстрировала судьба самого Эриксона, когда в 1950 году он стал жертвой разбушевавшегося в США маккартизма. Его заподозрили в симпатиях к коммунистам и потребовали письменного заверения в лояльности правящему режиму в США. Эриксон предпочёл потерять работу в престижном университете в Беркли. Государственная машина только кажется всемогущей, особенно если пытается навязать любые выхолощенные ценности под видом общественных.

Это важно помнить сейчас, когда народ Донбасса разделён, когда значительные территории республик Донбасса находятся под оккупацией украинских карательных войск. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР подвергаются колоссальной информационной агрессии, главная цель которой — разрушение их культурной идентичности.

Что же собой представляет культурная идентичность?

Культурная идентичность представляет собой осмысленное принятие личностью определённых

ценностных смыслов, связанных с ходом истории народа, развитием его культуры. Эти смыслы обладают определённой органичной целостностью, единством, но для каждого человека они складываются воедино только тогда, когда становятся стимулом для действий. Только в этом случае они приобретают черты сакральности, святости и придают мировоззрению устойчивость перед внешним миром, особенно в условиях информационной агрессии. В свою очередь, любая форма агрессии против культурной идентичности призвана разрушить её целостность, развеять представления личности о сакральности важнейших для неё смыслов.

Культурная идентичность определяет отношение личности к исторически сформировавшемуся своеобразие культуры и теснейшим образом связана с языком общения, религией, этнической принадлежностью.

Культурно-историческое своеобразие Донбасса складывалось в процессе разрешения целого комплекса исторических противоречий.

В его становлении можно выделить несколько периодов.

Первичный — период освоения Подонцовья и Донецкой возвышенности — начался в семнадцатом веке и длился до конца восемнадцатого века, когда в Донбассе начинают закладываться первые шахты и строиться металлургические предприятия.

Во второй период оформляется его промышленный облик, происходит концентрация промышленных предприятий, формируется крайне пёстрое в национальном и социальном планах население.

Третий период в истории Донбасса начался с 1920-х годов, когда происходит восстановление промышленных предприятий после продолжительной Гражданской войны. Он сопровождается значительным притоком населения из самых разных регионов СССР.

Четвёртый значительный период связан с упадком промышленного производства после краха СССР в 1991 году и искусственным «переформатированием» его культуры по не свойственному ему, исторически отжившему «национальному» образцу.

Этот процесс разрушения идентичности Донбасса вошёл в полное противоречие с выработанными к началу двадцать первого века самобытными чертами: русскоцентризм и русскоязычие как исторический код его народов, преимущественное господство православия, сознание принадлежности к мировому центру культуры — Русскому миру, формирование отчётливого регионального самосознания в условиях искусственной украинизации, сакральный смысл таких исторических событий, как Великая Отечественная война.

Культурная идентичность Донбасса достигла полной оформленности в двадцатом веке и связана прежде всего с мощным экономическим преобразованием региона в период индустриализации. Эти процессы происходили под мощным влиянием коммунистических идеалов во времена СССР. Поэтому культурная идентичность в Донбассе несёт в себе идею социальной справедливости и устремлённости в будущее, основанной на развитии лучших черт и традиций.

Даже сегодня это проявляется в позитивном восприятии большей части истории СССР и «информационном неприятии» тех фактов из истории Советского Союза, которые получили неоднозначную или негативную трактовку. В общественном сознании народа Донбасса очерчиваются прежде всего позитивные стержни культурной идентичности советского периода: коллективизм, стахановское движение, трудовой порыв. К ним присоединяются олицетворённые образы героев труда — своеобразные идеалы человека как такового.

К пластам советской идентичности теснейшим образом примыкают общественные представления, связанные с сакрализированным (священным) восприятием Великой Отечественной войны. Героическая борьба наших предков с захватчиками из многих европейских стран дала подпитку как для целостных смысловых образов — свобода, мужество, любовь к Родине, самопожертвование во имя высоких целей, смерть за други своя, так и для олицетворённых образов героев войны. При этом перечень не ограничивается только «официальным транспарантом» (чьи имена использовала государственная машина патриотической пропаганды), но включает в себя имена многих людей практически из каждой семьи жителей Донбасса, кто с оружием в руках боролся с оккупантами или помогал с ними бороться в тылу.

Ещё до разрушения СССР западные страны вели мощную информационно-психологическую кампанию, направленную против советской идентичности. После 1991 года эта кампания на Украине приобрела черты антирусской, русофобской. При этом в Донбассе информационный агрессор находился надёжный, хотя и не абсолютный отпор.

Под информационные удары в Донбассе попали все основные элементы культурной идентичности: советское прошлое, русский язык, православие. Да и сама Великая Отечественная превратилась в эпизод «немецко-советской войны». Стройки социализма противопоставлялись тройкам НКВД, а плану ГОЭЛРО — миф американской пропаганды «голодомор». Украинская пропаганда протискивала в информационное пространство и такую химеру: знаменитое подполье «Молодая гвардия» являлось якобы подразделением ОУН-УПА. Распространение этой отъявленной лжи

делалось не для привлечения простачков, которые бы поверили в это, а для разрушения культурного кода народа.

С 1991 года в судьбе Донбасса произошли существенные изменения, которые не могли не затронуть культурную идентичность. Происходило восстановление православия, других традиционных религий. Но ему сопутствовало распространение американских религиозных сект (баптисты, адвентисты и др.), сектантство разрушало общественное сплочение на почве общей веры.

Происходило и возрождение традиций донского казачества, главным центром которого в Донбассе являлась древняя донская Станица Луганская. Но казачье движение во многом было стихийным, что тоже создавало проблемы в наполнении идентичности новыми чертами.

Украинское государство развернуло последовательное наступление на русский язык. Особенно мощным оно стало при Викторе Ющенко. Однако Донбасс сохранил важнейший маяк собственной культурной идентичности — русский язык.

Столкнувшись со стойкостью донбасской культурной идентичности, украинские информационные манипуляторы вынуждены были прибегнуть для её разрушения к информационно-психологическим операциям, призванным объяснить западному заказчику и внутреннему потребителю идеологического фальсификата неудачи.

Первая: коренное население Донбасса вымерло во время голодомора, потом сюда были завезены «пришлые» из различных регионов СССР. Конечно же, эта ложь легко разбивалась историческими документами. К тому же она объясняла только привязанность жителей Донбасса к русскому языку.

Поэтому следующей репликой дезинформаторов стал новый миф: Донбасс является социальным гетто, в котором было сконцентрировано

криминализованное население, лишённое морали и духовности, живущее «по понятиям». Например, подобный концентрат штампов содержит статья «Идентичность Донбасса: есть ли она?», размещённая в 2015 году в одном из рупоров западной пропаганды «Украинской правде» якобы от лица жителя Макеевки.

Ту же цель — расчеловечивание народа Донбасса — преследуют уже не сотни, а тысячи публикаций в сми Украины и западных стран. Последовательно вбиваются в головы тезисы: дети в Донбассе рождаются наркоманами и алкоголиками, а говорить начинают не на русском, а на «матерном» языке.

При условии сохранения нынешнего киевского режима у власти мы должны признать, что информационная война против народа Донбасса будет только усиливаться. И противостоять ей — одна из важнейших задач информационного пространства независимых республик Донбасса. Для успешного противостояния в условиях шторма информационной войны необходимо принять ряд мер. Одна из них — выработка информационной доктрины в лнр и днр, которая основывалась бы на основных «маяках» культурной идентичности народа Донбасса.

При этом нужно помнить, что культурная идентичность народа Донбасса — не статичное явление. Любые изменения в обществе могут отразиться на культурной идентичности молодых республик. Важно помнить, что в бушующем море информационной войны нужно не потерять наши коды и маяки. Их нужно не только не потерять, но и сохранить, уберечь от информационного агрессора, оградить от искусственного столкновения якобы антагонистических советских культурно-исторических ценностей с более традиционными ценностями России.

Луганск

Елена Настоящая
Говорит Ворошиловград

Елена Настоящая

Говорит Ворошиловград

Баллада о летнем городе

*Кто-то плачет, а кто-то молчит,
А кто-то так рад, кто-то так рад...*

В. Цой

1.

Линия горизонта—это
было моим летом.
Присутствие света в отсутствии света.
Золото. Синее небо. Дым.
Взрывы и раны на теле города.
Мы—не сдаёмся!
Мы—сильные, смелые, гордые!
Мы это уже доказали,
спрятавшись в тёмном подвале.
А город чуть не умер
со всеми своими Лениными,
едва не сбежавшими с пьедесталов.
Даже Ворошилова это всё достало.
Он тоже хочет слезть с коня и стать на
колени
или уехать в Киев,
лишь бы это всё прекратилось.
Но не судьба.
Да.
Линия горизонта—тонкая,
будто вот-вот оборвётся,
взорвётся
новыми вспышками звёзд-камикадзе,
а они только рады стараться—
не разорваться
и залечь привычным свинцом.
Их особенно хорошо было видно днём,
когда все выходили посмотреть на смерть
и сказать:
«Вот так и живём,
тушёнку да гречку жуём».
Линия горизонта—чёткая,
будто всех нас перечёркивает,
делит всё на синеву неба,
синеву глаз, смотрящих в прицел,
синеву тех, кто попался в цель,
и смотрит обратно в небо
широко раскрытыми глазами
и оглушительно молчит...

2.

Говорит Москва.
Передаёт Луганску привет.
Сколько мы вместе натворили бед...
Приличные люди давно об этом молчат вслух.
А неприличные где-то в лондонах (тоже давно)
испустили дух.

Говорит украинская армия.
Передаёт Луганску привет.
Тот, что побольше, посердечнее, погорячее.
Говорит: «Потерпите, милые,
мы постаремся как можно скорее
освободить Донбасс от сепаратистов.
И реверсом вернуть Крым.
И реверсом отжать газ».
Ну чего уж там, терпи, брат, терпи,
пока нас освободят от нас.

Говорит Обама—
что-то о том, как мама мыла раму;
впрочем, он всегда несёт довольно ясный бред.
Но Луганску, вместе с Псаки,
Барак тоже передаёт привет.

Говорит Ворошиловград—
всей истерзанной лентой дорог,
всей укатанной лентой дорог
с гусеничными следами.
Он не знает, что будет с нами.
Он от этого очень устал.
Но помехи мешают понять.
И теряется голос в свисте.
И латаются раны быстро...
И латаются раны наспех.
И срывается голос на крик.
Нет, ошиблась, Луганск не кричит.
За него отвечает «Град».
Говорит Ворошиловград.

Сергей Прасолов

В ЗОЛОТИСТОМ СИЯНИИ

Этот вопрос, конечно, исключительно философский. Бабушкиными руками чуть свет тебя будят сразу все тридцать три несчастья, или одно несчастье нанизывает на свою ниточку ещё тридцать два, чтобы напрочь изгадить тебе целый день? Но как бы ревнители мудрости ни истолковывали мир, дело состоит в том, что судьба или гнусный ком случайностей выбирают жертву именно тогда, когда сон её особенно сладок.

Позавчера я проводил маму домой клятвами — помогать бабушке Мане. Но, во-первых, чем не поклянёшься ради долгожданной недели в Новосветловке, а во-вторых, о подъёме в полпятого утра в соглашении сторон не было ни слова. А ведь если ты норовишь досмотреть сон среди улицы с дырявым ведёрком руке — это всегда не к добру. Особенно летом, особенно в Новосветловке, где каждый день — отдельная счастливая жизнь. И их осталось — как пальцев на руке.

Запивая раннюю корку домашнего кислого хлеба молоком, я чувствовал: день пропал.

И сокрушался, что вчера вечером сам развязал клубок несчастий. Мы с бабушкой, сидя на лавочке, рассуждали о советских победах в космосе и её отсталом рае. И тут она:

— Пиду, бо зранку трэба йты по кызякы. Та и ты, космонавт, обмыйся й лягай. Тэпла вода на груби.

Конским навозом сломать игру воображения, пленённого невероятным будущим человечества? Недопустимо. Невозможно. Я был ошеломлён и ринулся его спасать:

— Бабушка, я соберу, соберу кизяки, только давай посидим ещё!

И вот она, безжалостная расплата за благородство! Со старым ведёрком в руке я в раннюю рань собираю по улице сельский цемент — конские катыши.

Каждый год летом все прорехи в домах заделывались смесью из глины, соломы и кизяков. Совхозная конюшня скудела под натиском техники, конский помёт становился дефицитом. Поэтому его собирали после первого трудового скрипа телег, по живому следу, свеженьким.

Я везуче притащил домой с полведёрка и теперь рассеянно слонялся по двору. Пацаны ещё спали, шнырнуть было некуда. На речку одному — нельзя. Тоже честно обещал маме — без ребят

не ходить. Лениво погулил с голубями. Сунулся в мастерскую дяди Андрея. Ничто не мешало любоваться диковинными инструментами, которыми его руки превращали мёртвое дерево в прочные табуреты, резные тумбочки для всего села. Инструменты расположились по стенам, как птицы, — у каждого своё гнездо. Провёл рубанком по доске, лежавшей на верстаке, ковырнул её стамеской с овальной кромкой. Настроения не прибавилось.

Я уже не пенял злосчастной судьбе. Представив, как бабушка Маня, сторбленная, с больными ногами, с неизменной одышкой, тяжело передвигается по улице, готов был прямо сейчас бежать хоть на конюшню в другой конец села. Но всё равно день начинался как-то не так, и его нужно было вернуть в привычное течение. Разве вот покорчить рожи петуху?

Старый петух с индейским опереньем царствовал над половиной двора. Он демонстрировал готовность атаковать всякого, кто приближался к его гарему. Даже в бабушке, кормившей кур, он, кажется, подозревал коварного властолюбивого заговорщика. Она и в самом деле ещё год назад грозила отправить его на плаху, но, напыщенный и злобный, он продолжал единовластно править куриным народом. Наши поединки обычно заканчивались бескровно. Царь нарезал косые, обозначая запретные для чужака владенья, а я дразнил его, то наступая, то отступая с презрительными ужимками.

И тут случилось непредвиденное. Не успел я нарушить границу его владений и занять позицию, как петух без церемониальных угроз яростно наскочил на меня. Всполошённые куры пыхнули по сторонам, оглашая двор воплями. А мирный полуслепой Туз, по старости уже почти потерявший и голос, подло рывкнул за спиной. Растирая оцарапанную руку, я позорно драпанул с поля битвы за тын, в сад.

Постыдное и сокрушительное поражение свалилось так внезапно, что мне даже не пришла в голову мысль о возмездии. Может быть, я не вполне был уверен, что новая вооружённая вылазка закончится удачнее предыдущей, а может быть, сад, наливающийся спелостью, показался мне куда занимательнее победоносной битвы.

Вдруг так захотелось вкусить сладчайшей, медовой гливы! В саду у дяди Андрея, бабушкиного сына, построившего дом по соседству, были ещё те диговинки. Одна яблоня-дичка, развесившая ветки с мичуринскими грушами, чего стоила. Как же я завидовал осенним поедателям этих плодов! Спелыми есть их мне не доводилось, а посмаковать зелёные двоюродная сестра Валька не позволяла. Только прицелишься глазом—она тут как тут. Ехидненько лыбится, а на лбу написано: «Запрещено!»

Упавшие сочные гливы собирать позволялось. Если успеешь за конкурентами. А за теми, что сиренево усыпали ветки, Валька следила строго. Может, и в тетрадку записывала, сколько их. Но как устоять против соблазнов раннего утра, когда тебя никто не видит и ты только что испытал позор поражения? Оно соблазняло: давай, спеши сделать то, что позже уже сделать будет нельзя. Ага! Едва я собрался хорошенько обтереть о штаны этот мёд в кожуре, как меня пригвоздил Валькин голос: —И не стыдно? А-а-а, вор. А я-то думаю, кто это гливы тягает, пока все спят!

Я оправдывался: ранними утрами и я сплю, а это бабушка подняла меня за кизяками. Валька оставалась непреклонной: я вор. Да, самые спелые гливы, запланированные нами в скорое лакомство, действительно загадочно исчезали. Подозревался Сашка, Валькин старший брат. Он возвращался домой позже всех, и только у него был фонарик, квадратный, с батареей и лампочкой. Но сейчас, пойманный на месте преступления, суровую тяжесть расплаты за все преступления нёс я.

И пытался с этого поля боя, виновато опустив голову. Мучительный стыд жёг щёки, а сердце пылало праведным гневом на неправды жизни. Уже никто и ничто не восстановит мою неосторожно потерянную честь. Вор! Вор! Вор!

В поисках отчаянного забвения я попёрся в кукурузу, чтобы навсегда пропасть в её диких и печальных зарослях. Кукурузный лес начинался сразу за садом и тянулся до самой дамбы, земляной насыпи, спасавшей огорода от весенних половодий разгулявшегося Луганчика.

Брёл, натываясь босыми ногами на грубые камни и расталкивая плечами двухметровые стволы. И только у бахи, тут и там пестревшей крупноголовыми маками, уселся на тыкву. Это было моё любимое место—мир, со всех сторон ограждённый чащей от чуждого вторжения. Усевшись на тыкву, я принялся рассеянно бросать огородные комья скипевшейся земли, разбивая их о такие же комья, пока увлекательное занятие не затянуло меня в размышления о горестной судьбе всех нас, кукурузных изгнанников, преследуемых роковыми обстоятельствами. Они утешили уязвлённое сердце, и я поймал себя на мысли, что продолжаю наш с бабушкой космический спор.

Может, и несвоевременно рассказывать о нём и о том чудесном сне, прерванном кизяками, только ж разве есть у нас другое время?

Бабушка по неграмотности ставила вместо подписи крестик. Когда-то была совхозной ударницей, зарабатывая трудодни и копеечный стаж, родила шестерых детей. Деда Сашу я не знал, он умер до моего рождения, и только большой жёлтый фотопортрет на стене свидетельствовал о его завершённом бытии.

С бабушкой мы никогда не ссорились—она вообще не умела сердиться. Она жила в каком-то внутреннем умиротворении, частью которого являлся мир внешний. И всё же по некоторым вопросам мироустройства мы кардинально расходились во взглядах. Настолько, что тётя Галя, её старшая дочь, заставая нас за вечерними разговорами с заботливо принесённым кувшином молока, удивлённо восклицала: «Ты дывы, шо старэ, шо малэ!»

Космическая эра уже бороздила околоземные пространства и души будущих космонавтов, грезивших о межпланетных полётах. В мире уже не оставалось места для бабушкиного бога и её представлений о рае. Вот я и пытался развеять её иллюзии, опираясь на неопровержимые факты и твёрдые школьные знания.

— Наши космонавты скоро полетят на Луну,—говорил я, убеждённый в непреложности данного факта.

— А шо им там потрибно? Ходыты догоры ногамы? Воны ж попадають,—непросвещённо сомневалась бабушка.

Я вносил терминологическое уточнение:

— Земля—это вот не только земля, по которой мы ходим. Земля—это планета, на которой мы живём. Она круглая, огромный такой шар. Мы же не падаем в космос. Потому что есть сила такая, она нас на Земле держит. И на Луне тоже.

— Шо то за сыла? Робыть на зэмлі трэба. И то така сыла! Прытыгуе зэмля, аж спына гнэться. Покры зовсим нэ засыплють зэмлю.

Я был снисходителен, объясняя, что Луна находится в космосе. Она такая же, как Земля, только поменьше. Потому как спутник Земли. Там нет людей и кислорода. Но люди должны освоить её, потому что будет коммунизм, когда всё человечество сосредоточится на межзвёздных путешествиях. Меня одновременно возмущала бабушкина отсталость от повсеместного прогресса, мучила жалость к ней: она своими глазами не увидит наступающего торжества человеческого разума,—и тревожила горечь: нам никогда не понять друг друга.

Вчера я попросил её рассказать о рае. Это, пожалуй, единственное, что притягивало юного школьника в бабушкином мироустройстве. Мы же живём для чего-то? Не может же наша жизнь

заканчиваться простым исчезновением? Как же мириться с бессмысленной неотвратимостью смерти? Наверное же, есть где-то место для рая? Вопросы обволакивали щемящей тоской.

— Бабушка, а когда люди умирают, от них совсем-совсем ничего не остаётся?

— Та душа, кажут, нэ вмирае. Живэ у раю. Хто нэ бачыв воли на зэмлі, той, кажут, там волю мае.

— А какой он, рай?

— Всэ такэ ж, як на зэмлі людзіна бачить. Тількі всэ элэнэ, всэ свитытыся, у кожны рослыні начэ сонэчко живэ, свитло божэ. Колы людзі пэрэходяць мэжу, відкрываецца тэ свитло і наповное кожную душу, шо прыйшла у рай. Вона у тили вже нэ ховаецца, як зараз, душа—то і ё божэ свитло, і зэмля ту душу нэ прыцягуе. Хто і шо воно—всэ выдно.

— А что же они делают?

— Кожный живэ по воли, а воля у кожного—божа, правэдна.

— И работают?

— Бэз роботы тэж нэ можна. Тількі досхочу.

— Как это досхочу?

— Покры хочэш, покы й робыш.

— А если не работать?

— А навищо? Колы вси у полэ выйшли, роблять, писни спивають—чи дома сыдаты? Туды ж нэ бэруць паганых, хто на зэмлі був падлюкою. А хто нэ встыг на зэмлі зробіты добрэ дило, там зробіты. — И мальчишки с девочками там учатся, не дразнятся, не ссорятся?

— Можэ, й бувае грех, та нэ быюцца, бо кожэн свое щастя мае сэрэд усих.

— Так что, люди там и космические корабли строят?

— Можэ, й так, та тількі людська душа сама тягнэцца до бэзмэжного свитла божого. Тым и живэ.

— А бог—он что, управляет всеми?

— Та ни, вин дае волю, и йому вична радись—дывытыся, як людзі у щасті живут...

Видимо, что-то живо задел в душе советского школьника простодушный бабушкин рай. В момент кизяковой побудки я очарованно вглядывался в лица смеющихся людей, освещённых золотистым сиянием мира. Оно исходило из каждого стебелька изумрудного поля, из воды, из неба, играя лёгкой светотенью.

— Серёжка, а ты чего тут сидишь? Ходимо удвир,—бабушкин голос вернул меня в огород.

Она грузно, устало возвращалась с его дальнего угла. Я взял её оклунок с картошкой и молча поплёлся рядом. Солнце уже дышало стойким жаром.

Во дворе капризничала кривляка и задавака Наташка, моя двоюродная сестра. Она на целый месяц приехала с Дальнего Востока, где служил дядя Коля, младший сын бабушки. Вчера Наташка весь день ныла из-за больного зуба, и за время моего кукурузного отшельничества его удалили в районной больнице. Наташка решительно

подошла ко мне, молча толкнула и продемонстрировала своё утраченное сокровище, завернутое в носовой платок.

С задавакой наши отношения постоянно искрили. Может быть, потому, что она каждый день являлась в новом платье. Их у неё было, может быть, штук сто, а то и все двести. Это возмущало меня до глубины души. Нормальные дети в селе бегают в трусах или, в крайнем случае, в сатиновых штанах, сшитых специально на лето. Закати до колен и носись на здоровье. Босиком. А она—везде в платье и сандалиях. Ей, конечно, завидовали все девчонки, а вот мальчишки—те спуску не давали.

А может быть, мы вздорили из-за того, что я невольно был в неё влюблён. Красивая она, зараза! Платья не делали её куклой, а, наоборот, подчёркивали пацанский характер.

Наташка налетала на меня всякий раз, когда я называл бабушку Маней.

— Какая она тебе Маня? Она Марина! А ты дурак, дурак, дурак!

У принцессы в новых платьях и сандалиях не могло быть бабушки Мани—только Марина. А у меня—никакой Марины. Откуда эта выдра с Дальнего Востока может знать, как на самом деле зовут мою бабушку? Ей бы только покривляться. А я точно знал, что мягкую, страдающую от болей в ногах и спине, с тяжёлой одышкой, бабушку зовут Маня.

Я стойко держался своего, и когда она нападала на меня с кулачками, уворачивался и твердил:

— Бабушка—Маня, а ты сама не знаешь. Потому что ты нездешняя,—бросал я самый веский аргумент.

Наташка бесилась, обзывалась и улетаала, помахивая подоломи.

Сейчас она повсюду преследовала меня, корчила рожи, рычала и совала свой зуб. Возможно, если бы я пожалел её или восхитился этим зубом, она бы была добрее. Но у меня дома хранился свой. Чтобы вырос новый, нужно тайком от всех спрятать его понадежнее. А она, глупая, его тыкает. Жалко её, конечно, но жалеть капризную принцессу—ни за что!

От греха подальше я смотался на речку. Пацаны, Витёк и Санька, марлей ловили щучек. Им нужен был загонщик. Я залез в воду и принялся из зарослей выгонять рыбу. Дело пошло на лад—наш невод вытащил здоровенную, в две ладони, щучку. Она была гораздо крупнее тех двух, что ещё подпрыгивали в траве на берегу. Санька сунул её мне: — Держи!

С удачей в руке я ринулся развивать успех. И рыбёшка выскользнула.

В азарте охоты Санька тут же обвинил меня в злостном саботаже, назвав месторождением моих рук то, откуда растут как раз ноги.

— Давай загоняй!— всё ещё сердясь, но как бы уже прощая, буркнул он.

А мне уже перехотелось. Кизяки, петух, Валькин приговор, Наташка, щучка...

В скорби и смятении я побрёл домой по едва заметной среди дремучих пойменных зарослей тропке.

И тут в ногу что-то вонзилось. Я подскочил от неожиданности, а со следа прыгнула огромная лягушка. Ко всем бедам ещё и укус лягушки! Может быть, смертельный. Поскуливая и прихрамывая, я поскакал что есть сил к бабушке. Чем ближе к дому, тем трагичнее казалось положение. А вдруг умру, едва успев залететь во двор? Я представил скорбь на лице злочки Наташки, когда она увидит меня умирающим. Может быть, ещё успею прошептать, что прощаю ей все обиды. И на Вальку взгляну. Молча. А бабушка? Как она заполошится! Пошлют за тётей Галей, за дядьками. Врачи разведут руками.

От сцены трагического прощания, от горя, доставленного родным, я вздумал жалеть себя. И как ни торопился, а, нырнув в подвернувшийся лозняк, с минуту орошал его слезами горького горемыки.

Господи, а как же мама? Она же ничего не знает!

Я выскочил из кукурузы и завопил:

— Бабушка Маня, ой, бабушка, меня мирон укусил! Бабушка опешила.

— Да шоб йому повылазыло, старому дурню! Як жэ вин тэбэ вкусыв, вин тилькы шо заходыв— до магазыну йшов. Як цэ вин?

— Да мирон в траве сидел!

Бабушка совсем растерялась. Зачем деду Мирону забираться под лист и кусать ребёнка?

— От же ж дурэнь старый!— недоуменно подтвердила диагноз бабушка.

— Да он не старый, он большой, зелёный, с полосками!

У нас снова возникла терминологическая нестыковка.

И тут Наташка:

— Ба, его лягушка укусила! Ой, лягу-ушечка его укусила! Бедненький, несчастненький!

Все пацаны знают: мироны—это огромные ядовитые лягушки. Они могут запросто напасть, если их нечаянно потревожить. Мне ещё повезло, что он был один. А пацанам не раз приходилось отбиваться от целых полчищ! Они рассказывали.

И всё же пришлось втолковывать бабушке, что укусил не дед Мирон, а коварная лягушища, поджидавшая несчастную жертву на дикой тропе.

В глазах бабушки сверкнул лучик:

— Так то той мырон. Умэнэ есть мазь така лечебна, от мыронив.

Она не спеша помыла мне ногу и достала из сундука со всякой всячиной какую-то мазь. Тщательно смазала место смертельного укуса.

Боль быстро стихла. Теперь я знал, что буду жить, но попросил:

— Бабушка, а намажь ещё раз.

— Навищо? Ты краще пиды у погриб и попый молочка. Холоднэ молочко ликуе вид хворобы, вид укусив отых мыронив. Визьмы вэлыку кружку, видрижь хлиба. Смэртъ прыходэ за голодными, а колы йистымэш, вона видступыть.

Хромая, я потрусил на летнюю кухню, схватил кружку и бегом в погреб.

Оставалось только прихватить кусок бабушкиного кислого хлеба, который она пекла в русской печи, которую называла груба, и, спасённому от неминуемого, отправиться куда глаза глядят.

Они глядели за речку, где я никогда ещё не был. На нашей стороне знакомо было всё, каждая тропинка. А на том берегу Луганчика—неведомый мир. Как же я до сих пор не догадался его изведать?

Я перешёл речку по узкой деревянной кладке, выбрался из зарослей лозы. И—одурел.

Среди светлого изумруда трав сновали бабочки и стрекозы. Запахи сливались в какой-то невообразимый настой, густой и ароматный. Хрустальный ручей ослепительно сверкал скользкими солнечными змейками. Мама рассказывала, что мутный Луганчик до войны был чист и прозрачен. Но, наверное, в нём никогда не было гранённо-прозрачной воды. И во всём этом затерянном мире—сияние. Свет шёл из стеблей и листьев, исходил от стрекоз и букашек. Не столько солнечный, сколько внутренний, всего лишь разбуженный солнцем. Золотистое сияние размывало очертания предметов, они сливались с бесконечным светом какой-то иной жизни. Сначала я ошеломлённо осматривал открытую жизнь, боясь неосторожно испугать её или что-то в ней боясь пропустить. Потом воображение построило домик у озера, прямо на старой, в десяток обхватов, вербе. Он был с лесенкой, лёгкой и гибкой, как лоза.

Может быть, это и есть бабушкин рай? Может, она ничего не придумала и здесь остаются те, кто уходит? Я лёг на траву. И уснул.

Домой вернулся в сумерках. Меня обыскали. Все мальчишки были подняты на ноги, соседи собирались идти искать пропажу в ночь.

Когда я появился, Наташка выбежала, обняла меня и заплакала.

Дядя Коля махнул рукой:

— Вот ваша пропажа!

Потом, когда приехала мама, слегка досталось.

Я больше не ходил за речку. Может быть, потому, чтобы не испугать тайну, приоткрывшуюся, может быть, в самый несчастный день моего детства.

Через несколько лет заречного мира не стало. Огромные вербы, укрывавшие его, выкорчевали и выжгли, пойму засеяли. Стараниями хозяйственных рационалистов исчез и сам Луганчик. Его очистили, избавив и от родников. Новоселовка стала обычным посёлком районного значения. Он жил повседневными заботами, совсем

позабыв о том, что рай был когда-то рядом. В кровавом две тысячи четырнадцатом Новосветловку захватило в заложники украинское воинство. При одном из обстрелов погибла тётушка Галя, последняя из сестёр. Взрывной волной её ударило о стену дома.

Она покоится рядом с бабушкой, своей сестрой Марией, братьями Андреем и Николаем. Не знаю, кто сейчас ухаживает за их могилками, но верю, что их души там, куда однажды завёл меня несчастливый день. Недалеко от своих могил — в золотистом сиянии бабушкиного рая.

Он не был беспомощной фантазией измученного жизнью человека, слепой верой в воздаяние за страдания. Скорее — бунтом против несовершенства этого мира, где человеку не дозволено состояться, сознанием высшей справедливости, которой нет, но которая всё же обязана быть. Человеку, чтобы стать собой, нужно не воздаяние,

а справедливость. Приученная с детства только к работе в поле, бабушка внутренним зрением видела гораздо больше, чем глазами. Бабушкин рай — это всего лишь подлинная жизнь, которой никто из нас пока не видел. Разве что в детстве. В том, что кажется ещё милее за дымкой лет.

В наивном веровании ей открылась парадоксальная разумность бытия, которым движет не идиллия, воспетая романтическим поэтом или наёмным идеологом, а естественная поэзия, в которой человек всегда больше своего существования и способен возноситься к бездонному сиянию мира. В этом суть жизни, её природа и смысл. И бабушкин рай был вопросом, обращённым к ней. Вопросом, на который нет ответа. Ведь жизнь не исчерпывается нашей личной судьбой, не исчерпывается всей нашей общей судьбой, она — часть целого, бесконечного и светлого. Куда не берут только «падлюк».

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Луганск

Лариса Класс

Базар-вокзал



Среди отпетых храбрецов
всегда боюсь, что кто-то
задышит холодом в лицо
и скажет: «Есть работа!»
И снова труженик-страна
стучать,
копать,
рубить
начнёт зимой и летом.
Мне снится север по ночам.
Мой генофонд
скрипит об этом.

Но и заморской стороны
совсем не манят речи.
Там, где посажена,
расту
в чащобе человечей.
И одного себе прошу —
в конце
не стать дубиной...
И сына вырастить певцом,
а дочку —
балериной.



Заварили болтовню —
спеклось равенство и братство...
и внизу, и наверху
стали вольно выражаться...
И честит глава народа
разболтавшийся народ,
а народ главу поносит,
разевая шире рот:
— Мы свою свободу слова
никому не отдадим,
пусть не сеем и не пашем,
не рожаем, не едим...
Главное —
хозяин-барин
слово дал и слово взял,
обтрусил его, подкрасил,
приурочил —
и послал.
За посланием — расчёты:
времечко голосовать.
Выбирают президента —
поминают
его мать.

Луганск

Светлана Сеничкина
Слово о доме

Светлана Сеничкина

Слово о доме



И кажется, мы все уже привыкли,
Что в новостях расскажут про обстрелы,
К свечам на аватарках и иконам,
К молитвам, что кого-то не спасут.

И кажется, что мы уже не плачем.
На всех воды и соли не хватает,
Ведь за два года вышли все запасы,
Остались лишь глубинные пласты.

И кажутся теперь попеременно
Нелепою иллюзией и бредом
То мирный быт, где дети, дом и ужин,
То дикость и безумие войны.

Мы кажемся героями кому-то,
Другим — скотом, недолюдми, врагами,
Кому-то — даже выдумкой и фейком,
И каждый твёрдо убеждён в своём.

Мы ничего наверняка не знаем,
Но оттого не перестанем верить.
Сидя в подвале и не видя неба,
Не перестанешь верить: небо — есть.



А в Луганске сегодня ветер
Осыпает липовый цвет,
На качелях смеются дети,
И войны здесь как будто бы нет...



Надоели разбирательства,
Ссоры, споры, ярлыки.
Кто уехали — предатели,
Кто остались — дураки.
В рожу плюнуть обязательно:
В соцсетях легки плевки.
Кто уехали — предатели?
Кто остались — дураки?
По друзьям, по семьям — надвое,
И не склеишь черепки.
Кто уехали — предатели,
Кто остались — дураки...



Каждый вечер воет собака:
Об уехавшем в Киев хозяине
И о том, что всё в жизни неправильно,
Сколько ты на неё ни гавкай.
Каждый вечер темна так улица —
В трёх домах лишь окошки светятся.
Кто-то верит, что будет лучше всё,
А кому-то уже не верится.
По утрам вновь на почте суетно:
Кто за пенсией, кто с коммунальными,
А вот школа второй год пустует
И печально глядит провалами.
Заросли так пути трамвайные,
Будто их тут вовек и не было.
Всё меняется. И не знаем мы,
Что там дальше в планах у неба.



Нас гонят из дома —
Ракетами, минами,
Блокадой, разрухой,
Наветами, «сливами».
Кричат, чтоб бежали
Скорей что есть силы:
«Хотели в Россию?
Валите в Россию!»
А уезжать не хочется — до слёз.
Умом-то понимаешь: всё всерьёз.
Умом-то понимаешь: всё надолго.
И, может быть, там лучше будет, только
Как, если корни вырвешь из земли,
Живым остаться?



Всё достало: фейки, вбросы,
Дезы — как поток дерьма.
С рельс сойдя, летит с откоса
Непутёвая страна.
Вот один вагон потерян,
Два — накренились, трещат.
Только машинист уверен:
Стерпят, схавают, простят.



Последнее дело — облекать мысли в стихотворную форму.
Стихи должны жить только эмоциями, только страстями.
И разум может пылать так страстно, но такое пламя
Встречается лишь у гениев. У остальных же
Мысль горит тихо и ровно,
Как газовая конфорка в кухне.
Оттого и стихи выходят ужасно скучные
У тех, кто забыл, что значит гореть по-настоящему.



Как странно осознавать,
что те, кого я помню детьми, — уже взрослые люди,
что тех, кого я помню живыми, — уже больше не будет,
что дорожку, по которой я ходила в школу, убрали,
и теперь там парковка,
что не просто меняются вывески, песни и даты —
сменилась эпоха.



В то странное, безумное лето
Птицы и люди на улицах редкими были.
Не было ни телевизора, ни Интернета,
А лишь одна-единственная газета —
Листовка формата А4.
Отодвигается, прячется в памяти это:
Дни без воды, ночи без света.
Давно уже выброшены поржавевшие снарядов осколки,
Давно заполнились супермаркетов полки.
А люди ныть и жаловаться куда больше стали.
И потому, наверное, чтобы не забывали,
Стоит дом с проломленной крышей — через дорогу,
А школа без окон и с дырами — напротив,
Спрашивают строго:
«Ах, вы очень плохо живёте?
Глупые, вы ведь живёте...»



Да, мы не герои.
Сидели. Дрожали.
Под звуки разрывов
Куда-то бежали.
Под гром канонады
Варили обеды.
В минуты затишья
Бежали провести
Чужих стариков,
По соседству живущих.
Их дети в России:
«Там лучше. Так лучше».
Погасли экраны,
Молчат телефоны.
Лишь залпы слышны
И дыхание дома.
Нет в городе больше
Чужих, незнакомых.
Мы все здесь — «свои».
Правда в том,
Что мы дома.

Луганск

Елена Заславская
Nemo

Елена Заславская

Nemo



Седой рапсод,
Бродяга-инфлюэнсер,
Я расскажу тебе историю свою,
Я на ухо беззвучно напою
Песнь песен,
А ты потом пропой её другим,
В пылу пирушки
И в пылу войнушки
Рождённую, вмещённую в стихи
Стихию,
Будоражащую душу,
Про затонувший город, город Лу,
Луганстеров и чёрных флибустьеров,
Про идолов, хранящих дикий лут,
Ещё—жрецов грядущей новой эры,
Про то, как смерть поймала на блесну
Меня, русалку из затерянного града,
Как жизнь нас тянет медленно ко дну,
Туда, где морок, тишина, прохлада...
Ещё—про свет родных зелёных глаз,
В них утонуть нисколько не страшно.
И каждый раз—всегда последний раз,
А остальное всё не важно.

Пропой, рапсод, истории мои!
Кто посмеётся, может, кто заплачет.
Жизнь ничего не значит без любви.
Да и с любовью ничего не значит.



- Не пиши стихов.
А пишешь—не публикуй.
А публикуешь—не посвящай.
Пообещай!
- Какое дело тебе до моих поэм?
Ты будешь не узнан,
Не назван.
Мистер Никто. No name.
- Никто не узнает, где мы
Пересеклись с тобой.
Пусть начнётся поэма,
Таинственный мой герой.



Раньше наш город звался Луганжелесом,
Прежде чем затонул.
Почитайте хроники Марсия
Про войну.
Раньше был Марсий луганстером,
А теперь рапсод.
— Марсий! Есть ли жизнь после апокалипсиса?
— Как кому повезёт.



Я вглядываюсь в линию горизонта.
Рядом со мною жрец, позывной— Скиф.
Наш город давно под водою.
Город-легенда, миф.
Кто же его придумал?
Жив он или погиб?
Скиф говорит, что пули
Похожи на стайку рыб.
Нет, говорит, нам покоя,
Исчезнем мы без следа
В пучине дикого моря,
Которое было всегда.
И тянется до горизонта,
Плодит кочевые сны.
И ходят ковыльные волны
Под ветром степным.



Имя всегда означает путь.
Имя всегда означает суть.
Как только по имени позовут—
Из ниоткуда вызовут, призовут.
Потому я дам тебе позывной,
Чтоб имя не ведал—ни свой,
Ни чужой,
Чтобы был он тебе как броня
Среди поля дикого,
Среди моря великого
И огня.

- Ты знаешь, куда она смотрит
Своими слепыми глазами?
Вдаль? За линию горизонта?
— Нет. Она наблюдает за нами!

Посмотри ей в лицо.
Знай, безмолвие только приманка.
Посмотри ей в лицо.
В нём ни жалости нет, ни обмана.
Посмотри ей в лицо.
Спит подводная лодка кургана—
Субмарина, полная мертвецов.

И увидишь,
Как скифская баба,
Поля дикого, моря великого
Богородица камнеликая,
Выбирает себе жрецов.

Зов Моря. Гул. Протяжный зуммер,
Когда ракушку телефона
Прикладываешь к уху,
Ждёшь, что я откликнусь, вынырну
Из мутного потока,
На выученный номер отзовусь,
Приду на голос твой,
Раба сердечной спайки.
Тверди мой позывной,
Лови свою русалку!
В сетях мобильных невелик улов.
И в море русских слов—
Вот звука пузырьрёк,
А вот песчинка знака.
Я, как жемчужину, храню под языком
Родное имя—тайну.

Чёрное золото
Прямо из жил земли.
Шахты ныне затоплены.
Шныряют пиратские корабли.

Чёрное золото
Прямо из самых недр.
Скиф протирает оптику,
Весь как натянутый нерв.

А я... я слагаю песни,
Заслушаешься, и вот
Тонкое лезвие поэзии
По сердцу полоснёт.

- Скиф, отпусти на поверхность
Окликнуть свою любовь!
— Плыви, но не пой свои песни,
Пусть узнает тебя без слов!

- Дикое поле. Великое море.
Здесь всё затопили воды народного гнева.
И пьяные флибустьеры гоняют на чёрных
фрегатах,
Оставленных или отжатых.
Freedom Forever!
— Скажи его имя, русалка!
Скажи его имя!

Немо!
Да я бы тебя позвала
Сквозь пространство и время
Пронзительным воплем
Из самого сердца,
Но алая пена
Выходит из горла—
Моя немота,
Моё горькое рыбье наследство.

На палубе голой распластана,
Жабры трепещут.
Крючком рыболовным поддета—
На радость пиратам.
Штиль полный. И волны не плещут.
Безмолвствует небо.
Но если захочешь найти,
То иди по кровавому следу!

Из рога единорога
Хорошая выйдет пушка.
Ею можно на мушку
Любого
Киборга или дрона.
А ещё лучше
Дракона
Стального.
Ну же!
Сразим летящую падлу!
Падает.
Прямо над нами.
Звездопадом.

- Над головой,
Будто чёрные вороны
Чёрные дроны летают,
Чёртовы роботы,
Новые вестники,
Горя валькирии!
Что вы несёте нам
На электронном носителе?
— Разве не видите?
Образы гибели!

Сергей Козлов

История болезни

Это была тяжёлая школа. Человек, который остался в живых после встречи с русским солдатом и русским климатом, знает, что такое война. После этого ему незачем учиться воевать...

Генерал вермахта Блюментрит

Старый, немного пьяный казах рассказал мне эту историю девятого мая 1985 года на КПП войсковой части 19880, где он ждал своего внука-солдата. И я ему поверил. Мой дядя, отстоявший Сталинград и оставивший своё имя на берлинских стенах, рассказывал не менее удивительные истории. В принципе, ничего для нас удивительного — верить в победу.

Двадцать второго июня 1941 года в три часа пятнадцать минут люфтваффе вторглось в воздушное пространство СССР, чтобы обрушить смертоносный груз на спящие города и военные аэродромы. Двадцать третьего июня 1941 года в пятнадцать часов тридцать минут Андрей Нилов вышел из больницы с убийственным диагнозом: рак лёгких на последней стадии. Да ещё и эти, как их? А! Многочисленные метастазы! «Два-три месяца — в лучшем случае, две-три недели — в худшем», — признался тихий интеллигентный доктор. Видать, насобачился уже беседовать со смертниками из онкологического отделения. В сущности, Нилова отпустили домой умирать, и он, стоя на крыльце с папиросой во рту, раздумывал, как это лучше сделать. Пойти на завод и напиться с ребятами? Не поймут, второй день идёт война. Завалиться с девчонками в кабак да гульнуть последний раз? Не поймут, второй день — война. Пойти и удушиться? Не поймут, скажут — слабак. Страху особого перед смертью у Нилова уже не было. Ему санитарки ещё месяц назад нашептали, что отнюдь не бронхит у него с осложнениями. Было время подумать. Правда, с одним единственным вопросом так и не удалось разобраться: почему именно он — Андрей Нилов, двадцати восьми лет от роду, неженатый, комсомолец, передовик производства, награждённый за перевыполнение плана пиджаком фабрики «Большевичка» и прочая и прочая? Почему? За что? И как теперь со всем этим быть? Ни в Бога, ни в чёрта воспитанный в советском

детдоме Нилов не верил, постперестроечных книг о всяких там кармических болезнях тем паче не читал. Вот и стоял он на крыльце больницы с давно потухшей папиросой в зубах, не имея ни малейшего желания идти в общежитие, где здоровые и шумные ребята собираются добровольцами на фронт. Ещё бы, надо же успеть побить фашистов, пока они сами не убежали.

Очень хотелось обидеться на весь мир, но миру, похоже, было не до умирающего Нилова. Точнее, мира не было, была война. Понедельник — день тяжёлый. Пожалел его в пятницу доктор. Пока санитарки и сёстры шептали, вроде как надеялся ещё. А теперь... А теперь плыли по небу редкие странные замысловатые облака, похожие на застывшие взрывы и на испуганные мысли одновременно. Солнце палило так, будто протуберанцами чаяло дотянуться до Земли и выжечь на ней всю мерзость и гадость. И — вот удивительно — по-над улицей плыл военный воздух. Именно военный. Он был разжижен слепополуденным зноем, по цвету имел странный тёмный оттенок, делающий его ощутимым оптически, и весь насквозь был пронизан летящими отовсюду молекулами настороженного ожидания. Стоило вдохнуть его — и всё, человек уже не тот, что был вчера, час назад, минутой раньше. Он становится человеком военного времени.

Но вот этот воздух содрогнулся.

Распевая «Прощание славянки», по улице мимо больничного крыльца прошёл отряд ещё гражданских, но уже мобилизованных мужиков. Сопровождал их малорослый, осунувшийся от двух бессонных ночей кадровый офицер. Его припухшие глаза, иссечённые видимыми даже на расстоянии кровавыми прожилками, являли выполнение сверхзадачи. Он мельком, но очень красноречиво посмотрел на внешне праздного Андрея Нилова. За отрядом бежали и подстраивались под шаг взрослых мальчишки. Они тоже с весьма недетским недоумением осмотрели мыслящего под больничной вывеской Нилова. Словно Нилов только что, перед самым боем, получил в больнице отсрочку, потому как в детстве переболел свинкой. И все вокруг об этом знают!

Постояв на крыльце ещё какое-то время, Андрей решительно выплюнул папиросу и отправился обратно в кабинет тихого доктора. Тот без

особого удивления встретил своего пациента и будто знал причину его возвращения.

— Нет, в ближайшее время лекарств изобретено не будет. Операция, как я уже сказал, вам не показана. Разве что—чудо...

— Да не-е,—равнодушно отмахнулся Нилов,—я про другое. Дайте мне справку, что я абсолютно здоров.

Вот теперь брови доктора взметнулись от удивления под самую чёлку. Он, покусывая губы, внимательно смотрел на пациента, вероятно, ожидая продолжения и объяснений. Руки чуть подрагивали.

— Война,—пояснил одним словом Нилов.

— Война,—согласился доктор.

— Дайте умереть с пользой!—занервничал от медицинского непонимания Андрей.

Доктор покачал головой, всё так же участливо, но весьма отстранённо глядя на Нилова. Целый рой мыслей разлетелся в его голове в разные стороны.

— Вариант эвтаназии?...—сказал он сам себе.

— Чего?—не понял пациент.

— Да нет... Это я так... Война, я понимаю. Поэтому вы меня решили под трибунал подвести?

— Что вы, доктор!—Андрея прямо-таки скрутило от обиды.—Вы тут со мной столько возились. Я же говорю: война! Я хоть умру с пользой! Неужели не понимаете?

— Да вы, может быть, завтра уже винтовку поднять не сможете!

— На войне до завтра ещё дожить надо. Знаете, доктор, мне всего двадцать восемь лет. У меня девушка была, но замуж вышла за комсорга из нашего цеха. Родителей не помню, батя ещё в Первую мировую сгинул, а мать—в Гражданскую. И я, доктор, я это... В общем—нет у меня никого. Никто я! Вам не понять, наверное. Я думал, добьюсь в жизни всего сам. Обязательно добьюсь. А теперь жизни нет. Всё! Приехали!—Андрей даже порозовел лицом, отступила вглубь болезненная пепельная бледность.—И вы не хотите мне дать шанс уйти из этой жизни, может, и не героем, но хотя бы... Эх, да что я вам тут?... Пирамидон, а не жись...

— Я вас понимаю,—вдруг очнулся от своих невесёлых мыслей врач.—У меня отца красные убили, а мать—белые. Я дам вам то, что вы хотите.

Андрей Нилов замер с открытым ртом, пытаясь всмотреться в грустные серые глаза тихого доктора, которого ещё минуту назад хотел обозвать «врагом народа». Достаточно встретить соразмерное горе, чтобы не выпячивать своё.

— Вы тоже детдомовский?—только и спросил Андрей.

— Нет, меня бабушка воспитывала. Пока была жива. Но она тоже умерла. От рака...

— П-п-понятно...

Свою жизнь врач объяснил Нилову в двух словах.

Доктор же вспомнил сегодняшнее утро. Другого мужчину. Сытого, здорового и прилизанного, пытавшегося посредством перезрелой папилломы на ягодице получить отсрочку от призыва. Какие разные они были с Андреем Ниловым!..

Когда вам повезло в чём-то главном, то может абсолютно не идти в масть по мелочам, и наоборот, малые обстоятельства поворачиваются к вам лицом, а узловое, самое важное—проваливается, буксует или вообще остаётся недостижимым. Нилов считал, что в главном ему не повезло, зато остальное...

Уже в середине июля Андрей Нилов сражался под Смоленском. Первым вместе с командиром поднимался в атаку, а уже через минуту шёл на неприятельские окопы без командира, сражённого вражеской пулей. Быстро научился у воевавшего под Минском старшего сержанта делать бутылки с зажигательной смесью, каковые следовало бросать на моторную часть танка. Главное, что понял,—эта война надолго, а немцы умеют воевать, педантично и продуманно, и трусливыми буржуями их не назовёшь. Главное, о чём думал,—лишь бы не скрутило до срока. А срок всё не наступал. Очень не хотелось подвести доктора. Болезнь покуда напоминала о себе только давящей болью где-то в средостении да чрезмерной потливостью и неожиданной слабостью после боя, которая буквально валила с ног. Но потели вокруг все. Кровь, грязь и пот—без этих трёх составляющих войны не бывает. Пули и осколки предательски пролетали мимо, выкашивая вокруг Нилова целые роты молодых и здоровых ребят. Наград Андрею не давали, ибо командиров убивало раньше, чем они успевали представить его к награде вышестоящим начальникам, кои, в свою очередь, были жертвами ускоренной ротации.

В конце июля бои под Смоленском кончились. Унылые, поредевшие на две трети колонны в облаках пыли двигались для переформирования на восток. Среди прочих шёл избежавший смерти и окружения младший сержант Нилов. Немцы давили на пятки моторизованными дивизиями. Хоть и вынудили их под Смоленском перейти к обороне, не нашлось ещё на всей великой Руси необходимой силы, чтобы погнать тевтонов, не подтаял ещё лёд на Чудском озере, не раскисли ещё просёлки в подмосковных лесах да не выпал дружок-снежок.

О болезни в эти дни думалось меньше всего. Зато вспоминались детдомовские уроки истории. С какой болью в голосе седая и маленькая Ольга Александровна рассказывала о том, как соединившиеся под Смоленском русские армии отступали к Москве в 1812 году. И хуже того—как отступали после Бородино, не проиграв этого великого сражения... А потом покидали Москву. И не понимало сердце Андрюхи Нилова кутузовскую

необходимость сдачи столицы, при всей гениальности тарутинского манёвра.

Среди идущих в колонне никто предположений не делал: удержим ли Москву? Предпочитали молчать или обмениваться ничем не значащими фразами. Многие оставляли за спиной свои города, посёлки и деревни. Как там родные? И Нилов всё больше соприкасался с всеобъемлющим, спаянным огненным июлем общим горем, на фоне которого своё, личное казалось несоразмерно меньшим. Да и вообще несущественным. Никто из близких не остался у Андрея за спиной, никто не встречал впереди.

В октябре Нилов ждал смерти. Все сроки, определённые тихим доктором, прошли. Особых болевых ощущений по-прежнему не было, да и мнить их было некогда, смерть снаружи гуляла куда как проворнее. Действительно—тайфун. После седьмого октября под Вязмой было жарче, чем в июле под Смоленском. Новый командир батальона истребителей танков, в котором служил теперь Нилов, был лет на пять младше Андрея. Фамилия у него была Костиков. Он был щуплый, угловатый и весь из себя интеллигентный. Солдат называл на «вы» и будто бы стеснялся отдавать приказы, иногда сопровождая их волшебным словом «пожалуйста». «Нилов, смените, пожалуйста, Фролова...» Сразу видно, успел окончить институт. И вместе с высшим образованием и ускоренными курсами комсостава на его плечи легли офицерские погоны. Но именно за неуместную вежливость бойцы полюбили лейтенанта Костикова.

Фрицы всё отчаяннее сжимали кольцо окружения, а солдаты и командиры генерала Лыкова всё отчаяннее сопротивлялись, не оставляя гитлеровцам шанса совершить увеселительную прогулку на Москву. Русская столица фон Боку выходила боком. До его отстранения оставалось чуть больше трёх месяцев. Но об этом Нилов ничего не знал и не узнал значительно позже... Ему и фон Бок, и Гудериан, и сам Адольф были побоку. Мог бы достать—задушил бы, порвал на клочки голыми руками.

В середине октября стало особенно жарко. Остатки дивизий, сжатые в окровавленный кулак, предполагали прорваться на восток. Туда, где невиданной донные стеной стоял русский дух, стяжавший в себя дух многих народов. Тех, которых нацистская Германия официально не считала за людей, а если и считала, то—за неполноценных. И вот эти «неполноценные» с последней гранатой устремлялись под танк, с именем тиранившего их Сталина поднимались в заведомо проигрышную атаку, бросались с голыми руками в рукопашную, когда у них кончались боеприпасы.

Костикова берегли. Ещё и потому, что была у лейтенанта не соответствующая боевой обстановке особенность. Он мог прямо в пылу боя впасть

в задумчивость, и немалых усилий стоило его привести в сознание. Но оборону батальона он строил продуманно и чётко. Берёг солдат. И солдаты берегли его. Назначенный батальонным командиром из-за нехватки старшего офицерского состава, худосочный Костиков не только справлялся, но мог бы, похоже, командовать полком. Голова у него «варила» лучше некоторых военачальников с лампасами.

Фрицы между тем озверели. Артобстрел и авианалёты прекращались только на обед, ужин и несколько часов, когда над полями сражений плыла дымная, наполненная удушливой гарью и сладким запахом разложения темнота. И вот наступило утро последней атаки. В это промозглое, уже пахнущее первыми заморозками утро остатки батальона, да и прибившиеся к нему бойцы из других подразделений должны были подняться на прорыв вслед за своим щуплым парнишкой. И поднялись. Но так уж вышло, что именно на этом направлении немцы приготовили свою очередную атаку. Поэтому сошлись в низком редковатом подлеске сытый полк гитлеровцев при поддержке танкового батальона и голодные солдаты Костикова. Аккурат в этот момент, когда надо было принимать решение (а оно могло быть только одним—по одному и группами бежать в сторону, на соседний участок прорыва, ибо героизм тут был более чем неуместен), Костиков впал в задумчивость. В таком состоянии его застали одновременно два человека—страховавший умного командира Андрей Нилов и розоволицый немецкий фельдфебель в серой, даже не испачканной грязью шинели. Будто только что со склада или с парада. Немец поспешно направил свой карабин в грудь русского лейтенанта, а Нилов понял, что наконец пробил его час. И не час, а миг, который он, не раздумывая, использовал для броска наперерез траектории пули.

И он уже не видел, как очнувшийся лейтенант Костиков выпустил в опешившего фельдфебеля последние патроны из своего ТТ, как, откуда ни возьмись, появились на этом участке партизаны, внеся полную сумятицу в планы не только германского командования, но и растерянных красноармейцев. Общей массой солдаты Костикова и разношёрстная команда партизан просеялись на восток. И Костиков приказал нести Нилова на растянутой между двумя жердями шинели. Все полагали: Нилов не жилец,—но никто не роптал, и Андрея несли, сменяя друг друга, несколько километров. Потом—короткий привал, потом—снова несли. Нарвались на второе кольцо окружения, почти по инерции пробились, потому не остановить уже было, даже если против каждого красноармейца по танку выставить. Потом третье, там немцы и сами уже не чаяли сражаться с окруженцами. И так—до Можайской линии обороны,

где обошлось без унижительных допросов СМЕРШа, ибо Костиков вывел свой батальон...

Нилов не умер. Не задела пуля жизненно важных сосудов. Но оставалась всё это время там—внутри. Может быть, это было чудо, о котором упоминал тихий доктор? Но, похоже, чудо из другой оперы.

В осадном московском госпитале за Андрея взялся небритый широколицый хирург-казах. Он за последние сутки намахался скальпелем, как саблей, но, вняв мольбе Костикова, начал делать невозможное. В сущности, он делал это каждый день. Иногда получалось. Когда хирург уже подбирался к простреленному лёгкому, над столом склонился ещё один доктор. Тот, который пришёл сменить его.

Внимательно посмотрев серыми глазами в землистое лицо Нилова, он несколько удивился, а своему коллеге тихо сказал:

— Зря работаешь, Нурик, у него опухоль.

— Ты что—рентген?—не обратил внимания на его слова хирург.

Тихий доктор пожал плечами и отошёл в сторону. Операционная сестра только стрельнула в его сторону быстрыми глазами: мол, устал, товарищ военврач, бредишь уже. А военврач стоял немного в стороне, прикрыв рот ладонью, и размышлял о превратностях человеческой жизни.

— Как он?—заглянул в операционную другой интеллигент, в лейтенантских погонах.

— Нармальна, да!—крикнул, не поворачивая головы, хирург.

— Он мне жизнь спас, товарищ военврач.

— Я понял, да-а-а! Не мешай, лейтенант. Сейчас извлекать буду!—но потом замер на секунду.—Олег! Олег! Ты—рентген! Есть опухоль. Пуля прямо там. Ой, шайтан! Вот бы фотографию сделать... Вторая стадия, наверное, а он воевал.

— Четвёртая,—поправил тихий доктор.

— Вторая, Олег, вторая! Или ты думаешь, только в Москве учат?! Или я меньше твоего видел? Метастазы нету ещё! Даже регионально!

— Не может быть! Тогда—нету уже! Нурик, я сам...—и осёкся.

— Ты что, Олег Игоревич?—остановился вдруг Нурсултан Бектимирович.—Это твой больной?

Хитро прищурил монгольские глазки на операционных сестёр: вы ничего не слышали. А те и не слышали: инструменты подают, расширители держат.

— Нурик, я потом тебе расскажу, не поверишь.

— Не поверю, Олег? Да я теперь чему хочешь поверю. Ладно, будем удалять лёгкое, терять нечего. Крови он ещё по дороге море потерял. Всё равно—шансы мало,—помолчал некоторое время, собиравшись с силами, подняв руки над головой, словно сдаётся в плен.—Тебя послушать—война лечит. —Думаю, Нурик, она душу лечит, а душа—всё остальное.

— Ай-вай, Олег, чему нас материализм диалектический учит?! А?!

— Этот человек, помяни моё слово, Нурик, если вдруг выживет, попросит у тебя справку о том, что он здоров.

— Ты уже давал такую?—ещё больше сузил глаза хирург, только бусинки-зрачки сверкнули, руки его между тем уже всю манипулировали.—Хороший человек, командира спас. Я бы ему пропуск в Кремль выписал, а не справку даже. Место в раю для него всё равно забронировано, туда успеет ещё... —А я бы повременил удалять лёгкое,—загадочно сказал Олег Игоревич.—Что-то мне подсказывает... Думаю, эта опухоль и так рассосётся. Хотя такого и не бывает.

— На войне?! На войне всё бывает! Может, ты тоже наденешь перчатки? Думать некогда! Думает он, понимаете! Ты хирург или философ?! Твоя смена, между прочим!

Сердце Нилова нашло свою пулю на Висле, когда Андрей Нилов уже передумал умирать... До победы оставались считанные месяцы. К этому времени он имел две нашивки за ранения и несколько наград. Может быть, и эта роковая пуля миновала бы старшину Нилова, но в сей ответственный момент Второй мировой войны пришлось ему поднимать в атаку бойцов раньше намеченного командованием срока. Недоукомплектованные полки и дивизии двинулись на озлобленных поражениями, вгрызшихся в мёрзлую землю и бетон фрицев. По просьбе премьер-министра Великобритании Уинстона, мать его, Черчилля. Пошли в наступление, возможно, даже раньше срока, который предполагался Там, где решаются судьбы людей и определяется ход истории человечества. Советские солдаты спасали своей кровью драгоценную кровь солдат Туманного Альбиона, английских же солдат за всю войну погибнет чуть больше двухсот тысяч. А наших—в одной Польше шестьсот тысяч...

Пуля пробилась не только сердце отважного старшины, но и письмо в нагрудном кармане гимнастёрки, написанное неразборчивым, быстрым почерком Олега Игоревича, химическим карандашом, испещрённое какими-то странными медицинскими предположениями и терминами. Письмо это никто, кроме старшины Нилова, не читал. После войны Андрей Нилов хотел показать письмо своим близким, которые у него обязательно появлялись. Но так получилось, что ближе детдомовских воспитателей, усталых солдат в холодном окопе и растерзанной Родины у Нилова никого не было.

Тихий доктор Олег Игоревич так и не узнал дальнейшей судьбы своего пациента. При всём желании не смог бы. Он погиб под Сталинградом двумя годами раньше. Бомба попала в госпиталь. Ведь говорят, бомбы, снаряды и пули—не выбирают. Как и Родину.

Анатолий Янжула

Недоразумение

Родился Санька недоношенным...

Все люди как люди, с природой не спорят. Сидят себе в уютной материнской утробе, солидно, не торопясь, развиваются, обстоятельно наращивая необходимые для жизни конечности и все остальные причиндалы. А куда торопиться? Никакой тебе заботы. Сиди и сиди, планируй будущую жизнь. Саньку же как чёрт в спину толкнул. Вот захотелось ему в люди, и всё. И куда спешил, торопыга? До срока-то ещё два месяца. Знал бы, дурень, каким боком ему выйдет такая спешка — непременно бы очутился.

Мать, почувствовав его беспокойство, заволновалась и была категорически не согласна с его торопливостью. Правда, ребёнчишко развивался беспокойным, пинался твёрдыми пятками днём и ночью. Так иногда саданёт — сердце заходится. Но когда Санька вдруг запросился на волю, она забеспокоилась не на шутку. Это как же так? Уж лучше потерпеть пару месяцев эдакого футболиста, чем рожать незрелого головастика. Всеми своим сроком должен быть.

Но у Саньки по этому поводу было другое мнение. Упрямство в характере родилось раньше его. Решено — сделано.

Глупое дитя... Он думал, так просто родиться.

По своему малому недоразумению и торопливости Санька в последний момент засуетился, потерял ориентир и, вопреки законам Природы-матери, пошёл, дурачок, ногами вперёд. Правда, с помощью опытной акушерки он кое-как преодолел первое в жизни недоразумение, но силы были потеряны, и громко заявить о своём выходе в свет духу уже не хватило. Пискнул, как котёнок, и замолк. На его счастье, акушерка знала способ вправлять мозги таким недотёпам. Получив крепкий шлепок по сморщенной попке, Санька очнулся и, как ему казалось, заорал во всё горло, возвещая мир о своём прибытии.

На самом деле на салфетке лежал синюшный, скрюченный, мокрый комочек и тихо попискивал, слабо шевеля кривыми ножками.

Последующая жизнь Саньку не баловала. Хилый и узкогрудый, он был постоянным объектом насмешек сверстников. И как только над ним не издевались. Городские ребятишки, оторванные

от природы, дичают среди каменных домов и чахлах деревьев. Постоянная борьба их родителей во всяких городских конторах за более сладкий кусок и власть накладывает и на детей отпечаток жестокости по отношению к более слабому и незащищённому. Туркалы бедного Саньку по всякому поводу, а чаще и без повода. Нарастающее сознание подсказывало, что единственное оружие, данное ему природой, — это характер. Бог, Он ведь всем поровну делит. Уж коль фасадом обошёл, так внутрь больше положит. Вот Господь и зарядил Саньку сверхсильным зарядом упрямства, настырности и взрывной ярости. А постоянные тычки, затрецины и унижения только увеличивали его силу. Бесконечно продолжаться такой процесс не может.

И произошёл взрыв...

Играя в футбол во дворе, Васька Козлов, по кличке Козя, пнул Саньку по ноге. Ну пнул и пнул, чего в футболе не бывает. Привычный к этому делу Санька просто промолчал. Тогда Козя пнул его ещё раз, просто так, в порядке самоутверждения.

В Санькиной голове что-то щёлкнуло, цепь замкнулась, и детонатор сработал. Ни секунды не раздумывая, он молчком прыгнул на Козю и, вцепившись ему в волосы, стал драть их с остервенением, как выпалывают надоевший сорняк. От дикой боли и неожиданности трусливый Козя упал на землю, судорожно пытаясь оторвать от себя Саньку. Но хватка была мёртвой.

Разливали их водой, как собачью свару. Козя с воплями убежал домой, а Санька остался сидеть на грязной земле, разглядывая пучки рыжих Козиных волос, застрявшие между пальцами.

Дома Саньку не ругали. Да и за что? Мать знала его нелёгкое положение во дворе; мало того, считала себя основной виновницей рождения такого несуразного создания и страдала от этого. Она догадывалась, что по характеру её последыш уродился крутоват. Иной раз так взглянет — как шилом торкнет. И в кого такой? Старшие сёстры — девицы спокойные, покладистые. Отец — тот вообще тюха-матюха, во рту мухи толкутся. Как и всякая мать, зная, что внутри у сыночка затаился чёрт с рогами, она с опаской ожидала, когда этот чёрт выскочит и в какую сторону прыгнет. И вот первый прыжок.

Санька сидел на низкой скамеечке, подперев пол глазами. В широких синих трусах с отвисшими гачами, на согнутой спине позвонки, как Уральский хребет, лопатки торчат крылышками архангела. Мать стирает в тазу грязные Санькины штаны. Санька молчит, сопит.

— Ты за что его так-то? Ему же больно, когда волосья на голове рвут.

— А чего он пинается? И все меня пинают и бьют. Что, мне не больно? Я ему в следующий раз совсем рыжую башку оторву.

— Он здоровый дурак, намолотит тебя.

— Не намолотит...— Санька вздохнул.— Он трусливый, и я его больше не боюсь. И вообще я больше ничего и никого не боюсь...

Санька поднял голову, искоса посмотрел на мать. Взгляды их встретились, и у матери захолоуло в сердце. Вот он, чёрт, в глазах скачет, огнём жжёт. Господи, как же Ты просмотрел, как промахнулся! Почему не досталась Божья искра добра для его души? Как же он жить среди людей будет?— Эх, Санька, Санька. Недоразумение ты моё...

...Июнь. Когда уже казалось, что вся земля превратилась в раскалённую печку, жёлтое марево солнца на излёте дня, тихо угасая меж пустынных песчаных холмов, постепенно расплывалось, местами перемешиваясь с тонкими полосками прохладного воздуха, слоями бродившего низко над жухлой травой. Ужом протираясь между сухими и кривыми кочками, Санька, сапёр двадцать восьмого сапёрного батальона, завязшего в этих насквозь прожжённых калёным солнцем вязких и сыпучих холмах, полз к небольшой болотинке, криво загигавшейся вдоль склона холма. Эта болотина являлась естественной нейтральной полосой, надолго разделившей наши и немецкие окопы. Чахлый кустарник давно уже был срублен пулями и осколками и не представлял собой никакой защиты. Подобраться к воде можно было только ползком, по засушенному с краю болота кочкарнику.

Санька полз к воде. Это не первый его рейд в глубину нейтральной полосы, да, вероятно, и не последний, так как взять воды больше негде. Можно было, конечно, как и раньше, дожидаться темноты и, особенно не маскируясь, сделать несколько ходок, но у Саньки свербела тайная мылишка— до прихода темноты, засветло, отыскать мочажок побольше и постирать портянки.

Закорели они до такой степени, что их нужно или стирать, или выкидывать. Ну а потому как шансов получить новые не было вообще—оставалась только стирка. Нахальство, конечно, неслыханное—при такой нехватке воды стирать портянки, и старшина Осипов, прослышав про его затею, строго-настрого запретил это дело, но надо знать Саньку. Тем более что повод для этого достаточно веский.

Ему, Александру Фаддеевичу Гораздову, рядовому второй роты отдельного сапёрного батальона, завтра будут вручать медаль «За отвагу». Какой бывалый фронтовик, боец пойдёт получать правительственную награду в вонючих портянках? Да надо не уважать себя. Героический сапёр, под носом у немцев разминировавший проход для разведчиков, за работой которых, говорят, следил сам командующий армией,—и пойдёт получать медаль, заработанную собственным горбом, в таком затрапезном виде. Да ни в жизнь такому не бывать. Ну и что ему старшина может сделать? Да ничего! Дальше передовой не пошлёт. А сапёры и так по краешку ходят. А бывает, и за краешек.

На фронте Санька с конца сорок второго года. Призвали его аккуратно за месяц до начала войны, и попал он в Забайкальский военный округ. Не успел, как говорится, оглядеться, оглянуться, а вот она и война. Ну, раз война—иди воюй. Так нет, не судьба, знать, сразу в пекло. Такая уж стратегия получилась. Несмотря на то, что дела на фронтах были совсем аховские, огромную армию, в основном инженерные войска, держали на сооружении укрепрайонов по границе с Манчжурией. Политическая ось Берлин—Токио и миллионная, прекрасно вооружённая и выдрессированная до фанатизма Квантунская армия, готовая, в зависимости от положения дел на западном фронте, в любую минуту смять восточные границы,—заноза серьёзная. И только уже к концу сорок второго года, когда растоптанная танковыми прорывами и замотанная в окружениях Красная Армия была окончательно обескровлена, часть резерва Дальневосточного и Забайкальского округов пришлось перебросить на запад. Так Санька и оказался в действующей армии.

А он сильно и не расстраивался. По своей военной специальности сапёр Гораздов насобачился будь здоров. Прав был капитан Васюхин. Санькины пальцы, длинные и цепкие, своё дело крепко знали. Да и сам он за полтора года службы превратился из птенчика хотя и в маленького, но орла. И полетел Санька в скором воинском в поход за славой боевой.

К моменту призыва в армию он вырос в небольшого, чуть кривонного паренька, с лобастой головой и костистыми длинными руками. Но вид был всё равно дохловатый. Когда в военкомате он, откровенно голый, стал пред длинным столом медкомиссии, председатель, пожилой, с крупной лысой головой врач, внимательно оглядев его с ног до головы, поморщился и недовольно крякнул:— Ты чего же такой худой, паря? Плохо кормят?— Никак нет, товарищ доктор, кормят хорошо. Конституция у меня такая.

Саньке было стыдно стоять голым перед таким количеством людей, в основном женщин, стыдно

за свою фигуру и малый рост, но деваться некуда. Здесь ты не голый мужик, а голый ноль, будущая боевая штатная единица. А солдаты, известное дело, как крупа в пшённой каше, все одинаковы. Хоть в штанах, хоть без штанов.

Председатель комиссии ещё раз полистал бумаги, пошептался с врачами, те по очереди согласно покивали головами.

— Призывник Гораздов, у вас малый вес и недобор по росту. Решением комиссии вы освобождены от призыва в армию.

Вот это фокус. Не-е-ет!!

Санькину душу хватил ознобом, и будь на нём шерсть, встала бы дыбом. Нет! Эти равнодушные люди хотят так же равнодушно решить его судьбу. Да что это за мужик, который в армии не служил? Да не мужик это, а так, мизгирь калеченый. Санька понял, что надо стоять за себя насмерть. Пан—или пропал!

Он разжал ладони, которыми прикрывался, и, встав по стойке смирно, сделал два шага вперёд, к столу. Доктор удивлённо вскинул голову.

— Товарищ доктор. Вид у меня, конечно, кошкарный, и худой я не оттого, что плохо кормят, просто не в коня корм. Но, товарищ доктор, сдохнуть мне на этом месте с голой задницей, если я буду плохим бойцом. Да я любого, самого сильного врага зубами загрызу. Да я в любую щель, как мышшь, пронырну. Товарищ доктор, направьте меня в разведчики.

Санька набычил свою лобастую голову и, сделав ещё шаг, подошёл вплотную к столу.

— Товарищ доктор, не губите, не отлучайте от армии. Без армии мне форменная погибель. На меня и так девки не смотрят, а не буду солдатом—вовсе закроют.

Доктор, склонив голову набок, внимательно посмотрел Саньке в глаза, пожевал губами.

— Да, заявление серьёзное. Ты прав, паря, для нашего брата, мужика, это полный карачун. Ну, что комиссия скажет?—и он вопросительно, чуть улыбаясь одними глазами, посмотрел по обеим сторонам стола.

А комиссия тоже улыбалась, глядя на взъерошенного, с горящими глазами, худосочного призывника. Ещё раз пошептались и вновь одобрили закивали головами.

— Хорошо, призывник Гораздов. Последний твой довод был столь убедителен, что комиссия, в основном женщины, не смогла перед ним устоять. Благословляем тебя на службу. Но смотри, «богатырь», занимайся физкультурой, набирай вес и фигуру, а то действительно вид у тебя уж больно «кошкарный», как ты тут смел заметить. А уж куда тебя направить, такого шустрого, пусть воинские начальники решают. Думаю, найдут тебе дело.

— Благодарствуйте, товарищ доктор! Я не подведу, будьте уверены.

Санька развернулся и чётким шагом, шлёпая босыми пятками и по-строевому размахивая руками, вышел из кабинета.

Вид сзади был ещё страшней.

Направили его не в разведчики, а в сапёры. А попал он туда только потому, что «покупатель» от сапёров припоздал, и досталось ему то, что осталось.

Здоровый и брыластый капитан долго и кисло смотрел на Санькины документы, на Саньку, который стоял навтыяжку перед ним, набрав полную грудь воздуха, чтоб казаться здоровее.

— Да, хрен тебя задави, припоздал я. На тебе, Боже, что нам негоже. Ты воздух-то выпусти, а то грех случится. Чего такой чахлый?

— Да какой уж уродился, товарищ капитан.

— Ну, какой есть, такой и есть, переделывать поздно, хотя, я думаю, кое-что подправить в наших силах. Ладно, не горюй, боец, и запомни: в Красной Армии каждый должен быть орлом, независимо от роста, внешности и происхождения. Так что крылья не опускай. К службе пристроим. Ты в детстве из поджиги стрелял?

— Так точно, товарищ капитан. Чуток глаз не было. Вот посмотрите,—Санька показал синеватые пороховые точки на лбу.

— Значит, грому не боишься. Покажь пальцы!

Санька вытянул руки, пошевелил кистями.

— Хорошие пальцы, длинные, должны быть чувствительные. Отдам я тебя в роту минёров, там такие махонькие как раз к делу. Не бойсь, парнишка. Капитан Васюхин сказал, что из тебя боец получится,—значит, получится. Моё слово калёное.

...Когда Санька подполз к сырой кромке болотины, уже смеркалось. Быстро набрал три фляжки и уложил их под кочку. Немцы знали, что наши солдаты в это сумеречное время ходят по воду, и усилили огонь по ложбине. Правда, стреляли в таких случаях лениво, наугад, больше для порядка. Пули посвистывали соловьями над головой и, попадая в головки камыша, глухо чмокали, расшибая их в облако пушистой пыли. Затевать стирку в маленьких оконцах, где он набирал воду, было бесполезно, больше грязи наметишь. Кое-как, изогнувшись, он стянул сапоги, смотал портянки и засунул их за пояс на спине. Меньше воняют, хотя в болоте тоже духами не пахло. Сапоги обувать не стал и приткнул их рядом с фляжками. Пусть ноги отдохнут. Бочком-бочком двинул вправо и чуть вглубь, где кочки были повыше и позеленее. Руки стали проваливаться в грязь, быстро замкнули живот и колени. Санька тихо матерился, забираясь всё глубже в грязь и тину. Чёртово болото! Ну хоть бы маломальская ямка с водой. Уже крепко темнело, а главная задача не выполнена. Вскоре наткнулся на небольшой бочажок и, приткнувшись кое-как на корточках, быстро состирнул портянки.

Порядок! Темнота уже размыла контуры деревьев, но была ещё белёсой, по-летнему слабой. Главная задача была достигнута, и на душе у Саньки стало спокойнее. «Сейчас быстренько найдём сапоги с фляжками — и скоренько, скоренько обратным ходом».

Но, как известно, Бог шельму метит. Не успел он толком сориентироваться на свою схоронку, как услышал свист мины. «Едрит твою в маковку. Этого ещё не хватало. Сдурели они, что ли? Да сюда немцы сроду мин не кидали. Чего пустое болото молотить?» Первая звучно чмокнула метрах в двадцати. Следующая — примерно на таком же расстоянии, но правее. И пошло-поехало. Мины падали с методичностью маятника. Бьют вслепую, по квадратам. Это как игра в морской бой. Попал — не попал. Уже не маскируясь, Санька зайцем, зигзагами и прыжками, рванул к своей первой лёжке, угадывая по свисту, куда упадёт следующая.

И всё-таки не угадал. Когда до родных сапог осталось рукой подать, чуть-чуть, ну вот совсем рядом, он услышал свист и понял, что эта мина его.

Мама родная! В такие минуты хочется превратиться в штырь, в червячка, чтоб ввинтиться в землю, в глубь её спасительную.

Санька распластался в тонкий листочек, вдавив лицо, живот, колени в мягкую, податливую болотную сырость. Впереди резко треснуло, земля отдачей больно толкнула снизу по животу и одновременно гулким колоколом жახнула по голове. Но из памяти не выбило. «Вот это звездануло».

Какое-то время колокол тягуче гудел, и звук, нарастая и проваливаясь, давил на виски. Дум-м, дум-м... Дум-м, дум-м...

Полежав немного, стараясь не шевелиться, чтоб не расплескать этот звон по всему телу, Санька осторожно завожился, стряхивая с себя сырую землю. Приподняв голову, увидел вдалеке султанчики взрывов, но они были беззвучные, как в немом кино. Санька похлопал ладонями по ушам, внутри что-то пискнуло, и, словно вынырнув из глубокой воды, он услышал противный свист летящих мин, хлопки взрывов. «Вот паскуда. Чуть не накрыла».

Где же сапоги и фляжки? На том месте, у кривого заметного кустика, Санька обнаружил свежую воронку. Пошарив вокруг, он наткнулся руками на кусок обгоревшей кирзовой голяшки. «Всё. Плакали мои сапожки. Про фляжки и разговоров нет, этого барахла хоть отбавляй, а вот за сапоги старшина голову отгрызёт». Санька посидел между кочек, подводя итоги, и пришёл к выводу, что надо срочно двигать назад, пока в потерях числятся только сапоги с фляжками. Обстрел вроде прекратился, но чёрт их, фрицев, знает, что они ещё придумают. И чего взбесились? «Хорошо ещё наши молчат, а то тут такая

перепалка начнётся — ног не унесёшь. Вот это постирался Санёк...»

Санька на полусогнутых, пригибаясь, двинулся обратно. Голова немного гудела, во рту сохло, но таких колотушек он уже получал не один раз и знал, что это скоро пройдёт. Впереди послышался шорох. Санька присел на корточках, прислушался насторожённо.

— Санька, Сань...

Его кто-то тихо окликал. По голосу он узнал Ваську Наркова, напарника из сапёрного взвода. — Васька, это ты?

— Да я, я. Какой дурак ещё сюда полезет? — Васька, тоже пригибаясь, подошёл, сел. — Ну чего, живой, чудило?

— Да живой. Немного по башке трахнуло.

— А сапоги где?

— Тю-тю мои сапожки, и фляжки с ними. Голяшку обгорелую только и нашёл. А подошва к вам, наверно, улетела. Не видал, не пролетала?

— Пролетала, от тебя привет передавала. А портянки-то хоть постирал?

— Постирал. Вот только надевать не с чем.

— Ну и даст тебе Осипов. Как обстрел начался, так он по окопам бегал как ошпаренный. Грозился в порошок растереть. Ну чего, прачка Нюся, почпали до дому?

— Пошли. А кто ещё по воду ходил?

— А никто. Ты только ушёл, с тылу припёрли несколько бачков. Братва жирует. А ты-то хоть напился?

— Ага. Только вся вода снаружи.

Пригнувшись, они скоренько побежали в сторону наших окопов. Обстрел закончился совсем, и только одиночные пули иногда посвистывали то над головой, то где-то рядом. Санька на ходу обтирал с гимнастёрки и штанов липкую грязь, пытаясь принять хоть какой-то приличный вид. На подходе Васька окликнул передовой дозор, и вот они уже перевалились в крайний окоп.

Первым, кого они увидели, был старшина Осипов. Он стоял в надвинутой на лоб фуражке, а это не предвещало ничего хорошего. Когда он ругал солдат за всякие грехи и повинности, то всегда для свирепости надвигал на глаза головной убор, будь то каска или фуражка.

— Ну что, голубь, как слетал? Портянки чистые?

— Да как сказать, товарищ старшина. Можно считать, относительно.

— Я тебе сейчас отнесу. Сам целый? А где сапоги?!

— Всё в норме, товарищ старшина, цел как огурчик. А сапоги вражеская мина прямым попаданием разгромила.

Старшина помолчал, посвистывая через щербину в зубах и, подняв тычком пальца козырёк фуражки, махнул рукой:

— Ну, пойдём, боец Гораздов. Воспитывать тебя буду. А ты, Нарков, свободен.

Землянка освещалась тускло коптившим трофейным полевым проводом. Солдаты кто спал на нарах, кто сидел вокруг стола по центру землянки. Когда Санька вышел на освещённое место и остановился, оглядывая себя при свете, поднялся такой хохот, что повскакали даже спящие. Санька был во взводе свой человек. Не сказать, чтоб его особенно любили. Такие понятия больше подходят к мирной жизни. Скорее уважали. За разумную смелость, хватку и, пожалуй, больше за характер. На войне жизненные понятия и время так спрессованы, что человек нерешительный и слабохарактерный, будь он даже семи пядей во лбу, в острые моменты просто не успевает принять единственного и правильного решения. Санька же, сохранив с детства настороженность, цепкую злость и решительность, почти всегда действовал резко и уверенно, но никогда не хвалился этим. И это вызывало невольное уважение, хотя над ним часто посмеивались за его дикое упрямство.

И на этот раз многие знали про его дурацкую и опасную затею засветло идти на болото, но остерегать никто не стал. Если уж ему зашла такая блажь в голову, то отговаривать бесполезно. И вот, глядя на стоявшего посреди землянки Саньку с мокрыми портянками в руках, нельзя было не смеяться. Изгвазданный с ног до головы, с торчащими мокрыми и грязными волосами, он был похож на болотного чёрта, что живёт под корягами и которым пугают детей. Осипов обошёл его вокруг, оглядел сверху вниз и со скорбным лицом, обращаясь в воспитательных целях больше к бойцам, повёл допрос:

— Я запрещал тебе это делать, боец Гораздов?

— Так точно, запрещали.

— А тебе начхать на мои запреты, так выходит, будущий орденоносный боец Гораздов?

Санька помолчал, переминаясь с ноги на ногу, вздохнул.

— Выходит, так, товарищ старшина.

— Ну, тогда и мне начхать, в чём ты будешь ходить, мой разлюбезный боец Гораздов. Когда завтра тебе будут вручать медаль, одной чистой портянкой прикроешь срам, вторую наматываешь на голову, наподобие чалмы, и, как индус, выходи из строя. А медаль пусть тебе приколют прямо на голую боевую грудь. Идёт такой вариант?

— Да я что-нибудь до утра придумаю.

— Ну, ты думай, думай, душа моя, а я уже придумал. За нарушение приказа командира и преднамеренную порчу казённого имущества, в виде сапог и фляжек, будешь копать новый сортир в дальней траншее. А старый засыплешь, а то уже дышать нечем. Тебе всё понятно... орденоносец?

— Так точно, товарищ старшина.

— Ну вот и действуй.

Старшина ещё раз грустным взглядом оглядел своего непутёвого солдата, сморщил лицо, плюнул

и неторопливо пошёл из землянки. У выхода он приостановился, назидательно оглядел бойцов и, дабы закончить воспитательный процесс, сделал вывод из происшедшего:

— Посмотрю я на вас—и хорошие вы ребята, но дури в ваших головах... хоть отбавляй. И драть я вас буду как тех сидоровых коз, потому как война—дело сурьёзное, и жизнью, Богом вам данной, рисковать надо разумно. Это вам не с девками польки-бабочки плясать.

Он надвинул на брови квадратный козырёк фуражки и вышел.

Ни медаль получить, ни сортир новый выкопать Саньке в этот день так и не пришлось. Медаль он получил позже, в госпитале, а сортир копал, видимо, другой грешник, и скорей всего—на том свете. А дело обернулось вот каким боком.

Пока Санька в землянке рассказывал свои похождения, на правом фланге обороны поднялась такая стрельба, что все повыскакивали в траншею. Как позже выяснилось, не зря немцы лупили минами по болоту. Это был отвлекающий шум. В это время, разминировав в наступившей темноте проходы по краю болотины, немцы задумали группой прорыва пробить оборону и занять господствующую высоту на сопке, чтобы оттуда ударить в тыл расположения полка. Хотя передовое охранение в сумерках и заметило наступление, но русский мужик так уж устроен, что пока не получит по сопатке, не расшевелится. Да и длительная оборона немного расхолодила. В общем, пока чухались, немцы местами ввалились в передовую траншею. И пошла молотёба.

Комвзвода младший лейтенант Кузовлев коршуном свалился в середину стоявших в траншее сапёров и тонким голосом, неумело матерясь, пошёл всех к месту боя:

— Тудыт вашу растудыт... чего рот раззявили? Бегом по траншее. Не видите, фрицы прут? Старшина! Где старшина?

— Туточки я, товарищ лейтенант.

— Я рванул с ними, а ты здесь подчищай по норам всю наличность—и тоже туда. Понял?

— Понял, лейтенант, я живо.

И старшина, нырнув в глубину траншеи, мгновенно исчез. Кузовлев, потыркавшись в спины бегущих по траншее бойцов, и решив, что ему, командиру, неприлично бежать последним, вымахнул наверх. Спотыкаясь о корни деревьев и всякое барахло, разбросанное по земле, он побежал, не пригибаясь, во весь рост, размахивая автоматом.

— Давай, давай, ребята, быстрее выходи из траншеи, за мной, давай...

Санька, в суматохе отлетев от чьей-то спины, придавил солдата из боевого охранения, стоявшего в стрелковой ячейке.

— Ты чего, свистун, бодаешься? А ну пошёл наверх! Команды не слышал? Устроили тут свалку-моталку.

— Да я не вылезу, высоко.

— А я тебе помогу, милоч,—и, схватив Саньку за загривок и галифе, солдат выкинул его, как котёнка, за бруствер.—Давай, орёл, шевели броднями. А сапоги-то где? Потерял со страху, что ли, защитничек... хренов?..

Санька упал на четвереньки, перевернулся и, быстро подскочив, рванул вдоль траншеи.

На босу ногу бежалось легко, и он скоро догнал младшего лейтенанта. Некоторое время они бежали рядом, и Санька слышал, как лейтенант, запалённо дыша, повторял чуть слышно про себя: — Давай... ребята... давай, давай... братцы... вперёд...

Ишь ты, «браток». И слово-то какое вдруг вспомнил, как припекло.

Кузовлева Санька откровенно не любил. Пришёл он во взвод недавно, когда уже стояли в обороне. Пришёл сразу после ускоренных курсов младших лейтенантов. Успели их там чему научить или нет, сказать трудно, но в сапёрном деле он был полный дуб. Он всё делал неумело. Неумело командовал, неумело матерился, неумело курил, давясь и кашляя. Москвич, работал на заводе каким-то начальником, то ли мастер, то ли бригадир. В Москве, известное дело, и дворник для России начальник. Был на брони, но потом заводшико прикрыли, его пристроили на курсы—и прямым ходом на фронт. Попал он явно не в свою среду. Сапёры в основном—деревенские мужики, кроты. Народ грубый, обхождению не обучен. Попытался поначалу командовать невпопад: «На пра... На ле...»—но его мужики втихушку послали пару раз куда следует, и он это неинтересное дело бросил. С взводом спокойно и рассудительно управлялся старшина. От греха подальше, младшему лейтенанту выкопали отдельную землянку, и он сидел там безвылазно, как сыч.

Иногда к нему навевдалась землячка, тоже москвичка, Женечка. Фунфыристая такая медсестра из санбата. Говорила нарастяжку, с подпевом, по-московскому. Девка бедовая, пулям не кланялась, но солдат держала на дистанции, по плечiku не похлопашь. Общалась только с офицерами. Кузовлева звала по-свойски—Игорёша. Кушала Игорёшино пайковое печенье, курила его папиросы и иногда, под настроение, пела ему, салонно подвывая, длинные классические романсы: «Гори, гори, моя звезда...»

Младший лейтенант, видимо, так и думал всю войну просидеть в своей землянке и слушать Женечкины романсы, а тут на тебе—немцы чего-то припёрлись. Так без них хорошо было. Вот и рванул как поджаренный. И солдаты сразу

«братцами» стали. Тоже мне, отец-командир. Ходуля московская.

Впереди, метрах в пятидесяти, в траншее слышались короткие автоматные очереди, крики, маты. Неожиданно со стороны болота ударила длинная пулёмётная очередь. Немцы засекли бегущих на подмогу бойцов и пытались пулёмётным огнём отрезать их от места прорыва. Кузовлев резко толкнул Саньку в плечо, и тот слетел юзом, на боку, в траншею. Винтовка больно ударила стволом по затылку. Больше лейтенанта он не видел. Перепрыгивая через лежащих на дне траншеи людей, Санька побежал вперёд, что-то крича и распалая себя криком. В этом лихорадочном сумасшествии рёва и стрельбы в нём вдруг оглушительно вспухло, обжигая всё внутри, одно звериное, тупое желание ударить, вцепиться зубами и рвать на куски. На бруствере поднялась в прыжке фигура немца, и он с ходу выстрелил с руки в упор по этой фигуре. Немец мешком свалился вниз, головой перед ним, и Санька, перехватив винтовку, ударил его один раз, как дубинкой, по каске. Схватил отлетевший немецкий автомат и стал стрелять длинными, неэкономными очередями по наступающим. Ствол задирало вверх, и, крепко ухватив его руками, он прижимал автомат, посылая очереди низко по-над землёй. Автомат скоро замолчал, Санька бросил его за бруствер и, подхватив свою винтовку, рванул по траншее дальше.

Всё происходило как в жутком сне. Мелькали тени, глухо хлопали то одиночные выстрелы, то трескучие автоматные очереди, кто-то кричал, матерясь, и захлёбываясь собственным матом. Выскочив из-за поворота траншеи, Санька вдруг налетел на ослепительную вспышку. В правое плечо и бок тупо ударило, его крутануло на месте, и, потеряв ориентир, он стал падать в глубокую яму, хватаясь руками за что-то зыбкое и горячее. Падал долго-долго, ослеплённый вихрем искр, впивающихся в мозг, глаза, и задыхаясь от нестерпимой жары.

И нет той яме ни конца ни края...

Ранение было тяжёлое. Автоматной очередью, как швейной машинкой, прострочило плечо и правый бок. Операцию он не почувствовал, долгое время был без сознания, да и потом, вернувшись из небытия, от слабости и большой потери крови почти постоянно спал. Иногда просыпаясь, Санька в мутной полудрёме видел каких-то людей вокруг, его кормили, куда-то несли, поили лекарствами, но окружающий мир был в зыбком тумане, и люди были с одинаковыми лицами, не запоминающиеся, будто промелькнувшие в окне вагона. Он пытался сосредоточиться, но сил не было, и Санька вновь проваливался в тягучую и болезненную муть сна.

Сны приходили с навязчивой постоянной определённой, почти одни и те же. Часто во сне его распинали, как Иисуса Христа, на каком-то бревне и забивали гвозди в плечо, но только с одной, правой, стороны. И хотя было больно, и гвозди огненными жалами впивались в тело, он спокойно осознавал, что всё так и должно быть, и душа его не металась от страха.

В детстве Санька видел у старушки-соседки маленькую, но очень чётко выписанную икону, на которой Иисус Христос был изображён распятый на кресте, маленький, иссушенный и скорбный. Несмотря на всю жуть детского восприятия от прибитого гвоздями человека, Санька запомнил спокойные, ясные, не замутнённые страданием глаза Бога.

Но ему же должно быть больно!!

Санька спросил у бабушки, почему Богу не больно и Он не кричит. Бабушка Надя объясняла ему, что Бог пошёл на муки сознательно, дабы своими стараниями искупить все тяжкие людские грехи. А когда человек знает, за что он страдает, он не боится и переносит муки спокойно.

«...И мне тоже больно, мне очень больно, и меня прибивают гвоздями, моё тело терзают, оно стонет, но я спокоен, потому что так должно и быть... Я мужик, я солдат, я защитник... Я защищаю свою мать, Родину, и, кроме меня, их некому защитить... И я тоже беру на себя их страдания... Я мужик, я защитник...»

Мысли растекались, перемешивались со сном, обволакивая душу, боль притуплялась, Санькино дыхание выравнивалось, и только иногда лёгкий стон прорывался, коль вновь забивали гвозди в его беззащитное и истерзанное тело и они жалили, как огненные стрелы.

И ещё часто снились мать и сёстры, стоящие в чёрных одеждах. Они стояли полукругом, скорбно склонив головы, как на похоронах, и молча смотрели на лежащего Саньку. Он пытался им объяснить, что он ещё жив, он не умер, его не надо хоронить, он только ранен... Но женщины не слышали его, и лица у них были скорбны. Мать, укоризненно покачивая головой, тихо шептала губами: «Санька, Санька... Что ты опять натворил... Эх, Санька, Санька...»

— Раненый, раненый, просыпайтесь.

Санька открыл глаза. По губам легонько постукивали ложкой.

— Просыпайтесь, засоня, царство небесное проспите. Обедать пора.

Перед Санькой сидела ослепительной красоты девушка. Рыжеватые пушистые волосы, подсвеченные сзади солнцем, золотистым нимбом обрамляли розовое курносое личико. Серые глаза смотрели приветливо, и в них прыгали смешинки.

— Ты кто?

— Я Саша, нянечка ваша, принесла вам кашу и буду вас кормить, потому что вы ещё слабый, двигаться вам нельзя, а есть можно и нужно. И вообще, пора просыпаться, потому что, говорят, вы спите уже вторую неделю,—она выпалила всё это на одном вдохе и, озорно наклонив голову, широко улыбнулась.

— А я тоже Саша, Саня. А почему я тебя раньше не видел?

— А я новенькая. Я студентка и между лекциями буду дежурить у вас нянечкой. Сегодня вышла в смену первый раз и буду вас кормить. Вопросов больше не задавайте, рот раскрывайте и кушайте кашку. Видите, как вы меня утомили, я уже стихами говорю.

— Не надо меня кормить. Я сам буду.

— Сам, сам. Сам—это который с усам. А у вас усов нет. Рано вам ещё самому. Лежите, как барин, и наслаждайтесь женским вниманием. Такая симпатичная девушка за вами ухаживает, а вы ещё капризничаете. Правда я симпатичная?

Такого напора Санька не ожидал. Он густо покраснел и не знал что ответить. Вот чёртова девка. От смущения разозлился.

— Симпатичная, несимпатичная—какая мне разница? Ладно, корми, раз пришла.

Без аппетита и не разобрав даже вкуса еды, он немного поел, и Саша, утерев ему губы кусочком бинта, ушла. Вновь захотелось спать, но Санька, преодолев привычное желание, приподнял голову и увидел сидящего на соседней кровати черно-голового, лобастого и носатого парня, который, ухмыляясь, смотрел на него дружелюбно и весело.

— Ну шо, очухался, герой стреляный? Вижу, шо очухался, глаза проявились. А то всё были мутные, как у варёного судака. Ты никак столярм до войны был? Всю башку мне какими-то гвоздями занозил: «Бьют гвозди, бьют...»

— Да это я так, во сне. А почему герой?

— Потому шо пока ты лежал и думал, помирать тебе или нет, тебе тут медаль приносили. А потому как в таком тусклом виде ты всё равно не ощутил бы радости правительственной награды, её унесли и сказали: пусть сначала одыбает, а потом и наградим героя.

— Ты никак начальник наградного отдела?

— Та ни. Я Яшка Штальбаум, твой одноногий сосед, тоже герой, но, в отличие от тебя, не награждённый.

Санька повёл глазами и увидел, что парень сидел, опираясь на костыли, и одна нога выпирала обрубком под полый халата.

— Укоротило, значит?

— Та это ещё шо! Ты бы на мою задницу посмотрел. Голый ужас. Как пашня не боронённая. Всю перепахали фрицы поганые. Я связист, а у нашего брата, связиста, самая незащищённая часть—это задница. Немцы, наверное, думают, шо нам их

бронируют, и лупят, гады, изо всех орудий по ней, как по главной стратегической цели. Вот и не уберёт. Наверное, бронебойным саданули. Ну ладно, ты лежи тут, осматривайся, а я пойду ещё на Сашеньку погляжу. Она как сегодня утром зайшла в палату, так самые дохлые доходяги ушами зашевелили. Счастливчик ты. Таку гарну нянечку тебе прикрепили. Вот радости-то будет, когда она тебе утку принесёт! — Яшка подмигнул своим чёрным бесовским глазом и шустро застучал костылями по проходу.

Санька, ворочая головой, огляделся. Стал вспоминать, что смутно, в бреде и полусне, он уже видел эти стены и расписанный трещинами потолок. Палата была расположена в школьном классе. На дальней стене висела чёрная школьная доска с нарисованным мелом Гитлером, удавкой подвешенным за непотребное место. Не перевелись ещё живописцы на Руси. Разномастных коек стояло штук двадцать. Раненые в основном, видимо, тяжёлые, так как ходячих почти не видно. Слева, на соседней кровати, лежал небритый пожилой человек с запрокинутой головой и закрытыми глазами. «Может, уже помер? Да нет, кадык на шее шевелился, и веки иногда коротко вздрагивают одними ресницами». Санька быстро устал и уже начал придрёмывать, но тут вновь прискакал Яшка на своих стукалках.

— Ну, Санёк, хороша Маша, да не наша. На одноногого несчастного еврея и не смотрит. Нет уж, милая моя, мы ещё своё возьмём, дайте только срок.

— Да уж, с одной ногой ты много возьмёшь.

— Тю, дурной. Та при чём здесь нога? Я гляжу, Сашок, ты кацап дремучий и мыслишь по-кацапачьи. Мужик не ногами силён, а головой. Та ты же не понимаешь, шо наш горемычный российский еврей тем и силён, шо из любой пиковой ситуации себе выгоду выкраивать умеет. Вот рассуди. Я тут пока лежал, так всё, как в Госплане, по полочкам разложил. Во-первых, я живой, шо, заметь, немаловажно в такой заварушке; во-вторых, война для меня уже закончилась, и ни одна паскуда по мне и по моей героической и израненной заднице больше пулять бронебойными снарядами не будет. А частичное отсутствие одной ноги я с успехом перекрою двумя умелыми руками. Я же часовщик и в этом деле разбираюсь, как равнин в талмуде. Мой папа, дай Бог ему здоровья на сто лет, учил меня этому с самого безоблачного детства. Он говорил мне: «Яша, сынок мой богоданный. Человек поймел необходимость знать время сразу после того, как слез с дерева. Обратно он туда не полезет, это уж точно, поверь мне на слово. А это значит, шо часы ему будут нужны, пока существует цивилизация. Из этого выходит, шо наша профессия вечна, как мир. Учись, сынок, не будь лайдаком, а не то я, как интеллигентный человек, буду пороть тебя каждый день после завтрака».

— Ну и порол?

— Ещё как. И после завтрака, и после ужина, и после обеда, на десерт вместо сладкого. Спасибо папе. Но ремесло в руки дал, за шо я ему безмерно благодарен, ещё раз дай ему Бог здоровья.

Яшка поудобней уселся на скрипучей кровати и, подбив тощую, набитую ватой по скромным военным нормам подушку, мечтательно поднял к небу глаза.

— Да, Санёк, я из трёх консервных банок и тележного колеса могу любой хренометр собрать, — оживился, крутанувшись на кровати. — Вот у тебя есть часы?

— Нет и никогда не было.

— Жаль, но не беда. Я подумаю та штой-нибудь тебе скомбинирую. У меня тут есть кой-какого хламу. Будут тебе часики. А хошь, я тебе покажу настоящие часы? Часы с большой буквы!

Яшка порылся в глубине своего необъятного халата и вытянул за цепочку массивные карманные часы. Осторожно положил Саньке на ладошку и нажал какую-то кнопчку. Крышка открылась, послышалась чистая серебряная мелодия. Санька, приподняв голову, посмотрел на циферблат и увидел, как по краю его плавно двигалось кольцо с непонятными знаками.

— А это что за закорючки?

— Балда, то не закорючки, а знаки зодиака. Каждому месяцу соответствует свой знак. Ты вот в каком месяце родился?

— В ноябре.

— Так, значит, твой знак... Скорпион. Вот он: видишь, какая бекарасина?

— Надо же.

— Заметь, шо стекло у них хрустальное, а ход рубиновый. Вот видишь гравировку на внутренней стороне крышки? Здесь написано, шо изготовил их в тысяча восемьсот девяносто седьмом году мастер из Кёльна Гуттберг. Это часы штучной работы. Я их выменял за махорку у одного охлобуя. Он таскал их в вещмешке, вместе с мылом и портянками. Бродяга. Та им же цены нет. Ты посмотри, какая гравировка!

Яшка защёлкнул крышку, и мелодия умолкла. На выпуклой матово-серебряной крышке тонкими чёрными штрихами, в обрамлении сложной готической вязи, был изображён замок на лесистом холме. Детали выписаны так мелко и чётко, что проглядывались даже оконные переплёты.

— Да, хороша машинка. Как же она ему досталась?

— Говорит, нашёл у разбитой немецкой легкопушки. Какой-то генерал ехал. Генерал вдребезги, а часы идут. Во техника! — Яшка аккуратно завернул часы в тряпочку и спрятал внутри халата. — Ну, понял, шо такое настоящие часики? А ты говоришь — нога. Та сейчас братья-славяне с войны навезут столько всякого часового хламу — до скончания века работы хватит и с одной

ногой. Та я ж по работе такой соскученный, всему Советскому Союзу часы отремонтирую. День и ночь буду работать.

— А родители живы?

— Та, слава Богу, пока живы. Мой мудрый папа, как гроссмейстер, на тыщу ходов всё вперёд рассчитал. Вот уж Соломон так Соломон,— почесал в затылке.— Можя, и я на старость лет таким же мудрым буду, на что глубоко надеюсь,— ещё раз почесал, вздохнул.— Вообще-то вряд ли. Мой папа, говорят, и в молодости умным был, не то шо я, пройдак. Ну та ладно, слушай. Но я, пожалуй, шоб тебе було понятней, начну от сотворения мира. Так вот, наш несчастный и вечно гонимый еврейский народ и не вымер полностью только потому, шо прошёл естественный отбор. Ты знаешь, шо такое естественный отбор? Не знаешь. Ну так это... если попроще, для тумачков... это когда в вечной борьбе за существование выживают только умные. Во как я завернул! А от них такие же и рождаются. Еврейские дураки давно уже все вымерли, как мамонты. За ум евреев и не любят. Как какая новая власть появляется, так первым делом шо? Правильно говоришь— бей жидов. А зачем их бить? Их к делу приспособить надо, они же у-умные. А всё потому, что умные опасней дураков. А значит, бей их, пархатых, шоб другим неповадно умничать було. Вот ты скажи: ты евреев любишь? Тока правду, без булды.

— Да я и не знаю. У нас в Сибири они не водятся. Татары живут, хакасы, хохлов много, а с евреями я как-то не очень.

— Ну вот и правильно. Зачем умный еврей будет жить в холодной Сибири, когда можно прекрасно проживать и на юге?

— Значит, евреи умные и живут в тепле, а в Сибири одни дураки остались? Здорово у тебя выходит.

— Вот видишь, и ты уже начинаешь нас не любить. Ещё немного— и заорёшь: «Бей жида Яшку по курносому носу»,— И Яшка, смешно скосив один глаз, посмотрел на свой крючковатый массивный нос.— Ну, давай ори.

— А чего мне орать? Живи ты... где хочешь. Я уж тут поглядел разных краёв, так лучше нашей Сибири и нет. Там моя родина, так что мне и там хорошо. — А моя родина— Жмеринка. Есть там недалеко райский уголок, местечко блажное. Бог себе оставлял, та потом пожалел еврея и ему отдал. Ух и место! А как сады зацветут...

Яшка резко замолчал, прилёг на кровать и, запрокинув руки за голову, долго лежал, уставившись в потолок. Санька понял, что в своих воспоминаниях он глубоко копнул и зацепил за больное. Вряд ли на Украине скоро сады зацветут. Ладно, пусть помолчит, расстроился парень.

Прошло несколько дней, как Санька вернулся из бредового небытия. Сменные нянечки, баба Нюра,

Мария Васильевна кормили его из ложечки тёплым бульоном, сёстры ставили уколы, и Санька помаленьку вживался в госпитальную жизнь. Яшка целыми днями мотался по палате, сосед слева, так и не приходя в сознание, умер, и кровать оставалась пустой. Санька заскучал и невольно поймал себя на мысли, что думает о Саше. Вот уж, правда, чёртова девка, влипла, как смола, в голову. Вечером он попросил Марию Васильевну написать домой. Писать письма Санька не любил, да, честно говоря, и не умел, а тётя Маша на этом нехитром деле так напрактиковалась, что всё написала сама, спрашивая только имена да степень родства. — Ну вот, милоч, всё и прописала. И что ранен ты легко, и что у тебя всё хорошо, а сам написать не смог, так то, что рана в руку. Чего мать лишний раз беспокоить, у ней, небось, и так душа-то поизболелась. Вечор и кину в ящик. Ещё надо чего? — Мария Васильевна, а где Саша?

Мария Васильевна заулыбалась, собрав морщинки у глаз.

— Ну вот, раз про девок спрашивашь, значит, на поправку пошёл. Экзамен сдаёт ваша коза-дерева, скоро будет. Мне твой дружок Яша уже все уши продундил: где да где?

— Да я так поинтересовался.

— Вот и он так. Ну ладно, я пошла свои дела доделывать, а ты лежи, милоч, поправляйся.

— Спасибо, Мария Васильевна.

— На здоровье, сынок. Надо чего будет— кликнешь, я туточки.

Ночью раны грызут и ноют сильнее, и к утру бок так разболелся, что уснуть Санька уже не смог. Ночная палата госпиталя, где собрано столько страданий и боли,— жуткое дело. Кто стонет, кто храпит, а кто и довоёвывает свою недовоёванную войну, вскрикивая в тяжёлых снах. Война калечит человеческую душу глубже и тяжелее, чем тело. Раны— что, заросли да и забылись, а осадок из страха, жестокости и кошмаров военной мясорубки оставляет в мозгу такие рубцы, что никаким временем не залечишь. Вот и страдают живые люди с калеченой душой, продолжая в сонном забытии ходить в хоженные уже атаки и убивать уже убитых врагов. Вчера после обеда пожилой полковник, военком местного военкомата, вручал раненым награды. Вручили и Саньке его «Отвагу». Осторожно повернувшись, он пошарил рукой на тумбочке, положил медаль на ладонь и долго-долго смотрел на металлический кружок, тускло поблёскивающий в темноте. И радоваться вроде бы надо, награда как-никак, а грустно на душе. Вспомнились дружок закадычный Васька Нырков, старшина Осипов, ребята из взвода. Знал их, кажется, всю жизнь. Вспомнил и понял, что уж больше никогда их не увидит. А младший лейтенант Кузовлев так и остался у траншеи, срубленный

пулемётной очередью, от которой уберёт Саньку. Вот тебе и «ходуля московская». Мог бы и сам увернуться, так нет, его, дурака полоротого, спасал.

«Прости меня, лейтенант, если сможешь. Пусть твоя душа упокоится...»

Что стало с остальными, он не знал. В госпитале ребята говорили, что после неудачного прорыва немцы устроили там такую бомбёжку, что перемесили в месиво всё, вместе с песчаными холмами и болотом, и, пожалуй, мало кто уцелел в той огненной каше.

— Ну, где тут наш герой? А я и не знала, Саня, что ты такой отважный. Поздравляю. Молодец. Ну, как дела, орлы с насеста? Чем занимаетесь?

— Да так, ничем. Вот с Яшей всё про жизнь толкуем.

— Ну, толкуйте, толкуйте. Только ты, Санёк, особенно его не слушай. Научит чему непотребному. Жук тот ещё.

— Ну вот от вас уж никак не ожидал, Шурочка. Так долго вас не было, я так страдал, а вы пришли — и сразу обижать, — Яшка скукожил оскорблённую мину. — Та я ж с полной душой к нему. Он парень молодой, неискушённый, вот я ему и толкую, шо та как в той жизни.

— Вот-вот. И хорошо, что неискушённый. А вы, Штальбаум, его испортите. Я вижу, какой вы ловелас, всё нашим девочкам головы морочите. И не надо такие большие глазки делать. Может, неправда? Мне вы что говорили на ушко, а?

Яшка хмыкнул, и, крутанувшись на костыле, шустро запрыгал по проходу.

— Ох, черноглазый, — Саша покачала головой. — Не слушай его, тёзка, балованный он девушками.

— Да ладно тебе. Что я, маленький? Чего ты меня учишь? Тоже мне училка. Чего пришла?

— Ишь ты, сразу раскипятился, как холодный самовар. Чего пришла, того и пришла. Я к нему с поздравлениями, а он, неблагодарный: чего пришла? Дай-ка посмотрю бинты, доктор сказал — на перевязку тебя.

Саша присела на кровать и, приподняв одеяло, наклонилась, рассматривая повязку. У Саньки аж голова закружилась от нежного запаха молодой и симпатичной девушки. Господи, да так же без пули умереть можно. Злость на Сашу за обидные нравоучения моментально прошла, и её маленькое розовое ушко с капелькой серёжки вызвало такой неожиданный для него приступ умиления, что сердце заныло от непонятной и сладкой боли. Саша возилась с бинтами, слегка придавив Саньку грудью, и, глядя в упор на её курносый профиль, Санька почувствовал, как его лицо предательски загорелось ярким пламенем. «Стыдоба-то какая — распылался, как девица».

Саша, окончив осмотр, прикрыла одеяло и, посмотрев на Саньку, приложила руку ко лбу.

— Гораздов, у тебя опять температура.

— Шурочка, это у него от вас температура, — оказывается, Яшка уже стоял сзади, заглядывая через плечо. — У меня вот тоже за сорок прыгнуло от вашего присутствия.

— Ох, Штальбаум. Вы неисправимы. Вот закачу вам снотворного, чтоб не прыгали, как молодой петушок.

— Шурочка, имею к вам вопрос. А почему вы Сашка на «ты» называете, а меня на «вы»?

— А потому что он неиспорченный и симпатичный парень, а с вами надо ухо остро держать. «Вы» — это дистанция безопасности.

— Ага, понятно. Значит, вам он милей, чем я. А Яшку, значит, можно и по шее. Вот всегда так: чуть шо, так Яшку по шее. Ну а насчёт того, чтоб усыпить меня, так не придумали ещё такого снотворного, чтоб я впал, як тойдохлый курёнок. Слаба ваша медицина. А вот вам бы я порекомендовал не стеснять молодого человека неосторожными прикосновениями вашего прелестного бю... фигуры, в общем.

Саша смутилась, вспыхнула румянцем и быстро ушла.

Яшка возбуждённо потер руки:

— Ага, порядок. Один-один. Боевая ничья. Побеждала дружба. Но, честно вам признаюсь, молодой человек, от таких девушек я дурею, как молодой дятел. А ты шо ж скраселся? Нет, конечно, понимаю. Если б меня так нежно примяли тем местом, та я вообще б в головешку превратился. Санёк, а ты с девушками целовался?

— Да иди ты, страдатель. Целовался, не целовался. Конечно, целовался.

Это было откровенное враньё. Никогда Санька ни с кем не только не целовался, но и рядом не ходил. Для девушек он не представлял никакого интереса. Угрюмого и насторожённого, с неказистой малорослой фигурой, парня шансов понравится девчонке почти не было. Глядя на своих сестёр с их фырканьем и каверзами, Санька считал девушек исчадием коварства и зла, и ничего хорошего в своей и так нелёгкой жизни от женского племени он не ожидал. Какое уж там целование! От вранья и неопытности Санька покраснел ещё больше. Искушённый Яшка понял это сразу и тут же плеснул масла в огонь:

— А Сашенька, похоже, в тебя влюбилась. По уши и враз. Ишь как оглаживает, даже завидно.

— Да ладно тебе. С чего ты взял?

— Так все в палате говорят. Вон, Мишка Мукасей, — Яшка показал костылём на угол палаты, — хочет от ревности из клизмы застрелиться. Говорит, что полюбил всем сердцем нашу Сашу, а она только тебе знаки внимания оказывает.

— Врать ты, Яша, будь здоров. Ты лучше про своего умного папашу расскажи.

— Вот застрелится Мишка, ты под трибунал пойдёшь. Смотри, смотри, какую ему здоровенную

клизму понесли. Как гаубица. Такая одним выстрелом ползвода положит,—Яшка проследил взглядом, как нянечка несла по проходу большую, красной резины, клизму с чёрным блестящим наконечником.—Ох, Санёк, бедовый ты парень.

Яшка улёгся на кровать, пристроив костыль под обрубок ноги, запахнул полы халата и, подложив руки под голову и глядя в потолок, немного помолчал, вспоминая.

—Да уж, папа мой—мудрец. Ну ладно, жених, слушай.

Яшка долго молчал, прикрыв глаза, вспоминая. Встряхнулся...

—Когда немцы оккупировали Польшу, мой несравненный папа помрачнел и замкнулся. Вообще-то он человек весёлый и общительный. Мама в молодости не раз плакала от его излишней общительности, особенно с женским полом. А тут—ша, ни песен, ни басен. И вот как-то в апреле сорок первого, вечером, когда детей уложили спать, а у меня ещё брат с сестрой, двойняшки, им тогда было по девять лет, он позвал нас с мамой на кухню, усадил и повёл такую речь: «Как человек интеллигентный и грамотный, я долго думал и пришёл к печальному выводу, что война с Германией неизбежна и случится это в самом скором времени. Для такого вывода не надо быть Соломоном, надо просто в два глаза читать газеты и иногда в два уха слушать радио, но при этом не ловить мух, а думать головой, коль Всевышний вложил туда мозги. До границы рукой подать, и как бы ни была сильна Красная Армия, я думаю, сразу Гитлера она не остановит. А от германца еврею ждать добра не стоит, как и от любой новой власти. А посему такое моё решение. Нам с Яковом, как мужчинам, придётся идти на войну, а тебе, Соня, с детьми надо отсюда уезжать. Не делай, пожалуйста, испуганные глаза, но поплакать, как женщина, немного можешь. У меня в Кирове живёт старый и добрый друг, и я ему отправил кой-какие небольшие сбережения, с просьбой присмотреть подходящую халабуду на временное проживание. Вчера получил от него ответ, ты видела, Соня, тоё письмо. Он написал, шо выполнил мою просьбу, и шоб не устраивать цирк за твой уезд, о том, что у тебя заболела любимая тётя по линии бабушки Фриды, мы скажем по секрету только Шапирам. Я думаю, денька два-три они вытерпят, и всё местечко за тот секрет будет знать, когда вы уже уедете. Шо дети не доучатся в школе, это не страшно, они у нас и так умные. И ещё слушайте сюда. Сейчас пойдём в сад, и я вам покажу место, где заховаю мой инструмент на той случай, если придётся уходить. Он мне достался от папы и от дедушки, и я не могу допустить шоб такая ценность была разграблена».

Яшка вздохнул, поправил подушку и, закрыв глаза и упокоительно сложив руки на груди, продолжил:

—Вот так рассудил мой мудрый папа. Мама уехала, война началась в предсказанный им срок, мне пришла повестка в военкомат, и ты знаешь—ведь он пошёл вместе со мной. Я отговаривал его как мог, ссылаясь на возраст, болезни, но мой не очень патриотически настроенный папа сказал мне: «Яша, сынок, я хотя и немолодой, но мужчина, и я должен защищать мою семью и мою Родину». Его, конечно, признали негодным к строевой службе, но он пошёл добровольцем, и его, как часового мастера, направили в минноторпедную мастерскую Балтфлота. Вот оторви мне, Сашок, вторую ногу, шоб я мог представить себе в похмельном бреду моего папу в бескозырке. Та он когда на улице встречал матроса, то быстренько переходил на другую сторону дороги, ввиду того шо в молодости, пережил еврейский погром революционных матросиков-анархистов. И вот тебе гримасы судьбы: мой папа—матрос. Гольй ужас!

—А он знает про твои дела?—Санька кивнул на ногу.

—Да, я ему сразу написал, шоб он маму осторожно оповестил. Сам побоялся писать.

—Ну и куда ты теперь?

—Поеду к своим, в Киров. Мама ждёт.

Через два дня, ночью, Яшка умер. Утром сестра стала его будить на процедуры, а он холодный. Потом сказали, что оторвался послеоперационный тромб и что-то закупорил в сердце. Смерть была лёгкая, во сне. Много видел Санька всяких смертей—и героических, и глупых. Война есть война, и человек ко всему привыкает. Но чтоб вот так, в тишине и покое, на чистой постели... Смерть Яшки показалась ему противоестественной и до слёз обидной. Ну разве ж так можно?

Эх, Яша, Яша. А собирался всему Советскому Союзу часы отремонтировать. Видать, судьбу не обманешь.

Любовь и смерть на войне рядом ходят, и Яшкин неожиданный и по-военному непонятный уход из жизни хотя и огорчил Саньку, но ненадолго. Рядом была Саша, Сашенька. Он прекрасно понимал, что о взаимности и речи быть не может. Такая красавица и умница—и он, простреленный коротышка. Но Сашенька для него была открытием. Жизнь человека вся состоит из открытий. Добро и зло, любовь и ненависть впервые приходят неожиданно и удивительно. Вот и в его жизнь Сашенька пришла как фея из сказки, возникла вдруг в ярком солнечном свете, лёгкая и пушистая, озорная и недосыгаемая. Неужели есть девушки красивей? Он ловил её взглядом, когда она входила в палату,

узнавал по звуку шагов, мучительно краснел и тупел, когда она с ним разговаривала.

Какое же, оказывается, это чудо—женщина!

Санька уже вставал и потихоньку двигался по палате. Раны заживали плохо, дышать приходилось насторожённо, чуть-чуть, малыми глотками. Часто наваливался тяжёлый и надсадный кашель, и из глаз летели искры от боли при каждом резком движении. По ночам лихорадила температура, внутри всё горело и пекло липучим жаром. Саша из дому принесла банку мочёной брусники, и Санька пил кисленький морс, сбивая температуру. В палате появилось много других тяжелораненых, и Саша была занята, но в свободное время она часто прибегала к Саньке, и они болтали, вспоминая детские игры, довоенную жизнь. Иногда, к своему удивлению, Санька ловил на себе лёгкий, чуть касательный и, как ему казалось, ласковый взгляд Сашиных серых глаз.

Ох уж эти глаза! Они и радовали, и настораживали. «Нет, нет и ещё раз нет! Несерьёзно это всё. Ну на черта я ей нужен? Хотя, с другой стороны,—думал Санька долгими госпитальными ночами,—а чем я хуже других? Не такой уж и замухрышка. Ростом я её не меньше, ну а что лицом—так мужики, как обезьяны, почти все одинаковы. Откровенные красавцы редко встречаются. Девушка строгая, неизбалованная. Живёт с бабушкой, мать умерла, когда она была ещё маленькой, отец—военный, с первых дней на фронте. Тем более что, оказывается, она тоже сибирячка, жила в Новосибирске, и в этот городишко, к бабушке, переехала всего два года назад. Чем чёрт не шутит—а вдруг я и вправду ей нравлюсь?» Сомнения драли Санькину душу, как собаки старую кость.

Однажды Саша, где-то к вечеру, заговорщицки шепнула Саньке, чтобы он прошёл в процедурную. Сердце вздрогнуло от сладких предчувствий: «Неужели?»

Когда он зашёл, в комнате сидели нянечка, Мария Васильевна, и сестра-хозяйка, пожилая и грузная тётя Сима.

—Заходи, Саня. Вспомнили сегодня что-то дружка твоего, Яшу, да вот и решили помянуть. Хоша он и не нашей веры, а всё ж Божья душа,—захлопотала Мария Васильевна.—Садись. Как у них, у иудеев, помянут, мы с Симкой не знаем, так помянем его по-нашему, по-православному. Шурочка, и ты рядом устраивайся. Вот так, рядком да ладком.

Саньку усадили на жёсткой медицинской кушетке, Саша присела рядом, слегка прижав его боком. Близость её, сидящей рядом, тепло её бедра и необычность обстановки разволновали Саньку так, что где-то внутри он почувствовал лёгкий мандраж. Тётя Сима достала из шкафчика небольшую мензурку спирта, а вместо рюмок выдала всем медицинские банки.

—Ну что ж, помянем, не чокаясь, раба Божьего Якова, не знаю, как его по батюшке, царства ему небесного. Хороший парень был, весёлый. Всех наших девок тут перемаял, несмотря что калека. Пусть земля ему будет пухом,—Мария Васильевна махом опрокинула баночку, покачала головой, занюхала выпивку рукавом халата.—Ну а вы что сидите, гаврики? Помяните дружка своего, чтоб ему легче на том свете пребывалось.

—Да я и не пила никогда спирт, он крепкий такой, опьянею ещё,—Саша держала свою баночку, смущённо оглядываясь на застолье.

—Да чего там пить—капочку и плеснула. Набери воздуха, выпей да и выдохни. Водичкой запей. И делов-то. На вот хлебушка на закусь.

Саша набрала воздуха, проглотила спирт и, вытаращив глаза, замахала руками.

—Водички ей, водички. Вот и всё. Ну как, соколом али колом пошла?

У Саши из глаз потекли слёзы, она жевала хлеб, мотая головой и судорожно хватая воздух.

—Какая гадость. Как можно пить такой яд?

—Вот так и мучаемся, милая. Слёзки-то вытри. Раз поминки, грех не выпить. Положено так по-православному.

Саша вытерла слёзы, пожевала кусок хлеба. Подперев по-бабьи щёку, горестно вздохнула.

—И я недавно Яшу вспоминала. Ругала вот его, что он за девчонками волочится, сердилась, когда он с разговорами всякими приставал. И вот нет его. —Ну дак чо ругать-то? Молодой был, вот и липнул к девкам. Эх, где наша молодость. Вы вон какие хорошенькие сидите. Как два огурчика. А, Симка, чо молчишь? Забыла уж, поди, когда к тебе парни приставали?

—Дак каки там парни, Маня, Господи, вспомни-ла. Тоже мне молодка. Тут не знашь, как до дому доплзти,—тётя Сима давно уже управилась с выпивкой и беззубо мусолила корочку.—Ладно, Маня. Засиделись мы. Помянули Яшеньку, царствие ему небесное, и пойдём ужю. А вы, ребята, ещё посидите, поговорите. Эх, Шурочка, мужика бы тебе такого, как Саня. Нравится он мне. Не смотри, что ростом мал,—кремень мужик. За таким—как за каменной стеной. Я-то уж знаю, со своим тетёхой намучалась, прости меня Господи. А ты знаешь, Саня, чего она, дурочка, удумала? Она же на фронт собирается.

—Как на фронт?—он растерянно посмотрел на Сашу.—Ты... на фронт?

—Да ладно вам, тётя Сима, уже и разболтали. Саня, я тебе потом всё расскажу.

Санька смотрел на Сашу, ошеломлённый неожиданной новостью. От выпивки щёчки у неё покраснелись, как маков цвет, и она сидела, потупив взгляд. Бабушки быстренько засобирались и пошли. Закрывая дверь, тётя Сима украдкой озорно подмигнула Саньке.

Оставшись вдвоём, они долго сидели молча. Что в таких случаях делают, Санька не знал, да и неприятная новость совсем сбила его с толку.

— И кто тебя надоумил на это дело?

— Мы всем курсом написали заявления.

— И много вас, таких дурочек?

— Саня, не говори так. Ты не имеешь права так говорить. Мы не на вечеринку собрались! Ты же воюешь. Медаль вон получил.

— Вот то-то и оно, что не на гулянку. А я имею право так говорить—хотя бы потому, что знаю, что это такое. Глупая, там же смерть кругом и рядом ходит. Там маты, там вши, грязь. Дети вы, дети, куда вас несёт? Да никакая медаль не стоит и капельку твоей жизни.

Он представил себе это Божье создание в промёрзлом окопе, среди стрельбы, грохота и воя мин и снарядов. От ужаса такой картины Санька потряс головой, отгоняя дурные мысли.

— Саша, милая, послушай меня, остановись, не делай глупости. Учись, пока есть возможность, пусть мужики воюют.

Саша встала, и, повернувшись к нему, положила руки на плечи. Долго молча, слегка наклонив голову, глядела Саньке в глаза, и он почувствовал, что её взгляд проникает в самую потаённую глубь. Он тоже медленно поднялся и стоял, опустив руки, не зная, что сказать и как себя вести. Сказал пересохшим от волнения голосом:

— Саша... я думал... ты не понимаешь...

— Эх, Санёк, Санёк. Это ты ничего не понимаешь, воин мой отважный. Не одолеть вам войну без баб. Это уж факт,—Саша обняла его за шею, прижала к себе.—Ты хороший... ты самый хороший... я... И молчи... молчи...

Её горячие губы заслонили Саньке весь мир, всю его прошлую жизнь, войну, эти стены, солнце, всю Вселенную... И осталась только одна она... она... его Саша, Сашенька...

Прошло несколько дней. Саша не появлялась, и душа Санькина изболелась от дум, как остановить упрямую девчонку. И сколь ни думал, а пришёл к неутешительному выводу, что все его уговоры будут бесполезны. «Эх ты, мать честная, не оставишь ведь тебя, глупую». Он на миг представил себе размоленную осколками её золотистую головёнку, и озноб продрал по коже. «Ах ты ж, Шурочка-дурочка, ну истинный Бог, дурочка. Им бы, свиристелкам, в войнушку поиграть. И я тут со своей медалью, чтоб она провалилась. А сколько их без медалей в землю зарыто, она, глупая, не видела. А сколько их, девчонок желторотых, в первом же бою срубило. Им бы жить да жить, детей рожать, мужиков любить, а их пулями да осколками в куски».

Санька вдруг почувствовал себя старым, усталым и мудрым мужчиной рядом с этой беззащитной

пушистой белочкой, и вместе с тем острое чувство беспомощности давило оттого, что он не может защитить, закрыть её собой, как это делают родители, безоглядно защищая своих детей

— Здравствуй, Саня! А я прощаться пришла. Всё, завтра отправляемся.

Саша стояла строгая, незнакомая, в гимнастёрке и зелёной юбке. Вместо пышной золотистой гривы—короткая стрижка, делающая её похожей на мальчишку. Серые глаза грустны и тревожны.

— Прости, Саня, и прощай. Может, я и полюбила тебя, не знаю. Не время сейчас разбираться. Я долго думала: возможно, ты и прав. Ты опытней меня, много уже испытал, но я не могу сегодня по-другому. Война, Санёк, и надо воевать, а я не мышь, чтоб в норе сидеть. Не грусти, выздоравливай, не забывай меня и пиши.

— Куда ж тебе писать, боец ты мой сероглазый?

— А так и пиши: «Действующая армия, Саше Зыряновой».

— Ну и ты мне пиши: «Действующая армия, Сане Гораздову».

— Ладно, Саня, напишу. Ну всё, я пошла, а то расплачусь. Не поминай лихом, Санёк.

Сашенька, не стеснясь раненых бойцов, поцеловала его долгим поцелуем, вышла на середину палаты и, помахав рукой на ходу, звонко крикнула всей палате:

— До встречи на фронте, ребята! Выздоровляйте!

Ну вот и всё. Ушла...

...Живи, Саша.

Зима 1944 года на Украине выдалась на редкость тёплая и сыкатная. Всё утонуло в вязкой и липучей грязи вперемежку со снегом. Муха была, а не зима. После освобождения Киева 1-й и 2-й Украинские фронты так удачно пробили немецкую оборону и двумя клиньями глубоко врезались в тыл, что около десяти немецких дивизий оказались практически окружёнными.

Завязывалась Корсунь-Шевченковская операция.

Санька, подлечив своё героическое ранение, отлежавшись на чистых госпитальных простынях, встретив и потеряв свою первую любовь, попал как раз в самую заваруху. Сапёру на войне всегда работа найдётся. Отступаем—свои мины ставим, наступаем—немецкие выковыриваем. А хрен редьки не слаще. Что так смерть за спиной, что так. Унемецких, правда, паскудства больше. Они народ европейский, грамотный. Разве русский может такую стерву придумать, чтоб она, как чёрт, подпрыгивала и плевалась осколками? Много народу этими сучьими «лягушками» попортило. И бьёт, подлюка, понизу, по самым уязвимым

мужским местам. Если и жив останешься, то отцом можешь и не быть.

Однако на передовую Санька не попал. Ранения считались тяжёлыми, и его вместо передовой направили в группу второго разминирования. При быстром продвижении войск так обычно и делали. Сапёры первого эшелона проскочили, дороги прочистили — и дальше. А уж потом начинается капитальная чистка. Санька поначалу обрадовался. Надоело на пузе ползать, стёр, поди, уже наполовину о фронтовую землю.

Но когда расчухал, что это за работа, радость поутихла. Хотя и пули над головой не так часто свистят, но шансов гробануться оказалось поболее. Немцы в этих местах стояли долго и так успели землю и всё, что на ней находится, изгадить и напичкать всякой взрывчатой дрянью, что и плюнуть некуда. Только человек может так изощряться в способах уничтожения себе подобного.

Народ во взводе был в этих делах опытный, и Санька быстро научился разгадывать фрицевские загадки. На пару с ним работал татарин Юсуп Гилялетдинов, с рыжей сучкой по кличке Дуня. И собачонка-то так себе, шавка. На улице встретишь — и пнуть не жалко. Но умная и хитрющая, как и всё бабье сословье. Кто её тренировал, неизвестно, но, кроме запаха на взрывчатку, её натащали и на запах спиртного. Как она чуяла стеклянные бутылки, только её собачий нос знает. Стекло же не пахнет. А может, и сама сообразила, что от неё требуется, кроме основной работы, потому как после каждой удачной находки она получала еды поболее и повкусней. Санька не знал этих фокусов, и когда однажды она отметила место и, покрутившись задницей по земле, вдруг побежала к Саньке, он не понял.

— Дуня, место, место!

Собака, по правилам, должна дожидаться инструктора и только тогда осторожно отойти в сторону.

— Да не ори ты, — Юсуп подошёл к Саньке сзади, хлопнул по плечу. — Он правильно своё дело делает. Пойдём, покажу.

Нисколько не осторожничая, он быстро подошёл к тому месту, где крутилась Дунька, немного погрёб кучу мусора от обвалившейся стены избы и вытащил несколько бутылок.

— Ну вот, Дунь, молодец, Дунь, будешь сегодня тушёнка жрать. А мы будем вино жрать. Чего там Аллах послал?

А послал им юсуповский Аллах, две бутылки французского «Камю» и бутылку шампанского. Хороший у него Боженька, не хуже нашего.

Бывали и осечки. Отмечала она как полные бутылки, так и пустые. Юсуп её не ругал, и свою порцию Дунька получала сполна, чтоб не нарушать учения товарища Павлова об условных рефлексах. Юсуп учёных трудов знаменитого физиолога

не читал, так как был абсолютно неграмотным, и объяснял это по-своему, как истинный татарин, перевирая все падежи и склонения:

— Он не человек, он не понимает. Ему сказали — ищи бутылку, он и ищет. А пустой бутылка или полный, это уж наше дело, — и, поглаживая собаку по голове, ласково приговаривал: — Умный Дуньк, умный, как мой баба. Я дома, бывало, уж как только бутылку ни прятал, а он всё равно найдёт. Умный баба, Соня зовут.

Кроме умной бабы по имени Соня, у него было ещё два сына, Рустем и Хаким. Всю жизнь проработав конюхом в деревне, где-то в глуши Казанской области, грамотой он не владел, ни русской, ни татарской, и жестоко страдал от этого. В их деревне был один, надо сказать, странный грамотей, который почему-то писал ему письма от жены, используя татарские слова, но написанные русскими буквами. Иногда при громкой читке получались такие словосочетания, что мужики падали от хохота. И Юсуп обижался. Он забирал письмо и молча уходил в сторону. Долго сидел, вглядываясь в неведомые ему закорючки, сопел обиженно, вздыхал. Прохочотавшись, письмо благополучно дочитывали, мир восстанавливался, так как Юсуп был человеком абсолютно незлобным и добрым и по-своему пересказывал, что там творилось в Казанской губернии.

Когда он писал ответ, хохоту было не меньше. Чтобы полней изложить свои мысли, он тоже просил писать русскими буквами татарские слова. Ну как русский человек может русскими буквами передать татарские мысли? Слушая, что в итоге получалось, братва закатывалась до икоты, а Юсуп злился и ругался ещё больше:

— Ты чего же написал, шайтан? Он не поймёт, шапку я новый получил или я уже убитый. Напугаешь бабу. Он у меня человек чувствительный, песни жалобный умеет петь. Какой ты, Санька, дурной. Не можешь по-человечески написать, чего мой голова думает. А ещё грамотный. В школе надо было лучше учитель слушать, а не в носу ковырять. — Юсуп, ну не сердись. Если бы я в татарской школе учился — другое дело. Я твои слова и говорить-то не все могу, не только написать. Да не горюй ты. Раз письмо есть, значит, жив. Соня твоя и так от радости прыгать будет. А в шапке ты или без штанов, ей не так уж и важно. Главное, живой и всё на месте. А придёшь после войны — и сам расскажешь, как ты тут французский «Камю» кружкой хлебал, как бражку. Эх, Юсупка. Выжить бы, а уж рассказывать потом будет что.

Они сидели на бревне, привалившись к облупленной стене сарая. Солнышко пригревало, и местами земля, оттаявшая от снега, парила духмяным ароматом навоза, огорода и чего-то остро домашнего, отчего щипало в носу и хотелось тихо поплакать. Юсуп, откинув голову, закрыл глаза,

и только веки чуть подрагивали. Мыслями он был там, на своей родной татарской родине, и видел жену, сыновей, степь свою бескрайнюю, с холмами и увалами. Санька, поглядывая на него искоса, попросил:

— Юсуп, чем грустить, спой-ка лучше свою «дрын-дрын», а то что-то скучно стало.

Это был коронный номер Юсупа и всегда пользовался неизменным успехом у публики. Юсуп, не открывая глаз, поднял заскорузлые пальцы ко рту и, слегка перебирая ими по губам, медленно начал напевать тихо, про себя:

— Дын-дырырын-дын-дын-дын... Дыра-а-а... Дын-дын-дын-дын...

Слов не было. Юсуп считал, что петь он не умеет, а значит, и нечего слова песни портить. Да и зачем слова? В песне душа требует мелодии, ритма. А ритм был — то плавный, повторяющийся, то рваный, с неожиданными остановками. Звук всё усиливался, ритм ускорялся. Он уже притопывал ногами, и вдруг, вскочив, Юсуп пошёл кругами, выворачивая то ступню, то колено:

— Дын-дырырын-дырырын-дын-дын-дын...

Он поднимал то правую руку, то левую, наклонив при этом голову, и парил, словно орёл над степью. Солдаты, окружив его, встали широким кругом, прихлопывая в такт, а кто и приплясывая на месте. Юсуп, закинув руки за спину, как крылья, кружился в своём языческом танце, и что-то вольное, непокорное, оставшееся от Золотой Орды, летевшей диким хороводом над древней Русью, завораживало людей. Саньке казалось, что он никогда не остановится и эта пляска будет вечной, как вечна Земля и вечен человек на этой Земле.

...Но рядом гибли люди. Умирали, не докружившись в своём танце жизни. Умирали с недоумением: неужели это всё? Но так не должно быть! Не должно!! Может, природа ошиблась? И, не получив ответа, человек уходил, унося с собой недоумение...

Работы было много, очень много. Хотя немцы, при всей их цивилизованной изощрённости, надо сказать, всё-таки народ шаблонного склада ума. И методы их минирования тоже были в основном шаблонные, хотя встречались и оригинальные пакости. При разминировании колодца погиб пожилой солдат Мохов. Что-то недосмотрел. Часто подрывалась деревенская пацанва. Несмотря на строжайшие запреты, они из любопытства, а больше, пожалуй, от голода, шарились в брошенной немецкой технике и всяком хламе, вытаивающем из-под снега. И гремели взрывы.

Санька всю войну был в основном на передовой, среди солдат, и мало видел жизнь мирного населения. Голодные и оборванные дети, забитые и запутанные женщины и старики вызывали в нём иногда приступы такой злобы на войну, фашистов

и весь этот неустроенный, расшатанный мир, что внутри что-то заклинивало, и он, замыкаясь, отгораживался от людей и реальной жизни. На войне так часто бывает с людьми, и опытные фронтовики знали, что в такие периоды не надо к человеку лезть в душу. Пусть сам переломается. Санька, замыкаясь в себе, работал до изнеможения. Работал как автомат, с обострёнными чувствами опасности и логики. Уловив принципы немецкой пунктуальности, он старался смотреть на окружающую обстановку глазами немецких минёров и шёл по их следам, безошибочно повторяя их работу в обратной последовательности. Усталость давала хоть какое-то удовлетворение и постепенно глушила злость, успокаивая душу сделанной работой.

Юсуп почти всегда имел в запасе что-нибудь спиртное от Дунькиных находок. Человек по натуре непосредственный и отзывчивый, он жалел Саньку, видя, как тот мается. По вечерам, когда уже темнело и работа останавливалась, он осторожно подсаживался к Саньке и ворчливо ругал его:

— Саньк, ну ты чего? На, выпей немного, размочи душу. Нельзя так, сгоришь. Пустой будешь внутри, плохо будет. Глаза у тебя злой, как у собаки. Как жену, детей ласкать будешь? Война ещё длинный, жизнь длинный, силы надо беречь. Вот возьми лошадь. Он животный умный и понимает: если дорога длинный — надо силы беречь. А когда ему плохо, у него глаза грустный, а не злой. А у тебя злой. Выпей, Саньк.

— Эх, Юсуп. Не помогает мне выпивка, — Санька помолчал, уперев глазами землю. — Юсуп, ты вот мне скажи: почему жизнь такая злая? Почему люди такие злые? Почему люди войну придумали? Зачем убивают друг друга? Ты посмотри, что кругом делается. Зачем немцы к нам пришли? Что, они жили плохо, голодали, у них не было одежды? Они нас убивают, мы их. Кому всё это надо? Ну скажи, кому?

— Войну, Саньк, шайтан придумал. Он по свету бродит, людей разума лишает, и они не знают, что делают. Вот. И ещё жадность. У животных жадности нет. Он накушался и доволен, лишнего ему не надо. А человек по натуре жадный. Всё ему мало. Дай ему больше, больше, пока не лопнет. Всё это от шайтана. Мулла как говорит: «Убей в себе порок — и будешь праведник». А людям легче друг друга убивать. Потому и война... Я так думаю.

Быстрые наступления и прорывы, принося славу полководцам, создают на фронтах порой такую кашу, что и сам чёрт не разберёт. Растянутый на большие расстояния фронт зачастую оставлял тылы практически незащищёнными, а то и вообще брошенными, без средств передвижения, переправ и управления. Санькин сапёрный взвод, работая по разминированию световой день, двигался по

ночам от деревни к деревне, от посёлка к посёлку по расхристанным и перемешанным дорогам. Замотанные солдаты спали урывками, как попало, иногда во время вынужденных остановок, а то и просто на ходу. Ночью взвод вышел к речке Сухой Ташлык. Может, жарким летом этот Ташлык и был сухой, но сейчас разбухшая река катила свинцовым бугром, упиравась изгибом в подмытый берег. Как её форсировать, никто не знал. А перебираться надо. Было строгое указание двигаться вперёд без остановок.

Командир взвода старший лейтенант Тертычный долго ходил где-то по начальству, пытаясь выяснить насчёт переправы, и пришёл злой и грязный, как чёрт.

Всё его славное воинство спало вповалку. Лежали кто где приткнулся, словно сражённые разом наповал. Тертычный закурил и, присев на край телеги, с грустью смотрел на своё поверженное войско. Умаялись ребята вконец, которые уже сутки не спят. Старший лейтенант и сам был чуть жив. Эх, ёлки-палки! Завалиться бы сейчас под кустик минут так на... На сколько, Тертычный думать не стал, потому как за войну превратился в такого пессимистичного реалиста, что и самому противно. Дурные мысли из головы вон. Была одна команда: вперёд, без промедлений. Хватит, наотступались назад! Фронт и так вон уже куда отмахал.

Вот это прорыв так прорыв. Чесанули немцам по соплям — опомниться не могут. Вперёд так вперёд, вот только как? Не стая ворон, через реку не перелетишь. Тертычный бросил папиросу, прыгнул с телеги и с хрустом потянулся.

— Славяне, подъём!

Никто и не пошевелился.

— Подъём, ребята, война ещё не кончилась.

Сонно зашевелились. Ездовой Василий Матвеевич Фанеев, во взводе его звали дед Фаня, пожилой уже мужик, встав на четвереньки, долго мычал, раскачиваясь.

— Вставай, вставай, Фанеев, шевели гузном. Твоя Семёрка уже давно проснулась, удилами гремит, в бой просится.

Семёрка, старая сивая кобыла, единственное транспортное средство взвода, стояла, уныло опустив голову, чутко не доставая отвислой нижней губой до земли.

— Товарищ старший лейтенант, да куда идти-то? Переправы нет. Вплавь, что ли?

— Куда, куда. Не закудыкивай. Начальник штаба на карте показывал брод километрах в трёх ниже по течению. Туда и двинем.

— Товарищ старший лейтенант, да какой там может быть брод? Река в самом разливе.

— Разговорчики, Михалёв. Умный шибко. Сказано — брод, значит, брод. Тут переправы до морковкиных не дождёшься. А там посмотрим, может,

чего и получится. Вплавь так вплавь. Вас как будто всю войну через реки на теплоходе «Москва» переправляли. И всё, кончены разговоры. Выходь на дорогу... скороходы.

Санька спросонья долго тыкался, спотыкаясь на колдобинах, пока вышел на колею. От реки тянуло сыростью. Туман густым молочным одеялом плотно висел над землёй, напивтая одежду холодной влагой. На ходу достал чистое полотенце и, обмотав его вокруг шеи вместо шарфа, застегнул телогрейку на верхнюю пуговицу. Встряхнувшись, как собака, и отгоняя остатки тягучего сна, Санька зашагал, звучно чавкая сапогами. Взвод вытянулся редкой цепочкой, и в тумане, разлитом плоскими языками, проглядывали то головы, то ноги идущих понуро бойцов. Невидимая впереди Семёрка иногда брякала уздой и фыркала, шумно вздыхая. Санька от мерной привычной ходьбы начал придрёмывать, спотыкаясь, тыкаясь и мотая головой.

Шли долго. Где этот брод и сколько ещё идти, он не задумывался. В армии, а особенно на войне, отучают думать. Если каждый солдат думать будет, тогда это не армия получится, а Академия наук. Солдат по команде живёт, а копь нет команды, иди и сопи в рукавичку. Так размышляя и придрёмывая на ходу, шагал орёл-боец Гораздов вдоль незнакомой речушки Сухой Ташлык. Чтоб она провалилась, эта река-речушка. Чуть сзади было слышно чавканье сапог и мерное дыхание.

Санька, ещё раз встряхнувшись от сна, решил это дело перекурить. В тумане была видна высокая сторбленная фигура. «Вроде лейтенант. Стрельну-ка я у него папироску. Офицеры недавно паёк получали, а он мужик нежадный». Санька остановился, дожидаясь, пока он подойдёт, и помотал ногами, отбрасывая с сапог налипшую грязь.

Когда он поднял голову и раскрыл рот, чтоб завести разговор про курево, глаза у него полезли на лоб. Перед ним стоял живой немец, в блестящем чёрном клеёнчатом плаще и в пилотке, натянутой на уши. Глаза его, блёклые, чуть не зелёные, были ещё шире Санькиных. Несколько секунд они стояли, оторопев, друг против друга, и вдруг немец молчком кинулся на Саньку. Здоровый мужик в плечах, да и в рост головы на полторы выше. «Вот так покурил, Санёк. С таким боровом как раз покуришь на том свете». Поскольку он в грязи, они упали, и немец как-то сразу всей тушей навалился сверху. Санька, неудачно изворачиваясь, залепил себе глаза рот и нос липкой глиной. Обхватив Санькину шею руками, немец пытался задушить его, но обмотанное полотенце и застёгнутая на верхнюю пуговицу телогрейка не давали ему возможности дотянуться до шеи. Санька, поняв это, ещё больше втянул голову в плечи. От немца пахло гороховым супом, одеколоном и вонючим табачным перегаром. «Похоже, что кранты, задавит ведь, зараза». Санька лихорадочно рвал руками

на немца его клеёнчатый плащ и, зацепив большим пальцем за карман, с треском распустил полу донизу. И вдруг рука наткнулась на рукоятку ножа на поясе у немца. Ухватив покрепче, он вырвал нож из ножен и коротко ткнул немца в бок. Тот, как-то странно икнув и отталкиваясь от Саньки, попытался подняться, но Санька ударил его ещё и ещё раз, уже в низ живота. Немец дико заорал и, свалившись на бок, согнулся в поясе, прижимая руки к животу. Санька ткнул его ещё несколько раз куда-то в грудь и, вставая на четвереньки, завозился, доставая из-за спины винтовку. Передёрнул скользящий от грязи затвор, выстрелил в воздух.

— Немцы, немцы, — хрипло пытался кричать, раз за разом дёргая затвор и стреляя.

Вдали послышался шум, коротко треснул автомат, по звуку, похоже, «шмайссер», потом глухо хлопнуло несколько винтовочных. Послышались крики, топот ног. Санька упал на землю, быстро отполз в сторону от дороги. Топот приближался, и он увидел лейтенанта и с ним Витьку Михалёва.

— Товарищ лейтенант, я тут.

Тертычный с Витькой подбежали, топая. Санька лежал совершенно обессиленный, весь залитый кровью вперемешку с грязью.

— Гораздов, ты живой? Кто стрелял? — лейтенант, наклонившись, стал поднимать Саньку. — Где ранило?

— Да нигде. Это я стрелял. Вон немец лежит. Тут немцы, наверное, кругом. Куда мы зашли? Немцы здесь, товарищ старший лейтенант!

Витька, помогая лейтенанту, поставили Саньку на ноги.

— А чего весь в крови? Тебя ранило?

— Да это его кровь. Чуть не задавил, боров. А там впереди кто стрелял?

— И сам ещё не разобрался. Откуда тут немцам взяться?

Послышались тарыхтение телеги, шум голосов. Лейтенант, размахивая руками, закричал:

— Здесь мы, здесь! Давай сюда!

С грохотом подъехал на телеге дед Фаня, подбегали, выныривая из тумана, сапёры.

— Ну что, все целы? Немцев видели?

— Да кто-то резанул из автомата в тумане, мы в ответ, и опять тихо. Может, ушли, а может, где и прячутся.

Лейтенант стянул с лежавшего немца автомат, поднял из грязи нож, весь в крови.

— Это ты этим его?

— Этим.

— Так как же ты на него напорлся... или он на тебя?

— Да мы шли вместе.

— Как вместе?

— Ну, он сзади сопел. Идёт и идёт. Я думал, это вы, остановился, хотел закурить, а он на меня и бросился.

— А чего же не кричал?

— А чего кричать? Он молчит, а я что, баба — верещать на весь базар? Да и некогда было, боролись мы.

— Ну ты погляди-ка на него — борец. Цирк тут, что ли? А если бы он задавил тебя?

— Ну так на войне каждый день — если бы да кабы. А я приучен с детства сам себя защищать.

— Ишь ты какой. А скажи-ка, Аника-воин, чего же ты отстал? Уснул?

— Да вроде и нет. Шёл, дремал помаленьку. Да я думаю, он тоже кемарил на ходу. Такие же бродячие, вроде нас. Вот и столкнулись. Недоразумение вышло.

Тертычный аккуратно обтёр нож о плащ немца, покачивая на ладони, подумал немного и протянул его Саньке.

— Возьми, Гораздов, трофей на память. Завоевал в бою. Характерный ты мужик.

Ещё раз внимательно оглядевшись, он подозвал к себе Витьку Михалёва.

— Михалёв, заberi у фрица документы, отведи взвод ближе к берегу, и займите круговую оборону. А я втихую пошукаю кругом, определюсь на местности.

Передав Витьке свой автомат, он повесил на шею «шмайссер», выдернул у немца запасной рожок из-за голенища сапога, сунул его за пояс и нырнул в туман. Санька с трудом поднялся, подошёл к лежащему немцу. Не было у него на душе ни злости, ни жалости к лежащему на земле человеку, только что убитому его руками. Постоял молча, потом бросил рядом нож, повернулся и пошёл, не оглядываясь, к берегу.

Взвод расположился в кустах на бугорке почти у самой воды. Лейтенант, хотя и успокоился, никого не обнаружив поблизости, всё-таки выставил посты, а остальным приказал до рассвета дремать пару часов. Однако, несмотря на смертельную усталость, у бойцов сон как рукой сняло. Только Санька сидел, привалившись спиной к колесу телеги. Всё тело ныло, руки и ноги были как ватные. Подошёл Юсуп, присел рядом.

— Ну что, Саньк, живой?

— Да живой, ноги только гудят, и руки не поднять. Перетрудился, однако.

— И как ты такого жеребца уделал? Здоровый фриц.

— Не знаю, Юсуп. Я же говорил, по недоразумению всё вышло. Сильно жить, наверно, захотел. Много в моей жизни было всяких недоразумений. Ты знаешь, я и родился недоношенный. Мать так и звала меня: недоразумение ты моё...

— Ну, тогда не горюй. Недоношенные, говорят, живучие. Сто лет тебе жить. Ну, ты дремани немного, отдохни. А я пока похожу тут покараулю. Как бы чего не вышло, ещё какой-нибудь недоразумений.

Юсуп подсунул Саньке под голову свой вещмешок, кряхтя, поднялся, поддёрнул винтовку на плече и пошёл, сторбатившись, с трудом поднимая ноги в стоптанных сапогах. Дунька семенила за ним, тыкаясь острой мордочкой в полы шинели.

Санька, прикрыв глаза, смотрел ему вслед с неожиданным для себя и удивительным чувством детского умиления и нежности. «Хороший ты мужик, Юсупка. Да и вообще все люди кругом

хорошие. И жить хорошо. Сидеть бы так долго-долго...»

...Засыпая, он сладко засопел.

Солнце, медленно выходя из-за реки, топило полосы тумана, и он оседал мокрой пылью на Санькином курносом носу. День разгорался. Ещё один день на Земле.

Что он принесёт людям?..

ДиН РЕВЮ



Ариадна Рокоссовская

Утро после Победы

Москва: «АСТ», 2019

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АСТ публикует книгу журналистки Ариадны Рокоссовской «Утро после Победы». В ней собраны интервью с детьми и внуками легендарных советских полководцев: Георгия Жукова, Ивана Конева, Александра Василевского и многих других. Воспоминаниями поделилась и сама Ариадна, правнучка маршала Константина Рокоссовского — участника Московской, Сталинградской и Курской битв, командовавшего Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

Книга рассказывает о личной жизни великих военачальников: их домашнем быте и семье, характере и привычках, увлечениях и взглядах на жизнь — всё том, что остаётся невидимым за увешанными десятками орденов мундирами и парадными портретами. Также здесь описаны неоднозначные периоды их жизни: суд над Рокоссовским по обвинению в связях с польской и японской разведками, опала Жукова и его отношения со Сталиным, закулисные игры Великой Отечественной войны и ошибки командования.

«Утро после Победы» — это истории людей, для которых война была частью детства и взросления, чьи отцы и деды решали судьбу Родины и вели её к победе. Несомненно, в условиях войны и советской политики только с ними — своими детьми и внуками — легендарные советские маршалы могли быть настоящими. Серия интервью, проведённая Ариадной Рокоссовской, откроет читателям

доступ в тот мир, куда был заказан вход кому бы то ни было, кроме самых близких. Наталья Ивановна Конева, дочь маршала И. С. Конева, написавшая предисловие к настоящей книге, отмечает:

«Сегодня читают и смотрят кино, размышляют о войне, но то, что для одних — документальная хроника, для нас — живая семейная история. Названия битв, имена героев мы слышали с детства, в семейном кругу, наши отцы и деды часто возвращались к событиям — грозным, даже трагическим, но непременно судьбоносным как для них самих, так и для страны. Вспоминали за семейным столом, с друзьями, на прогулке, в совместных путешествиях по местам воинской славы. История ощущалась нами как часть нашей собственной жизни, а фотографии, письма, артефакты мы храним как дорогие реликвии. Храним и семейные истории, с которыми знаком лишь „ближний“ круг. Заслуга автора этого сборника в том, что читатель откроет для себя редкие сюжеты и их достоверность не случайна: Ариадна — „одна из нас“, и степень её погружённости в тему — особого рода...»

Об авторе:

Ариадна Рокоссовская — правнучка маршала Рокоссовского, журналист-международник, работала в агентстве ИТАР-ТАСС, на телеканале РТР, в «Российской газете». Специализируется на европейской политике, в частности — Польши и Германии.

Ирина Михайлова

Подвиг

Артём выводит буквы старательно, медленно, чёрточку за чёрточкой.

Перед ним образец — прописи, ещё оставшиеся с первого класса, и он смотрит в них, чтобы его буквы были хоть чуть-чуть похожи на те, что там. Но они не похожи.

Синие, кособокие, мелкие, одна буква залезла на другую, вместо «и» — сплошные палочки.

Он зачёркивает всё слово, злится, зачёркивает сильнее, нажимает на ручку так, что рвётся лист. Вырывает лист, мнёт его в белый с синими полосками комок и начинает писать заново.

Тетрадь разлинована ровно. Красные поля угрожающе близко. Он боится зайти за них, не успев перейти на новую строчку. Но успевает, переносит слово вовремя и тяжело вздыхает, словно от физической усталости.

— Не мельчи. Пиши большие буквы. Видишь, как здесь?

Рядом с ним — дедушка. Он бы не старался так, если бы не дед. С мамой не получается, с мамой — совсем другое. С мамой можно закапризничать, захалтурить и ничего в итоге не написать. Но дед... Дед — такого не прощает. Он сидит рядом и смотрит.

И Артём пишет, доводит букву до самой верхней черты, и когда получается — украдкой косится на деда. А дед следит за его рукой.

— Давай, давай, не останавливайся, строчка ещё не закончилась.

И Артём начинает писать быстрее. От этого сбивается, вздыхает, переворачивает страницу и начинает опять.

Артём сейчас в пятом классе. Его всё время ругают за почерк. В школе сложно. Там нужно писать быстро и понятно. А всё вместе не получается. Получается только что-то одно.

И в школе нет дедушки. Только одноклассники. И помочь — некому.

— Опять, посмотри, буква куда уехала, — говорит дед.

Артём смотрит — и действительно, линия перечеркнула букву ровно пополам.

— Букву любить надо и уважать. Она — живая. Если перечеркнёшь букву — это как человека. Мы на войне письма писали на коленках — и то старались.

Артём не понимает: как это — «любить»? Разве её можно любить? Вот маму, бабушку или деда — можно. Это другое дело. Их Артём любит, поэтому сидит терпеливо и выводит свои буквы.

Дедушка живёт с ним всю жизнь. Сколько Артём помнит себя — столько он помнит деда. Бабушку с мамой он тоже помнит. И папу помнит. Но они есть почти у всех его одноклассников. А вот дедушка есть только у некоторых. И у него. Поэтому это выделяет его, он — не как все. И когда спрашивали: «У кого есть дедушка?» — Артём поднял руку и обернулся. Всего несколько человек ещё подняли. И он был доволен.

Он тогда пришёл домой и сказал:

— Дед, тебя нет ни у кого. Только у меня.

— Ну конечно, только у тебя, — смеялся дед, — у кого же ещё!

— Нет, ну мама у всех есть и папа. А дед — только у меня.

— Ну прям уж не у кого? — всё смеялся дед.

— Только ещё Макс, Кирилл, Миша, Дашка и Толян руку подняли. И больше никто.

Дед как-то погрустнел. И Артём тогда ещё решил, что, может, ему нехорошо думать, что он такой редкий, что таких мало осталось. И он сказал:

— Ну, в других классах, может, есть. Я не спрашивал.

— А ты спроси, — подмигнул дед, — может, и правда только пять и осталось.

И засмеялся.

Всё это показалось Артёму странным. Дед то грустит, то смеётся. То радуется, что он такой один, то нет. Артём пожал плечами и решил, что не будет спрашивать.

А сейчас дед сидит рядом с ним и говорит, что буквы надо уважать.

— Ведь слово — что такое? — говорит он. — Это целая жизнь. Вот скажешь «лес» — и появляется твоя деревня. А «река» — и вспомнишь, как купаться с тобой ходили.

Да, купаться с дедом всё время ходили. И рыбу ловили. Всё лето — на даче. Один раз от мамы досталось и Артёму, и деду. Когда утром ушли, а пришли к обеду. Бабушка всю дачу оббегала. А они

сидели на их секретном месте, о котором никто не знал, и дед говорил:

— Рыба тишину любит. В той стороне реки людей много, рыба сюда и уходит. А тут—никого. Сейчас рыбы наловим!

— А почему о нём никто не знает? Ты же знаешь. — Ну—я!—и дед усмехнулся. — Я уже сколько живу! Всё знаю.

— Всё нельзя знать,—сказал Артём,—никто всего не знает.

Артём тогда боялся, что дед обидится. Но дед не обиделся.

Артём выводит слова «лес» и «река» много-много раз. Целую строчку.

Дед встаёт и идёт к окну. Уже темно—осенью темнеет рано.

Дед щурится, всматривается куда-то. Артём отвлекается, тоже хочет посмотреть в окно, узнать, что там.

— Куда ты смотришь?—спрашивает он.

— Никуда не смотрю. Пиши давай, и получаса не сидим.

Артём опять пишет. А дед всё смотрит в окно.

Артём часто так застаёт деда. Он словно бы спит, а сам смотрит в одну точку.

— Ну ты так долго будешь?—кричит ему тогда Артём.

Но дед поворачивается к нему не сразу.

— Что шумишь? Задумался я.

— Не задумывайся так,—говорит Артём,—мне не нравится, когда ты так задумываешься.

— Ну хорошо, не буду,—смеётся дед.

Дед вообще всегда смеётся. Он ничего никогда серьёзно не говорит. Скажет—а сам смеётся. Ответит—и смеётся. Артёма это ужасно раздражает. Он хочет, чтобы его воспринимали как взрослого, а не смеялись. И он злится на деда. А дед и этого как будто не замечает.

Только один раз дед не смеялся. Когда к нему пришли из журнала. Пришли разные люди. И старые, и молодые—всякие. Пришли—сели за стол—говорили. Долго говорили. И тогда дед был строгий. И Артём казался сам себе совсем ещё маленьким.

— Твой дед—настоящий герой,—сказали они Артёму.

— Почему?—удивился Артём.

— Он подвиг совершил. Что, неужели не рассказывал?

И Артём спросил вечером у деда:

— А ты какой подвиг совершил?

Но дед опять не ответил, а только отшутился:

— Какие все совершали, такой и я совершил.

Артём обиделся и решил больше не писать слова вместе с дедом.

Когда дед пришёл к нему в комнату, Артём не сел за стол, а лёг на диван и отвернулся к стене.

Дед молча подошёл к окну, сел на стульчик около и стал смотреть на улицу. Так и просидел положенный час, какой они обычно писали с Артёмом.

На следующий день было то же самое. Потом тоже. И всю неделю.

Дед не ругался—он никогда не ругался. Просто сидел, а потом уходил.

Через неделю Артём сдался. И когда дед пришёл опять—уже был за столом с тетрадкой.

Дед достал прописи и стал привычно смотреть, как Артём выводит букву за буквой. И привычно исправлять: «это не то, эта буква не туда ушла, эта вкось поехала».

Артём переписывал одно и то же слово опять и опять.

Это потом Артём узнал, что дед в конце войны на подступах к Вене один взял в плен двух немцев. А на следующий день, в разведке, засёк две огневые точки противника и дал целеуказание для их уничтожения.

Отец рассказал.

— А что такое «целеуказание»?—спросил Артём. — Цель, значит, верную дал,—ответил отец.

А ещё Артём узнал, что дед первым форсировал Малый Дунай, вёл неравный бой и вышел победителем. А потом принял на себя командование и продолжал бой. За что и получил Красную Звезду.

При жизни деда Артёму об этом не говорили.

Дед его никогда не хвалил—как бы Артём ни старался.

— Ты и так должен делать хорошо,—говорит он,—плохо делать не разрешается.

— Кем не разрешается? Тобой?

— А хоть бы и мной!

— А когда тебя не будет, то можно плохо делать?

— Когда не будет—тоже нельзя!

— А как ты узнаешь?

— Я всё узнаю! Буду в окошко к тебе заглядывать. И если увижу, что не пишешь в положенное время, то сразу всё узнаю.

— А я окно закрою! И вообще перееду!

— А я и через закрытое. У меня повсюду будут глаза.

Артём больше не знал, что сказать. Он глубоко внутри верил, что дед и правда всё видит, даже если окно закрыто.

— А ты когда-нибудь умрёшь?—спросил однажды Артём.

— Умру,—сказал дед, ни на секунду не задумавшись.

— И как же будет?

— А вот как! Меня возьмут и вот так разрежут,—и дед показал пальцем вдоль живота.

Артём зажмурился.

— Не бойся,—сказал дед,—это уже не больно будет.

Тогда Артёму стало как-то не по себе. Что вот он — дед — скоро, наверное, умрёт, а всё-таки сидит с ним и пишет буквы. Целый час в день! Это же так много! А мог жить для себя.

С тех пор Артём старался научиться писать лучше и быстрее, чтобы дед отдохнул и не сидел больше с ним. Но быстрее и лучше всё не получалось. — А так хорошо? — спросил Артём и посмотрел на ровное красивое слово, написано чётко в своей строчке.

Дед ему не ответил.

— Тём, отдохни. Бабушка пришла, посиди с нами, — вошла мама и встала около него.

Посмотрела в тетрадку:

— Хорошее слово получилось. Молодец.

Артём посмотрел на неё. Обвёл глазами комнату. Больше никого не было. Деда не было.

Мама взяла тетрадку.

— Очень хорошо, — сказала она. — И в школе так же пиши.

— Ладно! — сказал Артём.

Артём закрыл тетрадку и вылез из-за стола.

— Пишешь? — спросила бабушка на кухне. — Деда теперь нет — с тобой заниматься. Давай сам.

— Ладно! — опять сказал Артём.

А сам подумал: глупая бабушка, не понимает ничего. Дед есть, всегда будет, сам же говорил — в окно смотрит. Вдруг Артём замер.

— Сейчас приду! — крикнул он.

Побежал в комнату, открыл тетрадку на хорошем слове, оставил так и убежал обратно.

Дед посмотрит — пусть видит.

И тетрадка осталась лежать на столе, открытая, со словом, ровно уместившимся в чёрточки на листе бумаги.

ДиН 1945–2020

Максим Стрежний

Из мемуаров деда

Отпирая шкаф в начале мая,
Прислонившись к острому торцу,
Застываешь, вновь перебирая
Всё, что было выдано бойцу:

Сон в снегу, карельские морозы,
В зной вода из фляжки по глоткам,
Над могилой яростные слёзы
И снаряд последний по врагам.

Как, отчаявшись, мы в провода кричали:
«Батареям — беглый! На меня!»
И как после, взрывы приглушая,
Была в бок убитая земля.

Как девчонка поднимала роту —
И за ней вставали под огнём.
Вспышки в узких амбразурах дзота:
«Ничего, ребята, поживём!»

В крошечке на улицах Берлина
И потом, в тиши госпиталей, —
Как мечталось о семье и сыне,
Вечной веренице мирных дней.

Наши жёстко-серые шинели.
Их бы спрятать дальше от весны.
Холода, бомбёжки и обстрелы,
Смерть — сухой паёк войны.

Сергей Прохоров

Солдатский медальон

Души павших стучатся набатом!
Всех сыскать, что в болотах лежат!
Найден дед мой с пустым автоматом
Среди груды фашистских солдат.

Этот бой был, конечно, жестоким.
Перегрелся от пуль автомат.
Знаем мы, что Победы истоки —
В силе духа советских солдат.

Всюду слышались раненых стоны,
Почернел от смертей белый свет.
Когда кончились в диске патроны,
В рукопашную ринулся дед.

Он своими стальными руками
Рвал фашистов за Родину-мать.
Этот подвиг рождался веками —
За Отчизну чтоб насмерть стоять.

Нелегко нам досталась Победа:
До земли — ветеранам поклон.
Мне остался на память от деда
Лишь солдатский стальной медальон.

Александр Астраханцев

Мой День Победы

Этот день, День Победы девятого мая 1945 года, так врезался мне в память—будто и нет огромной череды лет между мною тем и мной сегодняшним: каждая мелочь помнится зрением, слухом, обонянием, осязанием—видно, я, несмотря на свой малый возраст, всё-таки понимал смысл этого дня и его значимость в ряду прочих дней. Хотя что могу добавить ко всему написанному о том времени и том дне я, вместе со своим детским восприятием? Тем более что происходило это в таком далеке от сражений и побед той войны, что и представить себе трудно: в глухой сибирской деревне, дальше которой и дорог-то нет—одни чащи да болота. Но память снова и снова возвращает меня туда, к пережитому только мной—и никем иным, и среди пережитого—тот долгий-предолгий весенний день, не самый последний в ряду других.

Утро в тот день стояло такое умытое, яркое, солнечное, какое бывает только после долгих ненастий; острые ветерки гуляли, и бежали по синему небу белые барашки. Я стоял на деревянном, сыром от дождей крыльце, жмурился от ещё невысокого с утра, бьющего прямо в глаза солнца и чувствовал лицом его тепло—будто оно ласково гладит мои щёки тёплыми ладонями... Я тогда любил, шурясь, глядеть на него и видеть сквозь ресницы, как выходят один из другого и пульсируют в моих глазах золотые и синие радужные круги.

Так вот я стоял, и шурился, и таял от солнечного тепла, хотя надо было бежать в магазин, становиться в тесную очередь и долго томиться в ней. В кармане пальтеца—рыжая плетёная авоська, а в ладони—синяя бумажка, хлебная карточка, так крепко зажатая, что если б даже я упал в яму или бы меня ударили—я бы эту ладонь не разжал: прекрасно знал, почему этой бумажкой размером с детскую ладонь надо дорожить. Тем более что уже однажды её потерял: сунул в карман, а потом не нашёл,—и оставил всех на неделю без хлеба... Кроме меня, бежать некому: мама на работе, на бабушке—кухня и огород; магазин—далеко, а с братца что возьмёшь—он маленький, так что у меня была обязанность—каждый день ходить за хлебом.

Да мне и нравилось туда ходить—я за это имел право на награду: два-три раза откусывал по дороге хрусткий уголок от чёрной буханки, вкуснее которого я ничего ещё не знал, и меня за это даже

не ругали. Но сначала я эту буханку нюхал, вдыхая её запах всей грудью прямо посреди улицы,—на морозе она пахла божественно: запах свежего, ещё тёплого хлеба слегка отдавал полынью, широким простором, сухим знойным ветром, веющим над этим простором, и одновременно—густым морозным воздухом, смешанным с инеем и берёзовым дымком из деревенских труб; а сам морозный воздух всегда почему-то пах пустой чистой комнатой, только что побелённой известью, и я не просто жадно вдыхал эти запахи—я страстно переживал их в себе, и сердце от этого переживания билось чаще.

И вот сейчас мне снова надо было бежать за хлебом, но я никуда не бежал, а всё стоял и стоял на крыльце, ещё влажном от дождей, потому что не только яркое солнце в глаза держало меня: задрав голову, я ещё смотрел на высокий молодой тополь, с которым творилось что-то странное. Не потому, что наверху галдела стая воробьёв,—нет, прямо на моих глазах с лёгким треском лопались почки на ветках: их тоже пригрело солнце, и на крыльцо дождём сыпалась бурая чешуя, а каждая освобождённая почка начинала топорщиться острым зелёным листочком. Я наклонился, набрал в свободную ладонь липкой чешуи и стал нюхать; она пахла пылью, ветром, а главное, сладчайшей тополиной смолой, и я глубоко, до головокружения, жадно внюхивался в этот медово-сладкий запах...

Не знаю, сколько я так стоял, но очнулся я от мальчишеских криков: по улице бежали два подростка—у одного в руке высокое тонкое древко с красным флажком наверху, а другой кричит так, что голос его звенит и срывается:

—Победа! Война кончилась! На митинг к сельсовету! Победа!..

Я швырнул пахучую чешую, быстро, чтоб никто не видел, вытер липкую ладонь о пальтишко и—мигом в дом:

—Бабушка, бабушка, война кончилась! На митинг зовут!

Бабушка стояла у плиты в голубом чаду—жарила *драники*. И—ни слова в ответ. Только выпрямилась, мелко перекрестилась и снова наклонилась над шипящей сковородой. И когда повернулась ко мне, я заметил на реснице у неё слезинку.

— Бабушка, можно я схожу на митинг?—уже тихо спросил я.

— Нет,—ответила она.—Опять простынешь. Иди за хлебом.

— Не простыну!—начал я ныть.

— Нет!—уже твёрдо отрезала она...

И тут пришла мама—в доме зазвенел её голос; я ликую уже от одного её голоса—мне некого больше любить так сильно, как её: братишка—маленький и часто хнычет, бабушка—хозяйка, хранительница, а хранительнице надо быть строгой... Знаю, что маме некогда, что она всегда торопится, но что она всё равно меня любит, не требую своей доли внимания и помалкиваю себе—мне вполне хватает её голоса и кратких прикосновений; мы с ней—как заговорщики с общей тайной.

Правда, бывали моменты, когда мы с ней оставались вдвоём; чаще всего то было летними полднями: она приходила на обед, но вместо обеда, взяв подойник, бежала доить корову; идти было далеко за деревню, на вытоптаный стадом озёрный берег, *тырло*,—там коровы ждали своих хозяек; я очень хотел, я просто изнемогал от желания пойти с ней, и она чувствовала это и позволяла мне. И не важно, что это далеко и что всю дорогу—бегом, в то время как по дороге, особенно на берегу, истоптанном коровами, где глинистая грязь от жары превращалась в острые камни, я почти в кровь сбивал босые ноги; зато целый час—вместе. И маме, я чувствовал, это тоже нравилось. Наговоримся! Особенно когда назад. С почти полным подойником молока, затянутым сверху марлей, чтоб не расплескать, мама шла медленнее; да ещё на полдороге, давая руке отдохнуть, она осторожно ставила подойник в траву, сходила с дороги и собирала букет из ромашек и синих полевых гераней. А если в настроении—так ещё спросит: «Знаешь такую песенку?»—и, смеясь, поёт; так и остались в памяти, слившись воедино, солнечный блеск полудня, одуряющий запах вянущих на жару цветов, мама в белой косынке, в ситцевом сарафане в мелкий лиловый цветочек, с открытыми, коричневыми от загара плечами, шеей и руками—и лёгкий, серебряный её голос...

Примерно в это же самое время я, где-то чего-то наслушавшись, с самым серьёзным выражением лица стал без конца её поправлять:

— Мама, ты опять неправильно говоришь! Надо говорить не «ромашки», а «аромашки»! И не «облака», а «облакаты»!...

Она опускала лицо в букет, шумно внюхивалась в него, затем трепала мои волосы и смеялась:

— И правда, сынок—они такие «аромашки»!...

Но в тот день я так и не сходил за хлебом: мама пришла и прямо с порога—бабушке:

— С победой, мама! С победой вас всех!—и как была, в коричневом, грубого сукна, жакете и клетчатом платке, порывисто обняла меня, а потом затормошила, закружила бабушку. И вдруг—всмотревшись в неё:—Мама, ты плакала?

— Петя... Петя...—залепетала бабушка, и беззвучные слёзки опять потекли у неё из глаз, застревая в морщинках.

Петя—её старший сын, мамин брат, мой неведомый дядя, пропавший на фронте без вести. Мне говорили, что я на него похож.

Иногда я украдкой доставал фотоальбом, всматривался в его фотографии и никак не мог понять: чем же я похож на этого взрослого человека с суровым прямоугольным лицом, сжатыми губами, резкими складками у губ, прямо глядящими глазами и высокой копной светлых кудрявых волос надо лбом?... Но более странным было другое: когда заговаривали о нём и я хотел его себе представить, то видел в своём воображении не эти фотографии, а какие-то неясные кадры, будто из немого кино: снежное поле, бегущие фигуры бойцов в шинелях, с длинными винтовками в руках, и один, самый ближний ко мне, чем-то похожий на дядю Петю, будто бы бежит по глубокому снегу, торопится не отстать от других; я хочу заглянуть ему в лицо, удостовериться: он ли это—или не он?—и тут он падает, уткнувшись в снег; я мысленно обхожу его вокруг и никак не могу увидеть лица... То было не во сне—я видел его с открытыми глазами! Но почему мне виделось именно это? Я же не видал ещё ни живого бойца, ни кино про войну, не читал про войну книжек! И я боялся рассказать о том, что видел,—мы тогда ещё не знали, что дядя Петя убит: моя тётя, чтобы не расстраивать бабушку и маму, не писала им, что получила *похоронку*,—написала, что Петя *пропал без вести*.

Но отчего так часто плакала о Пете бабушка? А мама, тоже ещё не знавшая правды, успокаивала её:

— Не плачь, мама,—давай будем верить и надеяться! Вот увидишь: кончится война—и Петя найдётся! Не плачь!...

— А ты чего так рано?—спросила бабушка маму.—Обед ещё не готов.

— Переодеться—тепло сегодня,—мама сняла клетчатый платок и надела берет.—Митинг будет у сельсовета. Потом пообедаю. Пойдём?

Но бабушка отказалась. Зато я вскинулся:

— Я тоже хочу на митинг!

— Вот *вяньгает* и *вяньгает*!—проворчала бабушка.—Простынет там—ветрено сегодня.

— Мама, но это же исторический день—пусть запомнит на всю жизнь!—вступилась за меня мама.

— Ну, смотри,—сказала бабушка сурово.—Только вытащили...

Тут стоит объяснить, откуда меня «вытащили». Но сначала — о моих отношениях со школой. Мама моя работала там одновременно счетоводом и библиотекарем, и как только, лет с пяти, я начал бегать к ней на работу, мне понравилось рассматривать у неё в библиотеке толстые книги с картинками. Мне страшно хотелось научиться читать, и я упрасивал маму научить меня, но ей всё время было некогда. Научила бабушка, причём с умыслом.

К нам приходила маленькая районная газетка; они хранились потом дома для всякой нужды: из них делали стельки для обуви, обуваясь, ими обматывали ноги вместо носков и портянок — они хорошо держали тепло; ими обёртывали продукты; их выпрашивали *эвакуированные*, что построили целую улицу из землянок на краю села: говорили, что газеты, сшитые и простёганные, они стелют вместо простыней и ими же укрываются вместо одеял...

За газетами приходили двое мальчишек. Один из них — долговязый и страшно худой подросток-белорус, с холщовой торбой на боку, одетый в невообразимое тряпье, причём и на ногах его вместо обуви намотаны были тряпки, которые оставляли на полу лужицу — а ведь стояла зима! Выпрашивая у бабушки газеты, он непременно добавлял: «Дайтя хучь ядну картовочку», — и говор его казался мне таким смешным, что я едва не прыскал от смеха — сдерживал меня лишь суровый бабушкин взгляд.

Вторым был мой явный сверстник, опрятный мальчик-немец с нежным румянцем и большими карими глазами в пушистых ресницах — прямо как у девочки; мне с ним очень хотелось заговорить, но он, чувствуя мой интерес к нему, лишь беспомощно улыбался и произносил всего два слова, и то с немецким акцентом: «картоффельн» и «газетт»... Бабушка угощала их драником или варёной картошкой в мундире — больше было нечем; но газеты давала не всегда — они были ценнее картошки!

Она сама любила читать и перечитывать их, но читала с трудом: стёкла её старых очков были треснуты и склеены тонкими полосками бумаги; она берегла очки и надевала их, только когда приходили письма, а уж надев, прочитывала их по несколько раз подряд, надеясь вычитать там что-то ещё. А ради газет она их даже не надевала — лишь держала в руке и водила ими вдоль строчек.

Она научила меня азбуке, чтобы я читал ей газеты... Вечер; в окна бьёт метель, в плите цвелькают угольки, на столе — *коптилка* (стеклянный пузырёк с керосином, а в горлышке — фитилёк с жёлтеньким, размером в ноготок, пламенем), и мы — вокруг: мама шьёт или чинит что-нибудь ручной иглой, бабушка трёт на тёрке бесконечную картошку, братишка, высунув язык, огрызками цветных карандашей рисует *маляку* и не хочет

идти спать — в комнате, где наши кровати, темно и страшно. А я шпарю вслух: какие заняты нашими войсками города, сколько уничтожено фашистов, танков и самолётов. Если неправильно прочту слово, мама меня поправляет или заговаривает с бабушкой. Тогда я отдыхаю от трудного чтения — смотрю, как по стенам ползают наши большие чёрные тени, страшные и смешные одновременно, и слушаю, как в щели за плитой поскрипывает наш невидимый друг-сверчок.

Прошлой осенью я запросился в школу, но у мамы были проблемы с моей экипировкой, да мне и не было семи, — и они с бабушкой стали меня уговаривать:

— Рано тебе ещё в школу — подрасти!

Но я их укланчил. Тогда из грубого холщового коврика с аппликацией: семейка грибов-мухоморов со шляпками из красного, в белый горошек, шёлка, — мне сшили торбу с лямкой через плечо; я положил туда букварь, две, в клеточку и косую линейку, тетрадки и новый жёлтый пенал, пахнущий сосной и лаком, а в пенале — карандаш и красная деревянная ручка с новым стальным пёрышком, а в боковом кармашке торбы — наша полная чернил фарфоровая *непроливайка* с красно-золотым петушком на боку.

У меня был самый прекрасный на свете сосед, Денис; только он много дней зимой сидел дома: у него со старшим братом были одни пимы на двоих, и они ходили в них в школу и вообще на улицу по очереди, так что тот, кто оставался дома, даже по нужде на улицу бегал босиком — прямо по снегу, и я завидовал им: мне самому хотелось так бегать!.. А ещё я восхищался тем, как Денис в свои двенадцать лет, оставаясь целый день дома, научился ловко вырезать ножиком из дерева игрушки; они у него получались прямо как живые: скакали деревянные зайцы, кузнец поочерёдно с медведем били молотками по наковальне, гимнасты вертелись на перекладинах... Когда я болел, он мне их дарил, а бабушка отдаривалась тарелкой драников.

И вообще Денис умел всё! Он, например, умел сам делать чернила, и я, твёрдо задумав идти в школу, в августе помогал ему в этом: собрали с ним по сухим косограм целую корзину ягод крушины, а потом парили их с солью в чугуне, пока не получились три бутылки густого, как дёготь, тёмно-коричневого настоя, и одна бутылка была моей!..

В общем, собрал я торбу, и мама отвела меня в школу. В этот день кончилась моя дошкольная жизнь, а она была такой безмятежной!..

Ещё совсем недавно, летом, я дружил с моей соседкой Надей, жившей через два дома от меня, причём вдруг, неожиданно и так крепко подружился с ней, что дня не мог без неё прожить: с утра, сразу после завтрака, под мамины и бабушкины

смешочки (знал ведь: надо мной смеются, — а мне уже было всё равно!), торопился скорей на улицу — якобы поиграть возле дома, а сам бегом бежал к Наде. И она тоже бывала мне рада.

Ох, как безжалостно нас с ней дразнили наши же сверстницы и сверстники всей нашей улицы, бывшие до той поры нашими подружками и друзьями! Особенно безжалостны были почему-то девчонки. Одна громко, на всю улицу истошно кричала:

Барабаны бьют,
Радио играет,
Надюку замуж отдают...

(Дальше уж и не помню.)

Другая вторила ей:

Задавуля — первый сорт,
Куда едешь? На курорт!
Шапочка с бубончиком,
Ножка под вагончиком!

И уже все хором (или дуэтом, или трио, в зависимости от того, сколько их собралось) скандировали:

Тили-тили-тесто,
Жених и невеста!
Тесто засохло,
Невеста сдохла!

Откуда они брали эти куплеты? Может, перенимали у старших? Причём ведь и те, что выкрикивали их, и я, и Надя, ещё никогда не слышавшие ни барабана, ни «радио», никогда не видевшие курорта или вагончика, прекрасно знали, о чём речь. Откуда мы, опять же, всё это знали? Не могу понять... Однако нас с Надей эти куплетынисколько не обижали — мы были слишком заняты нашими отношениями.

Не помню уж, чем мы с ней занимались ещё — помню только, как дружно строили наш общий домик в палисаднике её дома. Мы его так и называли: «наш домик». Он размещался под большим старым кустом смородины, разросшимся настолько, что высотой он был намного выше нас, а густые боковые его ветви склонились до земли так, что под ними получалось небольшое пространство, засыпанное жухлым листом и сухими веточками. Мы забирались туда ползком — а там, в том пространстве, можно было даже сидеть и ползать на коленках.

Надя, собрав из сухих поlynных стебельков веничек, чисто, до плотной чёрной земли, подмела это пространство, затем принесла две дощечки и соорудила там полочки, а мне велела собирать «посуду». «Посудой» были «цацки» — фарфоровые осколки старинных тарелок, блюдец и чайных чашек, никогда не виденных нами, но в какие-то немислимо далёкие, «царские», времена (которые, если посчитать разумно, закончились всего-то

за двадцать с небольшим лет до нашего с ней рождения) густо засеяли чернозёмную почву нашей деревни. Найдёшь такой осколок, ототрёшь дочиста от грязи — и засверкает он безупречной снежной белизной, и проступит на этой белизне всего лишь маленький кусочек сказочного цветка дивной красоты, — а когда смотришь на него долго-долго — он распускается в твоих глазах всеми своими цветными лепестками, зелёными листиками, золотыми ободками, запоминаясь на всю жизнь, так что много-много лет спустя, когда я рассматриваю в музеях прекрасного качества фарфор с художественной росписью на нём, в моей памяти далёким многократным эхом откликаются наши маленькие открытия рукодельной красоты на тех фарфоровых осколках...

Но ещё ценней этих фарфоровых «цацек» были осколки старинного цветного бутылочного стекла — их тоже было много в земле, и каждый осколочек дарил нам праздник: когда мы с Надей, сидя прямо на земле, на «пороге» нашего «домика», сквозь цветные, да ещё искривлённые эти осколки, замерев от удивления, рассматривали окружающий нас и уже привычный нам мир — он поочерёдно предстал перед нами то багрово-красным, то золотисто-солнечным, то спокойно-зелёным, то сумрачно-синим; и среди этих калейдоскопических цветных миров меня охватывало необыкновенной полноты ощущение блаженства, ликования и счастья от увиденной по-новому красоты мира и моей полной слитности с ним, а заодно — и единства наших с моей подружкой душ: он становился совершенно новым, фантастически-праздничным! Потом мы смотрели сквозь эти стёклышки друг на дружку — и тоже преображались: становились удивительно красивыми и одновременно смешными, — и хохотали до упаду.

Как мы были веселы, как счастливы тогда! И как быстро безмятежное это время закончилось, разведя нас по разным дорожкам: меня звала, просто страстно манила школа, а Надя оставалась дома.

Но когда я пошёл в школу — она разочаровала меня ужасной скукой: мальчишки старше меня там целую четверть долбили алфавит, а я уже читал газеты! Пришлось терпеть. Хорошо ещё, учительница, чтобы я ей не мешал, догадалась давать мне мел и разрешала рисовать на доске всё, что хочу, и я изрисовывал её танками и самолётами... Потом втянулся в занятия. Пока в начале весны не свалился с горячкой.

Случилось это так. Зимой нашу улицу переметало сугробами выше изгородей, и дорога шла по этим сугробам, как по горам, то поднимаясь на заструги, то ухая вниз... Но в тот мартовский день стало вдруг так тепло, что весь снег разом отсырел и размяк. Я же хоть и осторожно, а всё-таки

и беспечно шёл себе посреди дня из школы домой, останавливаясь время от времени полюбоваться своими новенькими галошами поверх тёплых носков... А галоши и вправду были чудо как хороши: блестили так, что на их чёрном глянце играло солнце, и волшебным пахли резиной, а изнутри выстелены были мягонькой, красивой алой байкой! Всю длинную зиму я мечтал, как, наконец, сброшу с ног тяжёлые подшитые валенки и выйду на улицу в новеньких блестящих галошах, и в тот день мечта моя сбылась: мне разрешили пойти в них в школу!

Но тут, уже где-то на полпути к дому, подо мной стала разверзаться вконец раскисшая дорога: только выдерну из снежной каши одну ногу — тотчас же вязнет по самый пах вторая; миг мои галоши наполнились водой, что накопилась под снегом; через сотню таких шагов я выбился из сил, а ноги мои замёрзли. Но самое ужасное — глубоко в снегу потерялась одна из галош.

Мне бы плюнуть на неё да, взявши вторую в руки, чтоб и её не потерять, скорей бежать домой в одних носках — но я не хотел с ней расставаться! Зарывшись с головой в сырой снег, я шарил и шарил там руками вслепую — и никак не мог найти.

Не знаю, сколько я её искал, но я уже вымок до нитки и замёрз: начали отбивать чётку зубы. И — никого вокруг. Пришлось сдаваться: я махнул на галошу рукой — но потерял время; снег под ярким солнцем раскис окончательно, так что дальше идти было ещё хуже: он уже не держал меня — я просто полз по дороге, волоча за собой торбу. Это был какой-то кошмар: я выбивался из сил и замерзал посреди родной улицы, в двухстах шагах от дома, под ярким горячим солнцем. И никого вокруг!..

Мне уже приходилось переживать смертельный страх. Правда, всё произошло тогда в секунды — я даже не успел как следует испугаться.

То было прошлым летом; меня давно дразнили белоснежные лилии с оранжевыми сердечками внутри — они плавали среди круглых листьев на чёрной воде речного омута под горой. И нужен-то мне был всего один цветок — заглянуть внутрь и понять: что там, внутри него, за огонёк горит? Чтобы разгадать тайну, я притащил длинную-предлинную палку и стал тянуть её до ближнего цветка. Я осторожничал — знал, что чревато, а плавать ещё не умел. И надо же: в тот момент, когда палка коснулась цветка, среди плавучих листьев что-то громко плеснуло — щука, наверное? — не водяной же и не русалка: в доме у нас не верили в них и нас приучали не верить, — но я вздрогнул, поскользнулся на мокрой глине и шлёпнулся в воду. Палка меня выручила — не дала сразу пойти ко дну. О, как я боролся тогда за жизнь: как отчаянно, до белого кипения, молотил руками воду, как сдирал ногти, впиваясь пальцами в скользкую глину берега, как вжимался в неё лицом, грудью,

животом, подобно древнему земноводному существу медленно выползая из воды на сушу! И как, выбежав потом на сухой обрыв, подальше от воды, стоял, испуганный, весь мокрый и грязный, с бешено колотящимся сердцем — но торжествующий и счастливый, оттого что не поддался страшной чёрной пучине, вырвался из её лап!..

Однако снежная стихия в тот мартовский день никак не хотела меня отпускать. Я уже выбился из сил в проклятом месиве из сырого рыхлого снега; никогда больше я, кажется, не чувствовал такого бессилия.

Не пойму: как у меня хватило тогда сил доползти до дома?.. Бабушка раздевала меня донага возле горячей плиты, а я пытался рассказать, где потерял галошу, и не мог — так отчаянно стучали зубы, а из глаз лились слёзы обиды, хотя плакал я редко — за слёзы безжалостно дразнили и дома, и на улице: «Нюня!»; «Плакса!»; «Раз-два-три — сопلي подотри!»...

Бабушка напоила меня горячим чаем с молоком, уложила в постель, укрывши поверх одеяла маминым полушубком, и ушла, пообещав найти распроклятую галошу — не только чтобы успокоить меня: в то военное время галоши о-го-го как ценились! — да мне просто не в чем больше было бы ходить в школу... А я, как только она ушла, вылез, несмотря на неумную дрожь, из постели, подошёл и приник к окну — удостовериться, что она и в самом деле, взявши лопату, отправилась со двора. И долго-долго ждал, а потом снова торопливо влез в постель — унять дрожь и икоту от слёз, когда она наконец показалась со злополучной, чудом спасённой галошей в руке. А я, окончательно успокоенный, впал в забытие.

Заболел я тогда жесточайше. Отчётливо помню картины бесконечно-вязкого бреда. Обычно утрами, проснувшись, я любил разглядывать рыжие пятна потёков на потолке и старался угадать в них человеческие лица, фигуры лошадей, собак, овец... А теперь эти пятна ожили и пульсировали, кружились, наплывали одно на другое, и я никак не мог остановить их взглядом; пятна превращались в страшные, злобные звериные морды: они шевелились, скалили зубы, и я никак не мог узнать в них знакомых животных — теперь это были тигры, медведи, крокодилы — и волки, волки, волки... Что волки, это понятно — о них столько было страшных рассказов в те годы: то забрались в хлев и задрали у кого-то корову, то растерзали в поле коня вместе с седоком в сани, то сожрали школьницу прямо на дороге — остались лишь валенки с ногами внутри... А однажды в начале зимы бабушка показала мне в окно:

— Вон они, проклятые!..

Наша улица заканчивалась перед крутым косогором, а дом наш стоял вторым с краю, и из окон

хорошо видны были и река с широкой излучиной, и далёкие заречные дали на много вёрст вокруг; я глянул вслед за бабушкой в окно — и в самом деле увидел, как далеко-далеко на чистом белом снегу после первой пороши осторожно пробиралась через ставшую реку цепочка волков, чтобы обосноваться на зиму в болотистой речной излуке, поближе к деревне; я даже посчитал их: пятеро! А весной, в ледоход, они уходили обратно, в заречные чащобы, ошалело прыгая по льдинам... Ну ладно, это волки, обычные у нас тогда звери. Откуда же остальные-то?... Как я думаю, просто мама читала мне во время болезни сказки про них, и в моей голове всё шло от этих сказок кругом...

А когда я выкарабкивался из бреда, меня разрывала такая нестерпимая тоска, что хотелось не просто плакать, а выть по-звериному, и когда никого из взрослых в доме не было, я давал себе волю: выл до изнеможения. Потом засыпал.

Приходил старичок-фельдшер, добрейший Вячеслав Палыч, с красным личиком и седенькой, клинышком, бородкой. Он бодро приступал ко мне: — Ну те-ка-с, молодой человек! — и начинал терпеть: заглядывал с помощью ложки в горло, заставлял раздеваться, выстукивал грудь, вслушивался в неё через деревянную трубочку. Прикосновения его ледяных пальцев и трубочки к горячечной коже приятно щекотали.

А потом мой обострённый слух ловил его разговор с мамой и бабушкой за дверью; что-то без конца выпрашивала мама и шептала бабушка, но два слова в их с фельдшером разговоре слышались отчётливей других: «кагор» и «умрёт». Слово «кагор» было мне неизвестно, а второе — «умрёт» — я, конечно же, знал, прекрасно понимая, что оно — обо мне, но был уже так измотан бредом и нестерпимой тоской, что воспринимал это слово равнодушно. Было только жалко маму: я представлял себе, как она будет горевать обо мне, и от этого опять хотелось плакать.

А когда Вячеслав Палыч ушёл, мама с бабушкой за дверью снова начали говорить, уже между собой, и в их полушёпоте я улавливал ещё слово «жемчуг». Я уже знал, что это такое. Однажды в жаркий летний полдень, когда солнце било сквозь цветы на подоконнике и, отражаясь от пола, заливало комнату белым матовым светом, мама достала из старого сундука странные бусы: они состояли из белоснежных шариков, которые удивительно заиграли, как только солнечный лучик упал на них, всеми цветами радуги, и я не мог оторвать взгляда от этих маленьких, завораживающе волшебных радуг. А мама, смеясь, дважды обмотала этими бусами-радугами свою открытую, загорелую дочернюю шею и стала вдруг удивительно красивой.

Она назвала эти шарики «жемчугом» и сказала, что их подарила ей бабушка на её восемнадцатилетие. И я был счастлив в тот день необыкновенно:

было лето, и я целый день — рядом с мамой! Потому что летом она «брала отпуск» и целыми днями в этом «отпуске» пропадала в лесу: сначала они всей школой пилили берёзы и заготавливали на зиму дрова для школы и для себя, а потом косила, гребла и копнила в том лесу сено и метала стожки, так что много дней подряд уходила рано утром, успевая лишь подоить и отправить в стадо корову, пока мы ещё спали, а возвращалась из леса поздно, с заходом солнца, опять доила корову, кормила нас с братишкой и укладывала спать — и всё это быстро, торопливо, без лишних слов.

Я, конечно, видел, чувствовал, какой уставшей она возвращается, и просился с ней на покос — хоть чем-нибудь ей помочь, но она не разрешала. Тогда я однажды решил пойти туда сам, днём, без разрешения — дорогу туда я уже знал. Но братик, с которым я в тот день «водился», увязался за мной, и я, боясь, что он начнёт реветь и мой замысел откроется бабушке, взял его с собой.

Всё было хорошо, пока мы с ним шли по мягкой, горячей дорожной пыли, приятно обжигающей босые ноги — надо ли говорить, что всё лето, с конца мая до начала сентября, мы бегали только босиком и наши подошвы могли терпеть всё, кроме разве что извечных наших врагов того времени — колючек бодяка и боярышника?

Но как только мы добрались до покосов и пошли по уже засохшей и оттого колкой стерне, нежные подошвы моего братика не выдержали — он что есть мочи взревел, сел на землю и, сколько я его ни тянул, уже никуда не хотел идти, ни вперёд, ни назад. Выручила какая-то женщина: подошла, взяла его на руки и понесла искать нашу маму, а я поплёлся за ней.

Покос наш был ещё далеко-далеко, но мы пришли, наконец, туда, и женщина передала братца маме:

— Забирай, Вера, своих молодцов!..

Ох и влетело мне тогда от мамы! Никогда ещё я не видел её такой сердитой.

Она усадила нас в шалашике под берёзой, сделанном из берёзовых же веток и свежего сена, разожгла небольшой костерок, чтобы отгонять дымом паутов, дала нам по куску хлеба и огурцу и пошла грести сено: в деревне, как известно, летний день год кормит, особенно на покосе, и она очень торопилась.

Кажется, нет ничего вкуснее чёрной хлебной горбушки со свежим, хрустким, брызжащим соком огурцом, да если ещё есть их в густой берёзовой тени, да на охалке свежего сена, да под лёгким дымком от берёзовых и таловых головешек! — только, как потом спохватился я, ведь мы с братишкой в тот день спокойно умяли весь мамин обед...

А между тем настал полдень, время самых злых паутов; не обращая внимания на дым костра, они так свирепо набросились на нас с братцем,

одетых лишь в трусы с майками, что братишка мой взревел с новой силой, и мне пришлось всё время обмахивать его — да и себя тоже — берёзовой веткой, пока через несколько часов не явился перед нами серый в яблоках школьный конь Серко, запряжённый в телегу с ворохом сена в ней, а в телеге — школьный конюх Арсений; мама усадила нас в телегу и отправила домой. Так вот неудачно закончился тот мой порыв помочь ей.

А сейчас — или закончились все мамины лесные работы, или праздник какой-то был? — она целый день оставалась дома и стояла теперь в светлой, полной солнца комнате перед зеркальцем, чисто вымытая, загорелая, в белой блузке с красивой вышивкой по ней красно-чёрными крестиками, с короткими рукавами и открытой шеей — и с жемчужным, в два оборота вокруг шеи, радужным ожерельем, и я, неожиданно для себя, вдруг увидел её совсем по-новому: не вечно торопящейся, не в заношенной одежке — а необыкновенно красивой. Я замер перед нею, даже, кажется, открыв от удивления рот, и когда она, оторвавшись от зеркальца, повернулась ко мне, поняв, видно, что я замер, — я от волнения едва смог произнести:

— Мама, какая ты красивая! Ходи так всегда!

А она рассмеялась и сказала:

— Вот вернётся папа с фронта — тогда! — и снова спрятала ожерелье в сундук.

А следующей весной, когда я уже болел, через некоторое время после прихода Вячеслава Палыча ко мне, она ездила в райцентр, и потом у нас в доме появились наивкуснейшие в мире каши, каких я ещё никогда не едал: гречневая и — конечно же, самая-самая прекрасная — манная!.. И ещё у нас появился «кагор»: пряное, густо-багряного цвета лекарство в большой зелёной бутылке с красивой золочёной этикеткой. Меня тогда лечили сразу несколькими противными жидкостями — в том числе и рыбьим жиром — да целыми столовыми ложками! Я изо всех сил напрягался, чтобы проглотить их, — и глотал только потому, что где-то в середине болезни мне очень захотелось выздороветь. А в награду получал теперь чайную ложку этого самого сладко-душистого «кагора», и жизнь моя благодаря ему затеплилась веселее, будто в моей крови вспыхнул огонёк...

Но мамино ожерелье я больше никогда не видел. Даже забыл о нём. Но когда вспомнил однажды, уже взрослым, — меня вдруг осенило, куда оно делось.

И вот мы с мамой идём на митинг нашей улицы, где сугробов, в которых я всего полтора месяца назад тонул, уже нет и в помине; ступаем по зелёной бархатной травке, проклюнувшейся из влажного чернозёма на дороге, вдоль ещё сырых изгородей, сплетённых из ивовых прутьев,

и у каждого плетня — свой рисунок: то — шашечной доской, то — винтом, то — девичьими косами. А за плетнями курятся зелёные облака черёмух в прозрачных зелёных листочках и завязях; скоро эти облака набухнут и закипят белой пеной; да одна из них, вросшая в тёплую завалинку дома, уже полыхнула белым цветом, и от неё текут по улице горько-душистые волны.

Мама, крепко держа меня за руку, торопится, и мне так легко рядом с ней, что хочется сразу и бежать вприпрыжку вперёд, и идти с ней в ногу, и я без конца *переступаю*, чтобы попасть в такт её торопливому шагу, и всё сбиваюсь; от слабости после недавней болезни и от обилия душистого, вкусного воздуха слегка кружится голова.

— Теперь скоро папа вернётся, — говорит она. — Ты помнишь его?

Смешно: как же мне его не помнить, если он всего два года как ушёл на фронт? Он учитель, и его взяли не сразу. Только не умом помню — а осязанием, обонянием, слухом: какой он резкий, с громким голосом, с твёрдыми пальцами... и память моя о нём не тянется во времени, а вспыхивает короткими молниевыми зарницами.

Самая яркая — как мы с ним идём по косогору дальним краем села, за которым большое озеро внизу. Ветрено, пасмурно; он торопится куда-то и тащит меня за руку, а я никак за ним не поспеваю. Но вдруг он останавливается как вкопанный и смотрит вдаль; от неожиданности я наталкиваюсь на него и — тоже смотрю туда. И, будто очнувшись ото сна, вижу такое, что перехватывает дыхание: дорога вместе с домами по одну сторону от неё круто пошла вправо, и прямо перед нами распахнулся огромный простор во все стороны — и большое озеро внизу, под косогором, и неоглядная даль за ним, и огромное небо надо всем этим, всё в клубящихся тучах. Сквозь прореху в них бьёт в середину озера столб света, и вода там вскипает зелёными волнами, вспыхивая огненными бликами на гребнях так, что больно глазам...

И отец, и избы при дороге, и сам я показались мне вдруг такими маленькими в этом необъятном пространстве — но оттого, что мы все так малы, совсем не страшно; сердце теснит ещё непонятное чувство близкого родства с отцом, с этими избами и этим пространством, имени которого — родина — я ещё не знаю, и не знаю ещё, что уже спаян с ним навечно, — но именно в тот момент оно, это чувство, проснулось и поселилось во мне и владеет мною с тех пор, ставши частью души... И ведь я знал, знал тогда, что и отец чувствует то же самое, только, не в силах перевести своего чувства на понятный мне язык; лишь показывает пальцем вдаль и говорит с азартом охотника:

— Смотри, смотри: во-о-он там — видишь? — утки сидят!

И я в самом деле увидел множество рассыпанных на волнах чёрных точек: они то появляются на гребнях волн в центре огненно-зелёного сияния, то исчезают в провалах...

А уезжая на фронт, он, уже в шуршащем, добела выгоревшем от солнца плаще, в серой кепке, с рюкзаком за плечами, берёт меня на руки, прижимает к колючей щеке так, что, кажется, сейчас раздавит, потом поднимает под потолок и говорит:

— Раста тут без меня во-от такой большой! — и смеётся.

Но что это за вода текла тогда у него по щеке? И почему он так странно со мной прощался — будто надолго-надолго или навсегда?..

И последнее: дорога среди осенних картофельных полей с сухим бурьяном на межах тянется вверх и вверх, уходя где-то там, на закате, за горизонт, и — далёкая телега на ней, а в телеге он и мама, провожающая его в райцентр. А я, проводив их до этих картофельных полей, стою и долго слежу за тем, как телега превращается в точку и точка растворяется без остатка — в небе ли, в сухой ли осенней дымке?..

А тем временем мы с мамой миновали нашу улицу. Дальше, мимо пустыря с озерком талой воды посередине — идти в другую половину села, туда, где магазин и сельсовет. Слева, за пустырьём с озерком талой воды, — наша чёрная бревенчатая школа и широкий двор с расставленными там и сям гимнастическими снарядами.

Теперь, когда я стал первоклассником и прочулся целую зиму, школа для меня наполнилась множеством новых впечатлений. Первое — это, конечно, наша учительница Александра Ивановна. Она дружила с моей мамой, и я знал уже, что она — эвакуированная ленинградка, и что у неё погиб там муж, и убиты на фронте двое юных сыновей, и мама её очень жалеет. Когда Александра Ивановна приходила к нам в гости, то ласково говорила со мной и братиком, гладила по голове, поднимала нас на руки и обнимала, затем вынимала из кармана куколку *бибабо* с платищем и, надев её на пальцы, показывала нам маленькие смешные спектакли, а потом говорила маме, что мы с братиком точ-в-точь похожи на её сыновей.

Я был настолько влюблён в неё, что просто не мог наглядеться на её светлый, прямо-таки небесный образ, прекрасней которого я до сих пор ещё не видел: чистое бледное лицо в седых буклях, голубые прозрачные глаза за чистейшими стёклами очков в тонкой, сияющей золотом оправе, зелёная, крупной вязки, кофта — и белая блузка с белопеным воротом; и ещё — таинственный прекрасный запах, исходящий от неё. Поначалу я думал, что именно так пахнут хорошие, добрые люди, но мама потом сказала, что это — французские духи... И как

же я был рад, как счастлив, когда она оказалась моей учительницей!

А другое главное впечатление — первый в жизни школьный новогодний утренник первого января 1945 года: зал, полный первоклассников, большая, до самого потолка, новогодняя ёлка, вся, сверху донизу, наряженная бумажными цепями и гирляндами бумажных флажков, которые мы сами же и клеили на уроках, и хороводы вокруг неё, и Александра Ивановна, царящая среди нас всех, и огромный аккордеон в её руках, сияющий цветным перламутром, щедро сыплющий по залу хрустальные звуки; ну и, конечно же, песенки и стишки самых смелых из нас.

Стишки, что читались, были так себе: про зайчиков, про белочек, — я их все прочитал и запомнил уже в пять лет, а мне так хотелось блеснуть перед Александрой Ивановной!.. Дома у нас имелись две книжечки стихов: Пушкина и Лермонтова, — и обе были озаглавлены одинаково: «Лирика»; я уже успел прочитать их обе с начала до конца, а некоторые стихотворения, те, что нравились больше всех, — и не по разу, а потому я смело влез на стул, громко объявил:

— Лирика Лермонтова! — я думал почему-то, что именно так надо назвать стихотворение, — и отбарабанил любимое:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?..

Ну и так далее, до самого конца... А потом слышал, как Александра Ивановна рассказывала маме со смехом:

— Я чуть не грохнулась на пол вместе с аккордеоном, когда этот карапуз произнёс с важностью: «Лирика Лермонтова!»...

Но самое-то главное на том утреннике было потом: каждому из нас вручили божественно вкусный подарок: пластик чёрного хлеба, а на нём — жёлтый слой сливочного масла, и поверху — белоснежный сахарный песок!

Я, конечно, не удержался, тут же лизнул его — и почувствовал, как каждая сахарная крупинка растворяется во рту и наполняет его сладчайшим блаженством, медленно растекаясь затем по всему телу, достигая, кажется, до самых пальчиков ног.

Но в эти же самые дни болел, простудившись, мой братик, и я решил не есть свой подарок, а отнести ему... Помню, как трудно было надевать пальтишко, шапку и вязанные рукавички, без конца перекладывая этот бутерброд из руки в руку. Но я всё-таки оделся и вышел на улицу, слегка задохнувшись морозным воздухом после душного тёплого помещения.

И тут я, неся этот бутерброд в вязаной рукавичке и неотрывно гипнотизируя его взглядом,

почувствовал страшный голод; чтобы утолить его, я откусил маленький-маленький уголок, и снова во рту наступило блаженство...

Я старался жевать этот твёрдый сухой уголок как можно медленней, чтобы хватило подольше, и всё же он оказался мгновенно сжёванным и проглоченным. Я снова откусил — и снова всё случилось мгновенно. А голод душил всё сильнее, и снова я откусывал, хоть и совсем крошечными кусочками. Между тем небольшой этот бутерброд быстро, просто катастрофически таял в размерах. От стыда, от бессилия и обиды на самого себя, на свою слабость и бессилие удержаться у меня потекли слёзы, и всё-таки, не в силах остановиться, я продолжал помаленьку откусывать и откусывать...

И всё же мне удалось донести до братишки почти половину этого злосчастного, такого божественно вкусного бутерброда, подобного которому ещё никогда в жизни ничего не пробовал!..

И вот теперь, идя с мамой мимо школы и уже почти поравнявшись с нею, привычно взглядываю туда... Но что это? Там на жухлой жёлтой траве за штaketником — что-то большое и серое, а рядом — двое взрослых.

— Мама, что там такое? — напряжённо вглядываюсь, показываю туда рукой.

— Там Серко лежит, — отвечает она.

— А что с ним? — спрашиваю уже с тревогой.

— Он... он умирает.

— Как? — вскинулся я. — Серко?.. Не может быть! Мама! — я останавливаюсь и гляжу на неё с отчаянием.

Идти на митинг, когда Серко умирает? Мне стыдно за неё: она всё забыла?..

— Ну что ты, что? — пытается она меня успокоить. — Я была там. Там Константин Никитич с Орсей остались. Мы ничем не поможем. Пойдём, пойдём.

— Мама! Я не хочу на митинг!

— Сынок, но это... это не для тебя зрелище! — тянет она меня за руку.

— Почему он умирает, мама?

— Он надорвался. У него большое сердце.

— Мама! — умоляю я. — Я гляну — и догоню!

— Но ты же хотел на митинг!..

Мы ещё некоторое время препираемся. Наконец из какого-то соображения она разрешает мне:

— Хорошо, сбегай, только быстро...

Но теперь, когда разрешено, — мне вдруг стало страшно встретиться со смертью: от этого шуршащего слова тянет жутким холодом... Однако желание пойти туда пересиливает, и я бегу со всех ног, боясь не застать чего-то важного. А бежать далеко: до дыры в штaketнике, сразу за углом забора.

И я добежал. Будто боясь что-то спугнуть, подхожу неслышно. Серко лежит на боку с вытянутыми ногами, положив на землю голову, а над ним

стоят директор школы Константин Никитич и конюх Арсений, по-деревенски — Орся.

Неулыбчивый директор — в тёмном пиджаке с чёрной косовороткой и в высоких, до колен, хромовых начищенных сапогах; кряжистый Орся с деревянной ногой — в рваном ватнике; на красном обветренном лице его — небесно-голубые глаза и седая щетина. Перед ними на траве — пустое ведро. — Здравствуйте, — почти шёпотом здороваюсь я.

Директор мельком глянул на меня сверху вниз. Узнал или нет?

— А тебе чего тут надо? — обернулся Орся.

Я яростно глянул на него и отодвинулся подальше.

— Это — счетоводшин, — пояснил директор.

— Да знаю! — отозвался Орся и тут же потерял ко мне интерес.

Директор суров, худ и тёмен лицом. Ученики его боялись. Я тоже побаиваюсь, но меня тянет к нему любопытство. Совсем не потому, что мы соседи — он живёт наискосок от нас, и не потому, что он — редкий мужчина в селе и директор. Тянет исходящая от него тайна: во-первых, он «язвенник», а во-вторых, несмотря на его устрашающе-серьёзный, даже хмурый всегда вид, знаю: в душе он — добрый. И так получилось, что Серко и директор слились для меня в нечто общее.

Меня неудержимо влекло к лошадям, но единственной лошастью, с которой я тогда имел возможность общаться, был Серко. Потому ли меня влекло, что он был для меня живым воплощением силы, от которой скрипит толстая ременная упряжь и стальной сверкающий лемех плуга, который он, упираясь, тащит, с гулом взрывает толстый слой земли, оборачивая его чёрно-жирной изнанкой? Запах ли пахучего конского пота влёк, самый, казалось, прекрасный на земле запах? Или прихотливые изгибы конского силуэта, точёные линии его головы, шеи, ног? — мама говорила, что Серко — выбракованная упряжная рысистая лошадь.

Меня влекли тайна силы и тайна красоты — хотелось быть причастным к ним, и, несмотря на окрики взрослых: «Не лезь, укусит!.. Не подходи, лягнёт!» — я искал случаев, чтобы подойти к Серку. Даже, зная, что он — спокойный, набирался смелости дотронуться до него и погладить по шелковистой шерсти на груди или плече.

Беззубая бабушка не могла одолеть хлебных корочек и копила их, чтобы варить из них летом квас, а я тихонько крал одну-две из них, чтобы отдать коню, со страхом и восторгом обмирая, когда он огромной шелковисто-мягкой губой осторожно брал их с моей ладони. И пока он, гремя удилами, хрустел ими, я напряжённо глядел в его огромный фиолетовый глаз, а конь кивал мне и улыбался, скаля зубы.

Намного позже, уже подростком, когда я на­кидывал узду на другого коня, злого и капризно­го,— тот неожиданно резко повернулся ко мне крупом и взбрыкнул; я отскочил, и заднее копыто свистнуло мимо уха; я с ужасом понял, что мог быть сейчас убит. Но то был уже не Серко, пер­вый в жизни знакомый мне конь, понятливый и добрый. Кони—они как люди: разные.

Серко был единственной в школе лошастью; на нём возили учителям дрова и сено и пахали ого­роды. Дрова и сено возил Орся, а огороды пахал сам директор. И вот в прошлом году, весной, в последнюю пахоту на Серке, угадав моё заветное желание взобраться на коня, он сказал:

— Ну, давай, солдат, держись!—поднял меня и усадил верхом, пока конь, измотанный бесконеч­ными пахотами, стоял на меже не распряжённым и, отдыхая, жадно рвал губами молодой пырей, сочно хрустя им, гремя удилами и пуская меж губ зелёную пену.

А я, не дыша, сидел на нём верхом, намертво вцепившись в стриженую тёмную гриву, и испы­тывал блаженство.

А разве забыть, как мы с мамой копали в поле картошку? Сам я из-за малосильности только подносил пустые мешки и держал их, пока она ссыпала в них картошку, а когда выкопали всю— пошла за Серком, чтобы её вывезти, и оставила меня караулить мешки. В тот день многие копали и возили картошку; мама, видно, ждала, когда кто-то увезёт свою, и я сидел там долго-долго. Начало темнеть, на других полях затихали голоса. Пятки чесались сорваться и бежать что есть мочи вслед за уже далёкими голосами, но я сидел и сидел на мешках, боясь шевельнуться и с тайным страхом вслушиваясь в шорохи вокруг.

И как же сладко было услышать вдали сначала тележный скрип, потом—фырканье коня и нетерпеливый голос мамы, понукавшей Серка. Вымотанный конь не хотел переходить на рысь, и тележный скрип тянулся бесконечно. Потом мама, заблудившись в потёмках, остановилась где-то недалеко и крикнула, чтобы я отозвался. Тут уж я орал изо всей мочи. И—наконец-то!—надви­нулась на меня огромная в темноте лошадиная морда, такая родная—что хотелось броситься к ней и горячо с благодарностью обнять.

— Ты не плакал?—спросила мама, и я удивился: как, разве можно было ещё и поплакать?..

Потом мы грузили на телегу мешки. Мама при­ехала молчаливая и сосредоточенная и не пела, как всегда; это было так на неё непохоже—видно, ей пришлось с кем-то поругаться, прежде чем взять коня. Было жалко её; я очень хотел ей помочь и суе­тился, а она, уже выбившись из сил, то кричала на меня, чтобы я не мешал, то просила припод­нять хотя бы угол мешка, чтоб удобнее взяться, то умоляла меня не поднимать его самому:

— Не смей, надорвёшься!

Но мне эти её окрики были как песня; и ночь уже не страшила: главное—с нами был наш спа­ситель Серко.

Но на Серке не только пахали, возили картошку, дрова и сено—на нём ещё, поставив на телегу или на сани плетённую из прутьев *кошёвку*, ездил по делам в райцентр директор. И на нём же ездила в районный банк мама.

Однако, оборачиваясь туда и обратно за день, возвращалась она поздно. Бабушка укладывала сморённого братишку спать, и мы с ней, зани­маясь своими делами, ждали её; мама приезжала обычно с покупками для нас или для знакомых и—с новостями.

Однажды она задержалась очень поздно. На улице набирал силу мороз, бревенчатые стены потрескивали; бабушка всё больше волновалась, и её волнение передавалось мне. Она отсылала меня спать, но я не желал, и она ворчала. Однако ворчала она, я чувствовал, не всерьёз: вдвоём было не так пусто и одиноко.

В то же время мы, не сговариваясь, чутко вслу­шивались в тишину. Я всё чаще бегал к окну, чтобы, просунув голову меж горшков с цветами, глянуть на улицу. Глядеть было трудно: нижние стёкла зимой обрастали толстым льдом, и я большим латунным пятаком, нагретым на плите, протаивал в нём *глазёк*. Однако полностью очистить стекло в глазке не удавалось, и наружный мир сквозь него виделся фантастически искривлённым. Особенно фантастическим он был в тот вечер: на улице стояла полная луна, освещая сугробы мёртвым зеленовато-голубым светом; я смотрел на этот, казалось, навечно застывший пейзаж, а губы сами собой шептали:

— Мама, ну приезжай скорее!..

Но вот раздался скрип снега на дворе. Я гля­нул в глазок: стоит у ворот подвода! Меня будто ветром подхватило: я—к двери, шапку с шу­бейкой наспех—на себя, и—на улицу. Бабушка вслед:

— Ах ты, сорванец!..—да мне уже не слышно, чем она кончит фразу: вылетаю на крыльцо и прыгаю вниз—помочь маме открыть ворота.

Наконец ворота распахнуты; она под уздцы вводит коня во двор, распрягает и ведёт в сарай. Он уже знает это и сам туда торопится.

В сарае после голубого лунно-снежного блеска—непролазная темь, надышанное коровой тепло, густой запах мочи и навоза. Пугливо шаркаются в темноте овцы, корова отзывается доверчивым мычанием...

— Уходи отсюда, пимы испачкаешь!—кричит на меня мама; я выхожу и терпеливо жду её снаружи.

Она задаёт коню сена, выходит, плотно прикрыв дверь, затем, подойдя к саям, роется в кошёвке,

достаёт из сена портфель, и наконец мы вместе с клубами густого пара вваливаемся в дом.

У бабушки уже готов для мамы ужин на столе, но маме не до него: скинув огромный, до пят, бараний тулуп, пальто и два платка, она первым делом идёт к плите и отогревает руки, затем попеременно жмётся к обогревателю спиной и грудью.

— 3-замёрзла, как с-собака!—говорит она, когда губы начинают её слушаться.

Отогревшись, она садится наконец за ужин и на бабушкино ворчание:

— Почему так поздно? Надо было остаться в райцентре!..—уже повеселевшая и ещё возбуждённая ездой, не в силах молчать, отвечает:

— Скажи спасибо Серку, что нас с ним сегодня волки не задрали!..

И начинает рассказывать, что с ними случилось: как выехала она из райцентра засветло, но, отъехав километра три, встретила обоз с сеном; широкие сенные возы загородили дорогу, а Серко, не желая лезть в снег, заупрямился. Тогда с переднего воза слез мужик, выхватил у мамы кнут и *перетянул* им Серка так, что тот единым махом прыгнул далеко в сугроб, а мужик, забравши кнут, поехал себе дальше. «Отдай кнут!»—кричала ему мама, боясь вылезти из саней: под нею в сене лежал портфель с деньгами,—но мужик только расхохотался: «В следующий раз, тётка,—самому нужен!..»

Кое-как вытащила она Серка из сугроба и поехала дальше. Только, уже приморённый, торопиться без кнута Серко не желал, и—ни кустика рядом с дорогой, чтоб выломать хворостину. Так и плёлся он чуть не всю остальную дорогу шагом, лишь изредка переходя на рысь, когда мама, выйдя из себя, начинала хлестать его вожжами—да только что лёгкие вожжи изработанному коню? И, наверное, доехала бы лишь к утру, если б километрах в двух от села позади них не показались волки—тут, учуяв их, Серко без всякого кнута рванул вскачь, да так, что мама вцепилась в сани и молила судьбу, чтоб не опрокинулись... А как только влетели в село, залаяли разом собаки, и волки отстали, он, вконец вымотанный, опять начал еле переставлять копыта, да ещё, когда ехали мимо школы, упёрся, никуда больше не желая идти. Но у мамы самой уже не было сил идти домой пешком—от пережитого страха подкашивались ноги, и она гнала Серка дальше...

А сейчас он лежал на боку с запрокинутой головой, тяжело дышал, и по его бархатисто-серой шкуре с толстыми жилами под ней пробегали судороги. Но он был жив: заметил меня, скосил свой фиолетовый глаз, в котором отразились мы, все втроём, и прятнул ухом. Узнал? Вспомнил хлебные корочки? Даже, кажется, вздохнул—будто сказал: да, брат, плохо мне,—затем его выпуклый

тёмно-фиолетовый глаз снова уставился в пустоту синего неба с белыми барашками на нём.

Но когда конь встрепенулся при моём приближении, директор глянул на него с интересом и сказал:

— А что, Арсений, давай-ка дадим ещё горицвету? Может, подымется?

— Пряма не знаю, Никитич,—пожал плечами Орся.

— Ты же конюх, должен знать!.. Тащи воды!

Орся поднял ведро и, монотонно скрипя деревянной ногой, поковылял на задний двор, к колодезю, а я с тоской смотрел ему вслед: как медленно он идёт!—и набирался решимости: пойти—не пойти помочь? И когда он уже скрылся за углом сарая—сорвался следом, и стоял потом за его спиной, пока он поднимал журавлём воду, и робко предложил, когда он налил наконец полведра из колодезной деревянной бадьи:

— Можно, я понесу?

— Неси,—разрешил он.

Я с радостью ухватился за дужку и, стараясь не плескаться, единым духом пронёс ведро от колодца до коня и поставил перед директором. Орсина деревяшка ещё долго скрипела позади.

Директор вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку, до половины наполненную тёмной густой жидкостью, и вылил часть её в ведро. — Не много ли?—спросил Орся, доскрипывая последние шаги.

— А вдруг да?..—сказал директор.—Держи голову!

Орся взялся поднять голову Серка—и не мог: не хватало сил. Директор поставил ведро рядом с лошадиной мордой и стал помогать Орсе; вдвоём они кое-как подняли её и стали совать губами в ведро; Серко сопел, хлюпал в воде носом, но пить не желал. Они оставили, наконец, его в покое, и конь опять бессильно положил голову на траву.

Орся то вздыхал и ходил вокруг коня, то, не зная, что ещё сделать, норовил положить его запрокинутую голову поудобнее.

Конь лежал неподвижно и дышал всё реже и тяжелее. А я всё смотрел в его глаз—в нём одном ещё чувствовалась жизнь—и заметил, как в углу глаза накопилась капля и тихо сползла вниз. Лошадь понимала своё бессилие.

Заметил и Орся:

— Ишь, плачет. Прощается.

— Брось ты выдумывать!—раздражённо бросил директор.

Орся ничего не ответил, только понуро покачал головой.

Ещё не знакомый с человеческой иерархией, как я ненавидел в тот момент директора и презирал Орсю за его лёгкое согласие: как густо и сочно всё было окрашено для меня в то время приливами состояний любви, ненависти, презрения, сочувствия, сожаления, стыда, страха, восторга, горя

и удивления! Иначе я и представить себя не мог — вся жизнь моя тогда была окрашена ими, они переполняли меня, я задыхался от их избытка... Но я ничем не выдавал себя — к тому времени я уже научился ловко притворяться перед взрослыми. Я уже знал точно: им казалось, что я ничего не понимаю из того, что понимают они, — и возражать им было не только бесполезно, но и опасно: на тебя смотрят, как на муху, спорить с которой — значит, опуститься ниже своего достоинства, и которую хочется прибить с досады. Мне часто бывало стыдно за них... Тут директор вынул из нагрудного кармана часы на цепочке, посмотрел на них и сказал:

— Ну что, Орся? Мне надо на митинг... Да, видно, не жилец... Но, может, отлежится — тогда попробуй ещё горицвета! — директор отдал Орсе бутылку с остатками тёмной жидкости и пошёл к калитке.

Я осмотрелся; мимо забора в сторону сельсовета шли люди. Я вспомнил, что тоже хотел туда, но жалость к Серку не отпускала меня. Я продолжал внимательно смотреть в глаз Серка — он один продолжал быть живым: влажно блеснул и отражал небо; дрожали белёсые ресницы.

Но вот глаз полузакрылся, начал уходить в себя, тухнуть и подёргиваться мутной пеленой; чтобы всмотреться в него, я присел на корточки.

Вдруг конь резко поджал под себя ноги и попытался упереться ими в землю, чтобы вскочить — раз, другой; но ничего уже не мог, и ноги его опять расслабленно вытянулись.

— Знаешь что, паря? — сказал мне тогда Орся. — Неча тут торчать, давай-ка тоже туда! — он махнул рукой в сторону сельсовета.

Я встал с корточек и, глядя в землю, пошёл к калитке, в которую ушёл директор. Однако шёл я, еле волоча ноги и оглядываясь: всё казалось, что сейчас что-то должно произойти — какое-то знамение... Но ничего не происходило.

Я обратил внимание, что иду по цветам. Огляделся вокруг — и в самом деле, по всему двору на молодой траве высыпали одуванчики, как золотые веснушки на зелёном теле земли: согреты солнцем, они враз раскрылись! И чуть не в каждом жадно барахтается голодная пчела или шмель...

Я старался шагать, не наступая на цветы, но тут вдруг взял и раздражённо растоптал один, в котором купалась пчела, а потом оглянулся и посмотрел. Раздавленный цветок и раздавленная пчела — и опять ничего не изменилось. От нестерпимой боли в душе хотелось плакать, и было не до митинга. Я шёл туда — и не шёл.

В одном месте дорогу к сельсовету подмывала река, и когда я бывал тут, то останавливался посмотреть, как она рушит глину, настырно вгрызаясь в крутояр. Остановился и сейчас, скользя взглядом

по обрыву, облепленному жёлтыми цветочками мать-и-мачехи, и глядя на водовороты мутно-пенистой воды под обрывом. Не помню, о чём я думал тогда, но в голове моей шла мучительная работа... Только, помню, поднял голову и обвёл кругом будто бы не своим, а чужим каким-то взглядом, и мне показалось, что всё вокруг, в том числе и я тоже, не само по себе — а лишь отражение в чьём-то огромном холодном глазу...

Тут со стороны сельсовета раздались частые выстрелы. О-о, да там что-то интересное! Спохватившись, я что есть мочи побежал туда.

Но когда пришёл к сельсовету, с митинга уже расходились. Навстречу шла группа женщин; одни всхлипывали, другие радовались и возбуждённо говорили; за ними шёл Коля-Мордвин с охотничьим ружьём за плечами; шёл сухонький седой Матвей Хименков в штопанной-перештопанной, выгоревшей добела гимнастёрке враспояску, в таких же галифе и галошах на босу ногу.

Матвей догнал женщин, достал из кармана потёртую, сложенную во много раз газету, развернул и, тыча пальцем в фотографию военного, начал горделиво хвастать, безмятежно улыбаясь выцветшими глазами в красных веках:

— Видали? Мой-то Егор — сталинский сокол! Двадцать семь самолётов сбил, во как! Дважды Герой! Скоро вернётся — письмо прислал...

Женщины дружно закивали:

— Да, Матюша, молодец твой Егор! Приедет, раз обещал, — как же не приехать к родному *тятю*? Денег привезёт, приоденет тебя! Вот порадуешься-ся-то...

Только знали они: никакой его сын не лётчик — рядовой пехотинец он был, и в первый же год войны пришла на него похоронка...

Коля-Мордвин, мой сосед, казался мне тогда большим и взрослым, хотя его ещё не призывали в военкомат. Зимой он ловил на петли зайцев, весной и осенью стрелял уток (всю добычу ему надо было сдавать), а летом рыбачил с бригадой. Мы с ним дружили, то есть, попросту, я таскался за ним, зимой — карауля его санки с застывшими длинными, длиннее моего роста, белыми зайцами, пока он обегал на лыжах расставленные по буреломам петли, или мешок с битыми утками — осенью, пока он *скрадывал* очередную стаю, а летом я таскал пустые вёдра, пока рыбаки заходили на реке, по озерам и старицам очередную *тоню*. Но доставались мне там и трофеи: прямо в опрокинутую кепку мне насыпали рыбной мелочи — золотых «сопливых» карасиков и шершавых зеленоспинных окуньков с густо-алыми плавниками, — и я бежал домой хвастаться: вот сколько заработал!..

— Что ж ты, сосед, опоздал-то? — весело упрекнул меня Коля. — А мы салют давали. Из шести ружей! Пошли домой, ничего больше не будет!..

Но мне не хотелось домой—надо было рассказать маме про смерть Серка, а найти её было непросто: после митинга на площади осталось полно людей—чуть не всё село, и уходить с праздника домой никому не хотелось; разбившись на кучки, они возбуждённо все враз говорили, смеялись, перекликались со знакомыми, так что над площадью стоял сплошной гомон. Это было невероятно и озадачивало меня—впервые в жизни я видел столько радостных лиц и возбуждённого блеска глаз!..

И там было полно ребятни; ей передалось это всеобщее возбуждение взрослых—она носилась между ними и галдела не меньше их.

Там были и наши пацаны...

В школе или по дороге из школы деревенские пацаны между собой не дрались, но как только ты оставил дома школьную торбу и вышел на улицу—сразу начинал принадлежать только своей улице: ходить одному на чужую улицу было небезопасно—могли и *отлупить* только за то, что это их, а не моя улица; так что обстоятельства вынуждали сбиваться в ватаги.

В нашей ватаге атаманил Толян... Ему—двенадцать, предел для *пацана*: после двенадцати уже стыдно было *водиться с малышняй*—наваливались взрослые дела. Да наш Толян и так чувствовал себя почти взрослым: гудел баском, стрелял из *поджиги* (медной трубки, сплюсненной с одного конца и примотанной к деревянной ручке); эта *поджига* лихо и как-то нарочито торчала всегда из голенища его больших и широких отцовских сапог, в которых его тонкие ноги болтались, как деревянные песты в широких же деревянных ступах, в которых «крушили» (очищали от шелухи) просо, а сами его сапоги, хлябая, когда он ходил, бухали по земле, словно колокола.

А ещё, на зависть остальным пацанам, он носил на голове настоящую военную фуражку с лаковым козырьком. Правда, козырёк этот был посередине сломан, и одна половина его болталась, свесившись; зато вторая, целая половина козырька по боевому торчала вперёд.

Свой пацан мог и поспорить с Толяном, даже поддразнить—в ответ тот лишь *ставил щелбан на лысине*, и то—вполсилы, шутя. Но во враждебной среде—а она за пределами улицы была всюду—полагалось подчиняться ему и слушаться: ведь он был самым старшим в ватаге нашей недлинной надречной улицы—стало быть, вроде как отвечал за остальных и от этого становился важен и немногословен.

Наших пацанов набралось тогда четверо, и они уже уходили.

— Вы куда?—спросил я.

— На *кудыкину гору*,—ответил мне Толян басовито-насмешливо.

Но любому другому из них не зазорно было отвести мне честно, и один из них сказал, что они—в лес, нарвать *мамкам* цветов. Я представил себе, как мама моя обрадуется им в этот день, и отчаянно запросился с ними; однако Толян важно возразил: — Ты ещё маленький—в лес; подрасти.

Я-то подозревал, что он просто боится моей мамы. Пришлось убеждать его и всех остальных заодно, что ещё прошлым летом я уже ходил туда один—носил маме обеды на покос, и они меня взяли... Мы свернули в проулок и вышли на выгон.

И тут всюду тоже—рассыпанные в молодой траве одуванчики... В небе, будто подвешенные на солнечных лучиках, висят, трепеща крылышками, жаворонки, и от их трелей звенит и лучится воздух.

Лес—в километре отсюда.

Этот лес обогревал и кормил всё село: в нём пилили дрова, косили сено, собирали грибы и ягоды, а весной учителя водили туда школьные классы заготавливать берёзовые почки для фронта... И в тот же лес тянулись вёснами в поисках приключений и блуждали в нём мальчишеские ватаги.

По дороге я рассказываю им, что видел сейчас, как умирает школьный конь Серко. Сразу несколько *пацанов* предлагают Толяну дать крика и тоже посмотреть—им завидно, однако он диктаторски пресекает предложение.

И вот мы вступаем в лес. Кругом белые берёзовые стволы поддерживают навес из пока что дымчато-зелёных крон. Солнечные блики пронизывают их насквозь и, рассыпаясь вдребезги, падают в ещё жухлую траву. Тихо—будто заложило уши; слух улавливает лишь птичий голос: еле слышно попискивают мелкие птахи; перекрывая их писк, невидимая иволга изредка звучно высвистывает где-то недалеко: «Никиту видел?» Сразу несколько мальчишек берутся передразнить её свистом; тогда прямо на нас выпархивает яркая жёлто-зелёная птица и—шарахается прочь под общий смех...

Слышна далёкая, как эхо, кукушка... Перед нами перепархивают, недовольно стрекочут, гонят нас дрозды: «Пошли, пошли прочь отсюда!» Но мы и так идём дальше—цветов пока мало: тут пасётся скот, ходят люди. Толян знает, где их много, и уверенно ведёт нас вперёд.

И наконец мы приходим на нетронутые цветочные поляны: в частом березняке сплошь кустанятся синие медуницы; на открытых солнечных взгорках от лёгких дуновений колышутся на тонких ножках целые поля белых ветрениц-анемонов; среди них промельком—малиновые искры примул; а во влажных низинах, среди уже сочной зелени и крохотных голубеньких незабудок, чистым золотом отливают огненные цветы купальниц.

По-разному, но с одинаковой нежностью—«жаркками», «огоньками»—зовут их в разных местах Сибири. И в самом деле: заглянешь внутрь

цветка — там полыхает, не сгорая, маленький жаркий огонь с многоязыким чистейшим пламенем... Помню, уже взрослым я впервые увидел цветы купальницы европейской и поразился невзрачной — лунной, зеленовато-жёлтой — её бледности. В этой бледности есть своя скромная красота — но ни в какое сравнение она не идёт с праздничным нарядом купальницы азиатской. Для сибиряка она — символ солнца и одновременно — весны, такой долгожданной в Сибири, такой скоротечной, стремительной и полной резких погодных контрастов: то тропически-жаркой, то вдруг дохнувшей арктическим холодом и дождём пополам со снежной крупой...

— Вот они где! — с царским достоинством обвёл рукой Толян, щедро даря эти поляны нам.

И мы берёмся за дело, выбирая самые сочные, самые крупные, самые красивые — на радость мамам... Букеты собрали быстро... А день всё длился и длился; уже столько событий случилось, а он лишь едва-едва успел перевалить за середину.

И тут мы спохватились: мочи нет, как хочется есть! А еда — кругом...

Меня начали учить её добывать, и я на ходу усваивал эту науку (которая потом помогала мне ещё не раз): мы рвали сочные цветоносные стебли медуниц, очищали их от листьев и шершавой кожицы и жевали хрупкую зелёную мякоть этих стеблей, а выдёргивая из цветоложа синие цветки, откусывали их белые сладкие цветоножки; мы отыскивали молодые стреловидные листики щавеля, сизые побеги лука-слезуна, тонкие пёрышки дикого чеснока и совали, совали всё это в рот; мы обрывали свеженькие, ещё тонкие, как мышиньи хвостики, побеги тальника, счищали с них тонкую молодую кожицу и хрустели сладковатыми зелёными стебельками; мы выдирали из лиственных пазух белёсые, жёсткие, высокие уже побеги пырея и обкусывали их мягкие сладкие кончики. Мы искали торчащие из земли, как бело-розовые кулаки, молодые ростки ревеня и съедали их полностью...

Особенно лакомы были луковицы лилии-саранки, «царских кудрей», этих хрупких цветов с круто завитыми лиловыми лепестками; найдя стрелку побега, мы выковыривали из земли жёлтую луковицу и, кое-как оттерев от грязи и набив ею рот, с хрустом, брызгая соком, жевали её.

Но — странное дело: по мере того, как мы набивали животы, есть всё хотелось и хотелось — энергия, истраченная на добычу еды, не восполнялась. При этом азартная погоня за ней уводила нас всё глубже в лес... Стало жарко; наши цветы начали обвисать, и ребята бросали их: новые соберём! Однако я нёс свои упорно.

Мы замечали бурундуков, но они, уже явно знакомые с человеком, быстро прятались; однако один,

весёлый и любопытный, — молодой, наверное, совсем ещё мальчишка! — нисколько нас не боялся; лес становился глуше, и он, легко перебегая с валежины на валежину, замирал, став столбиком, оглядывался на нас и посвистывал — будто приглашал к игре. И Толян не выдержал — схватил с земли палку; остальные, заражённые его азартом, тоже похватили палки.

— Зачем вы? Не надо! — закричал я, чуть не плача.

Но куда там: они лишь отмахнулись от меня:

— Да замолчи ты!..

Толян выбрал момент, когда бурундучок замер, швырнул в него палку — и попал; бурундук свалился в траву и пополз было под валежину, но остальные пацаны настигли его, добились и теперь стояли над ним, не зная, что делать дальше. Я протиснулся сквозь кружок — посмотреть, что с ним стало.

Зрелище было ужасное: рыжий полосатый бурундучок был расплюснут; из заднего прохода у него вылезли кишочки, а во рту сквозь длинные белые зубки пузырилась кровавая пена. Я посмотрел на товарищей недоуменно: я и не подозревал, что в них сидят злодеи!.. Странно как: каждый в отдельности — хороший пацан, у каждого своя улыбка, своя интонация в голосе, отличающая его от других, — но что с ними стало, когда они вместе: как легко и быстро от радости и добродушия переходят они к злобе!.. Как я их ненавижу в тот момент!.. И с той поры, и поныне ненавижу слепую, заразительную жестокость толпы: вот она, сторукая и стоглазая, основа агрессии по отношению к «другому», к «чужому», к не похожему на них!

А между тем по лесу стало трудней идти: кончились тропинки; чаще попадались толстые гнилые колоды, через которые надо перелезть; в прошлогодней некошенной, свалившейся траве путались ноги. В довершение всего мы упёрлись в ручей, текущий в низине среди непролазных зарослей.

Толян остановился в недоумении:

— Странно! Тут раньше не было ручья!..

Значит, надо возвращаться, только и всего... Сквозь заросли мы всё же пробрались к ручью, напились воды и повернули обратно, уже помалкивая, идя без остановок и без той беспечности, с какой нас сюда влекло.

Шли долго. Казалось, лес уже должен был кончиться, а ему всё не было конца.

Мало того, по-прежнему под ногами тянулась старая некошенная трава, и по-прежнему — ни дорог, ни тропинок. Беспокойство наше нарастало; медленно таял непререкаемый Толянов авторитет — ватага готова была возроптать на него. Да Толян и сам чувствовал беспокойство и растерянность.

Вдруг один из нас сказал удивлённо:

— Смотрите, собака!

Наискосок к нам в высокой бурой траве и в самом деле бежала большая серая собака со стоячими ушами и узкой мордой. О, как мы ей обрадовались!

— Это же Джек деда Пунделя! — спасая свой авторитет, бодро сказал Толян и в доказательство позвал: — Джек, ко мне! Джек, иди ко мне!

И мы, поддерживая Толяна, завопили скопом: — Джек! Джек! Иди к нам!..

Джек остановился метрах в тридцати, глянул на нас холодно и косо и, пересёкши нам путь, спокойно потрусил себе дальше, скрываясь за деревьями. А мы продолжали кричать, свистеть и улюлюкать ему вслед.

— Ха-ха! — презрительно фыркнул Толян. — Волкодав, а нас испугался!..

И когда он произнёс слово «волкодав», остальные напряжённо замолчали, а один высказал вслух не очень уверенную догадку:

— А ведь это волк!

Молчание стало тягостным. И нас сразу оглушила тишина; солнце померкло, упав куда-то за верхушки берёз и запутавшись в них, как в сетях. Лес вдруг показался непомерно высоким, глухим и чужим, а сами мы стали тесно сбившейся и испуганно озирающейся кучкой.

Однако Толян, к его чести, не дал поселиться в нас панике:

— Давайте, пацаны, найдём себе по хорошей палке!

Он будто кинул нам спасательный круг — все бросились искать палки. И я тоже принялся искать себе палку по силам, бросив свой вконец измученный и увядший букет. Зато с палками стало веселей и надёжней.

Однако лес по-прежнему никак не хотел кончаться, а солнце, клонясь, всё плотней увязало в молодой полупрозрачной листве деревьев.

И тут мы услышали далёкий-далёкий, но явственный рокот. Он был совсем не в той стороне, куда мы шли. Решили идти на него.

И вот лес расступился. Перед нами чернело свежеспаханное поле, непаханая кромка которого, прилегавшая к лесу, щетинилась прошлогодней жёлтой стерней. Справа, уже низко над землёй, висело огромное и багровое теперь солнце, а слева, густо пыля плугами, к нам медленно приближался громко рычащий гусеничный трактор. Мы стали его ждать.

Наконец он поравнялся с нами и, пахнуv на нас горячим машинным маслом, остановился. Из подбоя кабины без стёкол и дверей прыгнул на землю тракторист с чёрным, как у негра, лицом — белели только зубы и белки глаз, да ещё — седея щетина на щеках, и, как кровавая рана на лице, краснел рот.

С высокого сиденья над прицепом с плугами позади трактора соскочил другой человек, тоже чернотлицый, и оба решительно направились к нам.

Весь в чёрной промасленной одежде, чёрный лицом, тракторист показался мне страшным. Прицепщик, идущий следом, в большом пиджаке, запахнутом глубоко под мышку и перетянута в поясе верёвкой, был щупл и невысок, однако и он выглядел угрожающе. Я уже готов был рвануть со всех ног в лес; да, кажется, и вся наша компания приготовилась дать стрелача.

— Толька, это ты, что ли? — вдруг спросил тракторист.

— А-а, это вы, дя-а Вася? — в свой черёд осторожно спросил Толян.

— Ну я, — ответил тракторист. — А какого чёрта вы тут делаете?

— Да хотели цветы мамкам... — принялся было объяснять Толян.

— Х-хэ, цветы! — угрюмо усмехнулся тракторист и повернулся к прицепщику: — Слышь, Серёнька: это они за цветами сюда припёрлись! Сегодня распишут им дома цветами задницы!..

Я всмотрелся в «Серёньку» и узнал его: он же — с соседней улицы; ещё недавно, как и Толян, гонял по улицам с ватагой, даже ставил мне когда-то *щелбаны*, — а теперь Серёнька смотрит на нас свысока. И наш Толян рядом с ним сразу уменьшился ростом. А тракторист опять обратился к нему:

— Ох, Толька-Толька, отцов на вас нет... Это ж надо: за семь вёрст упёрлись, а? Ещё и мальчика с собой таскаете, — кивнул он на меня.

— Да мы это... подарить в День Победы, — бормотал Толян.

— Как? — встрепенулся тракторист. — Победа, что ли?

— Ну да! — важно на этот раз пробасил Толян, и тут все остальные, перебивая друг друга, пришли ему на помощь:

— Митинг был!.. Председатель сельсовета выступал, директор школьный... Стреляли, из шести ружей салют давали!..

— Так бы сразу и сказали, а то молчите! — повеселел тракторист и опять повернулся к прицепщику: — Слышь, Серёнька, а я всё думаю: чего это пахота у нас сегодня так спорится? И трактор ни разу не заглох: прёт и прёт! И, *главно дело*, бригадир не *показываются*!.. Ох, в баньку-то бы *щас*!.. Да там, поди-ко, и выпьют сегодня?.. Ну, молодцы, *робаты*, что сказали. Давай-ка, Серёнька, допашем скорей, да, может, нас и домой пораньше отвезут — ради Победы-то?.. А вы давайте-ка вот так, краем пашни, — уже доброжелательно показал он нам рукой в противоположную заходу солнца сторону, — и дуйте, да побыстрей, а то ночь скоро. Кончится пашня — там дорога будет; так вы по ней. А там и деревню увидите!..

И тракторист с Серёнькой повернулись и пошли к трактору, а мы потопали, как он показал, краем пашни, беспокойно оглядываясь на солнце,

замечая, с какой быстротой оно клонится всё ниже и ниже к земле.

Семь вёрст, после целого-то дня на ногах, казались бесконечными: идёшь-идёшь, а всё почти на месте... Я неизменно теперь плёлся позади всех, и каждый по очереди считал нужным на меня цыкнуть:

— Ну ты чего как варёный-то? Шевелись быстрее!..

Чем ближе к ночи, тем больше беспокоила недавняя встреча с волком. Кто-нибудь ни с того ни с сего вдруг спросит недоуменно:

— А он, наверное, не один там был... Где же остальные-то? — и мы понимали, кто это *он*, и всё глубже уходили в собственные невесёлые мысли...

А дороге всё не было конца — как не было конца этому бесконечному дню.

Наконец вышли на дорогу. И тут далеко в низине показалось село. Солнце зашло; здесь, в поле, ещё стояли светлые сумерки, а село уже потонуло во мраке — слабо мерцали первые огоньки. Ещё так далеко до дома — а ноги уже совсем не шли. И в то же время с приближением к дому нами всё больше овладевала не радость, а уныние: что-то нас там ждёт?

К нашему облегчению, нас догнала одноконная бричка; в ней, кроме юного возчика-подростка, восседавшего на пустой железной бочке из-под горючего, сидели уже знакомый нам тракторист дядя Вася с Серёнкой. Подобрали и нас. И лошадей, и седоки торопились домой, так что бричка, подпрыгивая и тарахтя на неровной дороге, неслась под горку споро и мигом домчала нас до села.

К дому я подошёл в темноте. С нарастающим страхом: что-то сейчас будет? — поднялся на крыльцо и дёрнул входную дверь. Дверь была заперта, и я с ужасом понял: меня не ждут!

Рядом с крыльцом — кухонное окно; ближняя створка его открыта и завешена марлей — это делалось, когда наступало тепло. Я осторожно глянул сквозь марлю: в тёмной кухне бледнел маленький слабый огонёк; из-за марли вместе с домашним теплом, сулящим покой и уют, тянуло заманчивыми кухонными запахами, и я тотчас вспомнил, как страшно хочу есть.

— Ма-ама-а! — жалобно позвал я и наострил уши.

В кухне послышался шорох; я напряг слух, но разобрать ничего не мог. Затем за марлей раздался строгий бабушкин голос:

— У нас все дома!

— Бабушка, это я! — горячо залепетал я.

— Кто это «ты»? — спросила бабушка строго. — Не знаю такого.

— Ну я, я! Простите меня — мы в лесу заблудились! — продолжал я ныть; хотелось плакать от обиды, раскаяния, от жалости к себе и страха, что меня и в самом деле не пустят; однако плакать я уже не мог — так устал, только стоял и ныл,

вполне осознавая, как это нытьё противно даже мне самому.

— Мама полдня бегала по деревне и искала своего сына, — опять раздался бабушкин голос. — Но она его нашла. Все мальчишки, у кого есть дом, уже дома!

У меня мелькнуло в голове: а ведь и в самом деле все уже дома; я последний — ведь я живу дальше всех!..

— Ма-ама-а, прости-и, я больше не бу-уду-у! — продолжал я назойливо ныть, обвиняя теперь только к маме, а не к бабушке, продолжая в то же время вслушиваться в шорохи, ещё не зная, что мамы дома всё ещё нет — она сломя голову бежит по деревне и ищет меня...

И вдруг почувствовал: в мире за моей спиной произошло что-то беззвучное и торжественное. Я оглянулся и обмер: далеко над заречными болотами и лесами показалась в темноте светящаяся багровая полоса; она быстро вспухала и дыбилась кроваво-огненной горой. Я никогда ещё не был так поздно на улице и никогда не видел ничего подобного. Про всё забыв, зачарованный, я, словно лунатик, спустился с крыльца, миновал калитку и покорно пошёл навстречу удивительному видению.

До берега, который обрывался крутояром, было метров двести. Пока я шёл к нему, передо мной выкатилась, взбираясь всё выше в небо, огромная луна, из багровой превращаясь в оранжево-золотую.

Вообще-то я любил бывать на этом обрыве днём: здесь кончались все дороги и начинался необозримый простор во все стороны; с него далеко-далеко видно было дикие, густо заросшие заречные дали, уходящие к горизонту слабыми волнами; с обрыва мы, мальчишки, бывало, кричали хором в это необозримое пространство смешную фразу: «Кто украл хомуты?» — и оно отвечало нам долгим-долгим многократным эхом: «Ты-ы-ы!..» Но когда я дошёл до края обрыва теперь, поздним вечером, и остановился — всё вокруг странно изменилось по сравнению с днём; знакомый мне мир в темноте был совершенно иным — многомерным и ещё более огромным: пространство между мною и луной странно голубело и серебрилось; глубоко внизу пролегла по чёрной речной воде косая сверкающая дорожка; с переката вдалеке слышался совершенно не слышимый днём плеск, шум, бульканье; но самое странное — воздух вокруг странно звенел и переливался... Мне открывалась ночная сторона жизни, таинственная, глубокая и ещё более интересная, чем дневная; я был поражён своим открытием и просто задохнулся от обилия этой другой — ночной — стороны жизни: она поворачивалась ко мне совершенно новой стороной!

У меня перехватило дыхание; я уже совершенно изнемог от усталости и обилия свалившихся на меня за день открытий и, не в силах стоять, сел

на землю, поднял колени и, чтобы угреться, обхватил их и плотно прижался к ним грудью, глядя перед собой и слушая эти странные, незнакомые мне переливы и этот звон. И тотчас уснул—очнувшись уже в маминых руках... Это потом она мне рассказала, что когда я стоял и ныл у окна—она, уже и успев побывать в лесу, и обойдя всё село, как раз бежала домой, потому что столкнулась с Серёнькой, и тот ей всё про нас доложил.

— Какой противный мальчишка: замёрз, устал... Вот устроил мне праздник!—ворчала она, завернув меня в свой жакет, подняв на руки и крепко обнимая.

Я сам прижимался к ней, чувствуя, как льются в меня её тепло и нежность. Никогда—ни до, ни после—не было у нас с ней такого душевно-телесного слияния, как в тот странный вечер, которым окончился день: мама судорожно обнимала меня, желая оградить от всего, что влекло меня, соблазняло и манило...

— Мама, а что это так звенит?—угревшись, сквозь сон спросил я.

— Где, что звенит?

— Да вот, вот! Слышишь?

— А-а!—догадалась она.—Так это же соловьи!...

И тогда я сразу понял, что отовсюду—из-за реки, из лепившихся по склону обрыва кустов акации, жимолости, крушины—раздавались трели, свист, щёлканье многих-многих птиц, сливаясь в сплошной звон.

— Ну всё, пошли домой,—сказала она.—Но мне тебя не донести—ты уже вон какой тяжёлый, а я устала.

Она опустила меня на землю, оставив на мне свой жакет, взяла за руку, и мы пошли домой; этот не совсем обычный день в ряду бывших до него и ещё предстоящих, наконец, кончился...

Но когда я вспоминаю про него—он представляется мне средоточием всего, окружавшего меня тогда: всеобщей военной беды, смертей, нищеты и натужности жизни, и одновременно—необыкновенной красоты вокруг. И всё кажется: именно в тот день я очнулся от младенческого сна, в котором пребывал до этого, лишь моментами приходя в себя; очнувшись, пришёл в себя и начал постепенно осознавать, что существуют две разные части мироздания, не сводимые в одно: человеческая жизнь—и необыкновенная красота мира, от которой замирает дыхание и сильнее стучит сердце; и в глубокой трещине, разделяющей эти две части, живу я, раздираемый ими надвое, сросшийся со всем этим намертво, любящий это всё—и всё же отдельный ото всех: от бабушки, от мамы, от коровы и овечек, от солнца и травы, от всего села вместе с директором школы, Орсей, Толяном и всей нашей уличной стаей, от нашего огорода и от полей вокруг села, по атому собиравших воедино моё тщедушное детское тело. Я продолжал чувствовать родственную связь с этим миром и до конца дней буду нести в себе пуповину связи с ним—но вместе с тем именно с того дня я всё больше и больше отдалялся от него и всё более чувствовал и осознавал себя, отдельного от всех, и разстил в себе себя самого. Так что спокойно могу объявить, что я—родное дитя и прямой наследник той великой, мучительной, страшной Победы.

Евгений Степанов

Каждый день

Время

В детстве жизнь пахла чудом, сгущённой,
И молочные реки текли.
А теперича клювом не щёлкай,
На прокорм добывая рубли.

А теперича время бандита,
Что припрятал в костюме обреза.
...Я хотел бы купить на «Авито»
Хоть немножечко детских чудес.

Между там и не-там

Всё бессмысленней, всё бесполезней
жизнь моя на промокнувшей земле.
Это время дождей и болезней,
это полое время после-

дней опальной, нахальной надежды
между там и московским не-там.
На душе—ведь она без одежды—
отпечатались благость и хлам.

Смерть сурова—не будет дисконта.
Жизнь плетётся, как бабка, ворча.
В поликлинике старой Литфонда
Я сижу, ожидая врача.

Гамлет двадцать первого века

Где раздобыть денюжат—вот в чём вопрос.
Век отучил нас от тепличности.
Култ личности так быстро перерос
В неистребимый култ наличности.

Часы

Не отвечать, не тратить жизни, не
наносить ударов по гадюкам.
Скрипучий звук, увязнув в тишине,
перестаёт быть звуком.

Нет времени, песочные часы
песка перебирают горстку.
Я не старик, попутавший рамсы,
я не могу драть глотку.

Разговор с самим собой

Мой прадедущка срок отмотал лишь за то,
Что имел сорок ульев, костюм и пальто,
Коровёнку держал, поросят и конягу,
Не лакал день и ночь самогонку и брагу.

А меня посадили в советский дурдом
За простецкий верлибр, за смешной палиндром.
А дурдом зачастую не лечит, а ранит.
Что сказать? Я во многом такой же, как прадед.

Сколько Бога о лёгкой судьбе ни проси,
Не бывает легко никогда на Руси.
Эту грустную мысль ты, скажи мне, постиг ли?
Ничего, всё путём, ничего, мы привыкли.

Погода

Бежит по экрану погодный субтитр.
Хорошего он ничего не сулит.
Погода становится хуже
Во власти норд-остовской стужи.
Но стужа не вечна, хоть зла да темна.
Я должен ещё дотянуть до тепла,
До нежной скворчиной теплоты,
Которая сгинула ныне.

Разговор

— Я же кровь Твоя и плоть,
Значит, что-то стою.
Чем помочь Тебе, Господь?
— Будь со мною.

Здесь

Здесь радости нередки,
Восторг даётся даром.
Здесь молодые ветки
Растут на смену старым.

Здесь горестей как грязи,
Не всё идёт по плану.
Но я ни в коме разе
Трындеть о том не стану.

Легко

Проворным, как фарца, и вздорным, точно цаца,
И я когда-то был — и так любил успех.
Похвастаться, приврать, сболтнуть, покрасоваться —
Кромешный, и смешной, и очевидный грех.
Теперь — рот на замок, и чёрный хлеб аскезы
Милее, чем эклер и «Птичье молоко».
Я вкручиваю, как стальные саморезы,
Иную жизнь в себя. И — жить легко, легко.

Территории

Территория лжи всё чудней и обширней.
Вьётся змейкой пиар, точно пар над градирней.
Дашь пять лямов — и будешь прославлен в момент.
А не дашь — так обставит тебя конкурент.
Территория правды мала, как шесть соток,
Над которыми встали громады высоток,
Новомодных страшил из стекла и бетона.
Территория правды — запретная зона.

Всегда

раньше за стихи платили и убивали
теперь за стихи не платят но по-прежнему убивают
поэты всегда хорошая мишень

Каждый день

Самый жестокий тиран
имеет (какое ёмкое слово!) своих приверженцев.

Самый безгрешный подвижник
подвергается осуждению.

Самый беспомощный стихоплёт
собирает сотни лайков.

Самый талантливый поэт
даёт обет молчания.

Самый близкий человек
причиняет страдание.

Самый злейший враг
приходит на помощь.

Всё, абсолютно всё
бывает в этом мире.

Я давно ничему не удивляюсь.

Я живу,
ежедневно выполняя свою работу.

Три строки

популярный поэт
какая неслыханная пошлость
Господи спаси и сохрани

Три стихотворения о болгарском городе Несебре

I.

налево пойдёшь—увидишь море
направо пойдёшь—увидишь море
вперёд пойдёшь—увидишь море
назад пойдёшь—увидишь море
сделаешь паузу—увидишь себя

II.

Несебр—это Монмартр,
имеющий выход к морю.

Несебр—это юный гларус,
взлетевший на крышу старинного дома.

Несебр—это узкие тысячелетние булыжные улицы,
по которым гуляют мои дети и внуки.

Несебр—это галечный пляж,
по которому легко дойти до Эллады и Византии.

Несебр—это летнее солнце,
которое активно и бесплатно работает для всех.

Несебр—это зимнее счастье,
когда нет туристов.

Несебр—это мой главный морской причал,
где душа швартуется уже несколько десятилетий.

III.

Мне это известно: красивый обман—
Земные Эдем и нирвана.

Мне это известно: погода Балкан
Изменчива, непостоянна.

Мне это известно: не лучший удел—
Уйти в забуторные дебри.

А всё же Несебр я всем сердцем воспел,
А всё же волшебю в Несебре.

Здесь воздух звенящий грустить не велит,
Здесь время тягуче, былинно.

И каждый булыжник равновелик
Векам, обожжённым, как глина.

Здесь гларус на крыше, здесь парус вдали.
Здесь дом и моя ойкумена.

И счастья такие большие кули,
Что хватит на всех непременно.

София Максимычева

Высокий снег



Зарастает дом ледяной травой,
изо рта его выпадает зуб,
только чуешь ты: он ещё живой,
и жива душа—деревянный сруб.

Вот возьмёшь, бывало, его, прижмёшь—
и давай баюкать: мол, спи да спи...
И стучится в окна озябший дождь,
будто вяжет облако пара спиц.

Ну а ты жалеешь его и птиц,
и качаешь тихо гнездовья, и
паутину снимешь с родимых лиц,
и опять поёшь о своей любви.



Есть излишества природы
и наследство жарких лет.
Что купил, то и распродав
и стоишь полураздет.

Будет день, и будет пища—
звук, летящий на язык.
На немножко солнце вышло,
человек к зиме привык.

Он привык к молчащей птице,
к леденящей тишине.
Ходит, думает:

«Мне снится!»—
и уже привык вдвойне

к недосказанности слова,
нам друг друга—не понять...
Я, как все, к зиме готова,—
что мне на зиму пенять?

Я прощу себе и людям,
день сегодня светло-сер,
раз другими мы не будем,
и зима—ещё не смерть.



То ли ангел с дудочкой, то ли тень,
извлекает музыку слабый рот.
Высоко-то как, вот ещё ступень,
поднимайся ввысь, не наоборот.

А устанешь—пусть бубенцы звенят,
гонят хворь взашей, а тоску за дверь.
Накорми птенцов, обогрей кутят
да в любовь Всевышнего Бога верь!

Оглянись вокруг: тишина—внутри,
снеговик мой мал, да зима крепка.
Холода́ и лёд, ну а ты смотри,
Как, вздыхая грудью, плывёт река.

Там на дне пескарь и сонливый сом
закопались в ил и, прикрыв глаза,
говорят на рыбьем и о своём,
что доверить нам, рыбакам, нельзя.



Среди исписанных бумаг
одна отыщется едва ли;
над нами неба саркофаг
и горизонта рвы и дали.

Сиди в тени, толкуй слова,
перебирая птичьи мысли;
зимы бледнеющий овал
от скуки смертной мыши сгрызли.

И как себя ни тормоши,
всё получается без звука;
молчат перо, карандаши,
лишь ангел силится мяукать.

Ты льёшь на блюде молоко,
под нос чего-то там бормочешь,
а снег летит себе легко:
и день, и ночь без проволочек.

В. С. П.

Нальётся в чашку чай горячий,
умаслят сахаром лимон.
Новорождённый и незрячий
снег приземлится на балкон.

К ночи вполне остепенится,
расправит крылышки свои,
и вот уже парит, как птица,
курлычет что-то о любви.

А ты пей чай, не обжигайся,
и слушай музыку небес.
Высоким снегом восхищайся,
пока он здесь и не исчез!

Встанешь иногда на краю,
смотришь вниз, как ходит река;
так, глядишь, и жили б в раю,
дуракам всё время искать—

истину в бокале с вином,
виноватых в смертных грехах.
Снеговик в пространстве моём
холоден, как беглый монах.

Да и ты ничуть не теплей;
правда, там, в чужой стороне,
ничего-то нет тяжелей—
вместо «да» в ответ слышать «нет».

Зима, открыв на небе створки,
сдувает вниз белёсый пух.
А на вершине льдистой горки
псалмы читает ангел вслух.

Он так старается, что взмокли
и перья белые, и лоб.
И стали щёчки ярче свёклы,
пока молился он взахлёб.

А нам, дурным, не жалко вовсе,
что он стоит, как перст, один...
И шепчет с выговором псковским:
— Храни их, Господи, храни!

Две птицы в городе, а я
стою и мёрзну.
Снежком укутана скамья,
в кармане зёрна.

Кидаю птицам и смотрю
к себе под ноги.
Стою лицом к монастырю,
платочек строгий.

Склевали зёрна птицы и
крылом взмахнули.
Я от мужчин ждала любви,
а может, ну их?

ДиН РЕВЮ



Родненькие мои!
поэма

Софья Григорьева Родненькие мои!

Красноярск: ООО «Палитра», 2019

Софья Григорьева—поэт устаревший, поэтому её книгу будет интересно читать. По первой профессии она геолог, и подзабытое в наше время слово *романтика* для неё не пустой звук—это её путеводная звезда, религия, вера—если хотите.

А на чём держится вера?

Истинная, а не показная, что в последнее время особенно режет слух. Прежде всего она держится на искренности. Точно так же на искренности держится и книга Софьи Григорьевой. Этим она и отличается от большинства поэтических сборников, составленных из технично сделанных, но лишённых человеческого тепла текстов. Живя

в «здесь и сейчас», эта женщина писала только о том, о чём считала себя обязанной написать: о друзьях (таких же, как она, романтиках)—разведчиках недр, изыскателях, пожарных-парашютистах... Особое место в книге занимает пронизанный болью цикл «Мой золотой комбат»—об отце, погибшем на Ржевском выступе.

В одном из стихотворений автор, как бы оправдываясь, пишет, что она—«самый безобразный поэт». Но ей и не нужны ни броские сравнения, ни парадоксальные метафоры, потому как стихи писались не для того, чтобы удивить читателя, а для того, чтобы согреть его душу.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН

Анастасия Лукомская

Новый рубеж

Молитва

Ивану Масалову

Боже, будь милосердным, храни, как детей,
Музыкантов, поэтов, певцов,
Этих сталкеров жизни и новых путей
Безнадёжно беспечных творцов!

И пусть эти несчастные чаще других
Нарушали запреты Твои,
Часто строчки стихов и напевов простых
Зароняли зародыш любви

В души тех, кто Тебя до сих пор не нашёл,
Кто отчаялся, сбился с пути,
За свободный и честный живой рок-н-ролл
Оправдай на суде и прости!

Вот живёт музыкант, пропивает талант,
Погружается в пропасть страстей,
Вечеринки, наркотики, годы подряд
Полный дом нежеланных гостей.

Он бы мог, словно хакер, взломать этот код,
Стать «хорошим», удариться в зож,
Только грешные—те, для кого он поёт,—
Не поверят ему ни на грош.

Никогда не откроет дорогу к сердцам
Тот, кто не был ни разу на дне,
И поэтому должен идти до конца
Тот, кто взялся запеть в тишине.

В неизведанный омут ныряет поэт,
Причиняя страдания себе,
И со дна достаёт, как жемчужину, свет,
Чтоб раздать за бесценнок толпе.

В преисподней со всеми чертями на «ты»,
Знает радость, паденье и грех
И поэтому может, дойдя до черты,
Разбудить, достучаться до всех.

Не суди его строго, он—конченный псих,
Чья душа беспрестанно болит,
После нескольких лет испытаний Твоих
Он уже навсегда инвалид.

Он не раз порывался покончить с собой,
Пережил не один передоз,
Сколько в жизни его было схваток с судьбой,
А ещё—очищающих слёз!

А ещё—откровений, прозрений, молитв,
Сколько раз он во сне умирал,
И как много он всё-таки выиграл битв,
Даже если в иных—проиграл!

Я прошу, если можешь, продли его дни,
Сбереги от чумы и тюрьмы.
Если в омуте страшном погаснут они—
На кого же останемся мы?

Сколько их полегло в чёрных кратерах ям,
Не вернулось из пут забытья.
Не оставь их в беде, Ты же знаешь всё сам,
Да исполнится воля Твоя!



Я напишу про запах спелых яблок,
Что падают в заброшенном саду,
И про ворон—бессовестных нахалок:
Они кричат, дерутся на лету.

Про то, как осень сеет отчужденье,
Роняя в души зёрна параной,
И про ночные тёмные виденья,
Что предлагают выход в мир иной.

Про холодок и сырость звёздной ночи,
Про то, как зябко сонному ежу,
И про грибы, растущие на кочках,
Но о любви, прости, не напишу.

Такая глупость—постоянно биться
В одну и ту же стену много лет.
Сломает крылья сбрендившая птица,
А за стеною—ничего и нет.

Перехватчик молитв

Перехватчик молитв надевает свой плащ-невидимку
И прозрачным сачком ловит в банку живые слова,
Что рвались обо всём рассказать, не предвидя поимки,
Но не могут пробиться сквозь сети его колдовства.

И не знает никто наверху, что душа потерялась,
Навигатор сломался, и компас бессовестно врёт,
И сигнальных ракет не осталось, и давит усталость,
И никто не отправит на помощь за ней вертолёт.

Людям страшно в тяжёлое время остаться без связи,
Этот год високосен, и осень уносит совсем.
Люди шепчут молитвы, а снег тихо падает наземь,
Через белые стены не слышно стихов и поэм.

Неприступно хранит тишину изолятор молчанья,
Не пропустит ни звука наверх перехватчик молитв.
Если чьи-то слова и прорвутся за грани случайно,
Этот свежий порыв неминуемо будет забыт.

Бьются в клетке признанья, не в силах достичь адресата,
И не слышат, как с неба доносятся колокола,
И не могут понять, что их правда сильнее преграды,
И не могут увидеть, что нет никакого стекла.

Но однажды оно разлетится разбитым оконцем,
Сквозь осколки иллюзий прольётся спасительный свет,
И найдёт адресата душа, что летела за солнцем,
И вернётся ответ, неизбежно вернётся ответ.

Черти и мыши

Я которые сутки молчу, потому что не слышу
Ничего, кроме треска поленьев, дымящихся в печке.
Да и с кем говорить? В этом доме лишь черти да мыши:
То уронят стакан, то задуют, проказники, свечку.

Колобродит мохнатая мышка по имени Зинка,
Я оставила ей на террасе немного печенья,
Пусть не роется ночью в бумажках, коробках, корзинках
И в шушащих пакетах не ищет себе угощенье.

Но и черти, надеюсь, совсем на меня не в обиде,
У меня для них есть угощенье особого сорта—
Пусть берут мои лучшие чувства, пока он не видит,
И скорее уносят их к самому главному чёрту.

Ну и что— всё равно пропадают без проку, без толку,
Так пускай же горят в жаркой печке крошечного ада,
А наутро Господь осторожно откроет заслонку
И удобрит золою деревья Эдемского сада.

Новый рубеж

Отключи Интернет, разбери ноутбук,
Провода телефона обрежь.
Слышишь — кто-то стучит? Это вовсе не стук,
Это близится новый рубеж.

Закупись на неделю, на месяц, на год,
Не впускай в этот дом никого.
Кто-то хочет войти, кто-то скоро войдёт,
Ты, наверное, слышишь его.

За окном даже воздух тяжёл, как свинец,
Попытайся заклеить стекло,
Чтобы всё герметично, иначе конец,
Стрелки времени все сорвало.

Не впускай ни сирот, ни детей, ни больных,
Это всё — наваждение, обман.
Жги лампаду, молись и проси всех святых,
Пусть опустится тайный стоп-кран.

Постарайся проникнуть в природу вещей,
Стань отшельником стен городских.
Может быть, твоя келья среди этажей
И продержится дольше других.

Будут лаять собаки и звать голоса,
Будут пальцы скрести по стеклу,
Запечатай глазок, не смотри им в глаза,
Не впускай изначальную мглу.

Абстрагируйся, слушай, в тебе — пустота,
Растворяйся, вы с нею — одно,
Постарайся успеть раствориться, когда
Эта комната рухнет на дно.



Я — маленький остров в большом океане,
Песчинка в пустыне, колючка в саванне,
Я — ёжик, забывший дорогу в тумане,
Я — веточка в бурной реке,
Я — Богом забытая хлебная крошка,
Случайная нота поющей гармошки,
Смешной муравьишка на маленьких ножках,
Горячая капля sake.

Я — буква в романе, мазок на иконе,
Кристалл кокаина в подпольном притоне,
Я — розовый волос волшебного пони,
Я — белый бумажный цветок,
Я — рисинка в сүши, я — соли крупица,
На крыше мансарды кусок черепицы,
Я — петелька шерсти на тоненьких спицах
И в трубке короткий гудок.

Но стоит увидеть всё целое вместе,
Меня и Галактика даже не вместит,
И даже не двадцать галактик, а двести
Не вместят меня целиком.
Я — целое небо и целая суша,
Я — все эти звёзды и все эти души,
Я — всё, что придётся однажды разрушить,
И всё, что создастся потом.

Израиль

Ханох Дашевский Дыхание жизни

Ханох Дашевский

Дыхание жизни

В капкане

Легковая машина двигалась по узкой и пустынной лесной дороге, и Мара с тревогой поглядывала в окно. И не только она. Нервничал водитель. Несколько минут тому назад он чуть было не съехал в кювет. Но больше всех беспокоился сопровождающий партийные документы сержант НКВД. С неприязнью поглядывал он на Пинхуса, из-за которого они оказались одни среди леса. Машина следовала к эстонской границе, в Валку¹, где уже находилось оставившее Ригу правительство Латвийской ССР, но Пинхусу, а с 1940 года — Петру Михайловичу, ответственному работнику аппарата ЦК, обязательно нужно было заехать в Цесис и взять дополнительную партию бумаг. Только поэтому они отклонились от маршрута и очутились на просёлочной дороге. Пинхус полагался на шофёра, но тот — красноармеец, русский парень, — не знал, как выехать из незнакомого латвийского города. К своему стыду, не знал этого и родившийся в Латвии Пинхус. Правда, оправдание у него было. Подпольщик-коммунист, участник гражданской войны в Испании, до установления советской власти он сидел в застенках латвийской контрразведки, и некогда ему было путешествовать.

Следовало вернуться в горком и уточнить направление, однако Пинхус не хотел терять время и окликнул местного жителя. Последний с готовностью указал дорогу, походившую скорее на лесную просеку, и не было никакой уверенности, что она приведёт их в Валмиеру, через которую лежал путь на Валку. Внезапно машина остановилась. — В чём дело? — резко спросил Пинхус. — Заблудились, товарищ Цвиллинг. Возвращаться надо, — сказал водитель. — Он прав, — поддержал водителя сержант, — этот гад нас специально сюда послал. Дальше ехать нельзя.

Пинхус и сам понимал, что водитель прав. Он уже хотел дать команду развернуться, когда на дороге появился крестьянин, рядом с собой кативший велосипед. Увидев машину и военных, крестьянин, коренастый, плотный мужчина лет сорока в вязаной домашней безрукавке, подошёл ближе. — Куда направляетесь, товарищи? — полюбопытствовал он, хотя и с акцентом, по-русски, выражая явное желание помочь.

— Нам в Валмиеру надо, — ответил по-латышски Пинхус. — По этой дороге доберёмся?

— Доберётесь, — заверил крестьянин. — Не смотрите, что это лесная дорога. Километров через пять она в шоссе упрётся. А там, на шоссе, — направо. Да не глядите вы так! Я — Август Муйжниец, секретарь волостного совета. А это, — он показал на подходившего к ним симпатичного светловолосого парня в длинном плаще, — командир истребительного отряда, комсомольский руководитель Зигис.

— А где ваш отряд?

— Да рядом, — улыбнулся Зигис. — Скоро увидите. Мы тут сосредоточились, чтобы лес прочесать. Говорят, бандиты неподалёку. Может, вас проводить? Я дам двух бойцов.

— Места в машине нет. А за предложение — спасибо.

— Ну, тогда — счастливого пути! — продолжая улыбаться, напутствовал Зигис.

Пинхус даже себе не мог объяснить, что ему не понравилось в Зигисе. Потребовать документы? Но парень явно не один. А если это не истребительный отряд, а банда? «Скоро увидите...» Неужели они попали в засаду?

Сделав прощальный жест, Зигис и Муйжниец отошли от машины.

— Разворачивайся! — приказал шофёру Пинхус. — Быстро, как только можешь!

Последние слова были лишними. То, что надо разворачиваться, водитель понял раньше Пинхуса, но времени уже не оставалось.

Раздался свист, и с двух сторон, сзади и спереди автомобиля, на дорогу выскочили те, кого Зигис называл истребителями. Многие из них были в латвийской военной и полицейской форме и в униформе айзсаргов².

Пули, выпущенные из автомата, прошили шофёра, и он упал головой на руль. Хватая левой рукой ппш, а правой открывая дверь, сержант

1. Город на границе Латвии и Эстонии, где в конце июня — начале июля 1941 г. находилось правительство Латвийской ССР.

2. Добровольная военизированная организация в довоенной Латвии.

выкатился наружу и залёг за колесом, стреляя короткими, отрывистыми очередями в подбегавших латышей. С другой стороны стрелял Пинхус. Воспользовавшись тем, что нападавшие тоже залегли, Мара, прикрывая своим телом Розу, сумела вылезти из машины и спрятаться вместе с дочкой в придорожном овраге.

Но неравный бой продолжался недолго. Первым погиб сержант. Пинхус понял это, когда позади него прекратилась стрельба. Ему самому оставалось жить несколько минут, и за это время он успел уложить двоих, пока подкравшийся сзади айзсарг не убил его выстрелом в затылок. Мара заставила Розу закрыть глаза, а сама видела всё. Спустя короткое время её и дочь выволокли из оврага. К ним подошёл Зигис. Сняв плащ, командир нападавших остался в латвийском офицерском мундире.

— Какие потери?—спросил он у кого-то.

— Трое убитых, четверо раненых, господин лейтенант!

— Проклятье! А этот, похоже, еврей,—лейтенант пошевелил носком сапога труп Пинхуса и повернул к Маре открытое, совсем не злое лицо.—Ваш муж,—то ли спрашивая, то ли утверждая, произнёс он и картинно добавил:—Мои соболезнования, мадам. Не удалось вам сбежать к вашим русским друзьям.

Мара молчала.

— Сначала мы с тобой позабавимся. Но насилловать будем не тебя, а советскую власть, которую вы, жида, привели к нам в Латвию,—довольный удачным сравнением, Зигис захохотал.—Только я не хочу, чтобы твоя дочь это видела. Лаймонис, позаботься о ребёнке.

Пододошедший Лаймонис, не говоря ни слова, оторвал Розу от матери и, проткнув штыком, поднял её над головой. Пройдя несколько шагов и неся девочку на штыке, как знамя, он сбросил её в канаву.

Мара стояла, оцепенев. Она умерла ещё в тот момент, когда убили Пинхуса, но на землю упала лишь тогда, когда лейтенант навалился на неё всем телом, раздирая наглухо застёгнутое летнее пальто. Она не чувствовала боли, у неё больше не было никаких ощущений, и она не отбивалась, потому что ей обязательно нужно было просунуть руку в большой боковой карман. И когда Маре удалось это сделать, она выхватила медицинский стилет, который захватила на всякий случай, забежав в поликлинику перед отъездом, и точным движением профессиональной медсестры—последним в жизни движением—воткнула длинное остриё прямо в печень Зигиса...

3. Отрывок из романа-трилогии.

4. Вооружённые отряды советских активистов в Латвии (1940–41 гг.).

Дыхание жизни³

...Но Он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию жизни: так говорит Господь Бог: от четырёх ветров приди, дыхание жизни, и дохнѹ на убитых этих, и оживут они...

Иез. 37:9

Лейтенант Эрих Ланг продолжал молчать, стоя перед русским офицером и высокомерно на него глядя. Полчаса тому назад его захватили в плен, когда он вѣз на мотоцикле важную депешу командиру дивизии. Выстрелы из леса были полной неожиданностью на этой дружественной эстонской территории, уже несколько дней тому назад оставленной отходящими советскими войсками. Кто же мог подумать, что какие-то недобитые русские пробираются из окружения? Ну ладно. Он, как истинный германский офицер, настоящий рыцарь, скажет этим неполноценным азиатам, что если они немедленно сложат оружие, то в плену к ним отнесутся гуманно. Только они всё время пытаются у него что-то узнать, а он, даже если бы и понял, что от него хотят, не собирается им отвечать. Пусть недочеловеки видят, как ведѣт себя представитель высшей расы.

Капитан Назаров и в самом деле вспотел, пытаясь разговорить немца, чтобы выяснить, где проходит ускользающая, как фантом, линия фронта. Но этот блондин то ли действительно не понимал, то ли намеренно молчал, то ли и то, и другое вместе. Потеряв терпение, капитан посмотрел на сидевшего неподалѣку на пне старшего политрука Гущина. В группе, которую Назарову удалось сколотить из отступавших и попавших в окружение красноармейцев, Гушин был равен капитану по званию. — Ну что с ним делать, политрук? Кто-нибудь знает немецкий? Может, еврей какой-нибудь есть? У них, говорят, языки похожи.

— Был тут у меня один,—отозвался Гушин,—Смолянский Яков. Так его уже дня два как убило. Слушай, капитан,—старший политрук даже приуныл со своего замшелого пня,—идея! Спрошу у латышей. У них-то наверняка кто-нибудь есть.

Отряд Рабочей гвардии⁴ из Риги недавно присоединился к группе Назарова, и его командир Юрис Вецгайлс как раз в эту минуту разговаривал, сидя на рухнувшем дереве, с каким-то рыжеватым парнем, который (Гушин успел это заметить раньше) неотлучно находился при нём. — Товарищ...—подойдя к Юрису, политрук обнаружил, что забыл, как зовут командира латышей.

— Вецгайлс. Юрис Вецгайлс, товарищ старший политрук,—с акцентом ответил по-русски Юрис. — Товарищ Юрис,—короткое имя легче было произнести, чем длинную непривычную фамилию,—кто у вас в отряде знает немецкий?

— Есть пара ребят,—вскочил на ноги Юрис,—должны понимать.

То, что эти ребята—евреи, командир отряда не стал уточнять.

— Сейчас Михаэль позовёт кого-нибудь,—добавил он, не отдавая себе отчёта, что посылает за евреями другого еврея.

Но звать никого не пришлось, потому что сидевший рядом с ним юноша сказал на чистом русском языке:

— Я свободно говорю по-немецки.

Если политрук и был удивлён, то ещё больше удивился Юрис: Михаэль свободно говорит по-немецки? И русский без акцента? Вот так новость! А Михаэль тоже хорош—ничего ему не сказал! И получается, что Юрис плохо знает своих подчинённых. Придётся сделать парню внушение.

— Отлично,—одобрил политрук и кивнул Михаэлю:—Пойдём.

Но Эрих Ланг, даже услышав родной язык, ни за что не хотел отвечать на вопросы. Зато произнёс какую-то длинную фразу, которую Михаэль почему-то не стал переводить, и это не укрылось от Гуцина.

— Что он говорит?

— Он предлагает нам сдаться и обещает хорошие условия в плену, если солдаты перебежат коммунистов и евреев.

— Что?!—капитан Назаров выругался так сочно и замысловато, что Михаэль, никогда не слышавший раньше таких ругательств, недоуменно на него посмотрел.

А немец, видно, не веря, что его могут расстрелять, стал быстро что-то говорить.

— Он говорит,—начал переводить Михаэль,—что они уже захватили больше половины Эстонии и скоро возьмут Таллин. А на востоке их войска заняли Псков и подходят к Ленинграду. Ещё он говорит, что в их руках почти вся Белоруссия, а на Украине немецкие армии выходят к Днепру. Поэтому сопротивляться бессмысленно.

— Вот его карта,—сказал старший политрук,—пусть покажет наше местонахождение. Будем пробиваться к северу. Там должны быть наши. Ты карту читаешь?—неожиданно спросил он у Михаэля.

— Да.

— А языки откуда знаешь?

— В гимназии были два языка: немецкий и русский. И дома с отцом мы говорили по-немецки, а с мамой—иногда по-русски. Мой отец—врач, учился в Германии,—продолжал отвечать Михаэль, всё ещё не подозревая, что у политрука есть что-то своё на уме и он не зря задаёт вопросы.

— Вот как? А документы у тебя есть?

Михаэль вытащил латвийский паспорт.

Гущин повертел документ, взглядываясь в незнакомые буквы.

— А советский паспорт где?

— Не успел получить. Война началась.

— И что здесь написано?

— Гольдштейн Мозус. Родился...

— Что ещё за Мозус? Ты же Михаэль, по-нашему—Миша. Я сам слышал.

— Ну, вообще-то я Моисей, по-еврейски Мойше. Вот латыши и записали, как у них принято: Мозус.

— Та-а-ак,—протянул старший политрук,—ну хорошо, можешь пока идти,—и многозначительно добавил:—Мозус.

Наутро отряд Назарова двинулся на север. Получив от Юриса выговор, Михаэль шагнул рядом с ним. Тревога не покидала его. Что-то не понравилось политруку то ли в нём, то ли в его документах, и когда они выйдут из окружения—придётся давать объяснения. Только этого не хватало. Он уже слышал кое-что о том, что происходит в особых отделах НКВД, и меньше всего ему хотелось туда попасть.

А пока Михаэль старался думать о другом. Если немцы повсюду наступают—что же будет дальше? За две недели он уже начал привыкать к войне, но свой первый бой в Задвинье⁵, где они вместе с красноармейцами защищали подходы к Рижскому мосту, будет помнить всегда. В отряде Юриса было несколько еврейских ребят, и среди них—университетский друг Михаэля, студент-медик Моня Губельман. В отличие от приятеля-спортсмена, Моня был тщедушным очкариком, классическим примером слабенького еврейчика и всё же пошёл в Рабочую гвардию. Его-то и убило на глазах у Михаэля, когда отряд уже вступил на мост, чтобы переправиться на правый берег. Они еле успели тогда. Вслед за ними на мост ворвались немцы, пытаясь прорваться к центру, но их удалось отогнать. Два дня шло сражение, и только поздно вечером тридцатого июня отряд ушёл из города, присоединившись к отставшей воинской части и вместе с нею попав в окружение. Но им удалось пробиться к Валке, где никого из советского руководства уже не осталось, и так они оказались в Эстонии. А потом в лесу встретили группу Назарова.

Вернётся ли он когда-нибудь в Ригу? А семья? Папа, всегда любивший демонстрировать уверенность, в тот последний вечер, когда Михаэль успел заскочить домой, был удручён и подавлен. Эвакуация сорвалась, они не проехали и полдороги. Ещё хуже выглядела мама. Она совсем обессилела и молча припала к сыну. Ничего не говорила, только гладила, как маленького. А сестрёнка повисла на нём, и нужны были общие усилия отца и матери, чтобы оторвать её от брата. Словно они расставались навсегда. Проклятье! Что за мысли у него в голове! Ничего, раньше или позже немцев погонят

5. Левобережная часть Риги.

обратно, и он обязательно увидит родных! Сказал же кто-то, что русские долго раскачиваются, но, раскочавшись, бьют наповал.

Окрик Юриса прервал его мысли:
— Спишь на ходу?! По сторонам смотри! Не забывай, что «кайтсели»⁶ в лесу. В любую минуту могут из-за дерева выскочить.

Но эстонцы не появлялись. Возможно, боялись нападать на достаточно большую и вооружённую группу. Зато позади, со стороны дороги, послышался шум моторов и гортанная, лающая речь. Судя по всему, немцев было много, и прибыли они сюда не случайно. Ещё можно было ускорить движение и попробовать оторваться, но неожиданно шум и звуки команд раздались впереди, а в лесу, совсем недалеко, в двухстах-трёхстах метрах от них, зашевелились кусты. Было совершенно ясно, что отряд обнаружен и окружён, и его уничтожение — только вопрос времени. Старший политрук Гушин посмотрел на капитана:

— Прикажи занять оборону, командир!

— Если ляжем — тут нас всех и перебьют, — отозвался Назаров. — Там, в кустах, наверняка эстонцы. Это слабое звено, будем прорываться через них в глубь леса.

Капитан посмотрел в сторону Юриса, явно собираясь что-то сказать, но, как видно, передумав, подозвал высокого старшину:

— Возьми всех, у кого автоматы, старшина! Будете прикрывать! Остальные — за мной!

Михаэль бежал вместе с другими, стараясь не отставать от Юриса. Раздались выстрелы из леса, но они почему-то запоздали, и находившиеся в кустах «кайтсели» были смяты. Оставшиеся эстонцы рассыпались по сторонам, стреляя справа и слева, но для бойцов Назарова главным была быстрота. Казалось, что план командира удался, и только стрельба, нараставшая за спиной у бегущих, говорила о том, насколько мало у них шансов затеряться в лесу. Михаэль тоже понимал, что их догоняют и что за кайтселийтовцами следуют немцы. У него было такое ощущение, что кто-то набросил на них огромную петлю и теперь затягивает узел. А тут ещё заклинило затвор. У Михаэля была старая русская трёхлинейка, и после нескольких неудачных попыток перезарядить винтовку он в отчаянии швырнул её на землю. Оглянувшись назад, Михаэль увидел подбегавшего к нему «кайтселя». Тот целился на ходу, и, если бы его не остановил чей-то выстрел, эстонец расстрелял бы Михаэля в упор. Подобрал оружие убитого, Михаэль побежал дальше, так и не придя в себя от

испытанного ужаса и не понимая, что случилось и каким образом он остался жив, — ведь кругом никого из своих уже не было. Пока он возился с затвором, другие опередили его. Михаэль готов был поверить в чудо, когда внезапно ощутил, что он не один и кто-то находится рядом. Боясь повернуть голову, он, не оглядываясь, бежал вперёд и, только догнав остальных, посмотрел назад и увидел переводящего дух Юриса. Значит, Юрис был рядом! И убил «кайтселя» тоже он? Но выяснять было некогда, да и мрачный взгляд Юриса не располагал к вопросам. Стрельба нарастала, она звучала со всех сторон, и если бы Михаэль был опытным солдатом, он бы догадался, что идёт встречный бой, что с той стороны, куда стремились окружённые, кто-то прорывается к ним навстречу. Так оно и было. За деревьями замелькали чёрные бушлаты и тельняшки, слышались крики: «Полундра!» — но что означает эта загадочная «полундра», Михаэль не знал. Контрнаступление снятых с кораблей балтийских моряков по счастливой случайности совпало с прорывом назаровской группы, только сам Назаров порадоваться этому не успел. Пуля, попавшая в голову, настигла капитана ещё до того, как бойцы его отряда начали обниматься с матросами.

Спустя час Михаэль сидел, прислонившись к дереву, не в силах поверить, что всё закончилось и он остался жив. Его глаза слипались, и мысли путались, когда опустившаяся на плечо тяжёлая рука придавила его к земле, а над головой прозвучал ничего хорошего не предвещавший голос Юриса:
— Ты почему винтовку бросил?
— Затвор заело.

Только сейчас Михаэль вспомнил, что на привале Юрис всем велел смазать оружие, а он забыл.
— За брошенное оружие — расстрел. Ты это понимаешь?

— Я винтовку у эстонца убитого взял. От моей всё равно никакого толку не было.

— У эстонца взял?! — повысил голос Юрис. — От винтовки толку не было?! А если бы меня там не было?! А если бы я промазал?! Прикладом орудуй, штыком, да хоть палкой, а оружие не бросай! Почему не смазал затвор?! Ведь я напомнил всем!
— Пошёл допрашивать немца. А потом...

— Что потом?! Что потом, чангал?!⁷

— Забыл, — еле слышно сказал Михаэль.

— Поэтому, — чуть мягче сказал Юрис, — давай разбирай винтовку! Это тебе не звёзды считать!
— Не могу, Юрис! Глаза закрываются. Дай часик поспать.

— Темно будет через часик. Давай-давай, приступай! В этот раз я рядом с тобой оказался, а что будет в следующий?

Пытавшийся задремать под соседним деревом старший политрук Гушин заинтересованно повернул к ним голову, но, услышав латышскую

6. «Кайтселийт» — добровольное военизированное ополчение в довоенной Эстонии. Аналог финского «шюцкора».

7. В латышском сленге — обозначение латгальцев; в переносном смысле — синоним недалёкого и упрямого человека.

речь, отвернулся и снова прикрыл глаза. Только сон не шёл. Из головы не выходил капитан Назаров, с которым Гущин успел сдружиться, а кроме того, перед политруком стояла дилемма. Гущин понимал, что этот Михаэль-Мозус, он же Мойше, никак не может быть немецким шпионом, но инструкция есть инструкция, и он, Гущин, как офицер и политработник, должен немедленно сообщить обо всём, что вызывает подозрения. Иначе самому несдобровать. И всё-таки жалко мальчишку. Арестуют, начнут допрашивать, а что такое допросы в НКВД, старший политрук знал. Перед войной, когда их корпус стоял на Немане, его самого таскали из-за того, что в частном разговоре он назвал подозрительной возню по ту сторону границы. И если бы не двадцать второе июня, валишь бы ему сейчас лес где-нибудь на Печоре.

Так что же всё-таки делать? Завтра утром остатки их группы будут фильтровать, особист должен приехать, и если он не напишет докладную... Нет, надо писать, только ни о каких шпионах не упоминать. Просто написать, что хорошо бы на всякий случай проверить парня.

Но особист почему-то не приехал, и «фильтровать» уцелевших бойцов Назарова никто не стал. В тот момент было не до них. Чтобы остановить гитлеровцев, командующий 8-й советской армией ввёл в сражение резерв — морскую пехоту. Краснофлотцы отбросили врага, но долго удерживать фронт не могли. Избегая окружения, моряки отходили к Tallину, и уже оттуда Гущин послал докладную записку в Особый отдел Балтийского флота, где она затерялась на некоторое время среди многочисленных бумаг.

ДиН 1945–2020

Евгений Минин

Горька костров последних гарь

Блокада

Горька костров последних гарь.
Лютует голод.
Ноги — гири.
Седая женщина, к могиле
склонясь, кладёт ржаной сухарь.
Глаза отёрла и как тень
блокадной тишины застыла —
а той осьмушки не хватило
в тот страшный день...
Проклятый день.

О еврейском вопросе

Вроде вылезли все
из войны, из окопа,
в миротворной красе
щеголяет Европа.
Для неё Холокост
в горле стал холокостью:
что Европе погост
с теми, кто на погосте?
Для неё Холокост —
надоевшая мета.
На еврейский вопрос
до сих пор нет ответа.

В этом доме было гестапо

Он ненавидел немцев —
в нём ещё длилась Блокада.
Он помнил о трупах на улицах,
о взрывах, о хлебной квоте.
Потом мишпоха поднялась —
дети сказали: «Надо».
И вот он стоит на штрассе
и смотрит на дом напротив.
В этом доме было гестапо.
В этом доме было гестапо.

В этом доме жгли и пытали,
в этом доме творился ад.
А дома вздыхает дочь:
«Зачем так нервничать, папа?» —
Даёт валидол под язык
и чешет свой пышный зад.
Но каждое утро,
вставая и надевая шляпу,
Идёт на прогулку по штадту,
и ноги ведут опять
К дому, где было гестапо,
к дому, где было гестапо.
И ночью снова Блокада
ему не позволит спать.

Ефим Гаммер

«И расписались на Рейхстаге...»

По мотивам семейных преданий

Обойма

Говорят, что когда военный инженер Сергей Иванович Мосин представил свою трёхлинейку образца 1891 года на одобрение взыскательной комиссии, царь Александр III Миротворец спросил: «А на какое количество патронов рассчитана обойма вашего ружья?» — «Сколько пальцев на руках, столько и патронов — десяток», — справно ответил военный инженер Мосин. «Русскому мужику достаточно и пяток», — определил царь, не мешкая. — Отстрелялся — и в штыковую».

Эти слова из царского наказа сидели в голове молодого-необученного солдата Костика Сирого, жестянщика завода «Красный партизан». Он топал по снегу на защиту Москвы, грея в кармане полушубка одну-разъединственную обойму на пять патронов. Винтовку Мосина нёс в четырёх шагах от него рослый старик Хлебняк, бригадир столярного цеха. Два часа назад, при раздаче оружия, призвынникам из народного ополчения выдали по одной такой штуковине на четверых и всем без исключения дали обойму.

— Убьют оруженосца, — разъяснял сержант при раздаче, имея в виду счастливого обладателя трёхлинейки, — бери его боевой инструмент и пали, пока тебя не решат. А решат тебя — передай боевой инструмент товарищу. Патронов, чтобы палить, на всех хватит.

Костик Сирый и думал, вдавливая рубчатые подошвы в снег, на жизненную тему: когда дойдёт до него очередь, чтобы палить? Как ни думай, но выходило: прежде должны убить бригадира Хлебняка, потом решить комсомольского активиста Отварного, за ним — подсобника из склада готовой продукции Джамбулова, и лишь затем... Да, следующая очередь — его, Костика Сирого. Отстреляется — дело быстрое, и — что? В штыковую? Это дело нехитрое. Но положено ли по уставу одиноко ходить в штыковую? Вот ведь вопрос: положено или нет? И спросить не у кого. Офицеров не видно, а до старика Хлебняка — расстояние: четыре шага в зимнюю пору при простуженном горле и завьюженном ветре — это тебе не сказки сказывать на полатах в сочельник. Легче по команде передать, через Джамбулова. Торкнул его локтем в бок, где под ватником грелась обойма:

— Джамбулов.

— Слушаюсь!

— Положено по уставу одиноко ходить в штыковую?

— Ей-богу, не знаю.

— Спроси у того, кто справа.

Справа от Джамбулова шёл комсомольский активист Отварной.

Джамбулов торкнул его в бок, где под ватником грелась обойма, спросил что приказано и от себя добавил:

— Передай по начальству.

— Одиноко? — переспросил у него Отварной.

— Ей-богу, не знаю. Однако, одиноко.

Через три минуты, пройдя обратный путь от старика Хлебняка, ответ добрался по назначению до Костика Сирого. Ответ гласил: «Одинокая ходит гармонь».

— При чём тут гармонь? — спросил Костик у Джамбулова.

— Ей-богу, не знаю. Но всё, полагаю, по уставу.

«Устав не дураком писан», — подумал Костик Сирый и забеспокоился: где тут в снежном мареве раздобыть гармонь, чтобы сходить в штыковую атаку? А сходить придётся. Как ни крути гвоздящую мысль вокруг мозговой извилины, но ему в живых оставаться последним из всей четвёрки, значит, и в атаку ходить, примкнув штык. «Эх, атака ты, атака, дураку дана для страха. Ну а парню-храбрецу страх, конечно, не к лицу», — сочинил, не подумав, Костик Сирый. Это с ним случалось неоднократно. Стоило отключиться от разных там досуужих дум, как стишки — сами собой — втемяшивались в голову, словно небо их посылало, считай, для развлечения.

Честно признаться, это было единственное развлечение на этот час. Где-то рвануло, рядом ухнуло, пулемётом задолдонило у опушки леса. Искры посыпались из глаз, и в их ослепительном сиянии высветилась избушка станционного смотрителя, скособоченная, с порушенной крышей и выбитыми стёклами окон. Спотыкаясь о рельсы, проложенные, как выяснилось при беге, под ногами, Костик Сирый сыпанул к нежилому по внешнему виду помещению. Следом за ним рванули

Джамбулов и комсомольский активист Отварной. Старик Хлебняк запозднил с передвижением по открытой местности и попал под осколок артиллерийского снаряда. Прилёг на шпалы, посмотрел на приближающийся немецкий танк и выпустил по нему всю обойму, что и полагалось сделать перед смертью, дабы передать оружие следующему товарищу. А где он — следующий товарищ? Оглянулся старик Хлебняк, ища глазами кого-нибудь из попутчиков на тот свет, да так и застыл, уже не дыша даже для согрева рук.

Комсомольский активист Отварной, наблюдая у порога избушки за немигающим взглядом старика Хлебняка, вспомнил, что он и есть следующий товарищ, которому положено перенять оружие. Он вынул из кармана обойму и потёр её о шершавый рукав ватника. По каким-то ещё неведомым соображениям ему показалось, что обойма вся насквозь промёрзла и её прежде надо как-то обогреть, иначе порох в гильзе не вспыхнет и пуля не шарахнет по врагу.

Эти соображения он довёл до ума рядового Джамбулова. Тот понял мало, зато главное: бежать за винтарём Хлебняка придётся ему и стрелять, если что, тоже придётся первым, в нарушение убойной очереди. Он и побежал. И принял стрелять, вернее, отстреливаться, поспешно ставя ноги назад в нужном направлении.

Стрелял-отстреливался. Все патроны израсходовал, но трёхлинейку доставил по адресу — прямо в руки комсомольского активиста Отварного. Тот принял оружие и удручающе покачал головой: — Что же ты так?

— А что? — спросил возбуждённый от счастливого для жизни исхода боя Джамбулов.

— Где твоя обойма теперь?

— Ей-богу, не знаю. Пуля — дура, не скажет, куда летит.

— Стрелять надо по врагу, а не в небо, — рассудительно пояснил Отварной, снаряжая обойму.

Костик Сирий пришёл на выручку приятелю: — Вот тебе подоконник, а вот и враг, — и указал на немецкий танк.

Отварной был не снайпер, но прицелился, наводя ствол на смотровую щель в броне чудовищной по размерам машины. И нажал на спусковой крючок: раз — отдёргнул затвор, два — отдёргнул затвор. Пять выстрелов — ни одного попадания. Шестого не последовало. Обойма кончилась, а сам не погиб.

Как поступить в этом случае с оружием?

Передать по назначению!

И комсомольский активист не заупрямился — передал.

Костик Сирий подул на пальцы, чтобы двинулись гибче, и подумал: куда стрелять посподобнее? В лоб по башне? Старик Хлебняк пробовал — не пробил. В смотровую щель? Комсомольский

активист Отварной пробовал — не попал. Что же это за чудо-танк? Заговорённый, что ли?

— Да ни хрена он не заговорённый! — распалился Костик Сирий.

И давай бить по круглым канистрам с бензином, навьюченным на металлическую махину, чтобы ей хватило горючего добраться до Красной площади.

Падкое на огонь топливо и схватилось коптящим пламенем. Схватилось так, что подпалило небеса, по которым прежде бабахал без толку Джамбулов.

Немцы выскочили из танка, катаются по снегу, задымляя атмосферу прожигаемой насквозь униформой.

Расстрелять бы их всех походя. Да обойма кончилась. Что предпринять?

— Теперь в штыковую! — вспомнил Костик Сирий наказ батюшки царя-мироотворца из прошлого века.

— А как по уставу без гармонии? — задал наводящий вопрос комсомольский активист Отварной.

— Ей-богу, не знаю, — простуженно шмыгнул носом Джамбулов. — Но трое на троих — это стенка на стенку...

— Мы и без гармонии зададим им такую музыку с перцем, что... — сказал на психе Костик Сирий и примкнул штык, оставив на потом все разумные мысли.

— Баста!

— Помирать нам рановато!

— Ей-богу, будем жить!

И все трое пошли в штыковую на автоматы, держа попеременно — для устрашения — винтовку наперевес.

Следок в следок

Из трёх солдат при защите рубежа в живых остался только Костик Сирий.

Ему и учинили допрос за перерасход живой силы.

— Где люди? — спросил у него капитан Задолбов.

— Умерли.

— А немцы?

— Немцы убиты.

— Почему же мы их не видим в наличии?

— Их забрал танк, тот, что не подбитый.

— А подбитый?

— Подбитый он взвлок на прицеп и тоже забрал.

— А тебя?

— Я спрятался.

— Как так спрятался, когда кругом враги?

— Так и спрятался, по той самой причине — враги.

— И не нашли?

— Да война кругом: справа пушки грохочут, слева пулемёт дурдомит, напрямки пуляет наш уральский полк народного ополчения. А сзади, за ним, Москва — отступать некуда.

— Немаки, выходит, испугались?

— Поди спроси.
 — А вот и поди, а вот и спроси. Это я тебе говорю, капитан Задолбов.
 — Но я по-немецки ни бум-бум.
 — А они по-русски.
 — Как же спрошу?
 — Кулаком по чайнику—и тащи сюда. Мы у них и спросим. Про рекогносцировку их сил. А иначе обанкротимся с наступлением.
 — Но ведь...
 — Разговорчики! Нам живой «язык» нужен, а не твоя брехня из разговорного жанра.
 — Так я мигом.
 — Без «языка» не возвращайся, не то припомним тебе, что людей в расход пустил, а последний патрон не сберёг.
 — Какой патрон?—растерялся Костик Сирий.
 — Опять не дошло? Тот, последний, что—для себя.
 — Для себя у меня не патрон, а штык,—нашёлся солдат и взвалил на плечо трёхлинейку.—Разрешите идти?
 — Иди.

И пошёл Костик Сирий по снегу в ту закрытую для наступающих частей сторону, где вражий глаз высматривает наших лазутчиков. Пошёл—не оступился: точняк по проложенному танковыми траками маршруту. Следок в следок. Пошёл и дошёл. А когда дошёл, то и вышел к окраине деревни: на десяток домов одна пыхающая дымом труба. А возле неё—конь-тяжеловес, впряжённый в сани.

«В избе немаки!—догадался солдат.—Кашеварят, небось».

Приноровился нюхом, угадал запах самогонки: «Поминки, чай, справляют по тем, кого я штыком укандобил».

Облизал губы, протёр рот кистью руки, чтобы не замёрз в ледышку. И дальше по следку траков к сцепленным тросом танкам. Один пыхтит, двигатель прогревает, другой, обожжённый, в молчанку играет, снуло опустив к земле пушку. «Ого!—подумал Костик Сирий.—Какой знатный „язык“, и живой притом». Нет, не о танке подумал Костик, а о том припёртом к рычагам водиле, который гоняет на нейтралке мотор, полагая, что таким образом справится с генералом Морозом. Да ни хрена не справится, если его по чайнику трахнуть, как давеча велено, и в плен утащить.

Вполз на броню, добрался, оскальзываясь, до открытого люка.

— Ганс?—послышалось снизу.

— Я-я!—откликнулся, растягивая личное местоимение по-немецки, в смысле «да», хотя отродясь ни на каком наречии, кроме русского, не бухтел.

Представившись, шархнул мерзлявого гада по кумполу. Долго ли умеючи? И что? А то: сник вместе с ним. Не вытащить безвольную фигуру на простор русской земли: пивной бочонок—не человек, слишком грузен для хилых плеч. Пришлось

мозговать по-спешному, пока по соседству не прервались поминки. «Мозгуй не мозгуй, всё равно получишь—где наша не пропадала»,—снова подумал Костик Сирий. Выбрался из железа, выпряг коня-тяжеловеса из саней и прикрепил его задком к гундосому танку.

— Но, но!—дал животине по заднице нагоняй.—Поехали, что ли!

И поехали. Следок в следок по спрессованному предварительно теми же танковыми траками снегу. — Но, но!—говорил, не думая, Костик Сирий—подгонял лошадь, опасаясь выстрела снайпера.

И теперь, уже не думая ни о чём из-за опаски близкой смерти, машинально сочинил стихи, как это обычно с ним и случалось: «Когда закончится война и всех врагов отправит „на“, куплю пиджак я и штаны, чтобы гулять на выходных. На лацкан я прилажу бант и буду выглядеть как франт. Влюблюся в девушку-душу, женюсь и деток нарожу».

Сочиняя стихи, Костик, ясное дело, потерял чувство времени. А когда очнулся, глядь, уже среди своих, и не один, а с тягловым животным—конём, двумя вражьи танками и живым «языком» в придачу. Следок в следок вышел к избушке станционного смотрителя, возле которой ещё сегодня тыкался в штыковую атаку на автоматы.

— Здравствуй, солдат!—сказали ему с приветствием.

— Здравия желаю!—ответил он с радостью: живой, где ни пощупай, и нешуточные трофеи доставил. — Смекалистый, мать твою! Это я тебе говорю, капитан Задолбов.

— Рад стараться!

— А не послать ли нам тебя?..

— Оставьте при исполнении!

— Нет-нет, не туда мыслью заплетаешь. В офицерское училище пошлём тебя напрямки. Война—не пальцем делается. Люди нужны, бля!

— Честь имею!

— Береги её смолodu, а то обанкротишься.

Дальнейшее Костик не услышал. В нём уже хороводили стихи и писались сами по себе—в уме, конечно: «Жизнь ещё ценится, покуда пиво пенится. Влюблюсь. Женюсь. Своим детям житуху сытную создам».

Сталин – Гитлер = десант на Эльбрус

«Озлюсь на девушку-красу и завалю лису в лесу»,—сочинил, не думая, Костик Сирий, когда перед отбоем зашёл в душевую, чтобы в здоровом теле иметь тщательно вымытый дух. На фанерном шкафчике была прикреплена бумаженция с надписью, старательно выведенной чернильным карандашом башковитым башкирцем из Уфы Алдаром Таштимеровым: «Чистое банное полотенце для мойки. Кол. 10 штук на момент закладки. Количество штук меняется в порядке употребления».

Растегнув гимнастёрку, Костик готов был уже стянуть её через голову, как прозвучала сирена. — Ро-о-ота, тревога! — крикнул дневальный.

Личный состав военного училища выставили шеренгой в коридоре, между плакатами с призывами отдать жизнь за Родину и генералом из Генштаба, могучим, откормленным, в орденах и медалях, которого сопровождал знакомый уже Костику капитан Задолбов.

Он и выступил перед солдатами, во множестве своём необстрелянными и оттого до ужаса храбрыми:

— На вашу долю выпало ответственное и исключительно почётное задание. Это я вам говорю, капитан Задолбов. Вызываются добровольцы.

Замполит начальника училища тут же поспешил с наводящим вопросом:

— Есть добровольцы?

Добровольцы? Строй курсантов молча шагнул вперёд.

Приезжий генерал недовольно покосился на замполита, и тот проглотил, не разжёвывая, следующий вопрос. А он, если отбросить секретность, гласил: «Кто из вас прыгал с парашютом?» И задать его, естественно, полагалось приезжему генералу.

Замполит отлично понимал: ни один из его воспитанников к парашюту и не прикасался. А уж прыгать... Прыгали только через спину друг друга, когда ради «физухи» играли в чехарду.

— Кто из вас прыгал с парашютом? — приезжий генерал задал главный вопрос сегодняшнего дня. — Шаг вперёд — за предел шеренги! И в строй к капитану Задолбову!

Первым шагнул за предел, хоть никогда и не прыгал с парашютом, Моисей Герцензон, сын одесского ювелира Давида и его жены Мани, урождённой Гаммер. Только что он получил известие о том, что погиб его старший брат Леонид — краснофлотец-подводник, и теперь рвался в бой — покончить с врагом. Вторым шагнул за предел башковитый башкирец из Уфы Алдар Таштимеров. Он тоже не прыгал с парашютом. Но имя требовало: Алдар — славный. Но фамилия велела: Таштимеров — это «таш» — «камень», а «тимер» — «железо».

И Костик Сирий, понятно, не прыгал с парашютом. Но разве мог он припоздниться, если братаны по оружию произвели с двух боков от него волновое движение воздуха — и куда? На встречу смерти! Нет, туда их одних он не пустит! И Костик, не медля, вышел из строя: погибать, так за компанию. Эта мысль, по невидимой инерции, передалась и остальным курсантам. Весь строй сделал шаг вперёд, по определению — на тот свет и к бессмертию.

И тогда приезжий генерал раскрыл смысл задания Генерального штаба: от них, не имеющих

представления, что такое стропы, купол, вытяжное кольцо, требовалось высадиться на Эльбрусе, согнать егерей отборной немецкой дивизии «Эдельвейс», установивших там мраморную фигуру Гитлера, и на смену каменному болвану впечатать на вершине гипсовый бюст Сталина.

Каждый из курсантов получил по одному Сталину, засунул его в вещмешок и, вооружившись винтовкой Мосина, рванул на аэродромное поле. — От винта!

— Есть от винта!

...Одни погибли сразу же из-за неумения раскрыть парашют. Другие разбились об острые уступы каменных склонов. Третьи истекали кровью от ранений при штурме огневых точек и горных гнёзд противника.

Костик Сирий летел сверху вниз, не думая о последствиях. Его мотало, как чёрт знает что в проруби. Наконец он приземлился, уцепившись за скалистый выступ. «Жив? — подумал о себе. — Жив! Жив!»

Когда человек остаётся в живых, он ищет себе подобных — живых. Костик так и поступил. Поискал и нашёл.

Сначала он нашёл башковитого башкирца из Уфы Алдара Таштимеров.

— А где Сталин? — спросил, видя, что тот без вещмешка.

— Оторвался от спины.

— Как?

— Дёрнул я за кольцо, меня самого дёрнуло, парашют раскрылся, Сталин оторвался. И в тьму-таракань — бац!

— Скажем по начальству, что прямо на врагов, как бомба, чтобы их разорвало.

— Скажем... А твоего Сталина поставим на место Гитлера.

Вытащили из рюкзака гипсовый бюст: глядь, а у него голова отдельно, торс отдельно.

— Что такое? Почему секир-башка?

Костик догадался о причине отсечения верхней конечности.

— Приземляясь, я на бок завалился. Вот и... баюшки-баю...

— Делают вождей из всякой дряни, — вздохнул башковитый башкирец.

— Не говори вслух, враг может услышать.

— А что говорить, если враг слышит?

— Будет праздник и на нашей улице! — Костик выдал подсказку напарнику по неприятностям — и будто передал пароль.

Услышал его Моисей Герцензон и вышел на звук родной речи.

— Будем жить, ребята!

— А Сталин?

— Что Сталин?

— Цел-невредим?

— Что с ним случится? Цел!

— Тогда с Богом,— сказал башковитый башкирец, чтобы реабилитировать себя за потерю государственного имущества.

— Пойдём,— согласно кивнул Костик Сирий.

И вопросительно взглянул на Моисея: как пойдём? Кругом шпребханье, неподалёку надрывается немецкий ручник мг.

— Пойдём своим ходом,— ответил Моисей.

И они пошли своим ходом: пулей, штыком, гранатой. И с Богом. И со Сталиным. И, не ведая, на кого уповать больше, добрались вплотную до геноссе Гитлера и сбросили его в пропасть. А на освободившийся бугор, как на пьедестал, поставили своего назначенца.

— Кто жив, к нам!— кликнули выживших.

Малая горсточка бойцов собралась вокруг Моисея Герцензона, Костика Сирого и Алдара Таштимерова и громыхнула салютом— в честь живых и мёртвых. А наутро они сдавали под расписку о неразглашении лишних Сталиных завхозу военного училища. Взамен получали кубари в петлицы, по штуке, по две на брата, из рук приезжего генерала и предписание для отбытия на фронт, в действующую армию.

«А в заначке по сто грамм...»

Когда Костик Сирий попал в плен, у него спросили про национальность.

— По батюшке русский,— ответил он.

— А по матерному?

— По-матерному батюшка запретил сказывать. Некультурно на слух получается.

— Значит, еврей?

— Почему— еврей?

— У евреев национальность по матерному корню передаётся.

— Едри её в корень, вот национальность!

— А ну, балабол, снимай штаны!

— Чего так?

— В корне вся твоя подноготная.

Костик Сирий спустил штаны, чёрные мундиры обследовали предмет их медицинских интересов.

— Не обрезан,— уточнили, но всё равно, посоветовавшись, поставили в один строй с пленными подозрительного оттенка кожи и поспешно, опасаясь контрастступления, дали отмашку пулемётчику:— Начинай!

Тот и нажал на гашетку.

Поздней ночью еле живые люди выбрались из расстрельного рва. Осмотрелись: звёзды, лес, штаны спущены.

«Ага,— подумал Костик Сирий,— каждого проверяли на принадлежность к евреям».

— Обрезан?— спросил у одного из товарищей по несчастью, чтобы после чуть ли не смертельного исхода выглядеть в его растерянных глазах не чужаком, а своим.

— Обрезан.

— Еврей?

— Татарин.

— А почему— на распыл?

— Потому что придурки больные! Национальность по хреномудрии определяют.

— А со мной у них вышла оплошка,— совсем не по делу сказал Костик.— Не обрезан, а определили...

Повсюду посверкивают гильзы. И мёртвые глаза.

Живые люди потянулись к живым. Знакомятся, подтягивая штаны.

— Хабар Ардашев, татарин, город Казань— столица...

— Костик Сирий, русский по батюшке. Сейчас из Москвы, а по рожденью с Урала. Завод «Красный партизан», народное ополчение.

— Марик Гаммер, еврей по определению. Одесса, улица Разумовская, сто семьдесят восемь. Заходите в гости, когда домой вернусь.

— Казбек Султанов. Азербайджан, Баку, нефть, два жена, много дети.

С неба на них смотрела во всё своё недремлющее око Луна. С опушки леса— красноармейцы-лазутчики из кавалерийского разъезда. А из будущего на кое-кого— и жизнь.

В голове у Костика помутилось, прозой сказать было больше нечего, и сами собой народились стихи:

Мы—двужилые братья.
Наше имя—Первый сорт!
Рождены не для парада—
для битвы фашистских морд.
Ать-два—левой! Ать-два—правой!
И в атаку! Смерть врагам!
Носим мы в кармане славу,
а в заначке по сто грамм.

Сабли наголо, пули вразлёт

С гиком и посвистом ворвались кавалеристы в село. Шашки блещут в лучах зари, глухо бьют карабины, убойную скороговорку ведёт пулемёт.

Ржанье коней и громкие крики полнят влажный воздух. Гитлеровцы выскакивают из белых мазанок, щёлкают затворами, но не вырваться им из свинцовой круговерти, не уйти от клинка. Полицай— те осторожнее, они скидывают с себя обмундирование, остаются в исподнем и выходят— руки вверх, ладонями к солнцу: на, глядите, крови на них нет. Крестьяне мы обычные, ни в каких карательных операциях не участвовали. Враки всё, враки! И атаман наш Жупан, что с кровью на руках, он и не атаман нам ни в коем разе! Мы с ним и не знаем вовсе!

— Бросай оружие!— предупредительно кричит с тачанки Костик Сирий и, заряженный азартом боя, даёт отменную очередь из «максима». Вдоль улицы, поверх голов.

— Береги патроны! — напомнил Марик Гаммер, подавая ленту.

— На мой век хватит! — усмехнулся Костик.

— А на вражий?

— Что?

— Береги патроны, вот что!

Тишина, готовая в любой момент лопнуть от внезапной стрельбы, осторожно двинулась по селу. — Отвоевались, — удовлетворённо басит кучер тачанки, косит глаз в сторону пулемётчиков и будто призывает их к разговору.

Но о чём говорить? О жизни? О смерти? Пустой разговор, и смысла в нём никакого: давеча прощались с белым светом, а сейчас празднуют жизнь за счёт чужой смерти.

Пленных уже выстраивают в колонну. Немцев отделяют от полицаев — их и берёт под обзор прищуренных глаз командир конного разезда майор Задолбов. Пружинистый, широкий в кости, он повелительно размахивает маузером, требует внимания:

— Граждане бандиты! Признавайтесь без обмана: кто из вас будет главным атаман Жупан?

— Это тот негодяй, что ко мне в штаны заглядывал! — подал голос Костик Сирий. — Национальность, сволочь, искал!

— Во-во, пидорас земли русской! — подхватывает майор Задолбов.

Никто не признаётся. Все стоят, переминаются с ноги на ногу и молчат. И тут, отбиваясь от вислоусого деда, к командиру конного разезда протиснулся мальчонка лет десяти.

— Дядечко! — дёргает за рукав гимнастёрки. — Атамана тут нема. Он в дымнике заховался.

— Адрес, пацан!

— На крыше нашей хаты. Вон она — тама! — указал пальцем.

Вислоусый дед подскочил к ребятёнку, дал ему по заду и потащил, упирающегося, за собой.

Майор Задолбов обернулся к тачанке:

— Снять этого гада с крыши! Нечего банкротиться!

Костик Сирий взялся за рукоятки «максима», проверил прицел — и пулёмёт затрясся, осыпая черепицу кровавым порошком наземь.

Труба, однако, выстояла — не берёт стандартный калибр прочных кирпичей, из которых она сложена.

Что тут соображать без толку? Хочешь — не хочешь, а придётся бойцам подставлять себя под огонь.

По стрелянке, прислонённой к хате, поднимается наверх Казбек Султанов, держа наотмашь пистолет. Только выглянул из-за конька крыши, как угостился свинцовой градиной, но не до смертельного исхода. Принял его Хабар Ардашев, спустил на руки красноармейцев, а сам по перекладинам раз-два — и вымахнул на оголённые стропила, чтобы всю обойму положить на бандита.

Жупан, дважды раненный в грудь, вывалился из убежища и скатился с крыши.

Извивается на пыльной мостовой, пробует встать.

— Это ты заглядывал в штаны наших солдат на предмет обрезания? — тронул его мыском сапога майор Задолбов.

— Он! Он! — откликнулся Костик Сирий.

Его тут же поддержал татарин Хабар Ардашев: — Именно он, харя нерусская!

Командир конного разезда коротко хохотнул и расстегнул ширинку:

— Тогда и у меня посмотри. Это я тебе говорю, майор Задолбов.

Косая струя резанула воздух, пенно заполнила гвоздевые выемки у самого лица корчившегося от ненависти полица.

— А это — чтобы не мучился, — сказал Хабар Ардашев и докончил начатое на крыше дело — пулей промеж бровей.

— По коням! — раздалась команда.

И рванули бойцы на рысях из села, оставив в нём лишь конвой для пленных.

Шла война, и нельзя было думать, что кто-то довоюет за тебя.

Воевать надо было самому. И они воевали.

Дан приказ тебе — и топай,
а иначе всем — труба.
Мы с тобой друзья до гроба,
моя верная судьба.
Впрямь шагну, сверну налево,
проползу, где ночь темна.
Я босяк, ты королева.
А тропиночка одна.

«Вёсны наши малые, воды наши талые...»

Взяв город Лидово, полк Задолбова расквартировался по назначению. Штаб, конечно, определился в бывшем особняке помещика Зигайловского, а разведроты — тут же, что говорится, под боком, в подвальном помещении — винном погребе, если по-научному.

Так что Костику Сирому не пришлось долго подниматься по крутым ступенькам, когда порученец выкликнул его наверх.

— Сам зовёт, — доверительно доложил. — Какое-то начальство подгребаёт на выдачу орденов за город Лидово. А с чем встретить, так не с чем. Обанкротимся, говорит, со стыда.

— Да в подвале там вина заморского — залейся.

— Прихватил?

Костик пошлёпал по фляге, прикантованной к поясу.

Порученец закатил глаза, почмокал губами, будто он человек с пониманием запрещённых для употребления внутрь напитков.

— Не та это музыка, что заказана сверху.

— «Языка», что ли, снова брать? Да на хрен он нужен теперь?

— И «язык» — не из той оперы будет.

— Не морочь голову, Ваня! Сказывай.

— Секретное дело. Приказано не разглашать.

— Ну и не разглашай, а сказывай. А то сам всё выпью!

Очень уж Ване захотелось разгласить «секретное дело», но поздно настроился на выпивку: вышли к штабному кабинету с плакатом «Враг подслушивает!» над табуреткой с полевым телефоном, и теперь рот держи молчком — адъютант вострит ушики.

— Лейтенант Константин Сирий явился! — Костик кинул пятерню к пилотке. — Разрешите войти?

— Проходи, пока не задерживают, — кивнул адъютант, бывший милицейский сыскарь Умнихин. — Он тебя сам дожидается. С заданием по твою честь.

«Какая честь? — спёкся в душе Костик. — Неужто прослышал про мои посиделки с Настей-банщицей? Вряд ли... В курсе только Марик Гаммер, а он — язык за зубами, слово — на крючке. Не сболтнёт. Только проигрывает на трофейном аккордеоне с намёком на ситуацию: „Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону...“ И всё!»

Подполковник Задолбов при виде командира разведроты поднялся из-за массивного, с бутылочными ножками стола:

— Докладывай!

— Честь имею! — Костик, чтобы не путаться в сложных фигурах речи, сразу упомянул о чести.

По его прикидке выходило так: если командир прослышал что-то худое про посиделки с Настей, то без промедления тут же разоблачится на конкретную тему. Но не разоблачился. Значит? Скорей всего, задумал слишком заумную рекогносцировку на местности.

— Вот и поговорим по чести, — приступил подполковник Задолбов к изложению своих мыслей, которые, к сожалению, не читались на расстоянии. — Хочешь войти в историю?

— Это ещё в какую? Вы о Насте?

— Здрасьте! Я об истории, а вшивый о Насте!

— Я не вшивый.

— Тогда не крути мне яйца с этой банщицей! Это я тебе говорю, подполковник Задолбов. К нам едет...

— Ревизор?

— Это у Гоголя «Ревизор», а у нас комедь посерьёзнее будет.

— Большое начальство в генеральских звездах? — строил догадки Костик Сирий.

— Сначала Соловьёв-Седой. Слышал о Соловьёве-Седом?

— «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».

— В яблочко!

— В разведроту все снайперы.

— А теперь, сынку, распахни зубарики и скажи: слышал ли сегодня на зорьке Левитана — как он читал по радио приказ Верховного о присвоении частям и соединениям гвардейских званий и имён освобождённых городов?

Костя смущённо почесал костяшками указательного пальца кончик носа. Именно в это предутреннее время, когда всем, кроме жаворонка, сладко спится, и обсуждал он с Настей в предбаннике насущные вопросы о чести девичьей и о чести мужской, причём так полюбовно, что — не разлей их вода даже из шайки с кипятком.

— Обанкротишься ты со своим незнанием, — огорчённо сказал подполковник Задолбов. — А весь полк по твоей милости обанкротится перед большим начальством, какое следует за народным композитором Соловьёвым-Седым. Непонятно? — Никак нет!

— Незнание — мать непорядка, заруби это себе на носу! А заодно запомни: в приказ Верховного включён и наш полк. Отныне не просто стрелковый, а гвардейский.

— Подвалы полны...

— Не туда гнѣшь. Нам теперь требуется песня, своя, строевая. Чтобы с ней, подруженькой нашей, и промаршировать по плацу за вручением гвардейского знамени.

— Ну так, товарищ подполковник, вы ведь сами говорите, Соловьёв-Седой приезжает... Композитор!

— А текст?

— Что «текст»?

— Ты у нас поэт или кто?

— Или кто. В рифму могу.

— Точное попадание! Это я тебе говорю, подполковник Задолбов.

— А песню...

— Непременно в стихах, учти. Иначе обанкротимся. И подфартит композитору насчёт фамилии. Типа: «Соловьи-соловьи...»

— Было. И Фатьянова не переплюнешь.

— Не банкроться от испуга. Возьми напрокат вторую часть фамилии — Седой.

— «Над седой равниной моря гордо реет буреvestник», — процитировал Костик, что пришло — не припозднилось на ум.

— Было и это, — вздохнул подполковник Задолбов. — Но не тушуйся, сам пропадай, но полк выручай!

— Есть выручать! Свободен?

— Иди и назад без стихов в рифму не возвращайся!

Костик козырнул и двинулся к двери, теряя по пути дар речи и досужие мысли, что обычно с ним и творила природа в безвыходном положении, когда взамен — во спасение — приходили стихи.

И они не обманули своего создателя — пришли:

Вёсны наши малые,
воды наши талые.
Соловьи седыми стали,
а грачи линиялыми.

Пулемёт вовсю кукует.
Годы, фриц, подсчитывай!
Не ищи ты жизнь другую,
сгинешь здесь, под Лидово.

Годы наши звонкие
не прошли стороной,
а остались в памяти
вместе с похоронкою.

Костик Сирый и не заметил, что рука его самостоятельно потянулась к фляжке с импортным вином. Глоток-второй — передача направо, адъютанту. Глоток третий-четвёртый — передача налево, порученцу. Приняв назад алюминиевую посудину, стихотворец младшего офицерского ранга вложил в глоток чуть ли не генеральского звания, во имя, так сказать, поднятия творческой активности той не подотчётной даже рассудку части его организма, которая и до Киева доведёт. И... окосел по самую макушку, увенчанную всё ещё пилоткой, а не фуражкой с золотой кокардой.

При спуске в погреб Костик читал произведение собственного сочинения отнюдь уже не в уме, а речитативом, чтобы не забыть какую-нибудь строку. И благодаря возбуждённому выкрику-рефрену: «Желаю музыку! Полцарства за музыку!» — вытягивал на себя прочих любителей стихов и крепких алкогольных градусов. А среди них — и Марика Гаммера, своего заместителя и друга закадычного. Тот в последние дни после взятия Лидово не расставался с трофейным «Хоннером», аккордеоном на сто двадцать басов с перламутровой клавиатурой. И музицировал на нём, порождая попутно «фрейлехсы», как некогда в одесском парке Шевченко, где, бывало, в одной компании со своим дядей Ароном Гаммером и сестрой Эммой, исполнительницей русских, еврейских и украинских песен, давал концерты или играл на танцах.

Нечего и говорить, что спустя сутки, когда Соловьёв-Седой прибыл в расположение воинской части подполковника Задолбова, его встречали готовым маршевым «фрейлехсом» собственного армейского изготовления. С ним, в наступательном ритме праздника, и отправился полк за гвардейским знаменем, а затем и в бой:

Годы наши звонкие
не прошли стороной,
а остались в памяти
вместе с похоронкою.

После войны эту песню уже не исполняли. Говорят, её запретили за пессимистические настроения, навеваемые «похоронкой». Большому начальству, раздающему ордена и гвардейские значки, наверное, хотелось, чтобы войны были жизнеутверждающими и ни в коем случае не напоминали о смерти. Должно быть, водятся и такие войны.

Но, скорей всего, на другой Земле.

Однако другой Земли для нас не придумано. Посему и войны у нас местного значения — земные, как и стихи Костика Сирого.

Следок в следок — тропа намечена
гранатой, пулей и штыком.
Пройдём к Берлину по Неметчине,
уча язык: «Хальт! Шиссен! Ком!»

Получим пулю за отличие
и угодим в тот райский сад,
где будем слушать трели птички,
взирая с неба на Парад.

Надпись на Рейхстаге

Из тысяч надписей на Рейхстаге эта, ставшая достоянием семейного альбома, практически никогда не цитировалась в репортажах о взятии Берлина. Сделана она углём на цоколе одной из колонн, второй или третьей от входа — ни Костик, ни Марик точно упомянуть не могли. Но смысл её помнили дословно. Вот она:

«Здесь, на Рейхстаге, в день нашей Победы расписываемся собственноручно и полюбовно при полном взаимном согласии на заключение брака.

Невеста Эмма Гаммер.

Жених Константин Сирый.

Свидетель со стороны невесты Марик Гаммер.

Свидетель со стороны жениха Сёма Штырь.

Печать обещал поставить командир полка подполковник Задолбов.

9 мая 1945 года.

Сквозь жизнь, сквозь смерть — в сплошной атаке —
Мы шли вдоль огненной стены

И расписались на Рейхстаге,

Чтоб жить без горя и войны».

Эту надпись я видел в детстве. На фотографии. Но не терял надежды, что увижу её когда-то и воочию. Такой случай, как мне представлялось, выпал через двадцать лет после Победы, в 1965 году, когда нас, солдат 1-й гвардейской танковой дивизии, подняли по тревоге и кинули из Калининграда в тысячекилометровый марш.

Направление?

Мы полагали — на Берлин.

Но командование предпочитало проводить манёвры в Калининградской области.

Израиль

Леонид Складнев Распалась связь времён

Леонид Складнев

Распалась связь времён

Наришэр бохер, вос дарфсту фрэйгн?
А штэйн кэн ваксн, ваксн он рэйгн,
Либэ кэн брэнэн ун нит ойфхэрн,
А харц кэн бэйнкен, вэйнэн он трээн¹,—

поют сёстры Бэрри с глубокими придыханиями на «т», красиво редуцируя «р», делая дешёвую уличную песенку похожей на произведение искусства.

В городе Самаре бесчинствует ранний май: напропалую сияет, стирая тени, солнце, отчаянно кокетничают нежно-розовым цветом яблони, синовой соперничает с безоблачным небом великая Волга. В городе Самаре бесчинствует ранний май, лёгким весенним сумасшествием сводя горожан с ума.

Майским сиянием озарена комната, солнечные зайчики прыгают, отражённые стёклами старомодной стенки с посудой. И поют сёстры Бэрри.

«День Победы на носу, а они какие-то немецкие песенки гоняют. Совсем с пути съехали. Уж „Катюшу“ бы какую завели»,—громко ворчит худой прямой старик с клоками седых волос на лысеющей голове и грозными седыми бровями. «Да везде, поди, „Катюшу“ и передают. Это ты радио на какую-то весёлую волну настроил»,—усмехается сын. Сыну под шестьдесят. Седой, как и старик, но волосы гуще и не так худ. В лице есть сходство с отцом, но если внимательно посмотреть на женщину, чьими фотографиями уставлена и увешана комната, то можно понять, на кого похож сын в самом деле. Фотографии охватывают период её жизни с самой ранней юности до последних лет. И особенное сходство—именно с последними портретами. Мать и в старости была красива, только глаза, в молодости уверенные и насмешливые, смотрели жалко и безумно. Глаза сына смотрят иронично и грустно. Старик сокрушённо качает головой: «Да не вижу ни шута. И голова, паразитка, кружится. Вот радио крутанул да на немцев и попал».—«Это, кстати, не немецкий, пап. Они на идише поют».—«А-а, и-идиш,—тянет старик.—Да я не понимаю. Это ты там, в Израиле, понимаешь».—«В Израиле на иврите говорят»,—возражает ему сын. Старик машет сухой жилистой рукой: «Идиш, иврит—я не понимаю».

Сын тихо смеётся: «Ну как же? Ты же еврей-то у нас». Старик снова машет рукой: «Евре-ей... Мать-то моя, ну, твоя бабушка, Марья Иванна, она ведь Мирьям была, как это говорят, в девичестве. Да какое там девичество! Девчонка—пятнадцать, что ли, лет. А дед твой, Николай Иванович, отец-то мой, он ведь её, считай, украл».—«Я знаю, пап»,—откликается сын. «Ну да,—всё равно продолжает старик,—отец-то мой, Николай Иванович, по делам в еврейскую деревню приехал, упряжь, что ли, починить, и увидел её. И, как это говорят, погиб... Ну и сам ей, надо понимать, приглянулся. Короче, как-то там они стакнулись, и он её к себе в русскую деревню увёз. А там уж с попом всё сладили: в христианскую веру окрестили, Марьей Ивановой нарекли—и по православному обычаю под венец. Ох, красавица была! Да ты ведь и сам фотографию видел». Сын кивает головой. Он знает эту историю наизусть и слышит её по нескольку раз в каждый свой ежегодный приезд к отцу, в эту квартиру.

Квартира досталась в наследство от деда, отца матери,—начальника областного МТС, областной сельхозтехники сиречь. Дом построили в тридцать седьмом, в новом центре недавно переименованной в Куйбышев Самары, считай, на волжском берегу, на углу Ново-Садовой и Полевой, для работников сельского хозяйства областного масштаба. Дед получил трёхкомнатную квартиру с кухней на первом этаже: два окна—на Волгу, два окна—на гремющую новой трамвайной линией Ново-Садовую. Кроме деда с бабушкой и маленькой тогда ещё мамы, в ней поселилась грозная прабабушка Матрёна Филипповна—мать деда, жена дедова отца-потёмкинца, уехавшая за ним с детьми в 1907-м сначала в румынскую, а потом в канадскую эмиграцию. Вернулись все вместе в 1917-м, почуяв веяние социалистического ветра. Им тогда показалось—свежего... Матрёна Филипповна пережила мужа и двоих сыновей—младшего, деда, и старшего, пропавшего без вести в Великую Отечественную,—и до самой смерти на девяносто втором году, уже где-то накануне шестидесятых, сохраняя ясную голову. Замкнутая, волевая, она занимала комнату, выходящую окном на Волгу, которая потом превратилась в детскую. До сих пор остались в памяти отпускаемые ею по поводу

1. Транслитерация текста песни «Тум-балалайка».

соседей мрачные замечания, вроде: «Сами кобели да собак развели».

В этой квартире сын со старшей сестрой, дочерью матери от первого брака, выросли на руках у бабушки — маминой мамы, сухонькой старушки, выпускницы классической гимназии и учительницы русского языка. Вот у кого он ему выучился. Потом сестра уехала в Казань, в университет, а он остался в этой квартире одиноким мечтателем. Так хотелось куда-то уехать! А уж как рвался из этой квартиры, когда не по-доброму пришлось вернуться в Самару после московского краха и последующих бестолковых странствий, — как из клетки наружу! И сбежал-таки — чёрт-те куда, в Израиль. Как по живому резанул необратимо. Хотя в чём-то это и правильно было. Когда сестра с семьёй бежали в начале девяностых из Средней Азии, в этой квартире и поселились с родителями. То есть ему-то с его семьёй особо и жить негде было бы. Потом сестрин муж — профессор математики — получил квартиру от института, а эта, дедовская, осталась неразменным сокровищем. Он, когда уезжал, от прав на неё отказался. А сейчас вот в ней живёт отец — древний уже старик, и сестрины дети ждут его смерти, чтобы наконец пустить это сокровище в оборот, и — всё. Продадут, разменяют, и — «распалась связь времён»! Сейчас эта мысль вдруг явилась ему во всей жестокости своей, и он горькой последней любовью полюбил ветшающее без дорогого ремонта жилище. Если его не будет, и приезжать-то сюда особо незачем. С сестрой они в последнее время разошлись. Она почему-то не могла ему простить отъезд в Израиль. Да и с его женой-еврейкой отношения у неё не заладились.

Он вздохнул, тихо прошёл на кухню, открыл шкаф, где отец зачем-то хранил немислимые запасы муки в больших стеклянных банках, достал из-за них наполовину опорожнённую бутылку коньяка, основательно отпил из горлышка и вернулся в комнату. «Ну а когда в эвакуации была где-то под Ульяновском, все документы потерялись, а в новых уж её записали Марьей Ивановой, ну и русской, соответственно. Вот те и еврей, ты говоришь... — продолжал, не обратив внимания на его отсутствие, отец. — А евреев-то я помню — мать меня водила в её семью. Ну, когда уж улеглось всё и они её простили вроде. Ну я чё — ребёнком был. Помню только, свечи горят. Прямо душно от свеч, знаешь, и какие-то все во всём чёрном, в шляпах чёрных и что-то бубнят. Так мне, знаешь, не понравилось! — он скорчил неприязненную гримасу, тряхнул сухой старческой головой и заговорил бодро, почти задорно: — В сорок первом я добровольцем пошёл, а восемнадцати ещё не было, и меня в радиоучилище определили. В Ленинград сначала, а потом, перед блокадой, нас в Казахстан перевели. На войну только в сорок третьем попал. Как раз вот на Курскую дугу, связистом. Ох, что

там творилось — ужас! А потом ко мне особист подошёл, говорит, будешь в „Смерше“ служить. Я рот раскрыл, смотрю на него. А он по плечу меня хлопнул, рассмеялся, и — всё. И меня — на Северный фронт, шпионов ловить. Ну, в окопах я, конечно, не сидел, но всякое случалось. Вот как-то ехал верхом. Местность такая — типа тундры. И „кукушке“ под прицел попал. Честно, не знаю, как жив остался. Финские снайперы промаху не давали. Конь меня вынес. Спасибо коню. И под бомбёжкой, само собой, не раз бывал, и под артобстрелом. А в окопах не сидел — чего не было, того не было. Шпионов ловили, да. Их в прифронтовой полосе было — кишми кишели. Одну даже женщину поймали — эстонка по нации была. Злющая — страх! В Центр её отправили. Ну, бытовые-то условия у нас так ничего были. Да и не голодали. Рыбы красной, горбуши этой, полно было. Хлеба вот не хватало. Паёк — и всё».

Старик умолк, обвёл взглядом фотографии. На одной юный темноволосый красавец-лейтенант в кителе с воротником-стойкой и орденом на груди обнимал прикинувшую к нему красивую молодую женщину. «А орден-то дали... Подъезжаем с водителем к переправе, а там затор — ни туда, ни сюда. Все орут, никто никого не слушает. Ну, я вышел — притихли сразу. Шутка ли — „Смерш“. Хоть и мальчишка, а лейтенант гэбэ — не хухры-мухры. Ну и порядок навёл. А тут сам Рокоссовский едет. Так и так, спрашивает: „Кто порядок навёл?“ Я подхожу, представляюсь. Он адъютанту: „Запиши“. И ко мне: „К ордену представлю“. И так вот и дали орден. У него слово — дело было». Старик снова умолк и, как бы переведя тусклый старческий взгляд из прошлого в настоящее, вздохнул: «Голова, паразитка, кружится — спасу нет. Думал, в госпитале подлечусь. А они ведь чего? Раньше-то госпиталь к Минобороны относился, и всего там было полно: и питание четырёхразовое, и лечили как надо. А теперь-то взяли да к Минздраву прикрепили, и — всё. И еда — не еда, каша пустая одна, и лечение — не лечение. Целыми днями валялся — никто не подходил. Да и чёрт с ними. Пока вот, видишь, сам себя обслуживаю. Хотя жаль мне, конечно, что ты уехал. Плохо мне без тебя».

У сына больно защемило сердце: «Ах, да знаю я, знаю! И звал же я тебя к себе, когда умерла мама, хотя сам толком не знал, как сможем мы там все ужиться. Но ты сказал: „Здесь могила её — здесь я останусь“. А теперь уж чего говорить. Знаю я, что для сестры ты — ворвавшийся в жизнь матери самозванец, разрушивший прежнюю семью и лишивший её, сестру, родного отца. И она злится, что ты сидишь в этой квартире, которую она считает своей, завещанной ей дедом. Хотя ты и относился всю жизнь к сестре как к родной, не делая между нами никакого различия, и вывозил её с семьёй под обстрелом из таджикской смуты. Я знаю, папа.

Знаю, что дети сестрины приходят к тебе, потому что денег ты не считаешь и щедро раздаешь направо и направо свою ветеранскую пенсию. Богач! А какой ты, ей-богу, богач? С подачек кремлёвских не больно разбогатеешь—им там самим бабки позарез нужны. А любимые твои внуки приёмные и убраться-то в квартире, которой алчут, толком не могут. Всё я знаю, папа. Но и ты меня пойми: некуда мне было деваться, не выжил бы я здесь, вот и уехал. Думал, привыкну там, сживусь, а нет—всё равно сюда тянет, и сердце болит. И эта боль сердечная трещиной проходит по всей жизни моей и всё больше отдаляет от сына и от жены».

Он отвернулся к окну и ничего не сказал вслух. «А больше всего я жалею, что внук мой не на моих глазах вырос,—продолжал рвать сыновнее сердце старик.—Уж как он меня маленький любил! А мать-то горевала, когда вы уехали! Думал, совсем с ума сойдёт. Ох и любила она тебя!» Сын всё сидел, отвернувшись к окну, и перед его глазами вставал, снова переживался весь искореженный, как в эпилептическом припадке, миг отъезда. Отъезд—как побег: душный Вавилон летнего самарского вокзала, слёзы—пьяное вино потерь, перекошенное растерянным отчаянием лицо отца, впившегося в загорелую ручонку ничего не понимающего внука, застывшее, с пустыми глазами, лицо матери, наглотавшейся успокоительных, перепуганный тесть, заплаканная тёща. «Ну вот и всё. Застыв в дверях вокзала, прости мне, Русь, что сердце вдруг устало переживать твой чёрно-алый бред».

До него донёсся голос отца: «Знаешь, никогда в церковь не ходил, а последнее время, особенно как мать умерла, хожу, свечи ставлю. Не знаю, поможет—нет. Ты как думаешь? Ты ведь вроде как христианин крещёный».—«Ну, если с верой ставишь, то поможет»,—отозвался сын. «А вот скажи мне, как ты там в Израиле? Ну, я имею в виду, там же вера-то другая, не христианская. Это ведь даже в церковь не пойти...»—«Ну вообще-то есть там христианские церкви—в Иерусалиме, на севере. Где я живу, там, правда, нет. Да ведь, пап, церковь—это не место, где свечи ставят. Как Спаситель говорил: „Где двое и трое соберутся во Имя Мое, там и Я между ними“¹. То есть это, видишь ли, собор единомышленников, единоверцев, а не рукотворный храм какой-то». Старик трясёт сухой головой с клоками седых волос: «Ну, это ты мудрено говоришь. Это мне не понять».—«Да это не надо понимать,—мягко возражает сын.—Это... внутреннее, вечное такое духовное единство. Как вот, к примеру, с мамой вы близки были, и хотя она умерла, а для тебя всё равно живая, близкая—гораздо ближе живых, с которыми тебе общаться приходится». Старик смотрит на него внимательно и согласно кивает головой. В мутных старческих глазах блестят слёзы. Сын, расчувствовавшись, хочет добавить: «Ну, или, к примеру, мы с тобой...» Но осекается, молчит. «Распалась связь времён!»

Либэ кэн брээнэн ун нит ойфхэрн,
А һарц кэн бэйнкен, вэйнэн он трээн².

.....
2. Любовь может пылать, никогда не угасая,
Сердце может тосковать и плакать без слёз.

«Я из певчих твоих...»

Стихи коми поэтов в переводах Андрея Расторгуева

Вячеслав Бабин



Образам поклониться хочу—
перед ликами норов умерить,
за родимых затеплить свечу,
в просветлённое завтра поверить.

Я из певчих твоих—посмотри,
а не просто досужий прохожий...
Почему же замок на двери
в этот полдень—воистину Божий?

Желание

Не дрогнет земля под стопой,
не выйдет из русла река.
Сто лет мы знакомы с тобою,
а всё не открылся пока.

Укрыть посреди камнепада,
спасти из бушующих вод
хочу тебя. Не для награды—
я просто люблю тебя... Вот!

Ночной дождь

Ночь просвечивая, лёгкий
пар над травами плывёт—
словно кто из шерсти мягкой
нити тонкие прядёт.

От опушки мимо грядок,
малостью не горячи,
бахромой пушистых прядок
заплетаются ручьи.

В тихом шёпоте, сторожко
повевая издали,
вяжет ветерок рубашку
заревую для земли.

Алёна Ельцова



Говоришь ты со мною о чём, волна?
Днём и ночью зачем шумишь?
Набежишь—и откатишься медленно.
Всех качаешь—сама не спишь.

Одного на мгновенье облика
не храня и на завиток,
то взметаешься ты до облака,
то вылизываешь песок...

В дальнем городе снежным гарусом
будет Север напоминать,
как хотела стать белым парусом—
очень-очень хотела стать.



Засмеётся небо полумесяцем—
зарябит вода над тёмным омутom,
и душа живая не уместится
в теле, тягостью земною сомкнутом.
Световыми струями несомая,
оглядев небесные предместия,
полетит над ними, невесомая,
мотыльком в далёкие созвездия,
наберёт пыльцы-нектара лонного,
проникая в звёздные соцветия...
А потом, луча коснувшись лунного,
вспыхнет
или стихнет на столетия.

Любовь Ануфриева

Одинокая лиственница

Спеющая осень сквозь вечерний свет
проступает алыми огнями...
Бабушка сказала: там рябины нет —
только ели тёмные теними.

Но, туда сентябрьским утром уходя,
ты искал иное — я-то знаю:
там, за пеленою ветра и дождя,
лиственница дремлет вековая.

Я опять сегодня плакала во сне.
Поднялась — лицо как неживое...
Снова голос твой в далёкой стороне
различила в лиственничном вое.

Ветер надо мной куражится назло,
но опять в ночном тумане снится:
на верхушке лиственницы гнездо
вьёт неумирающая птица.

Выйдя под солнечные лучи,
про сокровенное промолчи
и, окунаясь в безмолвный зной,
не очаровывайся тишиной.
Если послушаешься — всегда
будет в колодце чиста вода.

А вот иные придут ветра —
тогда распахиваться пора.
Загонят солнце за облака,
тогда и сердце — до широка...

Но если солнечные лучи —
про сокровенное промолчи,
мысли рвущиеся, храня,
сдерживай, точно в узде коня...

Так, словно я ей — дочка,
женщина-одиночка
ведала-ворожила —
слово своё сложила.
Слово не забываю,
да слушалась ли —
не знаю.



Ласково в мире горнем
всё мне отозвалось,
а от земного — с корнем
сердце оторвалось.

Ветер принёс внезапный
давний цветок опять,
но его запах затхлый
я не хочу вдыхать.

Переплелись, казалось, —
а удержать не смог.
Просто не привязалось
сердце на узелок.

Эдуард Тимушев

(1962–2006)

Поэт

Вот живёт Поэт, живёт-поживает —
женщин любит, иногда выпивает,
горе-счастье людей понимает.
А помрёт — никто о том не узнает...

Хоть красиво у него выходило,
одиночество его погубило.
Отвечаем на добро скуповато,
вот и пробыл на земле маловато.

От народа, говорят, не убудет —
новый будет... Да такого не будет.
Чуешь, эхо отзывается гулко?
Положу ему цветы на могилку.

Помяну, как не отвязно — отважно
жил да был Поэт. И вышел однажды...



Наберём до полна шиповника
и повалимся на лугу,
нацелуемся, как любовники, —
до истомы, до «не могу»,
словно сердца ещё не мерено,
словно ты ещё не жена,
и ещё до заката времени
и шиповника до полна.

Михаил Елькин

.....

Той ночью

Той ночью
мы ещё шагали рядом,
как суженые—об руку рука.
И ни единым словом или взглядом
не разделить нас было на века.

Той ночью
мы ещё шагали рядом
и не могли подумать и на миг,
что к непреодолимым передрягам,
к нечаемой разлуке напрямик.

Той ночью
мы ещё шагали рядом,
уверены: любви не превозмочь...
Но золотистым редким звездопадом
её уже оплакивала ночь.

● ● ●
На уходящей неделе
вновь журавли полетели,
пряча тоску и печаль,
в неодолимую даль.
Крики в сырой вышине
в сердце вонзаются мне...

Как вы зимою, хорошие,
там без болотин морошковых,
елей, щекочущих небо,
поля озимого хлеба,
лунной волны на реке,
сонных озёр в молоке?

Как доживёте до лета?
Скрылись вдали без ответа...

● ● ●
Сентябрьской луны поплавок
поднялся в небесный поток,
когда я в глубокой ночи
с приятелем рыбу лучил.

Река под лунной не спала
и жёлтые листья несла,
и звёзды на тёмной волне
покачивались в тишине...

Приятель вонзал острия
в красивую рыбу, а я
надеялся, что найду
красивейшую звезду.

Войду в золотую волну,
её острогою проткну
и выну из сонной воды
упругое тело звезды...

Так ночь до утра и прошла.
Приятель улов для стола
домой потащил в рюкзаке,
а я—как всегда, налегке.

● ● ●
Что с тобой у нас бывало,
не разделится на части—
то печаль в глаза хлестала,
то заплёскивало счастье...

Что бывало—то пропало:
с талым снегом утекало,
ключевой водой бежало
под коряги ветровала.

Песенка других не горше:
тёк ручей—и растворился...
Пил я полною пригоршней
из него—да не напился.

Олег Харебин

«Улитка на склоне»

Тайны и шифры братьев Стругацких

Многим кажется, что герои научно-фантастического романа братьев Стругацких «Улитка на склоне» Перец и Кандид никак между собой не связаны. На самом деле связь существует, и связующим звеном здесь является «лес».

Причём Перец, житель Города, внештатный сотрудник Управления по делам леса, подвижный «тоской по пониманию леса», стремится попасть в «лес» — экстраординарную естественную среду со сказочной чудесной составляющей в виде прыгающих деревьев и русалок... Есть ещё нечто чрезвычайно важное, что сближает Переца и Кандида и окружающих их людей... Об этом — чуть позже.

Деревня

Кандид живёт в деревне, среди «леса», в экстремальных условиях, и мечтает о том, чтобы вернуться в Город для обретения бывшей идентичности, которую он потерял, потерпев в «лесу» аварию на вертолёте. Жители деревни, где живёт Кандид, ведут постоянную вялотекущую борьбу с «лесом», так как дома снаружи, тропинки, по которым ходят жители, почти мгновенно зарастают.

Вместе с тем есть положительный момент в жизни жителей деревни: пищи, питания — вдоволь. Здесь растёт даже одежда... Не ленись сажать и поливай посаженное «бродилом»... В некоторых местах «леса» горячие болота пригодны для питания. Или — даже сама земля со вкусом сыра, которую ели Кандид и Нава после стычки с «ворами».

«Лес» давит Кандида избыточной жизненной активностью, непредсказуемостью, опасностями, исходящими от «мертвяков», «воров», мифических «уроков», прыгающих деревьев, животных типа рукоеда, волосатика, гиппоцета... Давит настолько мощно и постоянно, что Кандид разучился логически мыслить, как бывший житель Города, и с трудом пытается восстановить утраченный навык...

...Микроорганизмы рода Кандида входят в состав нормальной грибковой микрофлоры рта и органов выделения человека... Де-факто Кандид, как и прочие жители — Колченог, Кулак, Слухач, Нава, — ведёт самое примитивное жизненное существование. Кроме выживания и создания парных семейных союзов (собрание, организованное

старостой по поводу женитьбы Болтуна), никаких сознательных целей в отношении «леса» и самих себя у них нет. Они — бессознательны. И кругозор их ограничен Глиняной поляной, Выселками, соседней «чужаковой деревней»... Но жители деревни — свободны и вполне вольны делать что угодно. Например, пойти в путешествие в Город, куда собирались идти Кандид, Колченог и Кулак...

Тем не менее деревенские — вполне самостоятельны, и у них начала формироваться культура обращения с «лесом». Так, они научились управлять даже путями, по которым двигались потоки насекомых: «Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьёв, потащивших было личинки рабочих мух прямо через площадь». Площадь деревни была покрыта голой землёй, на которую деревенские жители бросали семена, «выращивали подстилки» для мягкого сидения. С помощью «бродила» большая часть растений «леса» делалась съедобной почти мгновенно...

Кандид

А если обратиться к более буквальному толкованию имени Кандид? Тогда Кандид — кандидат... в личности. В самом начале Кандид представляет из себя довольно слабого в умственном и личностном отношении человека, которого любой может сбить с панталыку: «...это очень важно — не дать заговорить с собой, занудить голову, особенно вот эти места под глазами, до звона в ушах, до тошноты, а ведь Нава уже говорит...»

Однако лишь экстремальные путешествия меняют судьбы, обнаруживают личность и заставляют её действовать. Экстремальные путешествия бывают двух видов: внутренние (интрапсихические) — к примеру, путешествие в коллективное бессознательное человечества Христа во время сорокадневного поста в пустыне и его разбирательство (интеграция) общемирового зла, — и внешние — въезд того же Христа на осле в Иерусалим (Вербное воскресенье)...

В самых значимых романах Стругацких — «Граде обречённом», «Улитке на склоне» — братья смешивают объективную реальность с интрапсихической (коллективным бессознательным) и создают суперреальность: «лес», «север».

В «Граде обречённом» экспедиция на «север» — путешествие в коллективное бессознательное Андрея Воронина — не удалась. Обычный, нормальный человек, он не жаждал понимания, несмотря на все старания Изи и Наставника, не смог интегрировать в своё сознание образы-символы: говорящих статуй (потерял сознание), Красного Здания (убежал). За что поплатился убийством личности и понижением уровня сознания до детского. «Много званых, но мало призванных». Этот тезис Христа касается финальной ситуации Андрея Воронина.

А вот Кандид стал «призванным»... быть личностью. При попытке его захвата для последующего обезличивания в лапы коллективных механизмов в лице одной из «подруг», гостьи из будущего, Кандид убивает «мертвяка», возвращается в деревню и там формирует собственное, выражено этическое, чувственно-моральное отношение к объективно данному будущему, уготованному жителям деревни: «...они — реликты, осуждённые на гибель объективными законами, и помогать им — значит, идти против прогресса... Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали». И: «Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах ихнего прогресса. Я сделаю всё, чтобы эти жернова остановились».

Итак, сознательное сопротивление и сознательное отношение к объективно данному. Не слияние с объективно данным, не становление частью его процессов (Николай Второй, М. С. Горбачёв), а — максимальная субъектность (А. Суворов, К. Г. Юнг, В. Высоцкий), воля моральной, врождённой или ставшей, личности к цельному свободному существованию в сочетании со «всемирной отзывчивостью»...

Значит, Кандид есть личность, ставшая таковой в результате благополучного исхода приключений с «ворами» и «подругами» — удавшейся попытки путешествия в Город. А почему, собственно, «удавшейся»? Ведь Наву он потерял и в Город не попал! А потому, что Нава осталась жива и сам Кандид приобрёл знание и понимание будущего, которое ожидало жителей деревни. Это знание зажгло его сердце и всколыхнуло душу. И поэтому, когда недалеко от деревни появился спецназ «подруг» по гендерной селекции — «мертвяки», то «Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине».

СССР

...На собрании жителей деревни состоялась «передача» отрывков из обрывков живого приёмника «старца»: «Старец долго распространялся о том, что такое „нельзя“... призывал к поголовному

Одержанию... грозился победами на Севере и на Юге...» В дальнейшем там же, на собрании, всплыли темы «Большого Разрыхления Почвы» и «Необходимого Заболачивания».

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого столетия, когда творился этот роман, СССР активно осваивал арктический Север и занимался орошением пустынь в Средней Азии. «Большое Разрыхление Почвы» суть масштабное освоение целинных земель Казахстана, Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока 1956–1961 годов. Были освоены десятки миллионов гектаров целинной земли.

«Поголовное Одержанье» есть тоталитарная одержимость «красной», коммунистической идеей периода СССР, особенно во времена хрущёвской оттепели, когда СССР первым вышел в космос... Казалось, вот-вот наступит «светлое будущее». Но оно не наступило. Хрущёва убрали, и пришли «кремлёвские старцы»: еле ворочающий языком поздний Л. Брежнев, больной В. Антропов, дряхлый К. Черненко. Всё закончилось М. Горбачёвым с «подругой» Раисой Максимовной. И от СССР после 1991 года остался «лиловый туман»... Собрание жителей деревни и речь «старца» суть завуалированная футуристическая пародия на выступления генсеков-«старцев» на съездах КПСС...

Откуда братья Стругацкие могли знать, как закончится существование СССР? Они и не знали, ибо нет такой рациональной науки, просчитывающей будущее «от и до». Всего-навсего они обладали мощнейшей художественной интуицией и имели свободный творческий доступ к коллективной психике (коллективному бессознательному) нашего народа... да и человечества... Коллективная психика есть нечто морально, объективно данное, но изменчивое, и выражается в коллективных нормах и стандартах, которые, так же как и люди, имеют свой период существования...

Конечно, те морали и веры, которым тысячелетия и которыми пользовались предки, — наиболее верны и истинны для людей. Но и они стареют, умирают...

В нашем случае мы имеем дело с коллективной коммунистической ментальностью СССР шестидесятых годов, и ещё ничего не предвещало развала Союза... Предвещали произведения Стругацких: «Обитаемый остров» (взрыв Максимом башни ПБЗ и уничтожение существующих коллективных стандартов, «лучевого питания»), «Град обречённый» (призрак «Красного Здания»)...

Лукавая, треугольная деревня, затопленная водой. В природе почти ничего нет треугольного, значит, треугольник — символ искусственности. В СССР тридцатых и пятидесятых годов двадцатого века интенсивно шёл процесс создания искусственных водохранилищ для строительства ГЭС на Волге, Доне и других реках. В итоге было затоплено

целиком (город Молога) или частично (Весьегонск, Корчев, Пучеж, Калязин) девять городов, тысячи сёл, полторы сотни церквей... Большинство затопленных объектов имело историческую ценность и относилось даже к древнерусским (город Корчев). Видимо, эти события оставили неизгладимые следы в душах братьев Стругацких, бывших живыми свидетелями этих процессов.

А если идти дальше и мыслить женщин, забравших у Кандида Наву, «жутких баб-амазонок, жриц партеногенеза», как игру слов, и в качестве жрецов партии КПСС — членов Политбюро ЦК, способных производить из «лилового тумана», коммунистической идеологии, «мертвяков», «живые машины» — суть бездушных, исполнительных фанатиков коммунистической, «лиловой» идеи?!

«Жуткие бабы»

Впрочем, заикливаться на этом не будем и взглянем на «жутких баб-амазонок» с другого ракурса — не прошлого, но настоящего и будущего. А не есть ли это дальнейшая разведка Стругацкими того факта-предвидения Ф. Ницше, что «женщина в роли приказчика стоит у врат новообразующего общества»? А ведь «стоят» Меркель в Германии, Мэй в Великобритании. Дилма Русеф в Бразилии до недавнего времени «стояла». Не все «приказчики» подобны Индире Ганди... На всех парах недавно в США рвалась к власти Хиллари Клинтон. Один из архитекторов-исполнителей «арабской весны», она радостно повизгивала, когда толпа террористов-«мертвяков» терзала в Ливии М. Каддафи, первого и последнего лидера Социалистической Джамахирии... Здесь сравнение вполне уместно, если вспомнить, с каким злоднотворием одна из «подруг», «женщин-амазонок», уничтожила несчастного рукоеда, повергнув в шок Кандида...

«Лес»

Если для Кандида «лес» выступает лишь в качестве среды обитания, то для Переца это — живая сверхчеловеческая структура коллективного бессознательного, хранителя жизненного, морального опыта человечества. Обращение к «лесу» Переца, когда посреди ночи комендант выставил его на улицу, весьма напоминает обращение верующего к Богу: «Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе из нас никто не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без (Бога?)».

В этом отношении «лес» Стругацких вполне ассоциативен лесу из «Лесного царя» И. В. Гёте или «Лукоморью» А. С. Пушкина: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит...» А также — *man's pou land* К. Г. Юнга, стране, где нет людей, — коллективному бессознательному, наполненному призрачными мифологическими

образными объектами, обладающими демонической силой... Как-то: исчезновение мальчика в «Лесном царе» или ослепление и гибель доктора Фауста в «Докторе Фаусте», заключившего договор с бездной коллективного бессознательного в лице Мефистофеля...

У Стругацких в «Улитке на склоне» в раздумьях Переца — прозаическая поэтика, романтика неизвестного: «Зелёные горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности, осторожные непонятные аборигены». И далее — двойственный аспект коллективного бессознательного, его сверхчеловеческая структура: «Изобилие жизни. И всё чужое. Чем-то знакомое, кое в чём похожее, но по-настоящему чужое... наверное, труднее всего примириться с тем, что оно чужое и знакомое одновременно... оно (коллективное бессознательное?) — производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать».

Да, коллективное бессознательное, являющееся лишь во снах, в поэзии, сказках и мифах, есть сила, превосходящая человека и недоступная рациональному пониманию. Лишь одному человеку, К. Г. Юнгу, удалось выразить эту силу научными теориями архетипов, Анимы (мужской души), Анимуса (женской души), Тени и т. д.

Основная функция коллективного бессознательного, этой кладези бытийного многотысячелетнего опыта приспособления людей к так называемой объективной реальности, есть психическое питание людей через обоюдную, обратную связь, существующую, кроме поэзии, в мифах, эпосе, народных сказках... И в некоторых прозаических произведениях выдающихся и великих мастеров...

Психическое питание служит целям выживания человека вообще. Так как жизнь человеческая коротка и без опыта предков, заключённого в коллективном бессознательном народа или всего человечества, мгновенно приспособиться к объективной реальности совершенно нереально. Вот почему в «лесу» Стругацких (коллективном бессознательном человечества), по монологу шофёра Тузика в первой главе, можно есть всё: «Что меня в лесу удивляет — так это болота... Как щип горячие. Пар идёт, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли...»

«Лес виден только с обрыва». Не единожды писали об этом в романе братья Стругацкие. Что это означает для нас с вами, живущих в текущей реальности объективного мира? Это означает, что как только перестаёт работать, обрывается наше сознание — его тут же замещает наше коллективное бессознательное (подсознание): во сне, во время приступов лунатизма, в состоянии комы приходят символические образы. Даже в случаях алкогольной интоксикации человек

в беспамятстве, с обормотным сознанием, домой всё-таки приходит...

«Лес», коллективное бессознательное К. Г. Юнга — не только хранилище и кладёз общечеловеческого опыта приспособления и выживания, но и источник будущего, «клоака» смещения архетипов и потоков либидо народов, мужской (патриархальной) и женской (матриархальной) матриц — психологическая «хиазма», точка обмена жизненными энергиями.

И в этой невидимой простому смертному «хиазме» встречаются прошлое и будущее, формируя наше настоящее. Структура Управления, существующая там бюрократическая система, а также качественный, моральный состав сотрудников суть наше советское прошлое с группами Искоренения (КГБ), Проникновения, Помощи местному населению (идеологическая пропаганда), Вооружённой охраны (армия), Научной охраны (научная система СССР под кураторством КГБ), первых советских диссидентов (сотрудница биостанции Рита, которая «никогда не работала»). И наконец, первая директива на посту директора Управления Переца о «самоискоренении групп Искоренения» было реализована первым и последним «директором» (президентом) СССР М. Горбачёвым указом о роспуске КГБ СССР в 1991 году.

Ничего фантастического, необычного, кроме рассказней Тузика о русалках и прыгающих деревьях, в первых главах «Переца» нет. Постоянное, системное питание «кефира» («Кефир пили все») сотрудниками Управления и биостанции, появление архаичного броневика, где оттягивался шофёр Вольдемар во время поиска сбежавшей «машинки», есть констатация Стругацкими факта архаичности советской Системы, существующей в первобытной парадигме: один вождь, одна страна, одна вера (коммунистическая).

Гендерная революция

И вот бывший сотрудник Управления Кандид возле «хиазмического» холма с «лиловым туманом», в месте, где происходит обмен энергиями потоков либидо (энергии) прошлого и далёкого грядущего для формирования настоящего, вместе с Навой встречается в «лесу» «женщин-амазонок», «подруг», представительниц научно-технического прогресса.

Все три «жуткие бабы-амазонки», хозяйки «мертвяков» — безымянны. Они обладают сверхъестественными, фантастическими способностями, которые и не снились сотрудникам Управления, а уж тем более нам: «заставить живое стать мёртвым» и «мёртвое живым», приказывать «дереву лечь», взглядом убивать животных (рукоеда). Но на подобные вещи способна только госпожа Наука, и троицу «подруг», «властных и равнодушных», — девушки, беременной женщины и женщины родившей (мать Навы) — можно разуместь в качестве

образа динамичной быстроразвивающейся науки в самом её деструктивном, бездушном аспекте.

Ограничивать творчество Стругацких лишь символическим аспектом — значило бы проявление к ним неуважения. «Мужья нам больше не нужны!» Значит, мужчины в качестве защитника, добытчика и охранителя женщин уже не нужны — с этими делами вполне справится бездушная цивилизация-государство (Город?) и научные достижения! Неужто будущему мужскому полу в далёком будущем уготована участь изгоя — «приблудного пса», «козлика» на ночных работах «Воспитательниц»?!

Переца

Переца. Многим кажется, что имя Переца — переца (перемолотые жгучие остатки растения) и есть. Однако Переца — это еврейское имя, означающее «прорыв», «пролом». Переца, внештатный сотрудник группы Научной охраны, рвётся в «лес» для знакомства с жизнью во всей её полноте (для обратной связи со стороны коллективного бессознательного?). Но — не пускают, и пропуска в «лес» у него нет. Тогда он принимает решение покинуть Управление и уехать на Материк. Но его и туда не хотят пускать. Почему? Потому что он, несмотря на ничтожную должность внештатного сотрудника, есть реальный моральный авторитет, честный и искренний человек. Ни менеджер, ни Проконсул (проконсул — род ископаемых приматов эпохи миоцена), штатный лектор-философ, ни вроде честный трудяга Ким (Коммунистический интернационал молодёжи?) не желают, чтобы он покинул Управление. Почему? Они что — любят Переца? Не совсем так — они любят по необходимости и пытаются его оставить, исходя из чувства коллективного самосохранения.

Если Переца, некий моральный индикатор честности и искренности, уедет, Управление окончательно деградирует и «самоискоренится». Влюблённый в Алевтину (чуждую дурного — *лам.*) Стоян Стоянов с биостанции просит Переца: «Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил с ними (с Ритой и Квентином), что ли...» А Тузику, когда Управление ездило за зарплатой на биостанцию, он (Переца) вообще набил морду, когда, поддавшись «похотливому салыцу, облившему Тузику глаза», тот произнёс непристойность: «...!» И Тузик (собачье имя) этот побои воспринял как должное, защищаться не стал... А менеджер, в пересказе того же Тузика, когда он обратился к нему с просьбой Переца о выделении машины для выезда на Материк, выдал следующее: «Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам без него тошно будет!»

...А в реальной общественно-политической жизни на Западе мы и наблюдаем подобную «тошноту», потому что там отсутствуют честные и искренние морально-нравственные общественные

маяки, вроде погибшей в автомобильной катастрофе принцессы Дианы, для шизоидных заокеанских «директоров»...

Итак, Перец — личность врождённая (Моцарт, А. С. Пушкин, В. Высоцкий), вполне социальная (романтико-экстравертная). Но тем не менее и он противостоит объективно данному — факту работы в Управлении внештатным сотрудником без пропуска в «лес», с отсутствием телефонной трубки для связи с директором, а став директором, делает попытку изменить Управление в его отношении к «лесу»...

Деградация

В Управлении царят разврат и повальное пьянство. Не стоит обманываться тем, что водка в этом романе названа «кефиром». А вот как пьёт «кефир» в столовой шофёр Тузик в первой главе: «Он (Тузик) выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал...» А перед этим: «В проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. <...> — Их там четыре штуки. Доказывай потом, что ты не домкрат», — говорит Тузик.

А на биостанции, отдельной от Управления, начальственных глаз нет, и там «гудят» по полной: «Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озёра — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты, в бутылочку, в карты, в бильярд, они меняются женщинами...»

Руководитель группы Искоренения Клавдий-Октавиан Домарощинер вроде бы должен бороться с аморальностью, но сам погряз в разврате: «Не везёт Домарощинеру. Возьмёт новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать...» У Домарощинера два блокнота: в один записывается, что говорит директор, в другом пишутся собственные высказывания. Здесь явный намёк на советский негласный институт доносчиков, «сексотов». Клавдий и Октавиан — имена римских императоров. Подобно им (императорам), советские «домарощинеры» — доносчики — одним росчерком пера, одним доносом могли вершить судьбы людей в периоды поиска «врагов народа» в эпоху сталинского правления. Шофёр, в дальнейшем — «старший лаборант», Тузик сидел в концлагере за ничтожное преступление.

Моральные типы

В главах «Кандид» об Управлении и биостанции все персонажи дифференцированы на нормальных, морально ущербных и безликих. «Нормальные» имеют нормальные имена: Алевтина, Стоян Стоянов, Рита, Квентин, Вольдемар, Ким.

У «морально ущербных» персонажей — подчёркнуто-выспренно-гротесковые имена: Клавдий-Октавиан Домарощинер, Брандсгугель (полый чугунный шар для зажигания), Проконсул, профессор Какаду, Тузик. Причём чем более ничтожна личность — тем громче фамилия. На вопрос Переца Домарощинеру, будучи уже директором: «А вы можете убить человека?» — руководитель группы Искоренения Домарощинер с готовностью достал блокнот для записи.

Так называемые «нормальные» люди склонны к свершению как хороших, так и плохих поступков. Они двойственны, а значит, и жизненны. Тот же Ким, симпатизирующий Перцу начальник группы Научной охраны, часть доносов на Переца выбрасывал, часть откладывал...

«Морально ущербные» персонажи в «Улитке...» выраженно порочны в различных ипостасях. Тузик — во власти синдрома сексуальной зависимости. Стукач Домарощинер ради угождения начальству и «тёплого» места готов на убийство. Штатный философ Проконсул читает лекции о «лесе», хотя сам ни разу не был в «лесу». Он считает это нормальным и принуждает Переца, филолога-лингвиста, вести подобную деятельность. Профессор Какаду в приёмной директора чесал подмышку «как обезьяна» — с очень уж символическим именем.

И наконец, самый низший (в морали) род людей в этом романе: комендант («добрый, уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник...»), менеджер, официант, механик и директор. Заметим, что все персонажи глав «Кандид» суть жители Материка, на котором находится так называемый Город. «Мировой город» Освальда Шпенглера, где «нет народа, а есть масса». В этой «массе» ещё есть остатки национальных различий: к Перцу обращаются то «пан Перец», то «мосье Перец». Но это — персонажи нормального рода: Ким, Стоян Стоянов, Алевтина и т. д.

У персонажей более низкого морального уровня — Домарощинера, Тузика, Проконсула, Какаду — имена очень близки к кличкам.

Комендант, менеджер, официант, механик и директор суть абстрактные социальные функции, где нет ничего человеческого... даже имён.

Вот он, дегенерат, по Стругацким — «менеджер»: «Круглые глаза его тускло поблёскивали, и правый, искусственный, был всё время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску (шахматную)». И: «Он разыгрывал всё время один и тот же ферзевой гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта».

Комендант общежития, где живёт Перец, очень близок к сумасшествию и нуждается в психиатрическом лечении («ремонте»). Ночью он выгоняет

Переца на улицу только потому, что у него закончилась виза. Плюс у него самая незначительная социальная функция из сотрудников Управления — он лишь внештатный сотрудник группы Охраны науки, и с ним можно не церемониться... Но незначительная должность внештатного сотрудника де-факто есть самая подходящая для Переца: не нужно юлить перед начальством, врать, надевать маски чего-то-делания (поиск «машинки»).

Директор

Референт директора по кадрам Ахти — по сути, явный шизоид с тремя не связанными между собой субличностями — эстетствующего знатока живописи Пикассо, рубахи-парня и бездушного чиновника: «Слушай, друг!.. Возьмём на троих? Секретаршу позовём, видел бабу? Это ж тридцать четыре удовольствия!» И: «Я вас спрашиваю, что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза».

Директор в этом произведении — фигура мифологическая и тоже съехавшая с катушек. Это сразу понял Перец («Этот бред я подписывать не буду»), ознакомившись с «Проектом о привнесении порядка», а также с прошлыми действующими распоряжениями бывшего директора: «Директивой о неубывании», «Приказом о небеременности», а также с приказом о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырёхмесячного жалования — посмертно на собаководо вооружённой охраны Г. де Монморанси, «беспечно позволившего себе быть поражённым атмосферным разрядом (молнией)».

Я почти уверен, что «референт по кадровым вопросам» Ахти — директор и есть. Чувствуя приближающуюся психическую катастрофу, сконцентрировав остатки разума (синдром Ельцина), директор письменно назначает Переца директором Управления вместо себя. Основания для такого предположения есть в телефонном обращении директора к сотрудникам Управления. Наряду с бессмыслицей типа «Акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата», есть там и здравые, толковые размышления: «Боюсь, мы не поняли даже, чего мы, собственно, хотим». И: «Но кто-то же должен раздражать, и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу». Этот «кто-то» и есть Перец, в русском варианте суть пищевая специя, то, что жжёт, раздражает, но тем не менее придаёт пище вкус и усиливает процесс питания живого организма.

«Тщательно готовиться к пробному выходу...» Это послание, случайно услышанное Перцем по телефону, и стало его начальной стратегией по освоению и знакомству с «лесом», когда неожиданно для самого себя он стал директором Управления: «Прекратить вторжение в лес, усилить

его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него...»

В телефонном обращении директора вообще очень много смыслов. Например, завуалирована критика фрейдизма, объясняющего всю психологическую, духовную проблематику людей, исходя из одного принципа удовольствия: «Если поступок принёс нам удовольствие — хорошо. Если не принёс — значит, был бессмысленным». Есть и критика Советского государства: «Оно (государство?) любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь. Географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни за всех людей...»

Фрейд и Юнг

Никто в Управлении не смог внятно объяснить Перецу смысл телефонного послания директора, которое обращено «ко всем, но одновременно и к каждому». Здесь — опять шифр от Стругацких: так называемое коллективное бессознательное как коллективно, так и индивидуально и зашифровано в символах сновидений. Очень немногие понимают сны. Один и тот же сон может толковаться по Фрейду (редуктивно, назад к сексуальности) и по Юнгу (конструктивно, вперёд в будущее). Телефонную речь директора начальник группы Научной охраны Ким предложил Перцу толковать двумя способами: «методом домино» (по принципу цепной реакции) и «методом спирали» (сложный математический метод). У Фрейда — довольно простой метод. Метод Юнга — сложный, потому что интеллектуальное, конструктивное толкование этот учёный всегда соотносил с чувствами и переживаниями во время сна и редко ставил собственные точки, подводил к ним самого анализируемого. Фрейд ставил штампы нереализованной сексуальности практически на все сны...

Был ещё в «Улитке...» «метод Стивенсона-заде». Но, судя по названию, это — абсурдистский метод, придуманный братьями Стругацкими для запутывания советской цензуры...

Персона

«Персона» есть маска древнегреческого актёра. А в современном аспекте — это комплекс функций приспособления или удобства по отношению к существующим коллективным нормам и стандартам.

«В сущности, персона не является чем-то „действительным“. Она — компромисс между индивидуумом и социальностью по поводу того, „кем кто-то является“. Этот „кто-то“ принимает имя, получает титул, представляет должность и является тем или этим. Конечно, в этом смысле это так и есть, но в отношении индивидуальности того, о ком идёт речь, персона выступает в качестве вторичной действительности, чисто компромиссного

образования, в котором другие иногда принимают иногда гораздо большее участие, чем он сам. Персона есть видимость, двумерная действительность, как можно было бы назвать её в шутку» (Карл Густав Юнг, «Психология бессознательного»).

С персоной, в прямом и переносном смысле, в «Улитке...» Перец явно и очевидно сталкивается в приёмной директора: «Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем». И: «...усы его отвалились и мягко спланировали на пол. Он приподнял их, осмотрел... и, деловито на них поплевав, посадил на место (маску)».

«Брандскугель» в немецком языке означает полный артиллерийский чугунный шар, который можно наполнить зажигательной смесью и запустить куда-нибудь для разрушения, поджога. Как личность Брандскугель настолько ничтожен, что на все вопросы отвечает: «Я не знаю». Какая дистанционная разница с личностью Переца! Который прекрасно понимает ограниченность даже так называемых нормальных людей: «У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами — верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять».

За понимание отвечает интеллект. Перец — честнейший интеллектуал, обладающий, кроме всего прочего, высокоразвитым чувством, отвечающим за мораль. Он способен прочувствовать не только «лес» (коллективное бессознательное), но и внутренние переживания сбежавшей от инженеров техногенной «машинки»: «Наверное, она не выдержала. Они трясли её на вибростенде, они вдумчиво мучали её, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками. Она задыхалась от запаха канифоли, её заставляли делать глупости... И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд...»

Это есть чувственно-этическая русская «всемирная отзывчивость» даже по отношению к неодушевлённому, на которую способны немногие — вроде Владимира Высоцкого (стихотворение «Я — Як-истребитель»).

Идиоты вроде Брандскугеля, коменданта или менеджера на полном серьёзе срослись, сжились с социальными масками — персонами, так что без них вряд ли смогут быть людьми вообще. Стругацкие подчёркнуто иронично относятся к этим играм в исполнение социальных, должностных обязанностей, социальный статус... особенно в «Улитке на склоне» и «Граде обречённом». Взять, к примеру, того же безымянного дежурного, объявившего тревогу в Управлении по поводу сбежавшей из лаборатории «машинки»: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах

по положению... на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять».

Этот сокращённый пассаж напоминает служившим в Советской Армии команду для молодых призывников («салаг»), которую давали старослужащие новобранцам для потехи в ночное время: «Внимание, внимание. Всем строиться на подоконниках! Форма одежды караульная: в сапогах, трусах и касках!» А Перец и был духовный «салага», социальный, душевно чистый ребёнок, способный, правда, к большим моральным делам — вроде монолога с книгами во время сна в библиотеке. А здесь, во время ночной тревоги в Управлении, и была потеха дежурного («на тожественную встречу падишаха...») вперемежку со страхом других сотрудников обнаружить злополучную «машинку», поскольку она, не будучи обнаруженной в течение шести часов, «самоликвидировалась» и могла причинить ущерб её искателям.

«Перец различил каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами... А затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в чёрных развевающихся плащах... Эти люди бежали... растянув поперёк что-то странное, светлое... не то бредень, не то волейбольную сетку». Сотрудники Управления играли в поиск «машинки», в исполнение должностных обязанностей по сигналу тревоги. Играли с размахом, почти введя Переца в ступор. Лишь убогие, вроде инженера «в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом „Либидович“», принимающего социальную маску за нечто абсолютное, «рвали подмётки» на полном серьёзе: «Этот инженер (Либидович) полез грязными сапогами по нему (Перцу), пихая его локтем в лицо, храпя и воняя пóтом, повалился на место водителя... истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону». «Либидович» — от юнговского термина «либидо», означающего совокупную психическую энергию. Значит, «Либидович» суть энергичный... дурак. Зато «умные люди», такие как шофёр грузовика Вольдемар, намеренно загоняют машину в топь и предаются питию «кефира» под аккомпанемент мандолины...

Административная работа

Когда Перец начал делать первые шаги на поприще директора, Алевтина выдала новоиспечённому директору некий наставительный пространственный пассаж, посвящённый «административной работе»: «Существует административная работа, на которой стоит всё. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием в глубь времён. До сегодняшнего дня он овеществлён в существующих приказах и директивах. Но он уходит глубоко в будущее, и там он ждёт своего овеществления. Это подобно прокладке

шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты».

Я долго не мог понять, что стоит за этим пассажем. Однако после длительного раздумья понял, что основной контекст здесь исторический и личностно-психологический. Потому что роман писался на переходном политическом стыке, когда правление выраженной личности — Н. С. Хрущёва — сменилось в середине шестидесятых началом брежневского периода длительного «застоя» в головах и душах. Чем закончится брежневский период, братья Стругацкие, конечно же, не знали, но тем не менее свободно выражали свои предчувствия в «Обитаемом острове», «Граде обречённом», «Улитке на склоне».

Если «административную работу» исправить на «работу по управлению народом», то всё встанет на свои места. Это своеобразное послание новому руководству СССР о политической ответственности, планировании будущего и важности личностного фактора в лице руководителя государства.

«Хороший человек» был Л. И. Брежнев, но зурядный политик, оторвавшийся с годами от реальности. Здесь есть понимание братьями Стругацкими зависимости судьбы и народа России от личности правителя — «нивелировщика». Достаточно вспомнить М. С. Горбачёва, с потрохами сдавшего нас, де-факто державу номер два, Западу.

Трудно представить на «административной работе», к примеру, личность типа Владимира Высоцкого, сходную по эмоциональной, чувственной составляющей с Перецом. Однако в объективной реальности подобные случаи были. Имею в виду Михаила Евдокимова, артиста, пародиста, юмориста, человека с душой, ставшего в 2004 году губернатором Алтайского края. Он реально воевал с бездушной, коррупционной бюрократической Системой. «Человека с душой» трудно, невозможно сломать морально, духовно, поскольку, люди подобного рода суть сами моральные столпы и ориентиры, являющиеся носителями духовного стержня — выраженного личностного инстинкта... Тогда и случаются мутные автомобильные и вертолётные аварии, где гибнут моральные внесистемные авторитеты: Михаил Евдокимов, Александр Лебедь... принцесса Диана. Да и смерть В. Высоцкого под большим вопросом.

А ведь «и на старуху (Систему) бывает проруха». Посмотрим, что привнесёт в США и в мир личность Трампа, президента США, справится ли с ним американская политическая Система... Почему-то все политики в мире делятся на «системных» и «внесистемных». А почему нельзя поделить на шизоидных и нормальных или на честных и нечестных, ложных и искренних?! Наверное, мир к этому не готов... пока...

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи...

(Исса, сын крестьянина)

Медленный моральный и нравственный прогресс — «улиточный» — уготован человечеству. Так полагают братья Стругацкие. Здесь они — реалисты...

P. S.

Очень много загадок и скрытых смыслов осталось нераскрыто в этой статье. К примеру, куда и зачем старец из деревни «ходил на дрессировку»? Что может означать «полоса боёв» в разговоре «подруг»? Или что хотели нам сказать братья Стругацкие, перечислив предметы, найденные в записках бывшего директора: мятый картуз с непонятной кокардой, парабеллум с единственным патроном, генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями? А металлическая табличка на двери бывшего директора с надписью «СКОТ»? И что делал Карл Етингоф в лукавой деревне и т. д.?

Аркадий и Борис Стругацкие считали свой роман «Улитка на склоне» самым удавшимся и совершенным. В романе — десятки символов, смыслов, предвидений, аллюзий, шифров. Но, несмотря на смысловую полифонию, должны быть главные цели и смыслы этого произведения...

Все главы романа названы либо «Перец», либо «Кандид». События в романе служат максимальному развитию их личности, полному свершению личностной судьбы. Значит, тема Личности — основная. Личность есть Божий дар, не зависящий от социального статуса, происхождения, образования. Личность есть направляющая сила для других: маяк, ориентир, этическая жизненная высота...

И — последнее. Так называемый научно-технический прогресс братья Стругацкие считали ничтожным, потому что он (прогресс) ничего не даёт душе, жизни... Они понимали прогресс как «превращение всех людей в добрых и честных».

Дмитрий Косяков

Без ума от «Алисы»

С чего всё началось

На мысли, которые легли в основу этой статьи, меня навёл спектакль Красноярского тюза «АлиСа». Этот спектакль получил множество театральных наград, а в 2016 году завоевал специальную премию жюри самого престижного российского театрального фестиваля — «Золотая маска». Постановка произвела большое впечатление на меня и на мою четырёхлетнюю дочку своими захватывающими спецэффектами.

Но когда впоследствии я стал осмысливать спектакль, рассказывать о своих впечатлениях знакомым, я не смог, при всём уважении к проделанной артистами работе, ничего прибавить к словам «впечатляюще» и «эффектно». Ещё во время просмотра меня посетила мысль, что передо мной не театр, а цирк-иллюзион с яркими сложными номерами и клоунскими интермедиями. Алиса парила по сцене и над залом, Шляпник шествовал по вращающемуся столу, с помощью мэппинга оживала огромная голова Чеширского Кота. А между этими событиями выбегали Труляля и Траляля и забавляли детишек нехитрой клоунадой.

Впечатляюще. Но ни уму ни сердцу. В отличие, кстати, от сартровских «Мух», поставленных в том же театре тем же режиссёром и заставивших меня очень серьёзно размышлять во время спектакля и ещё много дней спустя.

Казалось бы, а чего я ждал от очередной интерпретации «Алисы в Стране чудес», и вправе ли я был чего-то ожидать? И вот здесь начинаются размышления о смысле данной сказки и кэрролловском произведении как культурном феномене.

Культурный феномен «Алисы»

Популярность сказки Льюиса Кэрролла в мире огромна. Достаточно вспомнить, что в 2006 году правительство Великобритании включило сказку об Алисе в число двенадцати «икон английской культуры», наряду со Стоунхенджем и Библией

короля Якова¹. Ещё Честертон писал, что «это книга, без которой не может считаться полной ни одна библиотека джентльмена»². Но это в Великобритании. А в других странах? В Российской империи и в Советском Союзе сказка переводилась и издавалась неоднократно. Её переводом занимались такие видные писатели, как Владимир Набоков и Кир Булычёв.

Астрономы назвали ряд планет именами, связанными с этим произведением. Небесные тела называли в честь Алисы Лидделл, прототипа главной героини, и даже в честь Дины, кошки Алисы. Многие мыслители и теоретики приписывали произведению глубокое философское содержание. Например, американский математик Джон Кемени в качестве эпиграфа к главе о науке и нравственных ценностях в своей книге «Философ смотрит на науку» взял фрагмент диалога Алисы с Чеширским Котом.

Количество зарубежных изданий «Алисы» бессчётно, огромна исследовательская литература, посвящённая ей. Не менее обширно количество интерпретаций: экранизаций, радио- и музыкальных постановок, инсценировок, компьютерных игр, не говоря уже об отсылках в различных произведениях культуры, подражаниях и прочем. И объём этого всего непрерывно растёт, как снежный ком. Даже имя Алиса стало безумно популярным, в том числе в нашей стране, благодаря культурному феномену «Алисы».

Современные родители не хотят, чтобы их дочери были Идеями или Марксизмами, они хотят, чтобы их дочери были Алисами. Почему?

Собственно книгу современные любители кэрролловского сюжета зачастую и не читают (книги для них скучны вообще, и наполненная абсурдными разговорами и пародийными стишками «Алиса» — в частности), они имеют дело с разнообразными интерпретациями и воплощениями Страны чудес в кино, мультипликации, компьютерных играх и т. д.

Интерпретации и новые смыслы

Интерпретаторы смело выкидывают из своих версий куски и целые главы, удаляют «ненужных» персонажей. Например, вы редко встретите

1. Чашка чая и «Алиса в Стране чудес» вошли в число 12 «икон английской культуры». <http://www.podrobnosti.ua/culture/traditions/2006/01/09/275912.html>

2. Честертон Г. К. Льюис Кэрролл // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1982. С. 4.

на экране Грифона и Черепаху Квази, которым в сказке Кэрролла посвящена целая глава (глава и правда довольно скучная).

При этом интерпретаторы стремятся привнести в сказку что-то своё, наполнить её неким новым содержанием. В этом плане весьма любопытна диснеевская мультипликационная версия «Алисы в Стране чудес», вышедшая в 1951 году. Авторы, несмотря на жёсткую цензуру, сумели нарисовать пародию на американское общество в сцене бега по кругу и даже сделать забавный намёк на классовую борьбу в песенке «Морж и Плотник».

В советской музыкальной сказке 1976 года, в том числе благодаря песням Владимира Высоцкого, были усилены некоторые философские и политические проблемы (см. бунтарские и антиколониальные мотивы в «Песне попугая-пирата», рассуждения об исторической ответственности в «Песне об обиженном Времени» и т. д.).

Авторы компьютерной игры «American McGee's Alice» постарались прочесть сказку в стиле психологического хоррора, вооружили Алису ножом и сделали её пациенткой психиатрической лечебницы. А знаменитый режиссёр Тим Бёртон (многое позаимствовавший у компьютерной игры) сделал свою Алису значительно старше и постарался связать сюжет с проблемой взросления: Алиса не хочет замуж и предпочитает заняться бизнесом (а именно колониальным ограблением Китая).

К проблеме взросления обратился и режиссёр Красноярского тюза. Его Алиса, как и у Бёртона, заметно старше и тоже попадает в Страну чудес повторно. Алиса мечтает о возвращении в страну своего детства, но оказывается неспособна это сделать. Как написал один из критиков, «если дети, вероятно, воспринимают историю конкретно и событийно, то взрослых этот довольно грустный спектакль оставляет наедине с чувством невозможности вернуться в неизбежно утрачиваемое, с рассуждением о потерях взросления»³.

Две разных Алисы

Стоит отметить, что «Алиса» современного масскульта отличается от оригинальной сказки не только в плане исключения или привнесения каких-то элементов, но и в плане трактовки образов.

Современная Алиса (Алиса массового сознания) обычно стремится в Страну чудес и радостно приветствует творящиеся в ней чудеса, в то время как Алисой Кэрролла двигало любопытство, то есть желание понять и осмыслить происходящее. Изначальная Алиса постоянно спорила с абсурдом Страны чудес и её персонажей и стремилась привести происходящее к некой логике. Она пытается воспитывать участников «безумного чаепития», она спасает ребёнка из дома Герцогини, то есть поступает в соответствии с этикой, логикой и приличиями.

Точно так же и Белый Кролик в современном прочтении превратился в таинственного проводника в потусторонний сказочный мир. Однако если бы «массовый поклонник» сказки заглянул в книгу, то он бы увидел, что Кролик вовсе не собирался Алису куда-либо заманивать или приглашать, он бежал по своим делам. Сам автор отмечал, что Кролик создан для контраста с главной героиней: «В противовес её „юности“, „дерзости“, „энергии“ и „целеустремлённости“, ему соответствуют такие черты, как „преклонный возраст“, „робость“, „слабость“ и „нервная суетливость“»⁴.

Изменилась и сама Страна чудес. Кэрролловская страна была довольно неудобна, почти все персонажи отталкивали главную героиню, кричали на неё и были заняты своими делами. В современной Стране чудес Алису (т. е. читателя) ждут с распростёртыми объятиями, то как извлекательницу, то как дорогую гостью. Возможно, эти изменения отражают нарциссизм современного потребителя, которому постоянно хочется видеть себя центром Вселенной и в любой стране получать «хороший сервис».

«Так что же? — воскликнет апологет современного масскульта. — Чем глубже и гениальнее произведение, тем больше у него возможных прочтений и интерпретаций. Так что каждый увидит в нём что-то своё». И будет неправ. Наибольший простор для интерпретаций предоставляют не самые глубокие произведения, а самые пустые. Именно пустоту можно заполнить любым содержанием.

С Андерсеном и Экзюпери такого не провернёшь

У «Алисы в Стране чудес» нет явной идеи, нет какого-либо отчётливого посыла или морали, и это развязывает руки интерпретаторам. Вот почему из этой сказки с такой лёгкостью понаделали всего — от хоррора до порно. Согласитесь, что со сказками Андерсена или «Маленьким принцем» Экзюпери так поступить гораздо сложнее.

«Маленький принц» — тоже очень популярная сказка, но при её экранизациях и прочих воплощениях авторы стремились быть максимально точными и не так уж много фантазировали. Во всяком случае, превратить Маленького принца в бизнесмена, как это сделал с Алисой Бёртон, никто бы не решился. И это потому, что сказка Сент-Экзюпери предельно этически насыщена. В то время как в «Алисе» никакой этики нет.

Собственно, именно за безэтичность, отсутствие морали и явной идеи и ругали сказку Кэрролла её первые критики. Первая реакция публики

3. <https://www.goldenmask.ru/spect.php?id=1264>

4. Carroll Lewis. Alice on the Stage. <http://www.alice-in-wonderland.net/resources/background/alice-on-the-stage/>

на «Алису в Стране чудес» была по большей части отрицательной. Автор первого обзора книги в 1865 году назвал приключения Алисы странными и делал заключение: «Мы полагаем, что любой ребёнок будет скорее недоумевать, чем радоваться, прочитав эту неестественную и перегруженную всякими странностями сказку»⁵. Похожим было отношение и большинства прочих критиков.

Не более благожелательными были и отзывы на первые переводы сказки на русский язык. Вот как высказались на этот счёт в 1879 году в журнале «Женское образование»: «Есть книги, о которых и десяти слов сказать не хочется, до того они ниже всякой критики. Лежащее перед нами издание принадлежит именно к их числу. Бессодержательнее и нелепее этой сказки, или, вернее, просто небывальщины (так как в создании сказки предполагается участие фантазии), трудно себе что-нибудь представить»⁶.

Признание к произведению пришло лишь на рубеже девятнадцатого — двадцатого веков.

И надо отметить, что с определённой точки зрения первые критики были правы: чтение «Алисы в Стране чудес» — довольно утомительное занятие не только для ребёнка, но и для взрослого. Моя дочка, с восторгом посмотревшая театральную постановку и советский мультфильм, не смогла выслушать и полутора глав книги.

Что же касается «философских глубин», приписываемых сказке Кэрролла в связи с содержащимися намёками на различные философские и математические понятия и идеи, тут надо сказать, что отсылка ещё не является идеей и остаётся лишь отсылкой, намёком, но не привносит ничего своего. Эти аллюзии лишь помогают выстроить форму произведения, но не составляют его содержания.

Маленький кабинетный бунт

Так что же снова и снова заставляет интерпретаторов и широкую публику возвращаться в Страну чудес? Что объединяет разнообразнейшие трактовки сказки? Настало время поговорить о действительном содержании произведения Кэрролла.

Первые критики ругали «Алису в Стране чудес» за бессодержательность и безыдейность. Но в этом и заключались содержание и главная идея книги — это был маленький кабинетный бунт английского математика и диакона против нравов Викторианской эпохи.

Девятнадцатый век стал пиком развития буржуазной Англии, пиком, за которым уже не чувствовалось дальнейшего прогресса. Буржуазия уютно и солидно обосновалась на верхушке общества и навязала свои ценности и нравы прочим классам, будучи поддержана в этом англиканской церковью.

Жизнь самой буржуазии и всего общества оказалась подчинена интересам накопления капитала, которое требовало от каждого трезвости, пунктуальности, трудолюбия, экономности и хозяйственности. Эти нормы пришлось усвоить даже королеве Виктории и вслед за ней всем аристократам. Благородным господам пришлось отказаться от роскошной жизни своих предков во имя (хотя бы и лицемерного) подчинения пуританской морали.

Соответственно, в прочих классах английского общества копилось недовольство господством буржуазии. Как писал Маркс, предпосылками возвышения буржуазии были «с одной стороны, обесценение заработной платы и земельной ренты, а с другой — рост промышленных прибылей. Иными словами: в той мере, в какой пришли в упадок класс земельных собственников и класс трудящихся, феодальные сеньоры и народ, в такой же мере возвысился класс капиталистов, буржуазия»⁷.

Сильнее всего страдали рабочие, ведь это их хозяева жизни превратили в полунищих пролетариев, вынужденных работать почти круглые сутки либо оставаться без работы и куска хлеба. Рабочие были недовольны буржуазными отношениями, капиталистическим способом производства. Они с ним и боролись, образовав Лейбористскую партию.

Положение аристократов оказалось куда более сносным. Им пришлось лишь отказаться от прежней роскошной жизни, смириться с показной пуританской религиозностью и внешними приличиями новых хозяев жизни. Поэтому со времён Английской буржуазной революции аристократия больше не решалась оспаривать господство буржуазии и обходилась фрондой.

Проявлениями этой аристократической фронды в девятнадцатом веке стали «дендизм» — показное франтовство части аристократической молодёжи — и литература абсурда, представителем которой стал, например, Эдвард Лир, автор знаменитых лимериков, оказавших некоторое влияние и на сюжетные ходы сказок Кэрролла.

Буржуазная этика требовала от любого явления, в том числе от искусства, полезности. Всякое литературное произведение, будь то роман или детская песенка, должно было содержать ясное нравоучение о буржуазных добродетелях (скромности, воздержании, экономности, умеренности, трудолюбии, почитании старших и т. д.) или о религиозной морали. Первопроходцы английской литературной сказки Рэскин, Кингсли и Макдоналд также насыщают свои произведения христианскими назиданиями.

5. Цит. по: Демурова Н. М. Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье. http://lib.ru/CARROLL/carrolo_9.txt_with-big-pictures.html

6. Как Алису учили говорить по-русски. Обзор переводов сказки. <http://www.lewis-carroll.ru/alisa-v-strane-chudes/russkie-perevody.html>

7. Маркс К. Нищета философии. М., 2007. С. 366.

Напротив, литература абсурда была подчеркнута неутилитарной, чисто развлекательной и пародийной. «Нонсенс ради нонсенса; подобно тому, как бывает искусство для искусства»⁸, — писал Честертон. В этом и был смысл такой литературы и вызов установившимся вкусам.

Английский абсурд действительно и есть более сдержанная и осторожная теория «искусства ради искусства». «Нет, глупцы, нет, зобастые кретины, из книги нельзя приготовить желатиновый суп, из романа — пару сапог без швов... Клянусь кишками всех пап будущего, прошедшего и настоящего времени, нет и двести тысяч раз нет... Я принадлежу к числу тех, которые считают излишнее необходимым; моя любовь к вещам и людям обратно пропорциональна тем услугам, которые они могут оказать»⁹, — писал Теофиль Готье в предисловии к роману «Mlle de Mauprin».

Абсурд и пародия

Здесь стоит искать и идейные истоки произведений Льюиса Кэрролла. Себя он, безусловно, относил к аристократии, но к аристократии не по происхождению (сын приходского священника), а по образованию (закончил Крайст-Чёрч, один из наиболее аристократических колледжей при Оксфордском университете). Он также считал себя «христианским социалистом». Но это определение не стоит понимать слишком радикально, скорее, это и выражало желание чуть большей свободы в рамках христианской религии и буржуазного общества. В художественной иронии всегда присутствует элемент «печали бессилия».

Кэрролл явно тяготился строгими нравами школьной и университетской среды. «Не могу сказать, чтобы школьные годы оставили во мне приятные воспоминания. Ни за какие блага не согласился бы я снова пережить эти три (sic!) года»¹⁰, — вспоминал он. Не менее мучительны для Кэрролла были священнический сан и обет безбрачия, которые он вынужден был принять ради профессорского поста в Крайст-Чёрче. В посвящённой Кэрроллу статье Честертон подчёркивает, что «он был со всех сторон опутан условностями»¹¹.

Фронда Кэрролла проявлялась и в его внешнем виде: он носил волосы длинные, чем было принято, и в любое время года надевал перчатки. Хотя в иных отношениях он бывал крайне педантичен.

«Алиса в Стране чудес» имеет признаки литературы абсурда, но автор пошёл дальше: он не просто лишил своё произведение буржуазной морали или религиозного сказания, как этого требовали вкусы обывателей, но и наполнил его пародиями на известные нравоучительные истории и стишки. В наши дни все они известны только исследователям творчества Кэрролла, но в те времена были на слуху у английской публики.

Например, известное стихотворение поэта и богослова Исаака Уоттса «Противу Праздности и Шалостей» («Как дорожит любым деньком малютка пчела...»), поучающее детей необходимости трудиться ради скопления богатства, превратилось в «Как дорожит своим хвостом малютка крокодил!...», а нравоучительное стихотворение Роберта Саути «Радости Старика и Как Он Их Приобрёл» — в один из популярных образцов поэтического нонсенса «Папа Вильям». Если старик у Саути поучает сына беречь здоровье, то у Кэрролла он занимается чепухой — стоит на голове и проделывает троекратное сальто-мортале, объясняя это тем, что «мозгов в голове моей нет». Слащаво-сентиментальное стихотворение Лэнгфорда¹² «Любите! Истина вела любовью, а не страхом...» превращается в задорно-издевательское «Лупите своего сынка за то, что он чихает...».

Но отсылки к мещанским нравам эпохи (и насмешки над ними) содержатся не только в стишках. Некоторые исследователи видят насмешку над официальной политикой в «беге по кругу», а в образах Грифона и Черепахи Квази — шарж на сентиментальных выпускников Оксфорда. Весьма характерен образ Кролика, который трепещет перед всеми, зато позволяет себе кричать на прислугу. Вспомните также совет Гусеницы о том, что нужно всегда держать себя в руках, и стремление Герцогини искать мораль в каждой фразе.

И при этом все персонажи Страны чудес ведут себя грубо и неучтиво, говорят и действуют вопреки и как бы назло логике и приличиям.

Интересно, что, высмеивая буржуазные нравы, Кэрролл даёт залп и по аристократическим традициям. Пиком этой кэрролловской критики становится описание карточного двора и его Королевы. «Я представлял себе Червонную Королеву воплощением безудержной страсти — нелепой и бессмысленной ярости»¹³, — писал Кэрролл. А уж

8. Честертон Г. К. Льюис Кэрролл // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1982. С. 3.

9. Цит. по: Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь. http://az.lib.ru/p/plehanow_g_w/text_1912_iskusstvo.shtml

10. Цит. по: Демурова М. Н. Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье. http://lib.ru/CARROLL/carrolo_9.txt_with-big-pictures.html

11. Честертон Г. К. Льюис Кэрролл // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1982. С. 6.

12. Некоторые исследователи приписывают его Бейтсу.

13. Carroll Lewis. Alice on the Stage. <http://www.alice-in-wonderland.net/resources/background/alice-on-the-stage/>

когда Алиса заявляет: «Кому вы страшны? Вы ведь всего-навсего колода карт!» — она и вправду встаёт во весь рост.

Однако все эти обличения не стоит воспринимать слишком серьёзно: автор, в сущности, никому и ничего не хочет объяснять или доказывать и постоянно прячется за ширмой шуток и абсурда. Поэтому при желании все авторские мысли можно пропускать мимо ушей, что публика с удовольствием и проделывает, ибо Кэрролл, скорее, сочинял эти насмешки для себя, чтобы слегка позабавиться, и только.

Кое-что, кроме нонсенса

После того, как мы поговорили о том, что отрицает и ниспровергает автор «Алисы в Стране чудес», настало время задаться вопросом: а что он утверждает? каковы положительные ценности, во имя которых отвергаются мещанские нормы?

Многие критики выискивают в сказках об Алисе глубинные философские смыслы (волшебные изменения её роста пытаются связать с теорией расширения Вселенной и т. п.), но это всё сплошные натяжки и домыслы. Даже если оксфордский математик и использовал какие-то научные теории в качестве строительного материала для своей сказки, то вовсе не для того, чтобы что-то сказать по поводу этих теорий, а просто потому, что никакого другого материала у него не было.

«Мир логический он сумел увидеть перевернутым; любой другой мир он не сумел увидеть даже в обычном состоянии. Он взял треугольники и превратил их в игрушки для своей маленькой любимицы; он взял логарифмы и силлогизмы и обратил их в нонсенс. Но в самом специальном смысле в его нонсенсе нет ничего, кроме нонсенса», — писал Честертон в своей классической статье о Кэрролле. И это справедливо в отношении логических и философских идей.

Однако в сказке всё-таки содержалась одна положительная идея, одна утверждаемая ценность — детство, и уже к этой ценности примыкают все остальные: ощущение свободы, естественности, вольной игры. Собственно, эта идея заявлена в поэтическом вступлении к сказке:

Алиса, сказку детских дней
Храни до седины
В том тайнике, где ты хранишь

Младенческие сны,
Как странник бережёт цветов
Далёкой стороны.

В статье «Алиса на сцене» Кэрролл описал главную героиню своего произведения как «любящую», «нежную, словно лань», «учтивую по отношению ко всем, высокого ли, низкого ли рода, величественным или смешным», «доверчивую, готовую принять всё самое невероятное с той убеждённостью, которая знакома лишь мечтателям», и «любопытную до крайности, с тем вкусом к жизни, который доступен только счастливому детству, когда всё ново и хорошо, а грех и печаль — всего лишь слова, пустые слова, которые ничего не значат!»¹⁴

Даже образ чудесного сада, в который на протяжении всей сказки стремится попасть Алиса, критики связывают с садом, в котором играли в крокет дети доктора Лидделла (включая Алису Лидделл): «Кэрролл, будучи одним из хранителей библиотеки колледжа Крайст-Чёрч, нередко работал в маленькой комнате, окна которой выходили в [этот] сад... Как часто, должно быть, он следил за игрой, охваченный желанием вырваться из тёмных залов Оксфорда к ярким цветам и прохладным фонтанам детского рая»¹⁵.

Саму свою сказку Кэрролл и превратил в большую игру. Честертон назвал её «духом и атмосферой праздника», «каникулами», которые позволил себе священник и математик.

Романтическое презрение

Противопоставление мещанской меркантильности, буржуазного утилитаризма, аристократической чопорности и христианского аскетизма некой природной детской естественности роднит Кэрролла с романтиками. Гофман и Андерсен тоже ведь боролись с филистерством и пытались бежать от него в страну детских грёз. Так же и Ибсен восставал против мелкобуржуазного лицемерия и лжи и требовал от каждого «быть самим собою».

Сущность романтического антибуржуазного протеста лучше многих разглядел Георгий Плеханов. Он указал, что романтики были в разладе с окружавшим их обществом и смотрели на буржуа с презрением: «Романтики, в самом деле, находились в разладе с окружавшим их буржуазным обществом. Правда, в этом разладе не было ничего опасного для буржуазных общественных отношений. К романтическим кружкам принадлежали молодые буржуа, ничего не имевшие против названных отношений, но в то же время возмущавшиеся грязью, скукой и пошлостью буржуазного существования»¹⁶.

Отсюда же и длинные волосы, и подчёркнутая небрежность (или, напротив, чрезмерная утончённость) в одежде, культ худобы и бледности в противовес краснощёкому здоровью всяческих

14. Carroll Lewis. Alice on the Stage. <http://www.alice-in-wonderland.net/resources/background/alice-on-the-stage/>

15. Гарднер М. Комментарии к «Алисе в Стране чудес» // Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. М., 1982. С. 19.

16. Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь. http://az.lib.ru/p/plehanow_g_w/text_1912_iskusstvo.shtml

«папаш вильямов». Романтики, денди и абсурдисты тяготились пошлостью буржуазных нравов, но ничего не имели против корней этих нравов — капиталистического способа производства и института частной собственности.

Поэтому и кэрролловский бунт ни к чему не приводит: побродив по Стране чудес или по Зазеркалью, Алиса (а с ней и читатель) возвращается в изначальную точку — туда, откуда хотела сбежать. Поиграли, и хватит. Да и Страна чудес, в сущности, оказывается лишь изменённым и приукрашенным миром состоятельных английских буржуа — с чаепитиями, частными домиками и игрой в крокет.

Грустные мысли и ночные страхи

Российская переводчица и исследовательница творчества Кэрролла Нина Демурова отмечает: «Он вёл дневник, в который вносил мельчайшие подробности обыденного течения своей жизни — однако о вещах глубоких и потаённых, о том, что порой прорывается, словно вздох, в его детских книжках — раздумья о жизни и смерти, о Боге, науке и литературе, о своих привязанностях и неосуществлённых мечтах, об одиночестве и тоске, — он не писал ни слова. Доктор Доджсон страдал бессонницей. По ночам, лёжа без сна в постели, он придумывал, чтобы отвлечься от грустных мыслей, „полуночные задачи“ — алгебраические и геометрические головоломки — и решал их в темноте»¹⁷.

Страна чудес была придумана Кэрроллом не столько для детей, сколько для самого себя. Она стала одним из логических упражнений, которыми он отвлекался от мрачных ночных мыслей, порождаемых бессмысленным педантизмом английской университетской жизни. По ночам отчуждённого человека преследуют мысли о смерти.

Вспомните поэтическое вступление к «Алисе в Зазеркалье»:

Мой милый друг, промчатся дни,
Раздастся голос грозный.
И он велит тебе: «Усни!»
И спорить будет поздно.
Мы так похожи на ребят,
Что спать ложиться не хотят.

И обратите внимание на сцену из «Алисы в Зазеркалье»: «„Только здесь *очень* одиноко!“ — с грустью промолвила Алиса. Стоило ей подумать о собственном одиночестве, как две крупные слезы покатались у неё по щекам. „Ах, умоляю тебя, не надо! — закричала Белая Королева, в отчаянии ломая руки. — Подумай о том, какая ты умница! Подумай о том, сколько ты сегодня прошла!¹⁸ Подумай о том, который теперь час! Подумай о чём угодно — только не плачь!“ Тут Алиса не выдержала и рассмеялась сквозь слёзы. „Разве когда думаешь — *не плачешь*?“ — спросила она. „Конечно,

нет, — решительно отвечала Королева. — Ведь невозможно делать две вещи сразу!“»

Чтобы отогнать от себя «нечестивые и богохульные мысли», сомнения, чувство собственного ничтожества и бессмысленности жизни, неосуществимые желания и страх смерти, законопослушному буржуа и праведному христианину нужно постоянно оглушать себя — молитвами, головоломками, сказками, развлечениями, лихорадочной «деловой» активностью, наконец, наркотиками и алкоголем. Всё это — расплата за неосуществлённое предназначение, за удущение в себе созидательных сил и подлинной человечности.

Не потому ли Кэрролл столь активно участвовал во всех университетских делах и имел сразу два увлечения (занятия фотографией и посещение театра), что он был вынужден смирить свой творческий потенциал, оставив потомкам лишь две болезненные сказки и ряд фотографий, в то время как был способен на большее?

Когда и как к «Алисе» пришла популярность

Как я уже говорил, общественное мнение изначально восприняло сказку в штыки. И это логично, ведь она высмеивает (сводит к абсурду) расхожие взгляды и вкусы эпохи. Что же изменилось? Почему «Алиса в Стране чудес» превратилась в икону? Как и когда это произошло?

Широкая популярность к произведениям Кэрролла пришла уже после смерти автора — в начале двадцатого века. И связано это прежде всего с изменением господствующих вкусов и настроений западного буржуазного общества, которое также имело свои причины. Прежде всего — пришёл к кризису сам капитализм и класс буржуазии.

Маркс ещё в середине девятнадцатого века отмечал: «Так как финансовая аристократия издавала законы, управляла государством, распоряжалась всей организованной общественной властью, самим фактом своего господства и посредством печати подчиняла себе общественное мнение, то во всех сферах, начиная от королевского двора и кончая *café borgne* [притонами низшего разряда], царили та же проституция, тот же бесстыдный обман, та же страсть к обогащению не путём производства, а путём ловкого прикармливания уже имеющегося чужого богатства. Именно в верхах буржуазного общества нездоровые и порочные вожделения проявились в той необузданной — на каждом шагу приходящей в столкновение даже с буржуазными законами — форме, в которой порождённое спекуляцией богатство ищет себе

17. Демурова Н. М. Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье. http://lib.ru/CARROLL/carrolo_9.txt_with-big-pictures.html

18. Кэрролл любил помногу ходить пешком. Лишний намёк на то, что данная сцена является криком души самого автора.

удовлетворения сообразно своей природе, так что наслаждение становится распутством, а деньги, грязь и кровь сливаются в один поток»¹⁹.

Просто до поры до времени эти перемены, это моральное разложение буржуазии ещё прикрывалось чисто внешней благопристойностью, и потребовалось несколько десятилетий, чтобы эти настроения окончательно пропитали собой искусство и общественное сознание. От пури-танской сдержанности общество переходит к гедонизму и утончённому разврату—наступила эпоха искусства модерна.

Именно в это время лозунг «искусство ради искусства» (абсурд ради абсурда) из антибуржуазного превратился в буржуазный. Декаданс, абсурд и прочие направления антибуржуазного искусства оказались «усыновлены» буржуазным обществом. Ведь, как мы помним, они не потрясли основ капиталистического строя и требовали чисто внешних, косметических перемен.

Почему мы хотим в Страну чудес

Буржуазия переварила романтизм, абсурд, сюрреализм, и безыдейность сказок Кэрролла сначала перестала казаться чем-то предосудительным, а потом стала представляться уже чем-то желательным и похвальным. Публике захотелось чего-нибудь чисто развлекательного, щекочущего воображение, не требующего интеллектуальных или эмоциональных усилий.

Коль скоро буржуазия растеряла свой прогрессивный потенциал и уже не могла изображать из себя моральный авторитет, она не могла рационально объяснить и свои притязания на господство. Стало быть, рационализм прошлых дней был выброшен на помойку: теперь в моде оказались мистические учения. Когда, по выражению Лифшица, «философия делает своим принципом слепоту, а не знание, когда она ищет союза с тёмными силами ночи», тогда путешествие в Страну чудес становится заманчивым и вожделенным предприятием.

Убеждать рабочих в том, что восемнадцатичасовой рабочий день—благо, и было настоящим абсурдом. Не умея переубедить рабочих, буржуазия была не против вскружить голову хотя бы самой себе.

Сказка про Алису сперва была превращена в икону на своей родине, а потом распространилась по свету вместе с буржуазной культурой и буржуазным мироощущением. Помните знаменитые слова Маркса: «Под страхом гибели заставляет она (буржуазия) все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, то есть становиться буржуа. Словом, она создаёт себе мир по образу и подобию своему».

Вот примерно таким образом «Алиса в Стране чудес» распространялась по планете. В значительной мере английская буржуазная культура была усвоена США, так что Алиса сделалась иконой и для американского масскульта. В обществе, заражённом отчуждением, ностальгией, разочарованием, возникал спрос и на путешествие в Страну чудес, на бегство от действительности, на чисто развлекательное искусство. Стоит отметить, что и в СССР радиопьеса и мультфильм по данному произведению появились на излёте мещанского «брежневского застоя».

Чем питается Страна чудес

Я уже упоминал выше, что современные интерпретаторы всё дальше отходят от литературной первоосновы и что современные поклонники сказки про Алису книгу, как правило, не читают. И в этом тоже заключается важная составляющая успеха данного произведения: книга сама по себе довольно скучна, шутки и аллюзии её обветшали, но постоянно прирастающая масса интерпретаций—фильмов, мультфильмов, спектаклей, компьютерных игр, даже просто иллюстраций—постоянно обновляет сказку, приближает её к конкретной аудитории.

Публику восхищает не книга, а культурный феномен. Например, сегодня Алиса уже не представляется без полосатых чулок и голубого платья, хотя в книге и даже в иллюстрациях Тенниела, не менее важных для мифа об Алисе, чем сам текст, никаких полосатых чулок и указания на цвет платья нет. Страна чудес питается художественными интерпретациями и буржуазным унынием.

Ещё одной важной составляющей феномена «Алисы в Стране чудес» является тема детства. Я уже упоминал о том, что восхищение детством, мечта о проникновении в мир детства были присущи Кэрроллу и нашли своё выражение в произведении. Так вот, стоит отметить, что Кэрролл вздыхал отнюдь не по собственному детству, а по детству Алисы Лидделл.

Поэтому он и восхищался не чьим-нибудь детством, а детством сестёр Лидделл—обеспеченных и беззаботных дочерей декана оксфордского колледжа. Такое детство (с прогулками на лодке, игрой в крокет) было тогда лишь у ничтожно малой части детей, в то время как у большинства англичан детство скорее напоминало роман «Маленький оборвыш» Гринвуда.

Собственно, и детства как такового у рабочих и крестьян (то есть у большинства населения планеты) в то время не было. В крестьянском хозяйстве дети начинали работать лет с пяти—носили еду родителям в поле, смотрели за младшими, мяли лён для рубашек и т. д. В ремесленной среде дети служили подмастерьями, промышленники охотно использовали детский труд на производстве

19. Маркс К. Классовая борьба во Франции.

(не брезговал этим даже отечественный «святой» Иоанн Кронштадтский).

Феномен детства стал открыт миру только в двадцатом веке, когда под давлением социалистических движений на Западе и после революций в России и других странах правительства стали ограждать детей от эксплуатации, создавать специальные институты для защиты детства: детские сады, декретные отпуска, меры поддержки многодетных, детскую литературу и кино и т. д. В двадцатом веке у людей стало массово появляться счастливое детство, о котором можно было бы с удовольствием вспоминать. Только после того, как детство большинства людей приблизилось к детству сестёр Лидделл, широкой аудитории стала близка и понятна кэрролловская сказка.

Тотальная инфантилизация

Чем больше мир взрослых пожирался буржуазным отчуждением (ощущением ненужности, неинтересности, бесполезности своей работы и жизни), тем более важное место тема ностальгии по детству занимала во «взрослой» культуре. Сегодня взрослые культивируют в себе детскость. Взросление в буржуазной среде наступает гораздо позже: двадцатилетний увалень всё ещё не считается самостоятельным и взрослым человеком. Люди до старости играют в компьютерные и настольные игрушки и считают это важным и серьёзным занятием. Культура примитивизируется, тормозя на интеллектуальном уровне мультиков про Тома и Джерри.

Если изначально детская литература шла путём адаптации взрослых произведений для детей, то теперь происходит подчинение взрослой культуры культуре детской. Комиксы вдруг стали получать высшие награды, анализироваться как серьёзные произведения. По ходу этого процесса инфантилизации культуры рос и «авторитет» «Алисы в Стране чудес». В англоязычной культуре сказка вышла на одно из первых мест по частоте цитирования наряду с Библией и Шекспиром.

Возникает миф об особой «мудрости ребёнка», о том, что людям стоит, как написано в Библии, «обратиться в детей». Кому-то в этом видится разрешение всех противоречий современности. Однако культ детства оказывается выгоден именно хозяевам положения: детей проще обмануть, дети — идеальные потребители, на чувствах безответственности и детского эгоизма оказывается легко играть. Когда-то «большими детьми» называли американцев. Сегодня «американский образ жизни» пожрал все прочие культуры. Люди превращаются в детей, но детей особых — детей потребителей.

Под эгоистичное и безответственное поведение буржуазии пытаются подвести теоретический фундамент, например, «теорию игр» и т. п. Так что культ детства приобретает гипертрофированные и болезненные черты. При этом инфантилизация общественного сознания отнюдь не говорит о свежести и юности общества, просто одряхлевшая буржуазия впадает в детство.

ДиН 1945–2020

Ольга Подшивайлова Победитель

Небо Европы — в салютах.
Улицы — в ярких цветах.
Бережно девочку-немку
Держит солдат на руках.
В ранней морщинке застыла
Горького счастья слеза...
А над Берлином грохочет
Первая в мае гроза!..
Где-то под небом России,
В яме, что возле раки,т,
Вместе с женою и сыном
Дочка родная лежит...

Леонид Колганов

СВЕТ ИЗ ВОЙНЫ

На каменной оспе

Светлой памяти двух моих дедов.

Первый дед мой, Давид Самуилович Курузбавер
И второй дед, Василий Иванович Лукощук,—
Вам, кто мир—словно Дженнер—от оспы тевтонской избавил,
Посвящает стихи недостойный и беглый ваш внук!

Хоть—под немцем ещё оставалась восставшая Прага,
В свои новые стаи сбивались вервольфы, увы,
Но две росписи ваши на каменной оспе Рейхстага,
Словно Дант и Вергилий, оставили в Вечности вы!

А затем в мрачный Бункер ворвались, почти ещё дети,
Полудетской рукой сокрушив Мировой Беспредел,
Над обугленным фюрером вставши, как ангелы смерти,
Как мужик и солдат, он в глаза вам взглянуть не посмел!

Не посмел он в глаза посмотреть вам, мальчишкам безусым,
И недаром во сне до сих пор ещё видится мне:
Мы врываемся в Бункер—восставшим из бездны Союзом—
И, друг друга обняв, остаёмся на этой Войне!



Пусть самая тогда была их малость,
Но, даже попадая в западню,
«Тридцатьчетвёрки», в землю упираясь,
Крушили фрицев мрачную броню!

И рвались в наступление упорно,
И в первый раз дрожал Гудериан,
Когда со всею яростью убойной
Шёл танк, словно Гастелло, на таран,

Всей массой в Германию врезаясь,
Сталь Крупна пробивая, будто жёсть.
Вот здесь его бессмертье начиналось,
И зарево Берлина тоже здесь

Вставало над Коричневым Потопом,
Над гулом бюргерских, поехавших вспять крыш.
Валились своды—здесь вам не Европа!
Гремели сводки—здесь вам не Париж!..

Всё в памяти поблёкло, как извёстка,
И каждый получил свой голый шиш...
И только ты—сквозь выжженные вёрсты,
Как в сорок первом,—в пламени летишь!

Арина Гамалиенко

Сладкий помин¹

*75-й годовщине победы народов нашей страны
в Великой Отечественной войне посвящается.*

Вся моя семья родом с курской земли. Мне всегда радостно возвращаться в бабушкин дом, манящий своей особенной красотой. Ещё с детства мне понравился небольшой домишко, построенный ещё в довоенные годы, с деревянными рамами окон, обмазанный белой извёсткой, которая кое-где потрескалась и обвалилась, а где-то почернела и покрылась от сырости зелёным мхом. К дому пристроена деревянная веранда, которую я каждую весну помогаю бабушке покрасить в синий цвет. «Эту веранду построил сам твой дедушка, когда был жив ещё и здоров... Сам! Своими руками!» — напоминала мне каждый раз бабушка.

Крышу веранды обвивал своими зелёными плетнями виноград. Наш дом на Бархатной, 5 в посёлке Коммунар Курской области видно издалека, а главное, не перепутаешь с другим, ведь над ним с каждым годом разрастаются тяжёлые пушистые ветви многовекового могущественного дуба. Во дворе растут оранжево-розовые лилии, а бабушка почему-то их называет «петушки». В мае расцветает бабушкин вишнёвый сад, за белыми цветочками которого дом почти не разглядеть. Бабушка любила мне устраивать небольшой обход по её владениям. Любила рассказывать истории из жизни, из детства, проведённого здесь вместе со своими родителями и братом.

Однажды она взяла большую связку старых ключей, половина из которых уже ни для чего не предназначалась, а далее мы пошли к какому-то невысокому цементному домику с маленькими окошками. Мы зашли внутрь. Здесь было мрачно. Полки были в пыли, по стенам плелась паутина. — Что здесь раньше было? — спросила я. — Летняя кухня, — отвечала бабушка.

Опершись уже от усталости на старую тумбу, она продолжала свой рассказ:

— Старая летняя кухня. Здесь раньше печь стояла, и мы готовили еду, а в хорошую погоду собирались на улице всей семьёй за большой стол. Так хорошо было... весело. Только вот ушло оно всё куда-то, — хрипловатым голосом сказала бабушка, — здесь ведь и доченьки мои выросли — Леночка, мама твоя, и Мариночка.

Выдвинув ящик тумбы, она показала дедушкины инструменты.

— Целыми днями Колька чинил что-нибудь, колодил... и не присядет за всё время. Работающий был...

Незаметно вытерев слёзы со щёк, бабушка увела меня на порог и показала рукой вдаль:

— Вот, смотри, видишь, за дубом... дед твой насыпал песочек, а Лена с Мариной там игрались в теньке.

Она закрыла на замок дверь, и мы вернулись домой.

Бабушка стала готовить вареники с вишней — самое лучшее лакомство! Аромат наполнял всю хатку, такой же знакомый и родной, как аромат всякой разной сдобной выпечки: пирожков и коржиков моей мамы. Особенно приятный ранним утром, когда ещё сквозь сон чувствуешь этот запах и ждёшь, когда мама зайдёт в комнату, разбудит тёплой рукой и позовёт завтракать.

Бабушка отправилась в погреб и принесла оттуда виноградный сок.

— Вот. Это ещё с осени. Сама закрывала. Настоялся уж, — сказала она, поднося его к столу, а после обняв меня.

На следующий день утром мы с бабушкой сходили на земляничное поле, набрали земляники, чтобы сварить варенье. Потом я пошла гулять, нарвала полевых цветов. Знала, что бабушка очень любит их, ведь весь пол и подоконник веранды были заставлены декоративными цветами. У бабушки была целая оранжерея! От цветов в доме становилось как-то свежо и ярко. Набрав целый букет, я спешила обрадовать бабулю своей находкой новых, неизвестных мне цветов. Когда я подходила к дому, увидела, что бабушка сидит, как всегда, у окна и будто бы чего-то или кого-то ждёт...

— Кого ожидаете, Тамара Сергеевна? — шутливо спросила я, зайдя в дом.

Она всё так же сидела, отвернувшись в окно. Я взяла вазу, поставила в воду цветы и отнесла их на стол к бабушке. Потом пододвинула стул и села рядом с ней.

.....
1. Из лучших работ Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» имени Ивана Шмелёва.

— Знаешь, — начала она свой рассказ, — раньше всё как-то было по-другому. В доме такая суета, столько людей здесь было. Я никогда не тосковала. Да и времени скучать не было... работа, хозяйство, дети. А теперь все разъехались, у всех свои семьи, свои заботы. Клаша (так бабушка называла свою маму) мне говорила, что в старости я одна останусь... — Как это так — одна? — перебила я.

— Мне было лет семнадцать, как сейчас помню, — продолжала она. — Дело весной было. И не заметили мы, как за окном, под крышей, ласточки свили гнездо. Да вот испугалась я, что откроем мы окно, а они так и залетят к нам. Что с ними делать, как их потом выгонять?... Пошла я на улицу, нашла длинную палку и разбила гнездо. Оно пустое было. Рассказала я матери, а она мне ответила: «Ой, не к хорошему это, Том. Наоборот, радоваться надо, когда птички выбирают для строительства гнёздышка человеческие дома. Ведь это символ счастья, семейного счастья, благополучия. Что же ты мне не сказала?..» Вот теперь одна я. Раньше, раньше-то как было?... Я заведующей местной аптеки была. Весь народ сельский приходил ко мне за лекарствами; бывало, домой заходили, иногда и ночью даже. Чем могла, тем и помогала. Мать воспитательницей в детском саду была. У дома нашего постоянно ребятня крутилась. Отец — уважаемый человек! Наша гордость! Директор совхоза. В годы войны с матерью в тылу работали, много заслуг... только никогда о войне он и не рассказывал, у нас как-то не принято было о ней вспоминать. Лишь однажды мне Клаша кое-что рассказала...

— Что же? — торопилась узнать я.

— Спать пора, Ариш, поздно уже. Меньше знаешь — крепче спишь, как говорится, — посмеялась бабушка.

Она выключила в доме свет, и мы легли спать. Я долго не могла уснуть, недорассказанная бабушкина история мучила меня. В голове я пыталась всё осмыслить. Я крутилась с боку на бок. Бабушка тоже не спала; подсвечивая фонариком, она пыталась найти у себя возле кровати какое-то лекарство.

— Ариш, ты спишь? — тихонько спросила она.

— Не сплю, — ответила я.

— Может, по конфетке? — предложила бабушка.

Она любила перед сном поесть чего-то сладкого. Бабушка говорила, что сладкое успокаивает, поэтому легче и крепче спится. Я пошла к буфету, где стояла целая ваза купленных бабушкой для меня конфет, среди которых моими любимыми, в красивой голубой обёртке, были под названием «Мишка косолапый». Я взяла нам с бабушкой по одной. Протянула ей.

— По одной давать нельзя, — строго сказала бабушка.

— Кто тебе такое сказал? Почему же? — спросила я.

— Не знаю. Мама так учила. Она говорила: «Всему должна быть пара. Всё, что одно, — это к одиночеству». А я это на всю жизнь запомнила. Клаша строгая была, властная. Я боялась её как огня, но любила её очень, да и меня она тоже любила. С ней у нас особенная связь была. Всё, что она говорила, всегда сбывалось. Сама не знаю, почему так. Незадолго до своей смерти она мне сказала: «Томусь, ты одна останешься, одна сидеть возле этого окна будешь». Так и случилось. А тогда я ещё так про себя засмеялась. Даже никогда не задумывалась об одиночестве. Муж мой опорой был. Весь дом на нём держался. Да только заболел рано, потом парализовало, а ведь молодой такой был сильный... Побегала я, конечно, за ним. Немало хлопот в жизни моей случалось. А теперь и гвоздь забить некому, некому помочь. Да хоть бы просто в доме был кто-то, чтобы просто слышать чей-то голос.

Бабушка заплакала. Я вспомнила, что бабуля очень любит, когда я ей что-нибудь читаю. Она частенько просила меня почитать перед сном — так она быстрее засыпала. Чтобы её отвлечь и успокоить, я быстро пошла к шкафу, где стояли старые бабушкины книги. Села напротив неё, открыла случайно выбранную страницу, хотела начать читать, но увидела, что некоторые страницы оборваны, другие вовсе сожжены.

— Бабуль, а что с книгой? — сев рядом с ней, я показала её.

— Старая книга... очень старая, — чуть улыбнувшись, сказала она. — Наша память... Нас в семье ведь много было... четверо: трое братьев и я. Война была тогда. Жили очень бедно. Топить печь приходилось чем-то. Вот и топили тем, что под руку попадалось. При нас жгли, как сейчас помню. Жалко книги было... такая редкость в те времена. Вот некоторые остались с тех лет, которые не успели дожечь. А книг у нас было много...

Бабушка стала перелистывать страницы и вдруг наткнулась на старую, вложенную в книгу, выцветшую бумагу, на которой было что-то написано чернилами, но кое-где надпись уже исчезла или размазалась. Прочитать, что на ней написано, мог лишь тот человек, кто уже заранее знает, о чём там идёт речь.

— Письмо, письмо Мишки! Господи! Неужели?! — удивлённо крикнула бабушка. — Никогда бы даже не представила, что когда-то оно найдётся. Забыли, куда его спрятали, найти никак не могли. Мишка, родной наш!

Надев очки, бабушка стала медленно читать его, еле разбирая послание и спотыкаясь на каждом слове:

«Письмо дорогой мамочке от вашего сыночка Миши. Здравствуйте, дорогие мои: мама, Вася, Клаша, тётя Поля, Зоя, тётя Маня, Коля, Валя. Шлю я вам всем по чистосердечному привету

и желаю всего хорошего в жизни вашей. Ещё шлю по привету всей нашей родне.

Мама, я посылал вам несколько писем, но не знаю, получили вы их или нет. Я, когда был в части, то получил от вас письма три. Мама, сейчас я расскажу о себе. 6 июля меня ранило в левую ногу осколком мины. В левой ноге отбило большой палец. Сейчас лежу в госпитале в Мордовской АССР, в городе Саранске. Чувствую покуда себя хорошо. Мама, если принимают посылки, то пришли гостинчика. Теперь, небось, у вас в деревне яблоки поспели. Пишите мне письма, буду ожидать с нетерпением.

Мой адрес: полевая почта № 24167.

Ваш сын Панченков Михаил Ив.

8 августа 1943».

— Придётся мне дорассказать эту историю, — немного помолчав после прочтения письма, сказала бабушка. — Мишка — родной брат мамы моей, — продолжала она. — Клаша рассказывала о нём очень много. Вспоминала о нём с радостью. «Всё детство душа в душу», — говорила она. Когда война началась, у него семья уже была: жена в Харькове и дочь. Много писем писал нам с фронта, его товарищи тоже слали нам письма, рассказывали о службе.

Прервавшись, бабушка пошла к шкафу, достала картонную папку из старой сумки.

— Здесь мы храним уже много лет его письма, — сказала бабушка и вынула одно из них.

Письмо было перемотано в бинты и марлю. Она хотела его прочесть, но, развернув, поняла: разглядеть, что там написано, невозможно.

— Это было его последнее письмо, последнее... перед встречей со своей сестрой Клашей. Мать рассказывала: «Мы за Мишку переживали очень, ждали... А когда-то из письма его товарища узнали, что он попал в плен к немцам в сорок пятом году. Больше ничего не знали, не слышали ни от друзей его новостей, ни от него самого. Война уж закончилась. Кто выжил — вернулись домой, а мы и надежды все потеряли... Не спится мне, поднимусь ночью, пока все спят, — и к застеклённому буфету, где у нас иконочки стояли и старая открытка со святым преподобным Серафимом Саровским, и начну тихо молиться, креститься: „Господь, сохрани, помоги брату кровному моему. Батюшка Серафим, не оставь брата моего, Михаила“. Никак я не могла подумать, чтобы с Мишкой нашим горе свершилось, уж силён он был и телом, и духом. Проснувшись однажды утром, собиралась на работу, посмотрела в окно и увидела мужика, лежавшего возле забора. Я подумала, что пьяница какой-то заснул, пошла уже прогонять его. Он был весь грязный, обросший бородой, лицо всё измазанное, а одет в грязные изорванные лохмотья. „Чего тебе?“ — грубо спросила я. „Сестрица,

вынеси попить“, — хриплым голосом, еле дыша, попросил мужчина. „Я тебе не сестрица“, — отвечала я. Но тут вдруг проснулась у меня какая-то жалость и жадность одновременно. Понимала, что накормить его надо, молока дать. А дома своих вон детишек четверо голодных, сами в бедноте жили. Ну, куда деваться, помочь надо. Я вернулась домой, налила в банку свежего молока, вынесла ему. Он жадно выпил его. В дом не пустила, побоялась. На другой день он опять под забором лежит, не уходит. Вынесла тарелку супа и убежала. И третий день он здесь. Спросила у него: „Ты откуда?“ А он говорит: „Кланька, неужели ты меня не узнала?“ Я так и обмерла. Голос знакомый. Не пойму никак. Я сказала: „Нет, не узнала“, — и пошла в дом. Иду, а в голове одна мысль: „Что-то знакомое в нём есть. Откуда он знает, как меня зовут? Так меня только Мишка называл“. Тут я поняла, побежала к нему. У меня вдруг всё оборвалось внутри, я зарыдала. Я не верила в происходящее. Мне казалось, что всё это сон. „Мишка, ты, что ли??? Миша, что же случилось?“ Я кинулась обнимать его. „Клаша... родная, сестра моя... Присядь, поговори со мной, расскажи что-нибудь“, — тяжёлым, хриплым, прерывавшимся голосом попросил он. Он был обессиленный, худой, изнурённый. Ему даже не хватило последних сил дойти до порога родного дома, что он, измученный, завалился у забора. Я подхватила его, помогла встать, отвела домой. Двое суток он спал, не мог никак прийти в себя, разговаривал во сне, порой вскрикивал. На третий день уже полегчало. Стал потихонечку подниматься с постели, но всё хромал. Мы помогли ему хоть чуть-чуть пройти, сначала просто по дому, а со временем ходили и по улице. Нужно было дышать свежим воздухом. Когда-то спросил он у меня: „Клаш, а как там мои... жена моя Зойка и доченька Валенька? Живы?“ — тихо и робко проговорил он, боясь услышать ответ. „Живы, Миш. Я им отослала письмо. Сказала, что ты у нас, что всё хорошо. Сказала, чтобы в скором времени уже стояли у порога и встречали! Мишка, они ждут тебя!“ — „Я самый счастливый!“ — заулыбался он. — Теперь пора спать, — сквозь слёзы сказала бабушка, закончив свой рассказ. — Давай по конфетке!

Мы откусили с ней лакомства.

— Бабушка, в нашей семье свой герой! Свой защитник!

Она отнесла всё обратно в шкаф и выключила свет.

— Спокойной нам ночи... — сказала она.

Было трудно осознавать, что в тот момент я держала не просто случайно выбранную книгу, ведь случайностей не бывает, а целую историю, страшную историю, коснувшуюся моей семьи, всего народа, миллионы судеб и жизней.

Мастерские Елены Тимченко

Наташа Семёнова

Лицей №2, 9 класс

Все оттенки розового

Розовые облака плыли по городу,

Заглядывали в окна

И капли розовые на них оставляли.

Юля Москвина, 2003 г.

Сегодня необычайно красивый рассвет. Из тех, что пылают на небе огнём революции, знаменую зарождение новой, лучшей жизни, начало совсем иной истории. Есть в нём какая-то очищающая душу красота, которая даёт надежду на то, что когда-нибудь всё изменится. Именно то, в чём я нуждаюсь сейчас. Оторвать взгляд от неба кажется непосильной задачей. Какое-то обыкновенно-необыкновенное утро. Розовые облака перетягивают внимание от серости панельных домов — сейчас город выглядит красиво и даже несколько сказочно.

От размышлений о жизни и созерцания расцветного неба сквозь стекло в кабинете математики меня отвлекает одноклассник. Подсаживается ко мне, пихая локтем в рёбра, его голос грубо возвращает меня обратно в класс:

— Чего в окно пялишься? Тему пропустишь, а потом лишнее занятие у репетитора брать будешь?

Как будто вся жизнь вертится вокруг математики. Есть вещи и поважнее. Я по-прежнему не отрываю взгляд от неба и отстранённо говорю: — Рассвет красивый сегодня. Немного можно и пропустить.

Он смотрит в окно. Молчит. А я тихо радуюсь: кто-то видит то же самое, что и я, есть с кем разделить это.

— Ничего необычного. Такое же утро.

Я в недоумении скашиваю на него глаза. Серьёзно?

— Получше посмотри. Должен почувствовать разницу.

Опять смотрит в окно. Молчит. Хоть бы увидел. — Всё равно так же. Вчера, сегодня, завтра — каждый день одинаково.

И когда люди разучились видеть красивое?

А розовые облака всё плывут по небу, заглядывают в окна, безмолвно и тщётно просят людей: «Взгляните на нас!» И люди смотрят. Тысячи людей наверняка сидят сейчас у себя в квартирах, пьют кофе, смотрят в окно, встречая очередное утро. Вот только не видят ничего, кроме своих проблем.

А я смотрю на то, каким румяным становится мир в утреннем свете, как золотистый луч красиво переливается, падая на лицо учительницы математики и отбрасывая причудливые тени. Как солнце путается в косах девчонки прямо передо мной, едва ощутимо греет кончики пальцев на парте. Стекает по стенам, ползёт по столам и людям. И всё вокруг такое красивое, хотя с виду и правда обычное.

А потом всё заканчивается, солнце взошло, и только лёгкая розоватая дымка напоминает о рассвете.

Но красота остаётся. Наверное, и правда она — в глазах смотрящего.

Слава Малышев

Литературный лицей, 7 класс

Дорога жизни моего прадедушки

Двадцать второго ноября 2019 года исполнилось семьдесят восемь лет с начала открытия «Дороги жизни», которая во время Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград с Большой землёй. Люди, жертвуя собой, предприняли попытку пройти по льду Ладоги, чтобы спасти ленинградцев, умирающих от голода в своих холодных квартирах. Спасибо тем, кто спасал, а ещё тем, кто помнит, как это было.

Мой прадедушка, Ильин Александр Никитович, 1910 года рождения, работал шофёром на военно-автомобильной дороге Ленинградского фронта «Дорога жизни». Был участником автоколонны полуторок, вышедших на ладожский лёд в ночь на двадцать второе ноября 1941 года.

Из воспоминаний: «Первый раз без приключений приехали в деревню Кобона. Погрузились

мукой и поехали в Ленинград, на склад. После разгрузки машины тщательно проверяли, не вывозятся ли продукты. За вывоз продуктов наказывали по законам военного времени. После первого рейса движение было регулярным».

Дед рассказывал своей дочери, моей бабушке, что в тот первый год войны были сильные морозы. Машины по дороге через Ладогу по приказу командования двигались с открытой дверью, чтобы водители могли успеть выпрыгнуть из кабины в случае налёта или ухода машины под лёд. Некоторым водителям это действительно удавалось. От холода к варежкам примерзали ладони, люди обмораживали ноги.

Порою не видно было воронок, дороги переметало, из-за этого часто сбивались с пути. Весной лёд таял, образовывались полыньи, машины шли по колее, залитой водой, и не было видно, где поджидает смертельная опасность. Колонны машин постоянно бомбили фашисты. Кому-то эта дорога подарила шанс на спасение, но много людей погибло под обстрелами или утонуло, провалившись с машиной под лёд.

Мой прадедуська мужественно переносил тяготы. На его глазах машины уходили под лёд, а он ехал...

До войны дедушка жил в Ленинграде, работал на заводе. Семья — жена, сын и сестра — во время блокады осталась дома.

Город постоянно подвергался бомбардировкам. Воздушная тревога звучала практически

не умолкая. Вернувшись из очередного рейса, прадедуська лёг спать. Зазвучала воздушная тревога. Надо было бежать в бомбоубежище. Жена схватила сына, но мужа разбудить не смогла. Прадедуська, смертельно уставший, сказал, что пусть его лучше здесь убьют. Позже прадедуська узнал, что его семья погибла, не добежав до бомбоубежища несколько метров, рядом с ними упал снаряд. Сестра его умерла от голода в блокаду. Родители умерли ещё до войны. Так он потерял всех родных...

В январе 1943 года прадедуська был тяжело ранен в левое плечо. Он рассказывал моей бабушке, что в полевом госпитале ему делали операцию, обезболивающих лекарств не было, и перед операцией ему дали выпить стакан водки. Сначала хотели ампутировать руку, но потом хирург (он его всю жизнь вспоминал с благодарностью) вытащил осколки и руку сохранил.

Прадедуське повезло, он остался жив. Лично им было перевезено в Ленинград много машин продовольствия, а из Ленинграда — грузы, предназначенные для фронта.

Фотография моего прадедуськи размещена на аллее Славы в деревне Кобона.

После госпиталя прадедуську отправили в санаторий на Северном Кавказе, где он познакомился с моей прабабушкой. После войны жили в Судаче. Прадедуська работал секретарём горкома партии.

Был коммунистом, прожил достойную жизнь, воспитал четырёх дочерей.

Умер в 1988 году.

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Анастасия Антонова¹ Ты — русский

Ты русский,
Где бы ни был.
Ты русский,
Ты сделал свой выбор.

Ты русский,
В России родился.
Ты русский,
На благо страны трудился.

Мы русские,
И это наша земля!
Нас окружают
Реки, озёра, моря.

От Крыма до Сахалина,
От Таймыра и до Читы
Раскинулись земли
Нашей великой страны.

И под обстрелом
И миномётным огнём
Мы шли до победы
И ночью, и днём!

Мы русские —
Цари морей.
Мы русские —
Дети многонациональных кровей.

Мы правы,
Пришло наше время
Нести за весь мир
Тяжёлое бремя.

Так помни же, друг,
Заклинаю тебя!
Так помни же, друг,
Умоляю тебя!

Ты русский!
И этим гордись!
Ты русский!
И русским зовись!

1. Участница литературного конкурса «Между строк», 14 лет, г. Уссурийск.

Суперперо-2019

Саша Перова

Школа №137, 8 класс

Спешите делать добро

Добро... Что такое добро?... Если честно, то я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Для всех это слово имеет разный смысл. Для кого-то творить добро—значит, помогать животным, а для кого-то—людям. Кто-то предпочитает помогать природе. Конечно, у каждого есть свои причины, почему он выбрал именно такую помощь. Но когда эти «группы» не перекликаются между собой и остаются равнодушными друг к другу, это совсем не весело. Об этом и будет моя история.

Как-то раз зимой мы с мамой шли в канцелярию перед уроками. Ну а что? Просто я, как всегда, забыла с вечера сказать, что у меня закончились ручки. И карандаши. И замазывать ошибки тоже нечем. А ещё тетради по математике (да и по русскому языку) закончились. Но не об этом речь. Шли мы такие, шли, и тут—бац!—видим дедушку. Дедушку, одетого в штаны, валенки и куртку! А в руках у него... *трость!* Трость, представляете? Что-то не так... А, точно! Удивились мы не тому, что он дедушка, одетый в зимнюю одежду и с тростью в руках, а тому, что он упал посередине дороги. И ладно, если бы он просто упал, гололёд ведь был. Но он упал совсем по-другому. Его рука с тростью и нога будто отключились одновременно, что вызвало у нас подозрение. Люди так не падают, когда поскользнулись. Конечно же, мы поспешили ему на помощь.

Когда мы подбежали к дедушке, мы поняли, что просто так он встать не сможет. Пришлось его тащить. Дедушки, знаете ли, не лёгкие, поэтому нам справиться с ним было сложно. Очень кстати было то, что какой-то молодой человек помог нам в этом нелёгком в прямом смысле слова деле. Но и втроём наших сил хватило только на то, чтобы донести его до лавочки. Мама начала набирать номер скорой помощи.

Её руки дрожали, словно осиновый лист. Утро было морозное, и к нервам добавлялось то, что тыкать по телефону без перчаток совсем неприятно. Сердце у нас выпрыгивало из груди, так как

никто не знал «истинный» номер скорой. Да-да, на деле он не так прост, как «ноль-три», которому нас учат с детства.

— Один-один-три; один-ноль-три...—бормотала мама.

И тут донёсся голос сзади:

— Зачем вы его на лавочку-то положили? Холодно же. Отнесли бы в магазин хотя бы.

Обернувшись, мы увидели высокого мужчину в чёрной куртке. Выслушав претензии, мы ожидали, что этот человек нам поможет, но... он просто зашёл в магазин. Ему было всё равно. Он, указав нам на «ошибку», даже не помог её исправить... Тогда я оглянулась. До того как мне встретился этот мужчина, я даже не замечала гула вокруг. Оказалось, что на улице толпа людей. И хотя реагировали они все по-разному, никто к нам даже не подошёл... Я понимаю, что у всех есть свои дела, многие просто не хотят помогать незнакомцам, но... зачем тогда останавливаться и смотреть? Да и неужели так сложно вызвать скорую? Просто вызвать скорую...

Тем временем дедушка опомнился и начал говорить:

— Да ничего страшного, я сейчас встану и пойду в магазин.

— Нет!—ответила мама.—Вам нужно спокойно полежать, пока не приедет скорая, которую я вызвала.

— Не надо вызывать никаких скорых. У меня бабка дома, даже шага сделать не может, я в магазин за продуктами пошёл. Всё хорошо!—отнекивался дедушка.

Он тут же вскочил и пошёл в продуктовый, будто ничего и не было.

— Стойте!—прокричали мы втроём.

Но он не хотел слушать... Он, даже не задумываясь о том, что только что упал на лёд, только опомнившись и начав немного двигаться, побежал в магазин, зная, что дома его ждёт бабушка, которой нужна его помощь... И пусть он назвал её «бабкой», он с добрыми глазами побежал, зная, что дома его ждёт она. Эта мысль меня в тот момент немного согрела, и я даже успокоилась и хотела уйти, ведь он сказал, что ему помощь не нужна. Но это не отменяло того факта, что он мог быть серьёзно болен. Мама и тот мужчина, который

помог донести бабушку до лавочки, побежали в магазин, чтобы остановить его. Тем временем я осталась на улице и ждала скорой помощи.

Как только она приехала, я побежала в магазин искать маму. К счастью, она была возле касс, недалеко от входа.

— Я не могу его найти. Он затерялся в толпе... — сказала мама.

Я оповестила её о прибытии скорой помощи, и она тут же пошла к врачам.

— У него отказала вся левая часть тела, — говорила она.

— И где же он сейчас? — искали пациента врачи.

— В магазине, за покупками пошёл...

Тут работники скорой помощи усмехнулись. Видимо, они посчитали вызов ложным, ведь с такими симптомами не то что по магазину ходить — встать невозможно. Тут, по счастливой случайности, показался тот самый дедушка. Он спешил домой и... выронил пакет из левой руки. Его лицо перекосилось.

— Видите? — спросила мама.

— Да. Его срочно нужно отвезти в больницу!

— Не надо меня никуда везти, я домой пошёл, к своей... — сказал дедуля.

Тут мамино терпение лопнуло, и она сказала:

— Да инсульт у вас, инсульт! Откажет половина, ходить не сможете. Что ваша «бабка» делать будет? Ни вы, ни она ходить не будете!

— Вы что, нельзя говорить пациентам их диагнозы, от этого у них будет ещё паника, и...

Врач не успела договорить. Дедушка сам, кое-как двигая ногами, пытался забраться в машину скорой помощи. Врачи не стали ничего говорить по этому поводу. Единственное, что они сказали, это:

— В течение трёх часов можно восстановить все части тела. А бабушке мы позвоним, не беспокойтесь.

Вот и закончилась эта история. Нам не довелось снова встретиться с тем дедушкой. Но мы надеемся, что с ним всё хорошо. И с его подругой тоже. Но вывод из неё я для себя сделала. Во-первых, для любви нет преград. Во-вторых, нужно знать телефон скорой помощи наизусть, чтобы можно было в любой момент его быстро набрать. Ну и в-третьих, помогать нужно даже чужим людям, ведь так ты не только спасёшь человека, нуждающегося в твоей помощи, но и вынесешь много уроков для себя.

...А что случилось дальше? А дальше мы сходили с мамой в магазин и... поняли, что в школу смысла идти как-то нет. Важные уроки уже прошли. Да и желания не было — в душе была одна пустота, которую хотелось заполнить мыслями о происшествии, случившемся только что. После похода за продуктами мы пошли и покормили дворовых собак...

Полина Максименко

Гимназия №3, 11 класс

Лови момент!

Письмо другу

Привет, мой дорогой. Доброй ночи. Прости, что снова долго не писала, знаю, как ты скучаешь без меня. За этот месяц многое поменялось в моей жизни. Нет, я не влюблена. Ты же знаешь, я уже второй год не могу найти своей душе пристанища. И да, я снова много читаю, ты мог понять по языку.

Литература! Как чудесно, что она есть у меня. Мне полюбился Бунин в последнее время. Его рассказы... самое прекрасное, что успеть прочитать можно за одну-две поездки в автобусе, пусть и доверху набитом людьми с одинаково безразличными лицами и наверняка одними и теми же проблемами. Несмотря на эту печальную картину, я очарована. Книгами, самой собой, жизнью, настоящей и грядущей.

Почему? Приготовься слушать.

Я только недавно поняла, что все эти автобусные люди, да, впрочем, и большинство из тех, кого я встречаю каждый день на улицах, — те самые чеховские «футлярные» люди (насколько всё же писатели точно определили человеческие типы — ох, литература!); некоторые из них пытаются из последних сил выкарабкаться из рутины, а некоторые уже давно погрязли в ней по уши и не видят счастья ни в чём, кроме примитивных удовольствий, — так вот, они все будто чего-то постоянно ждут, понимаешь? Ждут выходных, ждут отпуска, ждут пенсии, ждут, когда выплатят кредит, ждут, когда дети вырастут, ждут, когда государство поднимется с колен... Они же бесконечно находятся в режиме ожидания. Когда дожидаются одного, появляется что-то другое, чего тоже нужно непременно ждать, ждать с нетерпением, ждать, но ни в коем случае не действовать. Ведь зачем что-то делать, правда? Зачем? Это долгожданное само обязательно наступит и без нашей помощи. Кто-то уже над этим трудится, кто-то приближает к нам его. Значит, нам нужно просто пережить — нет, вернее, даже просуществовать — какой-то отрезок времени, и всё-всё станет волшебным. А это волшебное пролетает мимо носа так быстро, что еле успеваешь почуять его аромат, — потому мы не знаем запаха свободы. Один миг — и снова в кандалы ожидания.

А самое страшно что? То, что скованные этими кандалами и не стремятся их разрубить. Пони-маешь? Они так и проожидают всю свою жизнь, думая, что это нормально, что так и должно быть. Я не хочу так жить! Не хочу, и никто меня

не заставит! Я хочу наслаждаться каждым моментом. Хочу ловить каждую секунду и радоваться — радоваться первому снегу, грязным лужам или холодному весеннему солнцу, радоваться сбежавшему молоку, неловким разговорам, плохим сочинениям, тройке за контрольную, да даже тому, что я устала, что некстати поднялась температура, что моя мечта всё ещё далека...

Именно это я осознала, и, представь себе, всё стало другим. Я начала решать задачи по математике — а мне нравится, представляешь, действительно нравится! Пошла мыть посуду — а мне в удовольствие, хотя никогда терпеть этого не могла. Заболела и не поехала к бабушке на каникулах — а всё равно радостно! Во всём появилось что-то светлое, хорошее, что хочется поймать.

Но есть у этой медали и обратная сторона — очень легко наткнуться на неправильные моменты. Такие, в которых нет для тебя никакой пользы, а тебе, напротив, кажется, что есть. И ты, убедив себя в правильности этих моментов, ловишь их, получаешь удовольствие, упрямо отбрасывая мысли о том, что что-то не так. А потом, когда обманывать себя дальше становится невозможно, эти мысли накрывают тебя, как штормовая волна. И думаешь: «Боже, как поздно я опомнился, сколько моментов уже потрачено!» Но я теперь знаю, что никогда не поздно признать это и признаться в этом себе.

Помнишь, я писала о своих друзьях? Я считала их своими друзьями — и я заблуждалась. Мне казалось, что мы весело проводим время, но в итоге я нашла себя свернувшейся в комок на подоконнике, всю в слезах и разочаровании, с прожжённой душой. Там пахло гарью, табаком, спиртом, потом и чьими-то дешёвыми духами. Они думали, что так пахнет свобода, что они ловят момент, растрчивая себя и свою юность, что вряд ли они когда-нибудь окажутся закованными в кандалы рутины и постоянного ожидания. До сих пор думают, вероятно. А я собрала чемоданы своих разрушенных иллюзий и ушла. Чем дальше я иду, тем шире между нами пропасть. Но разве это не хорошо для меня? Теперь я чувствую в себе новые силы, так необходимые для достижения моей великой цели. И так хочется верить, что там, в Петербурге, в своём светлом будущем, я встречу тех, кто не бездумно повторяет «саге diem», а знает толк в жизни.

И вот сейчас, пока температура спала, я сижу и рассказываю тебе всё это для того, чтобы ты наслаждался тем, как чернила заполняют твоё тело, как нежно я касаюсь пальцами твоих страниц, как ты черпал мои мысли. А ещё для того, чтобы я, которая будет это читать лет через двадцать, а может, и через все тридцать пять, всё так же жила, искренне любя литературу и ловя моменты. И чтобы пусть и не все, но большинство из них были правильными.

ДиН авторы

стр.
124

Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии. Член Союза российских писателей.

стр.
67

Ахпашева Наталья Марковна
Абакан, 1960 г. р.

Поэт. Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова (Абакан). Член Союза

писателей России. Выпустила более 30 стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходивших в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг: «Я думаю о тебе», «Солярный круг», «Тысячелетие на исходе», «Кварта», «Из памяти древней». В переводе автора дважды издавалось сказание хакасского поэта Моисея Баинова «Хан-Тонис на тёмно-сивом коне». Дипломант I международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак торна» (Уфа, 2011). Награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела».

стр.
71

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический

факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегия журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия).

стр.
45

Верникова Белла

Иерусалим (Израиль), 1949 г.р.

Поэт, эссеист, художник, историк литературы, доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме, член Союза писателей Израйля. Входит в редколлегия одесского альманаха «Мория». Родилась в Одессе, в семье офицера. Раннее детство прошло в Иркутске, где отец служил военным геодезистом. После демобилизации отца в начале 1960-х семья вернулась в Одессу. Окончила Одесский университет, работала в Литературном музее и в университетской газете. С 1992 года в Израиле. Печаталась в литературных журналах России, Украины, Израйля, США, Англии, Италии, Японии: «Юность», «Арион», «Топос», «Сетевая словесность», «Радуга», «Дерибасовская — Ришельевская», «Иерусалимский журнал», «22», «Артикль», «Слово | Word», «Литературный Иерусалим», «Интерпоэзия», «Бег», «Приокские зори», «Кольцо А» и др., в иностранной периодике в переводе на английский и японский языки. Участник международных художественных выставок. Автор девяти книг (стихи, эссе, графика, детская книга).

стр.
154

Гаммер Ефим Аронович

Иерусалим (Израиль), 1945 г.р.

Родился в Оренбурге. Окончил отделение журналистики ЛГУ в Риге. Автор 25 книг стихов, прозы, очерков, эссе. Лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Член правления Международного союза писателей Иерусалима. Главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» (радио «Голос Израйля» — «РЭКА»), член редколлегия израильских и российских журналов

«Литературный Иерусалим», «Исрагео», «Приокские зори». Член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников. Обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. В середине 90-х годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке.

стр.
76

Гедымин Анна Юрьевна

Москва, 1961 г.р.

Коренная москвичка. Родилась на Арбате, в семье инженеров. В 1984 году окончила МГУ (факультет журналистики). Работала сборщицей микросхем на заводе, руководителем детской литературной студии во Дворце пионеров, журналистом, литературным консультантом, редактором. Стихи пишет с 1978 года, печатается с 1979 года (первая публикация — в газете «Московский комсомолец»). Автор сотен публикаций во всесоюзной, общероссийской и московской периодике. Печаталась в «Литературной газете», «Литературной России», «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Октябрь», «Континент», «Кольцо А», «Огонёк», «Арион», «Моя Москва», «Смена», «Работница», «Крестьянка», «Крокодил», «Пионер», «Сельская новь», «Литературная учёба», «Сельская молодёжь», «Кругозор», «Клуб», «Истина и жизнь» и др., в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки» и др., во многих коллективных сборниках. Член Союза писателей СССР и СП Москвы с 1991 года. Стихи Анны Гедымин переводились на польский язык. Лауреат многих литературных премий.

стр.
149

Дашевский Ханок

Иерусалим (Израиль)

Поэт, переводчик, писатель и публицист. Член Союза русскоязычных писателей Израйля (СРПИ), Международного союза писателей Иерусалима, Международной гильдии писателей (Германия), Интернационального союза писателей (Москва), Союза писателей XXI века (Москва), литературного объединения «Столица» (Иерусалим). Родился в Риге. Учился в Латвийском университете. В 1971–1987 годах участвовал в подпольном еврейском национальном движении. В течение 16 лет добивался разрешения на выезд в Израиль. Был под постоянным надзором. Являлся одним из руководителей нелегального литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике». В Израиле с 1988 года. Автор нескольких сборников поэтических переводов и романа «Дыхание жизни». Лауреат премии СРПИ имени Давида Самойлова (2017) за книгу «Из еврейской поэзии» (Москва, «Водолей», 2016). Лауреат Международного литературно-музыкального фестиваля «Барабан Страдивари» (Израиль, 2017),

Международного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (Бельгия, 2018).

стр.
77

Долгополова Татьяна Геннадьевна
Красноярск, 1970 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский педагогический университет. Автор книг стихов «Зодиакальная болезнь», «Московское время», «Лепта», «От себя». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева.

стр.
45

Замышляев Владимир Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в городе Петрозаводске (Республика Карелия). После окончания Ленинградского государственного института культуры в 1965 году приехал в Красноярск. Работал директором краевого Дома народного творчества, Красноярского книжного издательства, заведовал отделом культуры крайкома КПСС. С 1991 года работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М. Ф. Решетнёва. Кандидат философских наук, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов и Союза писателей России. Награждён медалью имени К. Э. Циолковского Федерацией космонавтики России, почётным знаком Всероссийского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, краевыми почётными грамотами. Первый разработчик закона Красноярского края «О культуре». Лауреат премии Главы города Красноярска 2013 года за достижения в области образования и науки. Автор многих научных трудов по истории и теории культуры, коллективных краеведческих книг, член редколлегии и соавтор «Енисейского энциклопедического словаря» (1998), автор публицистических книг, поэтических сборников.

стр.
97

Заславская Елена Александровна
Луганск, 1977 г. р.

Поэт, публицист, детская писательница. Родилась в Лисичанске. Пишет на русском и украинском языках. Автор книг «Эпоха моей любви», «Мамині сльози», «Инстинкт свободы», «Бдыщ-мен и Ко», «Год войны», «Необыкновенные приключения Чемаданта, Чи-Беретты и Пончика». Публиковалась в интернет-изданиях и периодике, в том числе в антологии-энциклопедии «15 веков русской поэзии», сборниках «Час мужества», «Ожог», «Русская весна», «Строки мужества и боли», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса», «Воля Донбасса», «Работайте, братья», альманахе «Крылья» (Луганск) и др. Лауреат II Корнейчуковского фестиваля детской литературы (гран-при, 2014), Международной литературной премии имени С. Есенина «О Русь, взмахни крылами...» (2015) в номинации «Слово Победы», Международной литературной премии имени Павла Беспощадного «Донбасс

никто не ставил на колени» (2016), Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛифФТ» (2017). На отдельные стихотворения были созданы песни. Стихотворения переведены на немецкий, французский, испанский, английский, литовский и болгарский языки.

стр.
94

Класс (Фесенко) Лариса Аркадьевна
Луганск, 1950 г. р.

Родилась в Горловке (УССР). Окончила Луганский пединститут имени Т. Г. Шевченко. Публикуется с начала 1970-х годов. Пишет на русском и украинском языках. Автор книг «Базар-вокзал» (два издания), «Щоденні обрії життя» и др. Публиковалась в альманахах «Вдохновение» (Москва), «Истоки» (Москва), «Крылья» (Луганск), «Выбор Донбасса» (Луганск) и др. Лауреат литературной премии МСП имени В. И. Даля. Живёт в Луганске.

стр.
99

Козлов Сергей Сергеевич
Тюмень, 1966 г. р.

Родился в Тюмени, в семье служащих. В 1983 году поступил на исторический факультет Тюменского государственного университета. С 1984 по 1986 год, после окончания первого курса, служил в армии. В 1990 году окончил тгу. Работал учителем истории в школе №40, музыкантом, сторожем, текстовиком в рекламном агентстве. С 1996 года проживал в посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района. С 1998 года работал директором средней школы. С 1999 года — член Союза писателей России. Преподавал на кафедре журналистики Югорского государственного университета. С 2008 по 2010 год — главный редактор окружной общественно-политической газеты «Новости Югры». С 2011 года — главный редактор журнала «Югра». Обозреватель телеканала «Югра». Почётный работник общего образования РФ. Член Союза журналистов России. По повести «Мальчик без шпаги» снят художественный фильм «Наследники» (2008). По мотивам романа «Вид из окна» снят художественный телефильм «Жених по объявлению» (2011), сценарий написан совместно с Дмитрием Мизгулиным и московскими драматургами. Проза переводилась на азербайджанский, сербский, греческий и болгарский языки. Депутат Тюменской областной думы 5-го созыва. Сопредседатель Общества русской культуры Тюменской области.

стр.
184

Колганов Леонид
Тель-Авив (Израиль)

Поэт, прозаик, эссеист, общественный деятель. Родился в Москве. Лауреат VI московского совещания молодых писателей, был принят в Комитет литераторов Москвы. Был рекомендован Андреем Вознесенским на стипендию Фонда культуры. С 1992 — гражданин Израиля. Почётный

гражданин Кирьят-Гата, лауреат премии имени Анны Ахматовой, лауреат премии имени Давида Самойлова Союза русскоязычных писателей Израиля, удостоен медали «Русская Звезда» имени Фёдора Тютчева за весомый вклад в литературу. Руководитель литературных объединений «Поэтический театр Кирьят-Гата», «Негев» в Беэр-Шеве и совместно с Валентиной Бендерской, Всеизраильского поэтического клуба «ПоВтор» в Тель-Авиве. Составитель международного поэтического альманаха «Свиток 34». Стихи публиковались во многих литературных российских и зарубежных журналах, сборниках и альманахах. Автор десяти книг поэзии и прозы: «Осеннее очищение», «Бесснежные метели», «Пламя суховея», «Слепой рукав», «Средь белого ханства», «Вьюга на песке», «Легенда о Водяном столбе», «Океан окаянства», «Беспутный путь», «Выкрутасы эйдоса» (в соавторстве с Валентиной Бендерской).

стр.
176

Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г.р.

Выпускник филологического факультета Красноярского государственного университета, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Живёт в Красноярске.

стр.
9

Коряков Юрий Михайлович
Красноярск, 1962 г.р.

Родился в городе Абакане. В 1983 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. В период с ноября 1986 по август 1988 года проходил службу в Республике Афганистан в должностях от командира мотострелкового взвода до командира роты.

стр.
146

Лукомская Анастасия
Москва

В 2011 году окончила Литературный институт имени Горького (семинар поэзии Сергея Арутюнова). Член Союза российских писателей. Лауреат фестивалей «Мицери», «Всемирный День Поэзии», поэтического конкурса «Покорение космоса—слава России», финалистка «Каэромании» и Чемпионата поэзии имени Маяковского. Автор поэтических сборников «Стихосоматика» (издательство Dream Management, 2016), «Зелёная рыбка» (издательство Dream Management, 2018) и остросюжетной психоделической поэмы-сказки «Тайна Кристальных Миров» (2016, издана на английском языке, на русском — в виде аудиокниги). Региональный куратор фестиваля «Всемирный День Поэзии» и «Поэтической

лаборатории» в Гуслице. Публиковалась в журнале «Нева», сборниках «Часовые памяти», «Львы и музы», «Неформатные стихи. Поэзия автостопом», «Зеркало» и других изданиях и альманахах. Частый гость на литературных мероприятиях Москвы и не только. Выступала в Петербурге, Сергиевом Посаде, Тарусе, Белгороде, Иваново, Ярославле, Минске и Великом Новгороде.

стр.
144

Максимычева София
Ярославль, 1964 г.р.

Родилась и живёт в Ярославле. В детстве занималась хоровым пением, посещала художественную школу, балльные танцы, библиотеки и читальные залы. Опубликовала рассказ в журнале «Юный натуралист». Училась в техническом вузе. Работала в государственных учреждениях, освоила бухгалтерское дело, была звукооператором на радио, вела свой бизнес. С поэзией дружила всегда, но сама стала писать стихи лишь несколько лет назад. Публикации на интернет-порталах и в альманахах: «Великороссъ», «Ликбез», «45-я параллель», «Белый мамонт», «Топос», «День и ночь», «Луч». Финалист конкурса «Рыбье царство» (журнал «День и ночь»). Шорт-листер конкурса «60 плюс» (журнал «Москва»).

стр.
3

Малашин Геннадий Викторович
Красноярск, 1956 г.р.

Поэт, прозаик, публицист, режиссёр, педагог. Руководитель информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии рпц, профессор кафедры гуманитарных и филологических дисциплин Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Родился в селе Ермаковском Красноярского края. По окончании в 1977 году Красноярского педагогического института преподавал в школах края. С августа 1981 года в течение 20 лет работал на Красноярской телестудии. В 1993 году с коллегами создал творческое объединение «Русские вечера», до сентября 2000 года еженедельно выходившее в краевой эфир. С 2011 года является секретарём Общественного совета Красноярской митрополии по науке, культуре и образованию, с 2014 года — ответственным секретарём Епархиальной комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию.

стр.
60

Мизгулин Дмитрий Александрович
Санкт-Петербург, 1961 г.р.

Родился в Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт и литературный институт имени А. М. Горького (семинар Александра Межирова). Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств. Печатался в журналах «Звезда», «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия»,

«Наш современник», еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета» и др. Автор книг стихотворений «Петербургская вьюга» (1992), «Зимняя дорога» (1995), «Скорбный слух» (2002), «О чём тревожилась душа» (2003), «Две реки» (2004), «География души» (2005), «Избранные сочинения» (2006), «Духов день» (2007), «Новое небо» (2008), сборника рассказов «Три встречи» (1993), литературных заметок «В зеркале минувшего» (1997), книжки для детей «Звёзд васильковое поле» (2002).

стр.
153

Минин Евгений Аронович

Иерусалим (Израиль), 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
121

Михайлова Ирина Евгеньевна

Москва, 1986 г. р.

Родилась в городе Люберцы Московской области. В 2009 году окончила Литературный институт имени Горького (семинар прозы Александра Евсеевича Рекемчука). С отличием защитила дипломную работу. В 2008 году вошла в лонг-лист премии «Дебют». В 2009 году дипломная повесть «В сторону леса» была опубликована в альманахе Литературного института «Пятью пять» Москва, «Пик», 2009). С 2010 года — член Союза писателей Москвы. В 2010 году являлась лауреатом Форума молодых писателей в Липках. С 2011 года работает учителем русского языка и литературы в школе (начала в родных Люберцах, с 2015 года — в Москве). С 2016 года является организатором и ведущей литературно-критического прозаического клуба.

стр.
64

Можаева Виктория Валерьевна

Можаевка Ростовской области, 1962 г. р.

Родилась на Алтае. Училась в Белоруссии в музыкальном училище. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Работала преподавателем в детской музыкальной школе, преподавателем литературы в школе. Имеет шестерых сыновей,

поёт в церковном хоре. В настоящее время также работает в школе. Автор многочисленных поэтических публикаций и нескольких сборников стихов. Последняя книга стихов — «Колыбель при дороге». Лауреат литературного конкурса имени М. А. Шолохова. Живёт на хуторе Можаевка Тарасовского района Ростовской области.

стр.
89

Настоящая Елена Михайловна

Луганск, 1984 г. р.

Поэт, переводчик, прозаик, редактор. Родилась в Луганске. Окончила Луганский университет имени Т. Г. Шевченко. Пишет на русском, украинском и английском языках. Публикуется с начала 2000-х годов. Подборки стихотворений выходили в журналах «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Роман-газета» (Москва), «Берега» (Калининград), «Российский литератор» (Нижний Новгород), «Лифт» (Москва), в сборниках «Ожог», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса», «ЛНР: факты, события, судьбы», в альманахе «Крылья» (Луганск). Обладатель специального приза жюри литературной премии партии «Справедливая Россия». Член Союза писателей ЛНР с 2014 года. Член редколлегии луганского литературно-художественного альманаха «Крылья».

стр.
45

Перчиков Александр Анатольевич

Израиль, 1955 г. р.

Родился в Самаре (Россия). В 1990 году уехал на пмж в Израиль. Автор 4 книг стихов и документальной прозы, член Международного союза писателей Иерусалима.

стр.
71

Платонов Олег Анатольевич

Москва, 1950 г. р.

Родился в Свердловске. Писатель, учёный, исследователь, журналист, редактор и общественный деятель. Написал и издал более 500 книг по русской культуре и русскому миру. Издал 25 энциклопедий и словарей. Директор Института русской цивилизации, председатель президиума МСОО «Всеславянский союз», доктор экономических наук. В 1972 году окончил экономический факультет Московского кооперативного института. С 1977 по 1990 год работал старшим, а затем ведущим научным сотрудником в Институте труда Госкомтруда СССР. В 1995 году организовал научно-издательский центр «Русская цивилизация». Член Союза писателей России. Среди многочисленных книг — «История цареубийства», «Жизнь за царя: правда о Григории Распутине», «Экономика русской цивилизации», «Почему погибнет Америка», «Терновый венец России», «Бич Божий: эпоха Сталина», «Государственная измена», «Битва за Россию». Приверженец воззрений русского философа Ивана Ильина. Выступает за реализацию разработанной Ильиным концепции

государственности, основанной на православии. Был близок митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, известному отечественному религиозному деятелю и богослову Иоанну (Снычёву).

стр.
183

Подшивайлова Ольга Витальевна
г. Спасск-Дальний, Приморский край

стр.
123

Прохоров Сергей Михайлович
г. Большой Камень, Приморский край

В феврале 2020 года завершил работу конкурс поэзии «Между строк», организатором которого выступил Приморский краевой центр народной культуры. Предлагаем читателям «ДиН» самые удачные, на наш взгляд, стихотворения участников конкурса.

стр.
90

Прасолов Сергей Николаевич
Луганск, 1958 г. р.

Родился в городе Суходольске Краснодарского района Луганской области УССР. Окончил Ворошиловградский государственный педагогический институт имени Тараса Шевченко. Первые публикации появились в середине 80-х годов. Поэт, прозаик, публицист. Пишет на русском языке. Публиковался в газетах «Молодогвардеец», «Наша газета», «Украинская техническая газета», в альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), «Часовые памяти» (Москва), в сборниках «Я дрался в Новороссии» (Москва), «Выбор Донбасса» (Луганск), в журналах «Берега» (Калининград), «Российский литератор» (Нижний Новгород) и др. Награждён медалью ЛНР «За верность долгу» (2018).

стр.
165

Расторгуев Андрей Петрович
Екатеринбург, 1964 г. р.

Родился в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Уральский государственный университет в Свердловске (1986) и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в Москве (1999). Кандидат исторических наук. После окончания университета долго жил и работал на Севере, потом вернулся на Урал. Поэт, переводчик, публицист. Автор 8 книг стихов, переводов и литературно-критических статей, многих публикаций в литературных журналах, участник ряда антологий. Лауреат Государственной премии Республики Коми, литературной премии имени Бажова и ряда других литературных наград. Член Союза писателей России.

стр.
95

Сеничкина Светлана Александровна
Луганск, 1982 г. р.

Родилась в Луганске. Окончила Луганский национальный университет имени Т.Г. Шевченко. Публикуется с 1999 года. Поэт, критик, публицист, переводчик. Пишет в основном на русском языке,

были публикации на украинском и английском языках. Автор книг «Апрельский ветер» (2005), «Музыка солнца» (2013). Публиковалась в альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), в коллективных сборниках «Время Донбасса» (2016), «Выбор Донбасса» (2017), «Час мужества» (2015), «Ожог» (2015), «ЛНР: факты, события, судьбы» (2015), в журналах «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Берега» (Калининград), «Российский литератор» (Нижний Новгород), «Роман-газета» (Москва), «ЛиФФт» (Москва), «Петровский мост» (Липецк), «Двина» (Архангельск), в «Литературной газете» и др. Лауреат (2016) и обладатель спецприза (2017) литературной премии партии «Справедливая Россия». Член редколлегии литературно-художественного альманаха «Крылья», Союза писателей ЛНР.

стр.
62

Синельников Михаил Исаакович
Москва, 1946 г. р.

Известный русский поэт. Автор 21 оригинального поэтического сборника, в том числе однотомника (2004), двухтомника (2006) и книги «Сто стихотворений» (2011). Его стихи постоянно печатаются в основных литературных журналах, в «Литературной газете», вошли в существующие антологии русской поэзии XX века, переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, сербскохорватский, словенский, румынский, турецкий, азербайджанский, фарси, хинди, узбекский, киргизский, грузинский, армянский, осетинский, монгольский, вьетнамский, корейский языки, отдельными книгами вышли в Черногории и Румынии. Поэзия М. Синельникова в разные времена вызывала интерес отечественной и зарубежной критики. Его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими и иностранными премиями, в том числе премиями Министерства высшего образования СССР (за юношескую работу об античном театре), Ивана Бунина, Арсения и Андрея Тарковских, «Глобус», «Золотое перо», «Исламский прорыв», грузинской премией Георгия Леонидзе, киргизской премией Алыкула Осмонова, таджикской премией «Боргои Сухан», румынской премией Фонда «Пауль Полидор», премиями литературных журналов. Среди наград — грузинский орден Святой Нины, серебряная медаль Ивана Бунина (от Российской академии естественных наук), медаль Валерия Брюсова, армянская золотая медаль «За литературные заслуги», таджикская медаль «Знак Слова», Почётная грамота Президента Кыргызстана. Заслуженный работник культуры Ингушетии, член исполкома Общества культурного и делового сотрудничества с Индией. Является также действительным членом Российской академии естественных наук и Петровской академии, академиком турецкой Академии культуры и поэзии

(Чанаккале). В московском Институте стран Азии и Африки преподаёт разработанный им курс «Азия и Африка в русской поэзии». Является членом редакционной коллегии выходящего в Бухаресте интернационального журнала «Диалог морей». Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы.

стр.
188

Синяя тетрадь

Красноярск

Опубликованы работы красноярских школьников Натальи Семёновой, Вячеслава Малышева, Александры Перовой, Полины Максименко.

стр.
162

Складнев Леонид Дмитриевич

Беэр-Шева (Израиль), 1954 г. р.

Родился в городе Бузулуке Оренбургской области. В 1958 году семья переехала в Куйбышев (ныне Самара). Служил в Советской Армии. Учился на экономическом факультете мгу имени Ломоносова. В 1991 году эмигрировал в Израиль. Член Союза писателей XXI века. Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации прозы (рассказ «Книга») и лауреат журнала «Зарубежные записки» в номинации художественного перевода (переводы стихов Борхеса) за 2016 год.

стр.
141

Степанов Евгений Викторович

Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского государственного педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики мгу (2004). Кандидат филологических наук. Докторант рггу. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона плюс». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Гостраха как социокультурное явление» (Москва,

2003), «Карманные календари Гостраха» (Москва, 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (Москва, 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума мго СП России, Союза писателей Москвы, пен-клуба, правления Союза литераторов России.

стр.
123

Стрежний Максим (Колокольников)

Омск, 1980 г. р.

Родился в Казахстане. Жил и учился в Семипалатинске. По образованию физик. Девять лет проработал в Национальном ядерном центре Республики Казахстан. Разрабатывал программное обеспечение измерительных систем для исследований в области безопасности эксплуатации ядерных реакторов и термояда, участвовал в ряде международных проектов. С 2010 года живёт и работает в Омске. Занимается разработкой транспортных диагностических систем. Публиковался в журналах «Литературный ковчег», «Омская муза», альманахе «Фанданго» и других. Автор сборника фантастики «Главный инстинкт».

стр.
69

Тарасова Марина Романовна

Анапа, 1956 г. р.

Родилась в городе Советске Калининградской области. В 1978 году окончила отделение журналистики Дальневосточного государственного университета. 15 лет работала журналистом (Оха, Долинск, Южно-Сахалинск), с 1995 года — преподаватель, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Сахалинского государственного университета. Доктор филологических наук. Автор монографии и пособий по творчеству И. Ильина, публикаций в научных изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и др. Стихи публиковались в сборнике «Сахалин-2013».

стр.
54

Третьяков Анатолий Иванович

Красноярск, 1939–2019

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Учился во вгике и Литературном институте им. А. М. Горького. Автор двенадцати сборников стихов. Печатался в журналах и коллективных сборниках Москвы и других городов России. Член Союза писателей России с 1979 года. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края 1999 года. Автор слов официального гимна Красноярска (композитор О. Проститов). Действительный член Академии российской литературы с 2009 года.

стр.
168

Харебин Олег Сергеевич

Красноярск, 1961 г. р.

По образованию — учитель немецкого языка. Уроженец Красноярска. В 1985–1988 годах служил

и работал переводчиком в ГСВГ ГДР (Wuensdorf), в 1995 году — в военной комендантуре гарнизона и в проектно-исследовательском отделе. В 2009–2010 годах работал корреспондентом (вне штата) в газете «Вперёд» Уярского района Красноярского края. В 2012 году вошёл в финал (лонг-лист) литературного конкурса имени В. Шнитке Международного союза немецкой культуры в номинации: «Художественная проза — рассказ о российском немце, человеке искусства». Номинант Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины (2015–2016) в номинации «Публицистика» (шорт-лист, статья «О чём предупреждали братья Стругацкие»). Шорт-лист Международного славянского форума «Золотой Витязь» (2017) в номинации «Публицистика» («Разгадка миссии Ивана Жилина», «Ползи, улитка, по склону Фудзи»). Шорт-лист Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2018) в номинации «Публицистика». 3 место на Тютчевском международном литературном конкурсе «Мыслящий тростник» (2019), номинация «Лучшее философское эссе» («К вопросу о национальной идентичности»). С 2015 года по настоящее время — постоянный автор-публицист общественно-политического журнала «Стратегия России» (Москва).

стр.
86

Чернов Андрей Алексеевич
Луганск, 1983 г. р.

Родился в Луганске. Окончил Луганский национальный университет имени Т. Г. Шевченко. Публикуется с 2004 года. Публицист, литературовед, критик. Пишет на русском и украинском языках. Переводился на сербский язык. Автор книг «Приятие Донбасса» (Москва, 2016), «Донбасский код» (Луганск, 2019), «Луганское лето-2014» (Торонто, 2019). Публиковался в журналах «Лифт» (Москва), «Берега» (Калининград), «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Российский колокол» (Москва), «Российский литератор» (Нижний Новгород), альманахах «Крылья» (Луганск), «Свой вариант» (Луганск), «Литературная Пермь» (Пермь), «Полдень» (Москва-Мытищи), «Университет культуры» (Кемерово), сборнике «Настоящая фантастика-2014» (Москва) и др. Также публиковался в газетах «Литературная газета», «Общеписательская литературная газета», «Литературная Россия» и др. Лауреат литературной премии партии «Справедливая Россия» (2015, 2016). Награждён орденом Фёдора Достоевского I степени Пермского краевого отделения Союза писателей России (2016), медалью Российской литературной премии (2018).

стр.
55

Шанин Владимир Яковлевич
Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного

университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, лес-промхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр.
103

Янжула Анатолий Андреевич
Красноярск, 1947 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил железнодорожный техникум. Начал писать во время службы в армии, будучи внештатным корреспондентом газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта». С 1995 года — постоянный автор журнала «День и ночь». В альманахе «Енисей» напечатана повесть «Миг войны». Отдельными книжками выходили повесть «Дядька Фёдор» и сборник рассказов «Обстоятельства жизни». В 1999 году принят в Союз писателей России. Работал в Управлении Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Член правления КРО СП России.

стр.
51

Яхнин Зорий Яковлевич
Красноярск, 1930–1997

Известный русский поэт. Родился в Симферополе. Детство и юность прошли в Москве. Во время войны оказался в эвакуации в Омске. Это была его первая встреча с Сибирью. В 1954 году, после окончания Московского института культуры, Зорий Яхнин приехал в Красноярск по комсомольской путёвке. Работал в молодёжной газете «Красноярский комсомолец», возглавлял этнографическую экспедицию Красноярского краевого музея на Таймыр, побывал на острове Диксон, в городах Норильске, Дудинке, Игарке, с географической партией прошёл по Енисею и его притокам. Впечатления от поездок, встречи с интересными людьми, их дела, тревоги, судьбы нашли отражение в его многочисленных поэтических сборниках. Его стихи публиковались на страницах краевых и центральных газет, в альманахе «Енисей». Интерес писателя вызывала

история малых народов Енисейского Севера. Он занимался переводческой деятельностью— переводил стихотворения А. Немтушкина, Л. Ненянг, О. Аксёновой, сам сочинял произведения, связанные с эвенкийским и долганским фольклором.

В 1962 году Зорий Яхнин был принят в Союз писателей СССР, рекомендацию ему дал известный поэт Лев Ошанин. В последнее десятилетие жизни поэт стал живописцем, представлял свои акварели на выставках.

главный редактор

В. Н. Наговицын

выпускающий редактор

Марина Наумова-Саввиных

рецензент

Дмитрий Косяков

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации пп №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

редакционная коллегия

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Глеб Бобров
Луганск

Елена Бувеч
Черкаск

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Ивана Старушкина.

издатель

АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский»
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 3,
т. +7 950 991 4349

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.4.2020
Дата выхода в свет: 30.4.2020
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

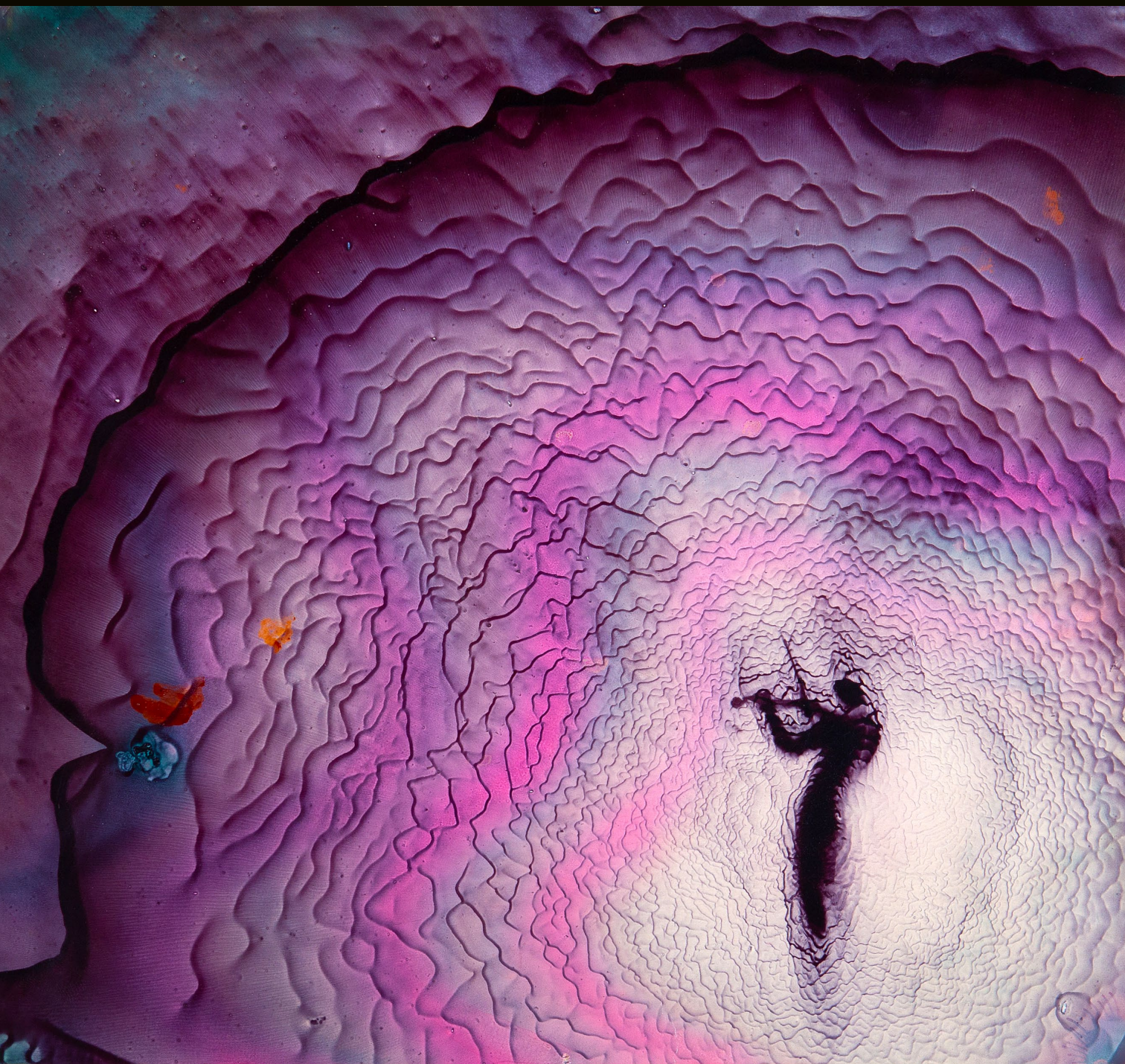
Журнал выходит
1 раз в 2 месяца

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Иван Старушкин | Сибирская осень





Иван Старушкин

Бетховен. Крейцера соната

На обложке:

И. С. Бах. Страсти по Матфею.
Финал (фрагмент)